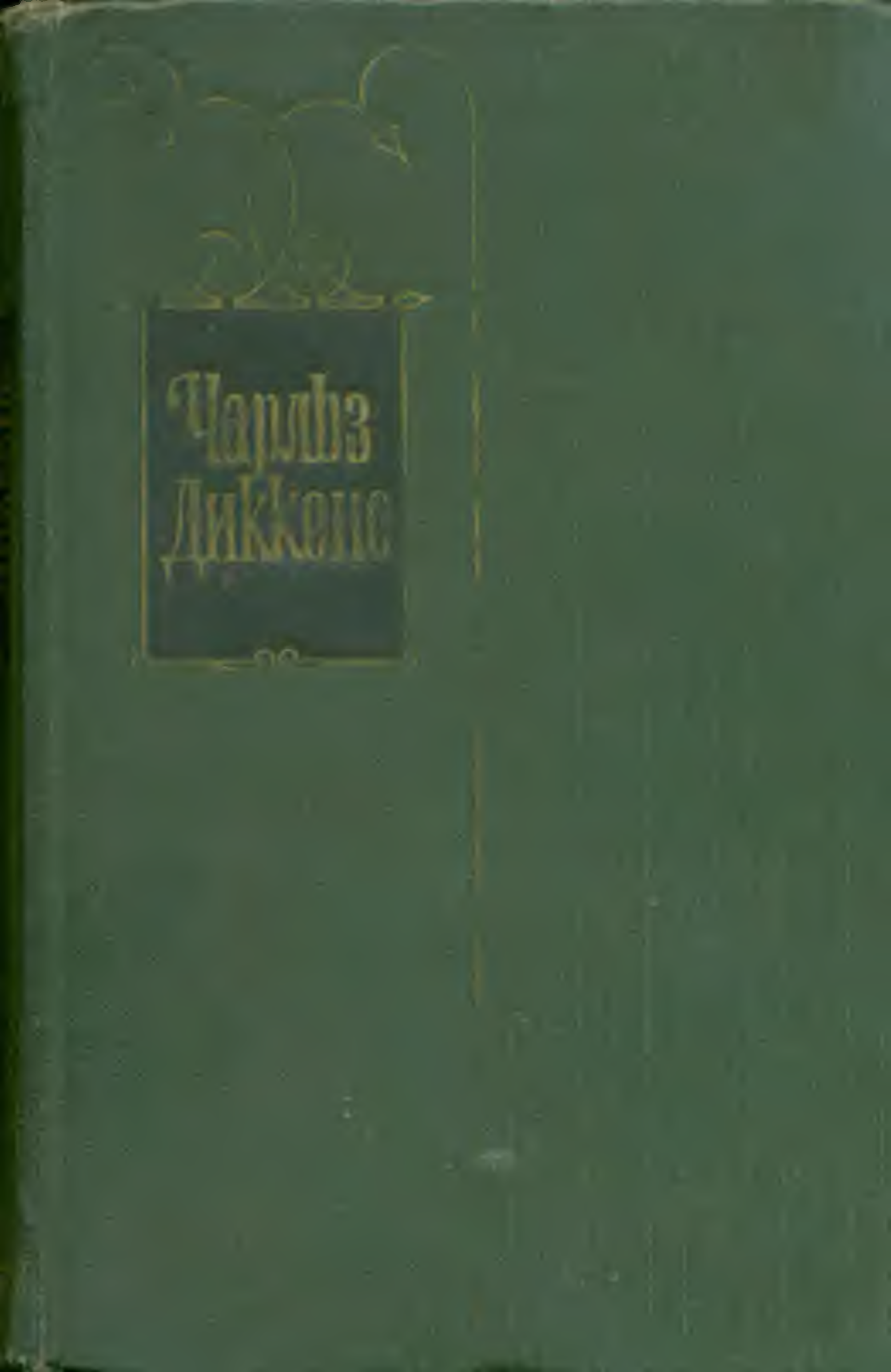

Чарльз
Диккенс

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ТРИДЦАТИ ТОМАХ

Под общей редакцией
А. А. АНИКСТА и В. В. ИВАШЕВОЙ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1959

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ШЕСТНАДЦАТЫЙ

ЖИЗНЬ ДЭВИДА КОППЕРФИЛДА, РАССКАЗАННАЯ ИМ САМИМ

Роман

(Главы XXX — LXIV)

Перевод с английского

А. В. КРИВЦОВОЙ и ЕВГЕНИЯ ЛАННА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1959

CHARLES DICKENS

THE PERSONAL HISTORY OF DAVID COPPERFIELD

Ch. XXX — LXIV

1849—1850

Иллюстрации
«ФИЗА» (Х. Н. БРАУНА)

Четвертое, пересмотренное издание перевода

ГЛАВА XXX

Утрата

В Ярмут я приехал вечером и пошел в гостиницу. Я знал, что комната для гостей в доме Пегготи — моя комната — будет в ближайшее время занята, а быть может, великий Гость, которому все живое должно уступать место, уже перешагнул порог. Вот почему я отправился в гостиницу, пообедал там и договорился о ночлеге.

Было часов десять, когда я вышел на улицу. Почти все лавки были закрыты, и городок притих. Подойдя к «Омеру и Джорему», я увидел, что ставни затворены, но дверь в лавку еще распахнута настежь. Издали я мог разглядеть мистера Омера, курившего трубку в дверях гостиной, а потому вошел и осведомился, как он поживает.

— Господи помилуй, кого я вижу! — воскликнул мистер Омер.— А вы-то сами как поживаете? Присаживайтесь... Надеюсь, вам не мешает дым?

— Нисколько,— ответил я.— Мне он нравится, если трубку курю не я, а кто-нибудь другой.

— Если курит кто другой, вот как? — со смехом подхватил мистер Омер.— Тем лучше, сэр. Дурная привычка для молодого человека. Присаживайтесь. Я курю из-за астмы.

Мистер Омер посторонился, чтобы пропустить меня, и придвинул мне стул. Запыхавшись, он снова уселся и затянулся трубкой, словно в ней-то и заключался необходимый ему воздух.

— Я очень опечален плохими известиями о мистере Баркисе,— сказал я.

Мистер Омер с серьезным видом посмотрел на меня и покачал головой.

— Вы не знаете, как он себя чувствует сегодня? — спросил я.

— Этот самый вопрос я задал бы вам, сэр, если бы не моя деликатность,— отвечал мистер Омер.— Это одна из неприятных сторон нашего дела. Если кто-нибудь заболевает, мы *не можем* справляться о его здоровье.

Мысль о таком затруднении мне не приходила в голову, хотя, входя в лавку, я и опасался, что услышу знакомый стук. Теперь, когда мистер Омер коснулся этой темы, я признал справедливость его слов, о чем и сказал ему.

— Да, да, вы сами понимаете,— кивая головой, подтвердил мистер Омер.— Мы не решаемся спрашивать. Ах, боже мой, да многие так и не оправились бы от потрясения, если бы им сказали: «Омер и Джорем шлют свой привет и желали бы знать, как вы себя чувствуете сегодня утром?» Или сегодня вечером, смотря по обстоятельствам.

Мы с мистером Омером кивнули друг другу, и мистер Омер зарядился воздухом при помощи своей трубки.

— Вот одна из причин, почему наше ремесло не позволяет оказывать внимание, которое часто хотелось бы оказать,— сказал мистер Омер.— Возьмем, к примеру, меня. Не один год, а сорок лет я знал Баркиса, видел, как он проезжал мимо моей лавки. Но *я* не могу пойти и спросить, как его здоровье.

Я понимал, что это не на шутку огорчает мистера Омера, и поделился с ним своими соображениями на этот счет.

— Надеюсь, корыстен я не больше, чем всякий другой,— продолжал мистер Омер.— Посмотрите на меня! В любую минуту я могу задохнуться, а при таких обстоятельствах мне, на мой взгляд, уже не до корысти. Не

до того, знаете ли, человеку, который чувствует, что ему вот-вот не хватит воздуха, да что там — *уже* не хватает, словно дырявым кузнечным мехам. А вдобавок этот человек — дедушка,— присовокупил мистер Омер.

Я отвечал:

— Конечно.

— Не то чтобы я жаловался на свое ремесло,— продолжал мистер Омер.— Нет, я не жалуюсь. Разумеется, в каждом деле есть свои хорошие и дурные стороны. Хотел бы я только, чтобы у людей было больше силы духа.

С самым благодушным и приветливым видом мистер Омер несколько раз молча затянулся трубкой, а затем сказал, возвращаясь к началу разговора:

— Ну, так вот, справляться о том, как поживает Баркис, мы можем только у Эмли. Она знает наши истинные чувства и опасается нас не больше, чем ягнят. Минни и Джорем как раз отправились туда расспросить ее, как он себя чувствует сегодня вечером (она сейчас у тетки, помогает ей после работы). И если вы соблаговолите подождать их возвращения, они вам все расскажут. Не выпьете ли чего-нибудь? Рюмку грога? Я сам пью грог, когда курю,— продолжал мистер Омер, взяв свою рюмку.— Говорят, он смягчает пути, по которым доходит до меня этот несчастный воздух. Но, господи помилуй, тут дело не в том, что пути не в порядке! — прохрипел мистер Омер.— «Дай мне вдоволь воздуху,— говорю я моей дочери Минни,— а уж пути-то я, дорогая моя, сам найду».

Ему и в самом деле не хватало воздуха, и страшно было смотреть, как он смеется. Когда же он отдышался и снова мог вести беседу, я поблагодарил его за предложенное угощение, от которого отказался, ибо только что пообедал, и сказал, что, раз он так любезно меня приглашает, я готов подождать, пока вернутся его дочь и зять. Потом я осведомился, как поживает малютка Эмли.

— Скажу вам откровенно, сэр,— ответил мистер Омер, вынимая изо рта трубку, чтобы потереть себе подбородок,— я буду рад, когда справят свадьбу.

— Но почему же? — спросил я.

— Видите ли, сейчас она какая-то беспокойная,— сказал мистер Омер.— Я вовсе не говорю, что она не такая хорошенькая, как раньше, нет! Она еще похоро-

шела — уверяю вас, похорошела! И не говорю, что она стала хуже работать, нет, она работает по-прежнему. Она и прежде стоила шестерых работниц и теперь стоит. Но ей недостает, как бы это сказать... пылу. Вы меня поймете, если я выражусь так,— сказал мистер Омер, снова потерев подбородок и затянувшись трубкой: — «А ну, налегай, сильней налегай, дружней налегай, ребята!» Вот чего, на мой взгляд, недостает мисс Эмли.

Физиономия и тон мистера Омера были столь выразительны, что я мог не кривя душой кивнуть ему, давая понять, что разгадал смысл его слов. Казалось, он остался доволен моей сообразительностью и продолжал:

— И вот, по-моему, все это главным образом из-за того, что она какая-то беспокойная. Я частенько говорил об этом после работы и с дядей ее и с ее женихом, и я объясняю все дело тем, что она какая-то беспокойная. Всегда нужно помнить,— продолжал мистер Омер, тихо покачивая головой,— что у Эмли на редкость любящее сердечко. Есть такая пословица: «Из свиного уха не сшить шелкового кошелька». Так ли это — не знаю. Пожалуй, и можно, если взяться за дело с молодых лет. Вот, к примеру, тот старый баркас, сэр! Ведь она превратила его в домашний очаг, с которым не сравнится и дворец из мрамора!

— В этом я не сомневаюсь! — подтвердил я.

— Право же, стоит посмотреть, как эта хорошенькая девчурка ластится к своему дяде,— заметил мистер Омер.— С каждым днем она все больше и больше льнет к нему. А коли так, то, сами понимаете, в ней происходит борьба. Зачем же тянуть дольше, чем нужно?

Я внимательно слушал доброго старика и от всей души соглашался с ним.

— Потому-то я и заговорил с ними об этом,— спокойно и добродушно продолжал мистер Омер.— Вот что я им сказал: «Не думайте, что Эмли прикована к этому месту, пока не кончится срок обучения. Назначьте срок сами. Работа ее принесла нам больше, чем мы ожидали, да и обучение шло быстрее. Омер и Джорем не посмотрят на то, что срок еще не истек, и она будет свободна, когда вы того пожелаете. Если потом она захочет договориться с нами и что-нибудь делать для нас на дому — ну что ж,

очень хорошо! А не захочет — тоже хорошо. Мы, во всяком случае, убытков не несем». Потому что, знаете ли,— заключил мистер Омер, притронувшись ко мне своей трубкой,— вряд ли станет человек, которому воздуху не хватает и который вдобавок еще и дедушка,— вряд ли станет он притеснять такой цветочек с голубыми глазками, как она!

— Конечно, не станет,— сказал я.

— То-то и есть! Правильно! — подтвердил мистер Омер.— Так вот, сэр, ее двоюродный брат... вам известно, что она выходит замуж за своего двоюродного брата?

— О да! Я его хорошо знаю,— ответил я.

— Само собой разумеется,— сказал мистер Омер.— Так вот, сэр, ее двоюродный брат — он, оказывается, на хорошем месте и зарабатывает неплохо — очень благодарил меня (и вообще, должен сказать, держит он себя так, что я о нем наилучшего мнения), а потом пошел и снял такой уютный домик, какой мы с вами только можем пожелать. Домик этот уже обмеблирован сверху донизу, чистенький и аккуратный, как кукольная гостиная. И если бы болезнь бедняги Баркиса не приняла дурного оборота, были бы они, верно, теперь мужем и женой. Но вот приходится откладывать.

— А как Эмли, мистер Омер? — осведомился я.— Все такая же, как вы говорили, беспокойная?

— Ну, знаете ли, ничего другого ожидать нельзя,— отвечал он, снова потирая свой двойной подбородок.— Ей предстоит перемена, разлука, и все это для нее, если можно так выразиться, уже не за горами, а в то же время как будто и за горами. Смерть Баркиса вызвала бы отсрочку, но небольшую, а вот болезнь его может затянуться. Как вы сами понимаете, положение неопределенное.

— Понимаю,— сказал я.

— И вот Эмли все еще немножко грустит и немножко волнуется; сказать правду, пожалуй, даже больше, чем раньше,— продолжал мистер Омер.— С каждым днем она как будто все крепче и крепче привязывается к своему дяде, да и с нами не хочется ей расставаться. Стоит мне сказать ей ласковое слово, а у нее уж и слезы на гла-

зах... А если бы вы видели, как она возится с дочуркой моей Минни, вы бы этого никогда не забыли! Боже мой, как она любит этого ребенка! — задумчиво проговорил мистер Омер.

Пользуясь благоприятным случаем, я решил спросить мистера Омера, прежде чем наша беседа будет прервана возвращением его дочери и зятя, знает ли он что-нибудь о Марте.

— Эх, ничего хорошего! — отвечал он, с глубоким огорчением покачивая головой.— Грустная это история, сэр, с какого боку к ней ни подойти. Я никогда не думал, что у этой девушки дурные задатки. Я бы не стал упоминать об этом при моей дочке Минни,— она, знаете ли, тотчас начала бы мне перечить,— но я никогда этого не думал. Да и никто из нас не думал.

Заслышав шаги своей дочери раньше, чем услышал их я, мистер Омер прикоснулся ко мне трубкой и в виде предостережения зажмурил один глаз. Немедленно вслед за этим вошла Минни со своим мужем.

Они сообщили, что мистеру Баркису плохо — «хуже и быть не может», что он без сознания, а мистер Чиллип только что, перед уходом, горестно объявил в кухне, что Медицинский колледж, Колледж хирургов и Ассоциация аптекарей, даже если собрать их всех вместе, не в силах ему помочь. Врачам и хирургам, сказал мистер Чиллип, уже нечего здесь делать, а все что могут сделать аптекари — это отравить его.

Услыхав такую весть и узнав, что мистер Пегготи находится сейчас там, я решил немедленно туда отправиться. Пожелав спокойной ночи мистеру Омеру и мистеру и миссис Джорем, я пустился в путь с чувством, что совершается нечто очень важное, и мистер Баркис превратился для меня в какое-то совсем новое, неведомое существо.

На осторожный мой стук в дверь отозвался мистер Пегготи. При виде меня он удивился меньше, чем я ожидал. Так же встретила меня и Пегготи, когда она спустилась вниз. И то же самое мне случалось наблюдать впоследствии: думаю, что в ожидании грозного события все другие события и нежданные перемены — ничто.

Я пожал руку мистеру Пегготи и прошел в кухню,

пока он потихоньку запирал дверь. Там, у очага, закрыв лицо руками, сидела малютка Эмли. Подле нее стоял Хэм.

Мы говорили шепотом, время от времени прислушиваясь, не донесется ли шум из комнаты наверху. В последнее мое посещение я об этом не подумал, но как странно было сейчас не видеть здесь, в кухне, мистера Баркиса!

— Доброе вы дело сделали, что приехали, мистер Дэви! — сказал мистер Пегготи.

— Что верно, то верно,— подтвердил Хэм.

— Эмли, моя милая! — воскликнул мистер Пегготи.— Да посмотри же! Приехал мистер Дэви. Приободрись, милочка! Неужто ты ни словечка не скажешь мистеру Дэви?

Она вздрогнула всем телом — я и сейчас это вижу. Когда я прикоснулся к ее руке, она была холодна — я это и сейчас чувствую — и казалась бы совсем безжизненной, если бы не высвободилась из моей руки. А потом Эмли медленно поднялась со стула и, подойдя с другой стороны к своему дяде, молча и все еще дрожа, припала к его груди.

— У нее такое любящее сердечко, что ему не под силу это горе,— сказал мистер Пегготи, приглаживая своею большой заскорузлой рукой ее пышные волосы.— Оно и натурально, мистер Дэви, что молодые непривычны к таким вот испытаниям и вдобавок робки, как моя птичка... оно и натурально!

Она еще крепче прильнула к нему, но не подняла головы, не проронила ни слова.

— Время уже позднее, моя милая,— сказал мистер Пегготи,— а вот и Хэм пришел, чтобы отвести тебя домой. Ну, ступай с ним — у него тоже любящее сердце. Ну, как же, Эмли? Ну, как, моя красоточка?

Звук ее голоса не коснулся моего слуха, но мистер Пегготи наклонил голову, как бы прислушиваясь, а затем сказал:

— Позволить тебе остаться с дядей? Да неужто ты об этом меня просишь? С дядей остаться, моя птичка? Да ведь твой муж — он скоро будет твоим мужем — ждет, чтобы отвести тебя домой! Ну, кто бы мог подумать, что

эта малютка прилепится к такому заскорузлому старику, как я! — сказал мистер Пегготи, с невыразимой гордостью озирая нас обоих.— Но в ее сердце больше любви к дяде, чем соли в море... глупенькая Эмли!

— И Эмли права, мистер Дэви! — заявил Хэм.— Раз Эмли этого хочет, да к тому же она так встревожена и напугана, я ее оставлю здесь до утра. Да уж и сам останусь!

— Э нет! — возразил мистер Пегготи.— Это не годится... чтобы женатый человек, или почти что женатый, взял да и пропустил рабочий день. Не годится и так — днем работать, а ночью ухаживать за больным! Ступай домой и ложись спать. За Эмли не тревожься, о ней здесь позаботятся, уж я-то знаю.

Хэм дал себя уговорить и взялся за шапку. Даже когда он поцеловал Эмли — я не видел, как он к ней подошел, но чувствовал, что природа наделила его сердцем джентльмена,— она еще крепче прижалась к своему дяде, словно отстраняясь от своего нареченного. Я бесшумно закрыл за ним дверь, чтобы ничем не нарушать тишины, царившей в доме; когда же я вернулся, мистер Пегготи все еще с ней разговаривал.

— Я поднимусь наверх и скажу твоей тетушке, что здесь мистер Дэви, и она немножко приободрится,— говорил он.— А ты, моя милая, посиди покуда у очага и погрей руки, они у тебя ледяные. Разве можно так бояться, принимать все так близко к сердцу!.. Что? Ты пойдешь со мной? Ну что ж, пойдем, пойдем!.. Знаете ли, мистер Дэви,— добавил мистер Пегготи с не меньшей гордостью, чем раньше,— если бы ее дядю выгнали из дому и пришлось бы ему валяться в канаве, я уверен, что она пошла бы за ним! Но скоро появится кто-то другой, да, кто-то другой, Эмли!

Позднее, когда я поднялся наверх и проходил мимо двери моей маленькой комнатки, где было темно, мне смутно почудилось, будто она лежит там, распростершись на полу. Но была ли то она, или в комнате сгустился мрак, я и по сей день не знаю.

У меня было время подумать у камелька о страхе перед смертью, который испытывала малютка Эмли,— памятуя о том, что говорил мистер Омер, я приписал

этому страху перемену, происшедшую с ней,— и, прежде чем сошла вниз Пегготи, пока я сидел в одиночестве, прислушиваясь к тиканью часов, охваченный торжественной тишиной, царившей вокруг, было у меня также время подумать более снисходительно об этой ее слабости. Пегготи заключила меня в свои объятия, призвала благословения на меня и снова и снова благодарила за то, что я принес ей утешение в ее горе (таковы были ее слова). Потом она умоляла меня пойти наверх, всхлипывая, говорила, что мистер Баркис всегда любил меня и восхищался мною и часто вспоминал обо мне, пока был в сознании, и она уверена, что если он придет в себя, то при виде меня оживится, ежели вообще может его оживить что-нибудь на свете.

Когда я его увидел, мне это показалось маловероятным. Он лежал на кровати в неудобной позе, свесив голову и руки и привалившись к сундучку, который стоил ему стольких трудов и забот. Я узнал, что, когда он уже не в силах был сползать с кровати, чтобы открывать его, и не в силах был всякий раз удостоверяться в его сохранности с помощью волшебной палочки, которою пользовался как-то на моих глазах, он потребовал, чтобы сундучок поставили на стул у кровати, и с той поры держал его в своих объятиях днем и ночью. И сейчас его рука покоилась на нем. Время и вселенная ускользали от него, но сундучок оставался на месте; и последние его слова, которые он произнес (как бы поясняя), были: «Всякое тряпье!»

— Баркис, миленький мой! — бодро проговорила Пегготи, наклоняясь к нему в то время, как ее брат и я стояли в ногах кровати.— Здесь мой дорогой мальчик... мой дорогой мальчик, мистер Дэви! Благодаря ему мы поженились, Баркис! Помнишь, ты передавал с ним поручения? Хочешь поговорить с мистером Дэви?

Он оставался нем и недвижим, как сундучок, который один только и придавал его фигуре какую-то выразительность.

— Он отойдет во время отлива,— сказал мне мистер Пегготи, прикрывая рот рукой.

Слезы стояли у меня на глазах, как и у мистера Пегготи; я шепотом повторил:

— Во время отлива?

— Здесь, на берегу, народ не помирает, покуда не сойдет вода,— сказал мистер Пегготи.— А рождаются здесь только во время прилива — рождаются на свет, когда вода стоит высоко. Он отойдет во время отлива. В половине четвертого кончается отлив, прилив начнется через полчаса. Если он дотянет до начала прилива, то, стало быть, продержится, пока вода не начнет опять спадать, и отойдет, когда снова начнется отлив.

Долго оставались мы здесь, смотря на него,— проходили часы. Не берусь сказать, какое таинственное влияние оказало на него мое присутствие, но когда, наконец, слабым голосом он начал что-то бормотать в бреду, то, несомненно, вспоминал о том, как отвозил меня в школу.

— Он приходит в себя,— сказала Пегготи.

Мистер Пегготи прикоснулся к моей руке и прошептал со страхом и благоговением:

— Кончается отлив, кончается и он.

— Баркис, миленький мой! — сказала Пегготи.

— К. П. Баркис — нет лучше женщины на свете! — слабым голосом воскликнул он.

— Да взгляни же! Вот и мистер Дэви! — сказала Пегготи, ибо он открыл глаза.

Я только что хотел спросить его, узнаёт ли он меня, как он попытался протянуть мне руку и сказал внятно, с ласковой улыбкой:

— Баркис не прочь!

Был отлив, и он отошел вместе с водой.

ГЛАВА XXXI

Утрата, еще более тяжкая

Мне нетрудно было уступить просьбам Пегготи и остаться до тех пор, пока останки бедного возчика не отправятся в свой последний путь в Бландерстон. Она давно уже купила на свои собственные, сбереженные ею деньги маленький клочок земли на нашем старом кладбище близ могилы «ее милочки»,— так называла она всегда мою мать,— и здесь они должны были покоиться.



Мне приятно думать, что, проводя время с Пегготи и делая для нее все возможное (в сущности, это было очень мало), я испытывал такое удовлетворение, которое и теперь мог бы себе только пожелать. Но боюсь, что еще бо́льшую радость, эгоистическую и профессиональную, я получил, когда взял на себя заботу о завещании мистера Баркиса и разъяснял его содержание.

Могу поставить себе в заслугу, что от меня исходило предложение поискать завещание в сундучке. После недолгих поисков его нашли в сундучке, на дне лошадиной торбы, где (кроме сена) были обнаружены: старые золотые часы с цепочкой и печатками, которые мистер Баркис носил в день свадьбы и которых ни до, ни после этого никто не видел; серебряная затычка в форме ноги, которой он уминал табак в трубке; игрушечный лимон, наполненный крохотными чашечками и блюдечками,— по моим догадкам, мистер Баркис купил его в подарок мне, когда я был ребенком, а потом не нашел в себе духу расстаться с ним; восемьдесят семь с половиной гиней — гинеями и полугинеями; двести десять фунтов новехонькими банкнотами; несколько квитанций на акции Английского банка; старая подкова, фальшивый шиллинг, кусок камфары и устричная раковина. Судя по виду сей последней, старательно отполированной и отливавшей с внутренней стороны всеми цветами радуги, я заключил, что мистер Баркис имел некоторое представление о жемчужинах, но к какому-либо твердому понятию так и не пришел.

В течение многих лет мистер Баркис брал с собой этот сундучок во все свои поездки. Чтобы не привлекать к нему внимания, он прибег к такой выдумке: сундучок-де принадлежит «мистеру Блекбою» и «оставлен на хранении у Баркиса до востребования»; эту небылицу он старательно запечатлел на крышке, но теперь буквы едва можно было разобрать.

Я убедился, что все эти годы он, тайно накапливая деньги, преследовал благую цель. После него осталось почти три тысячи фунтов. Проценты с одной тысячи он завещал в пожизненное пользование мистеру Пегготи; по смерти его капитал надлежало разделить поровну между Пегготи, малюткой Эмли и мной или теми из нас, кто останется в живых. Все прочее имущество он завещал

Пегготи, назначая ее своей наследницей и единственной исполнительницей его последней воли и завещания.

Я чувствовал себя настоящим проктором, когда со всеми церемониями читал этот документ и неоднократно разъяснял его по пунктам заинтересованным сторонам. Тут мне пришло в голову, что Докторс-Коммонс имеет больше значения, чем я предполагал. С величайшим вниманием я изучил завещание, объявил, что оно составлено безусловно по всем правилам, сделал две-три пометки карандашом на полях и сам подивился, какими познаниями я обладаю.

Неделю до похорон я провел за этим глубокомысленным занятием, составлял опись переходившего к Пегготи имущества и приводил в порядок дела, находясь около нее, к обоюдному нашему удовольствию, в качестве судьи и советчика по всем вопросам. Все это время я не видел малютки Эмли, но мне сказали, что через две недели состоится скромная свадьба.

Я присутствовал на похоронах не в полном параде, если можно так выразиться. Я хочу сказать, что на мне не было черного плаща и развевающихся лент — этого пугала для птиц; в Бландерстон я отправился пешком, спозаранку, и уже ждал на кладбище, когда прибыл гроб, провожаемый только Пегготи и ее братом. Сумасшедший джентльмен взирал на нас из маленького оконца моей комнаты; младенец мистера Чиллипа крутил своей тяжелой головой и таращил выпученные глаза на священника, выглядывая из-за плеча няньки; мистер Омер пыхтел на заднем плане; никого больше не было, все свершилось очень тихо. С часок мы побродили по кладбищу и сорвали несколько молоденьких листочков с дерева над могилой моей матери.

Тут меня охватывает страх. Облако нависает вдали над городом, к которому я в одиночестве направляю свои стопы. Я боюсь приблизиться к нему. Я не в силах думать о том, что̀ произошло в ту памятную ночь, о том, что̀ надвинется снова, если я продолжу рассказ.

Но ведь хуже не станет, если я об этом напишу, и не станет лучше, если рука моя откажется писать. Это свершилось. Не стереть того, что̀ свершилось. И изменить ничего нельзя.

На следующий день моя старая няня уезжала со мной в Лондон, по делу о завещании. Малютка Эмли проводила этот день у мистера Омера. Все мы должны были встретиться в тот вечер в старом баркасе. Хэм в обычный час приведет Эмли. Я не спеша приду пешком. Брат и сестра вдвоем возвратятся с кладбища и под вечер будут нас поджидать у камелька.

Я расстался с ними у калитки, где в былые дни мне виделся Стрэп, отдыхавший с пожитками Родрика Рэндома, и, вместо того чтобы вернуться в город, прошелся по дороге в Лоустофт. Потом я повернул назад и направился в Ярмут. Пообедал я в приличной харчевне в одной-двух милях от переправы, о которой упоминал раньше, а когда добрался до нее, день уже угасал и наступил вечер. К тому времени полил дождь, дул сильный ветер, но за облаками пряталась полная луна, и было не совсем темно.

Вскоре я очутился неподалеку от дома мистера Пегготи и увидел свет, струившийся из окна. Ноги вязли в сыром песке, и, с трудом пройдя несколько шагов, я приблизился к двери и вошел в дом.

Там было очень уютно. Мистер Пегготи выкурил уже свою вечернюю трубку, и шли приготовления к ужину. Ярко пылал огонь, зола была выметена, стоял на старом месте сундучок, ожидая малютку Эмли. Снова сидела на своем старом месте Пегготи, и вид у нее был такой (если бы не траурное ее платье), как будто она отсюда не уходила. Вновь рядом с нею стояла рабочая шкатулка с собором св. Павла на крышке, сантиметр в коттедже и огарок восковой свечи, словно их никогда отсюда не убирали. Миссис Гаммидж, кажется, потихоньку ворчала в своем прежнем уголке и, следовательно, тоже была такой, как всегда.

— Вы пришли первым, мистер Дэви,— с сияющей физиономией сказал мистер Пегготи.— Снимайте поскорее пальто, сэр, если оно промокло.

— Благодарю вас, мистер Пегготи,— ответил я, отдавая ему пальто, чтобы он его повесил.— Оно не промокло.

— И то правда! — сказал мистер Пегготи, щупая мои плечи.— Сухой как щепка. Присаживайтесь, сэр. Не-

зачем вам говорить: добро пожаловать, но все равно, говорю от всей души: добро пожаловать!

— Благодарю вас, мистер Пегготи, я знаю, что вы мне рады. Ну, Пегготи, а ты как поживаешь, моя старушка? — спросил я, целуя ее.

— Ха-ха! — засмеялся мистер Пегготи, подсаживаясь к нам, и с присущим ему добродушием потер руки, чувствуя облегчение после недавних забот.— Я уж ей говорю, сэр: нет другой женщины на свете, у которой может быть на душе спокойнее, чем у нее! Свой долг перед покойным она исполнила, и покойник это знал. И покойник сделал для нее все, что полагается, и она для покойника сделала все, что полагается, и... и... все в порядке!

Миссис Гаммидж застонала.

— Веселей, мамаша! — воскликнул мистер Пегготи (но, посмотрев на нас украдкой, он покачал головой, очевидно понимая, что недавнее событие могло вызвать в памяти событие давно минувшее).— Не падай духом! Хоть чуточку развеселись, там увидишь, как веселье само собой придет!

— Не ко мне, Дэниел! — возразила миссис Гаммидж.— Ко мне ничего само собой не придет, и оставаться мне одинокой и осиротелой!

— Да нет же...— сказал мистер Пегготи, успокаивая скорбящую.

— Ох, не говори, Дэниел! — отозвалась миссис Гаммидж.— Не годится мне жить с теми, кому оставлены деньги. Все против меня. Лучше вам от меня избавиться.

— Да как же бы я мог тратить деньги без тебя? — серьезным тоном начал увещевать ее мистер Пегготи.— О чем это ты толкуешь? Да разве теперь ты мне нужна меньше, чем прежде?

— Я всегда знала, что здесь во мне не нуждаются! — возопила, жалобно хныча, миссис Гаммидж.— А сейчас мне это и сказали! Да как я могла надеяться, что во мне нуждаются, когда я женщина одинокая, осиротелая и всем вам стою поперек дороги.

Очевидно, мистер Пегготи был весьма недоволен собой за то, что произнес речь, которую можно было истолковать столь дурно, но ответить помешала ему Пегготи, дернув его за рукав и покачав головой. В течение не-

скольких секунд он в полном расстройстве чувств смотрел на миссис Гаммидж, затем перевел взгляд на голландские часы, встал, снял нагар со свечи и поставил ее на окно.

— Ну, вот! — весело сказал мистер Пегготи.— Вот оно как, миссис Гаммидж! — Миссис Гаммидж тихонько застонала.— Окно, по обычаю нашему, освещено! Вы удивляетесь, для чего это делается, сэр? Да ведь это для нашей малютки Эмли. Видите ли, как наступят сумерки, так дорога-то становится не очень светлой и веселой... И если я прихожу к тому часу, когда Эмли возвращается домой, я ставлю свечу на окно. Вот тут-то, видите ли, две цели достигнуты,— добавил мистер Пегготи, с сияющей физиономией наклоняясь ко мне.— Сначала Эмли говорит: «А вот и мой дом!» Вот что она говорит. А потом она говорит: «И дядя мой дома!» Потому, если бы не было меня дома, я бы не выставил свечи.

— Экий ты младенец! — сказала Пегготи; и если она и в самом деле так думала, то, пожалуй, любила его за это еще больше.

— Ну, кто его знает! — возразил мистер Пегготи; он стоял, широко расставив ноги, и с довольным видом потирал их обеими руками, посматривая то на нас, то на огонь в очаге.— Не очень-то я похож по виду на младенца.

— Не особенно,— согласилась Пегготи.

— О да,— засмеялся мистер Пегготи.— По виду не очень-то похож, но... коли подумать... да, господи помилуй, не все ли мне равно! А теперь я вам вот что скажу: когда случается мне пойти да поглядеть на хорошенький домик нашей Эмли, то... Ах, провалиться мне на этом месте! — неожиданно и весьма энергически воскликнул мистер Пегготи.— Ну, вот. Как бы это получше сказать? Я будто чувствую, что самая маленькая вещичка там — все равно что она сама. Беру я эту вещичку и кладу ее на место, и так, знаете ли, осторожно, как будто это наша Эмли. И то же самое с ее шляпками и другими вещами. Я бы не стерпел, если бы с ними обращались грубо — никак бы не стерпел! Вот вам и младенец, с виду похожий на большущего морского ежа! — воскликнул мистер Пегготи, закончив свою торжественную речь оглушительным хохотом.

Засмеялись и мы с Пегготи, но не так громко.

— А дело-то вот какое,— с восторженной миной продолжал мистер Пегготи, снова потерев ноги,— еще в ту пору, когда она была совсем малютка, едва доросла мне до колена, мы с ней, знаете ли, играли в разные игры и воображали, будто мы и турки, и французы, и акулы, и всякие там иностранцы... да, господи помилуй, и львы, и киты, и невесть что еще... вот я, знаете ли, и привык. А возьмем хоть вот эту свечу! — Мистер Пегготи радостно указал на нее рукой.— Уж я-то знаю: когда Эмли выйдет замуж и уйдет отсюда, я буду выставлять эту свечу точь-в-точь по-старому. Уж я-то знаю: когда я буду сидеть тут по вечерам (а где же мне и жить, господи помилуй, как не здесь, какое бы наследство я ни получил!) в те дни, когда ее здесь не будет или я туда к ней не пойду, я буду ставить свечу на окно, сидеть у очага и воображать, будто я ее поджидаю, точь-в-точь как поджидаю сейчас. Вот вам и младенец, похожий с виду на морского ежа! — воскликнул мистер Пегготи, снова захохотав.— Да вот и теперь, сию минуту, когда я смотрю, как горит свеча, я себе говорю: «Эмли на нее смотрит. Она сейчас придет!» Вот вам и младенец, с виду похожий на морского ежа! А я не ошибся,— добавил мистер Пегготи, оборвав свой смех и захлопав в ладоши,— вот и она!

Но это был только Хэм. Должно быть, дождь усилился с тех пор, как я пришел, потому что Хэм был в большой клеенчатой шляпе, надвинутой на глаза.

— Где Эмли? — спросил мистер Пегготи.

Хэм мотнул головой, словно давая понять, что она осталась снаружи. Мистер Пегготи взял свечу с окна, снял с нее нагар, поставил ее на стол и принялся размешивать угли в очаге, а тем временем Хэм, все еще стоявший на прежнем месте, сказал мне:

— Мистер Дэви, выйдите-ка на минутку, посмотрите, что́ мы с Эмли хотим вам показать.

Мы вышли. Он пропустил меня вперед, и я с удивлением и испугом заметил, что он смертельно бледен. Он быстро вытолкнул меня наружу и закрыл за нами дверь. За нами двумя.

— Хэм! Что случилось?

— Мистер Дэви...

О, несчастный, как горько он зарыдал!

Я оцепенел при виде такого горя. Не знаю, о чем я тогда подумал, чего ужаснулся. Я мог только смотреть на него.

— Хэм! Бедный мой Хэм! Ради бога, скажите мне, что случилось!

— Моя любовь, мистер Дэви... радость и надежда моего сердца... Ради нее я готов был отдать жизнь, отдал бы и теперь... она ушла!

— Ушла!

— Эмли убежала! О мистер Дэви, подумайте, *как* она убежала, если я молю сейчас милосердного бога убить ее (а она мне дороже всего на свете), только бы не дать ей дойти до бесчестья и погибели!

Его лицо, обращенное к затянутому облаками небу, его крепко стиснутые дрожащие руки, его страдальческий вид остаются и по сей день в моих воспоминаниях неразрывно связанными с этим пустынным берегом. Здесь всегда ночь, и он — единственное живое существо на берегу.

— Вы человек ученый, вы знаете, как лучше поступить,— торопливо продолжал он.— Что мне сказать там, дома? Мистер Дэви, как объявлю я об этом ему?

Я увидел, что дверь приоткрывается, и инстинктивно сделал попытку придержать щеколду, чтобы выиграть время. Слишком поздно! Мистер Пегготи высунул голову, и никогда не забыть мне, как изменилось его лицо, едва он увидел нас,— никогда, хотя бы я прожил пятьсот лет.

Помню громкий стон и крик, помню женщин, бросившихся к нему, и вот мы все стоим в комнате. У меня в руке записка, которую дал мне Хэм. А у мистера Пегготи расстегнут жилет, волосы взъерошены, лицо и губы совсем белые, и кровь тоненькой струйкой стекает по его груди (вероятно, она брызнула у него изо рта); он пристально смотрит на меня.

— Читайте, сэр,— тихим, дрожащим голосом сказал он.— Медленно, прошу вас. Не знаю, смогу ли я понять...

Среди мертвой тишины я стал читать закапанное слезами письмо:

— «Когда ты, любящий меня гораздо больше, чем я того заслуживала даже в то время, когда мое сердце было невинно, получишь это письмо, я буду очень далеко».

— Я буду очень далеко,— медленно повторил он.— Постойте! Эмли очень далеко. Читайте!

— «Когда я покину завтра утром мой любимый дом... любимый дом... о да, мой любимый дом...»

Письмо было написано, судя по пометке, вчера вечером.

— «...я его покину, чтобы никогда не возвращаться, если он не привезет меня сюда настоящей леди. Ты найдешь это письмо спустя много часов завтра вечером. О, если бы ты знал, как разрывается у меня сердце! Если бы ты, которому я причинила такое зло, что никогда не простить тебе меня, если бы ты только мог знать, как я страдаю! Но я слишком большая грешница, чтобы писать о себе. Пусть утешит тебя мысль, что я такая плохая. Ради господа бога скажи дяде, что никогда еще я так горячо не любила его, как теперь. Ох, не вспоминай о том, как вы все были ласковы и добры ко мне... не вспоминай о том, что мы с тобой должны были пожениться, но постарайся думать обо мне так, как будто я умерла, когда была маленькой, и меня где-то похоронили. Молю небеса, которых я недостойна, сжалиться над моим дядей! Скажи ему, что я никогда еще не любила его так горячо. Будь ему утешением. Полюби какую-нибудь честную девушку, которая будет верна тебе и достойна тебя, а для дяди станет тем, чем была когда-то я. И пусть в вашей жизни не будет иного позора, чем тот, который принесла вам я! Да благословит бог всех вас! Я часто буду на коленях молить бога за вас. Если он не привезет меня назад настоящей леди и я не смогу больше молиться за себя, я буду молиться за вас. Мой прощальный нежный привет дяде. Мои последние слезы и последняя моя благодарность дяде!»

Это было все.

Я давно уже перестал читать, а мистер Пегготи все стоял и смотрел на меня. Наконец я решился взять его за руку и, как мог, стал умолять, чтобы он попытался

овладеть собой. Он ответил: «Благодарю вас, сэр, благодарю вас»,— и не пошевельнулся.

Хэм заговорил с ним. Мистер Пегготи почувствовал его скорбь и стиснул ему руку, но продолжал стоять все в той же позе, и никто не смел его потревожить.

Наконец он медленно, словно оторвавшись от какого-то видения, отвел глаза от моего лица и обвел взглядом комнату. Потом тихим голосом сказал:

— Кто этот человек? Я хочу знать его имя.

Хэм взглянул на меня, и я пошатнулся словно от удара.

— Ты кого-то подозреваешь? — спросил мистер Пегготи.— Кто он?

— Мистер Дэви! — взмолился Хэм.— Выйдите на минутку, а я скажу ему то, что должен сказать. Не годится вам это слушать, сэр.

Снова я пошатнулся. Опустившись на стул, я попытался что-то ответить, но язык у меня онемел, а в глазах помутилось.

— Я хочу знать его имя! — снова услышал я.

— Последнее время...— заикаясь, начал Хэм,— сюда наезжал... один человек, слуга. И еще бывал здесь один джентльмен. Они были заодно.

Мистер Пегготи по-прежнему стоял неподвижно, но теперь он смотрел на Хэма.

— Слугу видели вчера вечером... с нашей бедной девочкой,— продолжал Хэм.— Всю эту неделю или побольше того он где-то здесь прятался. Думали, он уехал, а он прятался. Не оставайтесь здесь, мистер Дэви, не оставайтесь!

Я почувствовал, как рука Пегготи обвилась вокруг моей шеи, но я не смог бы двинуться с места, даже если бы потолок грозил обрушиться мне на голову.

— Сегодня утром, когда еще не совсем рассвело, за городом на Норвичской дороге видели чью-то карету и лошадей,— продолжал Хэм.— К ней направился слуга, потом ушел, потом появился снова. Когда он появился снова, с ним была Эмли. Тот, другой, сидел в карете. Это тот самый человек.

— Ради бога! — пробормотал мистер Пегготи, отшатнувшись и вытянув руку, словно хотел отстранить от

себя что-то, чего он страшился.— Не говорите мне, что его имя — Стирфорт!

— Мистер Дэви! — дрожащим голосом воскликнул Хэм.— Вашей вины тут нет... у меня и в мыслях не было вас винить... но его имя — Стирфорт, и он — последний негодяй!

Мистер Пегготи не вскрикнул, не пролил ни одной слезы, не сделал ни единого движения; но потом вдруг как будто опять проснулся и ухватился за свою грубую куртку, висевшую на гвозде в углу.

— Помогите снять! Мне что-то худо, не могу управиться сам,— нетерпеливо сказал он.— Да помогите же мне! Вот так,— добавил он, когда кто-то пришел на помощь.— А теперь дайте вон ту шляпу!

Хэм спросил его, куда он идет.

— Я иду искать мою племянницу. Иду искать мою Эмли! Сперва пойду и продырявлю то судно... Пущу на дно там, где, клянусь богом, утопил бы *его,* если бы только мог догадаться, что запало ему в голову... Если бы только я знал об этом, когда он сидел передо мной,— с бешенством продолжал мистер Пегготи, вытянув сжатую в кулак правую руку,— когда он сидел и смотрел мне в лицо, умереть мне на этом месте, я бы утопил его и считал себя правым! Я иду искать мою племянницу.

— Где? — вскричал Хэм, становясь между ним и дверью.

— Везде! Я буду искать мою племянницу по всему свету. Я найду мою бедную, опозоренную племянницу и приведу ее домой. Не удерживайте меня! Говорю вам, я иду искать мою племянницу!

— Нет, нет! — вся в слезах воскликнула миссис Гаммидж, бросаясь между ними.— Нет! Дэниел, сейчас ты не пойдешь! Ты пойдешь искать ее немного погодя, бедный мой покинутый Дэниел... Так оно и нужно сделать, но сейчас не иди. Сядь и дай мне попросить у тебя прощенья, Дэниел, за то, что я всегда была для тебя обузой... Что́ значат все мои беды по сравнению с этой бедой!.. Давайте поговорим о тех временах, когда она осиротела, и Хэм тоже осиротел, а я была бедной вдовой, и ты меня взял к себе в дом. Бедное твое сердце смягчится, Дэниел,— она прислонилась головой к его плечу,— и тебе

легче будет переносить боль! Ведь ты помнишь обетование, Дэниел: «Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» *, и оно сбудется под этим кровом, где мы столько лет находили пристанище.

Теперь он был готов покориться всем и каждому, и когда я услышал, как он рыдает, желание броситься на колени, просить у них прощенья за то горе, какое я на них навлек, и проклясть Стирфорта, уступило место более высокому чувству. Мое наболевшее сердце обрело такое же утешение, и я тоже зарыдал.

ГЛАВА XXXII

Начало долгого странствия

Что свойственно мне — свойственно и многим другим людям, я полагаю, и вот почему я не боюсь сознаться, что никогда я не любил Стирфорта больше, чем тогда, когда разорвались узы, привязывавшие меня к нему. Я был глубоко потрясен, узнав о его низости, но больше, чем когда бы то ни было, больше, чем в период самой беззаветной моей любви к нему, я думал теперь о его блестящих способностях, умилялся всем, что было хорошего в его натуре, и воздавал должное тем его качествам, благодаря которым он мог бы стать благороднейшим человеком и прославить свое имя. Как бы глубоко я ни чувствовал, что бессознательно принимал участие в его преступлении, опозорившем честную семью, но, мне кажется, если бы я очутился с ним лицом к лицу, у меня не хватило бы духу бросить ему хотя бы один упрек. Я все еще любил его, хотя и прозрел, я все еще сохранял такую нежную память о моей любви к нему, что, думается мне, походил бы на слабого, обиженного ребенка и только лелеял бы надежду на примирение. Но этой надежды у меня не было. Я чувствовал, так же как и он, что между нами все кончено. Какие у него остались обо мне воспоминания — мне неизвестно; думаю, что самые поверхностные, да и те скоро стерлись, но я-то помнил о нем, как помнят о горячо любимом друге, о друге, который умер.

Да, Стирфорт, вы ушли со страниц этого непритязательного повествования! Быть может, моя скорбь, помимо воли моей, обличит вас перед престолом судии, но моя злая память или мои укоры — никогда!.. Это я знаю.

Слухи о том, что случилось, скоро распространились по городу, и, когда на следующее утро я шел по улицам, я слышал, как люди судачили об этом у своих дверей. Многие жестоко осуждали ее, некоторые жестоко осуждали его, но ее приемный отец и жених вызывали у всех только жалость. Все без исключения выражали им сочувствие в постигшем их горе, и это сочувствие было искренним и деликатным. Когда эти два человека медленно шли рано утром по берегу, рыбаки держались в сторонке и, собравшись кучками, толковали о них с глубоким состраданием.

Там, на берегу, у самого моря, я нашел их обоих. Нетрудно было заметить, что всю ночь они не спали, даже если бы Пегготи не сказала мне, что до самого рассвета они оставались там, где я их покинул. У обоих был измученный вид, и я подумал о том, что за одну эту ночь голова мистера Пегготи поникла больше, чем за все годы нашего знакомства. Но они оба были сумрачны и непоколебимы, как само море, а море в тот день тихо лежало под темным небом и мерно катило тяжелые валы, словно дышало в своем покое, тронутое только у горизонта полосой серебряного света, посланного незримым солнцем.

— У нас было о чем поговорить, сэр... О том, что мы должны делать и чего не должны,— обратился ко мне мистер Пегготи после того, как мы все втроем прошли некоторое расстояние в полном молчании.— И теперь мы знаем наш путь.

Ненароком я взглянул на Хэма, который всматривался в далекую светлую полосу, и тут у меня мелькнула страшная мысль... Не то, чтобы лицо его дышало гневом, нет, оно выражало только непоколебимую решимость, но... у меня мелькнула мысль, что если он когда-нибудь встретится со Стирфортом, то убьет его.

— Здесь я исполнил свой долг, сэр,— произнес мистер Пегготи.— Я иду искать мою...— Тут он запнулся, но голос его был тверд, когда он продолжал: — Я иду искать *ее*. Отныне это мой единственный долг.

Он покачал головой, когда я спросил его, где он будет ее искать; затем он задал мне вопрос, еду ли я завтра в Лондон. Я ответил, что не уехал сегодня только из желания быть ему чем-нибудь полезным. Но я готов ехать, когда ему будет удобно.

— Если вы согласны, сэр, завтра я поеду вместе с вами,— сказал он.

И снова мы шли в полном молчании.

— Что до Хэма, так он будет по-прежнему здесь работать,— снова заговорил мистер Пегготи,— а жить он будет вместе с моей сестрой. А вот тот старый баркас...

— Вы хотите покинуть старый баркас, мистер Пегготи? — спросил я осторожно.

— Теперь мое место не здесь, мистер Дэви,— ответил он.— И если уж поминать о затонувших судах, которые исчезали в темной пучине, то этот мой баркас затонул... Но нет, сэр! Я совсем не хочу, чтобы его покинули. Совсем не хочу...

И опять мы шли молча, пока он не пояснил:

— Я вот чего хочу, сэр: я хочу, чтобы он оставался в таком своем виде, как был, мой баркас, и днем оставался и ночью, и летом и зимой... А вдруг она вернется назад, и вот тут, знаете ли, нехорошо, ежели старое пепелище изменит ей, нет, знаете ли, пусть оно поманит ее подойти поближе... И кто знает, может она заглянет в окошко, совсем как привидение, под шум дождя, и ветер будет реветь, и тут она увидит старое свое местечко у очага. А тогда, мистер Дэви, она заметит, что, кроме миссис Гаммидж, никого нет, и наберется духу и тихонечко, дрожа от страха, она проскользнет в старый дом к своей прежней кроватке и приклонит измученную головку там, где когда-то она покоилась, такая радостная...

Я пытался что-то сказать, но не мог.

— Каждый вечер, как только стемнеет, будет гореть свеча у окошка, как бывало, и если только она когда-нибудь завидит свечу, может быть она услышит призыв: «Вернись, дитя мое, вернись!» А ты, Хэм, если услышишь когда-нибудь в сумерках стук у двери своей тетки — особливо тихий стук,— ты не должен подходить к двери. Пусть откроет тетка... не ты. Пусть она первая увидит мое погибшее дитя...

Он ускорил шаг и некоторое время шел впереди нас. Тут я снова взглянул на Хэма; он по-прежнему не отрывал глаз от далекой полоски света; я коснулся его руки. Дважды я окликал его, словно спящего, но он не отзывался. Наконец я спросил, о чем он так задумался.

— О том, что впереди, мистер Дэви, вон там...

— О том, какая вас ждет жизнь? Вы об этом говорите?

Он махнул рукой в сторону моря.

— Вот-вот, мистер Дэви. Не знаю, как оно будет, но, мне кажется, вон оттуда придет... конец.

И он посмотрел на меня так, словно только что проснулся, но по-прежнему вид у него был сосредоточенный.

— Какой конец? — спросил я, и снова меня охватил страх.

— Не знаю,— сказал он задумчиво.— Я вспоминал о том, что все началось здесь... и здесь наступит конец. Но не будем об этом говорить! Мистер Дэви,— продолжал он, заметив, по-видимому, выражение моего лица,— вам бояться меня нечего, это у меня просто в голове помутилось... Я что-то не в себе...

И он вправду был сам не свой.

Мистер Пегготи остановился и ждал, пока мы не поравнялись с ним; больше мы не произнесли ни слова. Воспоминания об этом разговоре и прежние мои опасения время от времени начинали преследовать меня, и так было вплоть до того часа, когда неумолимо, в назначенные сроки, конец наступил.

Незаметно для самих себя мы оказались возле старого баркаса и вошли. Миссис Гаммидж больше не дулась в своем уголке, а готовила завтрак. Она взяла у мистера Пегготи его шляпу, придвинула для него стул и сказала так участливо и мягко, что я ушам своим не поверил:

— Милый мой Дэниел, ты должен есть и пить и набираться сил, тебе они теперь нужны. Постарайся, добрая ты душа! А если моя трескотня тебе невтерпеж, — она имела в виду свою болтливость,— тебе стоит только сказать, и я замолчу.

Поставив завтрак на стол, она отошла к окну и усердно занялась починкой рубашек мистера Пегготи и

других его вещей; затем она аккуратно уложила их в старый клеенчатый мешок, какой бывает у моряков. Занимаясь этим делом, она говорила все так же мягко:

— Всегда и во всякую пору я буду здесь, Дэниел, и все будет так, как ты хочешь. Я не больно учена, но когда ты отправишься в путь, буду тебе писать и посылать мои письма мистеру Дэви. Было бы хорошо, Дэниел, если бы и ты иной раз написал, каково тебе одному в твоем печальном странствии.

— Боюсь, ты будешь здесь тосковать,— сказал мистер Пегготи.

— О, ничего, ничего, Дэниел! — ответила она.— Не беспокойся обо мне. Дел у меня хватит, Дэниел, надо ведь содержать его в порядке (миссис Гаммидж разумела домашний очаг), покуда ты не вернешься или не вернется кто-нибудь другой... А в хорошую погоду я буду сидеть, как бывало, у двери. *И если кто сюда вернется,* он еще издали увидит верную старуху вдову.

Какая перемена в миссис Гаммидж за такой короткий срок! Она стала совсем другой женщиной. Она стала такой преданной, так быстро соображала, что̀ следует сказать и о чем лучше помолчать, так мало заботилась о себе и проявляла такую чуткость к горю других, что я проникся к ней большим уважением. А как она работала в этот день! Немало вещей надо было принести с берега и сложить в сарае — весла, сети, паруса, снасти, запасные мачты и реи, чаны для омаров, мешки с балластом и прочее и прочее... И хотя в помощниках не было недостатка, хотя на всем берегу не сыскать было человека с крепкими руками, который не пожелал бы работать изо всех сил для мистера Пегготи, радуясь уже одному тому, что его об этом попросили, но миссис Гаммидж в течение всего дня упорно бралась за непосильную для нее работу и металась то туда, то сюда, принимаясь за самые разнообразные дела, едва ли, впрочем, нужные. Что же касается до сетований на свою несчастную судьбу, то, по-видимому, она даже забыла, каковы были ее невзгоды. При всей своей участливости она не теряла ровного, хорошего расположения духа, что было едва ли не самым удивительным в той перемене, какая с ней произошла. Брюзжания и в помине не осталось. За целый день вплоть

до сумерек ни разу голос ее не дрогнул, ни одна слезинка не показалась на глазах. А когда мы, наконец, остались втроем — она, я и мистер Пегготи, и последний, окончательно выбившись из сил, задремал,— она потянула меня к порогу и, с трудом сдерживая рыдания, прошептала:

— Да благословит вас господь, мистер Дэви! Будьте всегда ему другом, бедняжке!

И она быстро вышла за дверь и ополоснула лицо водой, для того чтобы он нашел ее совсем спокойной, когда проснется, и увидел, что она мирно сидит около него за работой. Одним словом, она осталась поддержкой и опорой мистера Пегготи в его горе, а я, покинув их вечером, не переставал размышлять об уроке, полученном мною от миссис Гаммидж, и об опыте, который я приобрел благодаря ей.

Был десятый час, когда я, печально бродя по городу, заглянул к мистеру Омеру. Его дочь сообщила мне, что мистер Омер принял очень близко к сердцу происшедшее событие, целый день был очень огорчен и подавлен и перед сном даже не выкурил своей трубки.

— Лживая, дурная девушка! — сказала миссис Джорем.— И никогда ничего хорошего в ней не было.

— Не говорите так! — запротестовал я.— Вы этого не думаете.

— Нет, думаю! — раздраженно воскликнула миссис Джорем.

— Нет, не думаете! — повторил я.

Миссис Джорем тряхнула головой и попыталась принять вид суровый и непреклонный, но не могла справиться с мягкой своей натурой и расплакалась. Правда, я был еще юн, но такое выражение чувств весьма подняло ее в моих глазах, и я подумал, что оно очень к лицу ей, добродетельной жене и матери.

— Что же она будет делать! — рыдала Минни.— Куда она пойдет? Что с ней станется? Как она могла так жестоко поступить и с собой и с ним!

Я вспомнил о тех временах, когда сама Минни была девушкой, юной и миловидной, и обрадовался, что и она об этом не забыла.

— Моя малютка Минни,— продолжала миссис Джорем,— только что легла спать. Но даже во сне она плачет

об Эмли. И целый день малютка Минни плакала об ней и все спрашивала, правда ли, что Эмли такая нехорошая. Что же мне было ей сказать, если Эмли в последний свой приход к нам — это было вечером — сняла со своей шеи ленточку и повязала ее вокруг шеи малютки Минни? А потом опустила на подушку свою голову рядом с головкой Минни и ждала, пока та крепко уснет... И теперь эта ленточка на шейке Минни. Может быть, ее нужно снять, но как мне быть? Эмли — очень дурная, но они так друг друга любили! А ведь ребенок ничего не понимает...

Миссис Джорем была в таком расстройстве, что ее муж вышел из своей комнаты и стал ее успокаивать. Я оставил их вдвоем и отправился домой, к Пегготи, еще более печальный, чем раньше, если это только было возможно.

Это доброе создание — я разумею Пегготи,— не обращая внимания на свою усталость, вызванную бессонными ночами и тревогой за мужа, осталась у брата, где хотела пробыть до утра. В доме, кроме меня, была только старушка, которую Пегготи наняла несколько недель назад, когда уже не могла заботиться о хозяйстве. В услугах старушки я не нуждался и отослал ее спать, что было ей весьма по душе, а сам уселся в кухне перед очагом, чтобы все обдумать.

Я думал о последних событиях, думал о смерти мистера Баркиса, потом меня словно подхватила волна и повлекла к тем далям, в которые так странно вглядывался этим утром Хэм, как вдруг стук в дверь прервал течение моих смутных мыслей. На двери висел молоток, но это не был удар молотком. Это был стук рукой, да к тому же в нижнюю часть двери, как будто стучал ребенок.

Это заставило меня вскочить, словно явился лакей какой-нибудь знатной особы. Я открыл дверь и, к своему удивлению, не увидел ничего, кроме огромного зонтика, который, казалось, пришел сам собой. Но тут же я обнаружил под ним мисс Моучер.

Едва ли встретил бы я приветливо это крохотное существо, если бы увидел на лице мисс Моучер, тщетно пытавшейся закрыть зонтик, то «игривое» выражение, которое произвело на меня такое сильное впечатление во время нашего первого и последнего свидания. Но когда

она обратила ко мне свое лицо, оно было очень серьезно. А когда я освободил ее от зонтика, весьма неудобного даже для ирландского великана *, она сжала свои ручонки с таким огорченным видом, что я даже почувствовал к ней симпатию.

— Мисс Моучер, как вы сюда попали? В чем дело? — проговорил я и окинул взглядом пустынную улицу, не совсем ясно, впрочем, понимая, зачем мне это нужно.

Коротенькой правой ручкой она сделала мне знак закрыть зонтик и прошмыгнула мимо меня в кухню. Когда я затворил дверь и с зонтиком в руке вошел в кухню вслед за нею, мисс Моучер уже сидела на уголке каминной решетки — она была низенькая, с двумя перекладинами наверху для тарелок,— сидела, укрывшись в тени котелка, и, покачиваясь, терла руками колени, словно ей было больно.

Встревоженный тем, что мне приходится в одиночестве принимать такую нежданную гостью и наблюдать столь странное ее поведение, я снова воскликнул:

— Прошу вас, мисс Моучер, скажите, в чем дело? У вас что-нибудь болит?!

— О милый мой юноша! — воскликнула мисс Моучер, прикладывая обе ручки к сердцу.— У меня болит вот здесь! У меня очень болит вот здесь! Подумать только, что это могло так кончиться! А ведь я, безмозглая дура, могла бы все предвидеть и, пожалуй, предотвратить!

И снова ее большая шляпа, так не соответствовавшая размерам ее нескладной фигурки, закачалась взад и вперед вместе с ее крохотным телом, а на стене заколыхалась шляпа совсем гигантская.

— Я поражен, видя вас в таком огорчении и...

Но она прервала меня.

— Вечно одно и то же! — воскликнула она.— Они всегда поражены, эти опрометчивые юнцы, высокие и рослые, когда видят, что такое маленькое существо, как я, способно что-то чувствовать! Я для них только игрушка, они забавляются мною, а потом бросают, когда им это прискучит... И они недоумевают, как же это я чувствую глубже, чем игрушечная лошадка или деревянный солдатик! Да, да, всегда так. Вечно одно и то же!

— Может быть, в иных случаях это и верно, но, уверяю вас, я не таков, как вам кажется,— сказал я.— Возможно, я не должен был удивляться, когда увидел вас в таком состоянии... Ведь я вас так мало знаю. Я сказал не подумав...

— Что мне остается делать? — спросила крошечная женщина, вставая и разводя руками, чтобы я мог видеть ее всю, с головы до пят.— Вот, смотрите! Я вот такая, и мой отец был такой, и у меня такая сестра и брат такой. Много лет работаю я ради брата и сестры, изо всех сил работаю, мистер Копперфилд, с утра до ночи. Ведь я должна жить. И никому я зла не приношу. Если находятся такие люди, которые по недомыслию или из жестокости подсмеиваются надо мной, что же мне остается делать, как не смеяться над собой, над ними, над всем на свете? Ну что ж, иногда я так и делаю. Чья же это вина? Моя?

Нет. Я понял, что это не вина мисс Моучер.

— Если бы ваш вероломный друг увидел, что у карлицы есть сердце,— продолжала крошечная женщина, с упреком покачивая головой,— неужто вы думаете, что он отнесся бы ко мне благосклонно, захотел бы мне помочь? Если бы маленькая Моучер (которая отнюдь не виновата, молодой джентльмен, в том, что она такой родилась) обратилась в беде к нему или к таким, как он, неужто вы думаете, что они бы услышали ее слабый голос? Маленькая Моучер, будь она самой злобной и тупой из пигмеев, все равно нуждалась бы в средствах к существованию, но чего бы она добилась? Ничего! Она задохлась бы в погоне за хлебом насущным!

Мисс Моучер снова опустилась на каминную решетку, достала носовой платок и вытерла глаза.

— Вы лучше порадовались бы за меня, если у вас добрая душа,— а я думаю, она у вас добрая,— порадовались тому, что я все это выношу и умею быть веселой, хотя и знаю, какова я... А я, во всяком случае, радуюсь, что мне удается идти своей дорожкой в жизни и никому за это не быть обязанной, и что на все то, чем в меня швыряют по глупости или из тщеславия, я отвечаю только невинным обманом. Я не горюю о том, чего у меня нет в жизни,— ну что ж, так для меня лучше, а повредить

это никому не может. И если для вас, великанов, я только игрушка, то хотя бы обращайтесь со мной деликатно!

Мисс Моучер спрятала платок в карман и продолжала, пристально на меня глядя:

— Я видела вас только что на улице. Ноги у меня короткие, в придачу одышка, сами понимаете — я не в состоянии ходить так быстро, как вы, и не могла вас догнать. Но я догадалась, куда вы идете, и вот я здесь. Я уже заходила сюда сегодня, но доброй хозяйки не было дома.

— А вы ее знаете? — спросил я.

— Я знаю о ней от Омера и Джорема. Я была здесь сегодня утром, в семь часов утра. Помните, что сказал мне Стирфорт об этой несчастной девушке, когда я видела вас обоих в гостинице?

Огромная шляпа на голове мисс Моучер и еще более огромная шляпа на стене закачались, когда она задала этот вопрос.

Я очень хорошо помнил то, о чем она говорила, и в течение дня не раз об этом думал. Так я и сказал ей.

— Да проклянет его сам дьявол! — воскликнула крошечная женщина, подняв указательный палец перед сверкающими своими глазами.— И да будет трижды проклят этот негодный слуга! А я-то думала, что вы еще с детства влюблены в нее.

— Я?

— О дитя, дитя! Скажите же мне, заклинаю вас, почему вы так восхваляли ее, краснели и были так взволнованы? — воскликнула мисс Моучер, ломая руки и ерзая на своем сиденье.

Про себя я должен был сознаться, что так оно и было, но совсем по другой причине.

— Что я могла знать? — продолжала мисс Моучер, снова вынула носовой платок и, держа его обеими руками, стала прикладывать к глазам, всякий раз топая при этом ножкой.— Он то помучит вас, то приласкает, я это видела! А вы — вы были воском в его руках, я это тоже видела. Как только я вышла тогда из комнаты, его слуга мне сказал, что «невинный юнец» (так он вас называл, а вам всю вашу жизнь следует звать его «старый негодяй») влюблен в девушку, а она, мол, ветреная особа и вы ей нравитесь, но его хозяин не позволит, чтобы

дело дошло до беды,— больше ради вас, чем ради нее,— и потому, мол, они находятся здесь. Как же я могла этому не поверить? Когда Стирфорт пел ей хвалу, я видела, что это вам льстит и услаждает ваш слух! Ведь это вы первый назвали ее имя. И вы сознались, что уже давно восхищаетесь ею. Как только я заговорила о ней, вас начало бросать то в жар, то в холод, вы то краснели, то бледнели. Что же я могла подумать, что же мне оставалось думать? Да только одно: вы молодой повеса, которому не хватает лишь опыта, но попали в руки человеку, достаточно опытному, и он, если захочет, может вас уберечь для вашего же блага. Ох! Они очень боялись, что я доберусь до истины! — воскликнула мисс Моучер, соскочила с решетки и засеменила по кухне, в отчаянии воздевая ручки.— Они знали, как я проницательна,— ведь я должна быть проницательной, чтобы пробиваться в жизни! — и они меня провели, и я передала этой несчастной девушке письмо, а благодаря ему, я уверена, и завязались ее отношения с Литтимером, которого нарочно оставили здесь.

Я стоял, ошеломленный открывшимся мне вероломством, и смотрел на мисс Моучер, которая бегала по кухне взад и вперед, пока не запыхалась; тогда она снова присела на каминную решетку и, вытирая лицо платком, долго покачивала головой, не делая никаких других движений и не нарушая молчания.

— Я разъезжала по этим местам и попала, мистер Копперфилд, третьего дня вечером в Норвич,— продолжала она.— Тут мне довелось узнать, что они приезжали сюда и уехали — без вас; это было странно, и я заподозрила недоброе. Вчера вечером я села в лондонскую карету, проезжавшую через Норвич, и сегодня утром прибыла сюда. Ох! Слишком поздно!

Бедняжку Моучер стало так знобить от волнения и слез, что она повернулась на решетке и погрузила промокшие ножки в теплую золу, чтобы их согреть; так она и сидела, словно большая кукла, пристально глядя на огонь. А я сидел на стуле по другую сторону камина, думал невеселую думу и смотрел то на огонь, то на нее.

— Мне нужно идти,— наконец сказала она, вставая.— Уже поздно. Вы мне доверяете?

Взгляд, брошенный на меня, был проницательный,— как всегда проницательный,— и, по совести говоря, в ответ на этот короткий призыв я не смог сказать «да».

— Ну, что ж! Вы сами знаете, что доверяли бы мне, будь я такого же роста, как и все люди,— сказала она и, опираясь на предложенную мной руку, спрыгнула с решетки и зорко посмотрела на меня.

В этом была немалая доля истины, и мне стало стыдно.

— Вы еще молоды,— продолжала она, покачивая головой.— Послушайтесь доброго совета,— хотя бы он исходил от коротышки ростом в три фута. Только тогда, мой друг, когда у вас есть веские основания, связывайте физические недостатки с моральными.

Теперь она рассталась с каминной решеткой, а я расстался со своими подозрениями. И я сказал ей, что верю в ее искренность и что мы оба оказались слепым орудием в руках вероломных людей. Она поблагодарила меня и назвала «хорошим юношей».

— А теперь послушайте! — воскликнула она, задержавшись на пути к двери, обернулась и, пристально вглядываясь в меня, снова подняла указательный палец.— У меня есть основания подозревать, судя по тому, что я слышала — а у меня всегда ушки на макушке, и я не могу пренебрегать своими способностями,— подозревать, что они бежали за границу. Но если бы они вернулись, если бы кто-нибудь из них вернулся, пока я жива, никто их не разыщет так скоро, как я, потому что я всегда в разъездах. Все, что буду знать я, узнаете и вы. Если я смогу сослужить службу бедной, поруганной девушке, я, бог даст, это сделаю. А для Литтимера было бы куда лучше, если бы по его следам бежала ищейка, чем маленькая Моучер!

И когда я увидел взгляд, которым сопровождались ее слова, я без колебаний поверил, что это так.

— Доверяйте мне не больше, но и не меньше, чем доверяют женщине нормального роста,— сказало маленькое существо, с умоляющим видом коснувшись моей руки.— Если когда-нибудь вы увидите меня не такой, какая я нынче, а такой, какой вы видели меня впервые, присмотритесь к тем, кто меня окружает. Вспомните тогда, что

я беспомощная, беззащитная карлица! Представьте себе тогда, как я прихожу после работы домой к брату, такому же, как я, и к сестре, которая тоже такая, как я. Быть может, тогда вы не будете ко мне слишком безжалостны и не станете удивляться, если я бываю иной раз озабочена или печальна. Спокойной ночи!

Когда я протянул руку мисс Моучер, я думал о ней уже совсем не так, как раньше; затем я отворил дверь, чтобы выпустить ее. Нешуточное было дело раскрыть огромный зонт и всунуть ей в руку так, чтобы она сохранила равновесие, но в конце концов мне это удалось, и я увидел, как зонт, подпрыгивая, двинулся по улице под дождем, но при этом решительно нельзя было догадаться, что под ним кто-то есть, пока хлынувший из переполненного желоба поток воды не накренил его на одну сторону и не обнаружил мисс Моучер, которая изо всех сил старалась вернуть зонт в прежнее положение. После двух-трех вылазок с моей стороны ей на помощь, которые были безрезультатны, ибо, прежде чем я достигал ее, зонт снова взлетал, как гигантская птица, я вернулся к себе, улегся в постель и спал до утра.

Утром появились мистер Пегготи и моя старая няня, и было еще совсем рано, когда мы отправились в контору пассажирских карет, где нас ждали миссис Гаммидж и Хэм, чтобы с нами попрощаться.

— Мистер Дэви! — шепнул мне Хэм и отвел меня в сторону, пока мистер Пегготи отыскивал местечко для своего мешка среди вещей других пассажиров.— Его жизнь разбита. Он не знает, куда ему держать путь, он не знает, что̀ его ждет, честное слово, он может странствовать до конца своей жизни, если поиски ни к чему не приведут. Вы ведь останетесь ему другом, мистер Дэви?

— Ну, еще бы! — сказал я и с чувством пожал Хэму руку.

— Благодарю, благодарю вас, сэр... Вот еще что... Я неплохо зарабатываю, мистер Дэви, и мне теперь не на что тратить мой заработок. Деньги мне не нужны, лишь бы как-нибудь прожить. Располагайте ими — для него, а я еще лучше буду работать. Что до этого, сэр, можете не сомневаться — я буду работать не переставая,

как подобает мужчине, я буду работать изо всех сил! — закончил он спокойно и твердо.

Я сказал, что уверен в этом, и обиняком выразил надежду, что рано или поздно настанет время, когда одиночеству его придет конец, хотя теперь ему кажется, будто оно никогда не кончится.

— Нет, сэр. Для меня все прошло и миновало,— ответил он, качая головой.— Пустое место никто не займет. Но вы будете помнить, что здесь откладывают для него деньги?

Я обещал ему это, но тут же напомнил, что у мистера Пегготи есть небольшая рента — правда, совсем скромная,— оставленная ему по завещанию покойным деверем. Тут мы расстались. И даже теперь я не могу не вспоминать без грусти его спокойное мужество и его глубокую печаль.

Что же касается миссис Гаммидж, я взял бы на себя трудную задачу, если бы попытался описать, как бежала она по улице рядом с каретой, не видя сквозь слезы, которые она пыталась сдержать, ничего, кроме сидящего на крыше мистера Пегготи, и наталкиваясь на встречных. Лучше уж мне вспомнить, как она сидела, полузадохнувшись, на ступеньках булочной, причем шляпка ее мало напоминала шляпку, а одна туфля лежала на мостовой в значительном отдалении.

Как только мы приехали к месту назначения, первым нашим делом было найти скромное помещение для Пегготи, где брат ее мог бы иметь пристанище на ночь. Нам посчастливилось, и мы нашли такое помещение, очень чистенькое и дешевое, над мелочной лавкой, в двух кварталах от меня. Когда мы уладили это дело, я купил холодного мяса в кухмистерской и позвал своих спутников к себе на чай; к сожалению, должен сказать, что эта моя затея не встретила одобрения со стороны миссис Крапп. О, совсем наоборот! Для того чтобы объяснить, почему эта леди находилась в таком расположении духа, укажу только, что ее глубоко возмутило поведение Пегготи, которая уже через десять минут после прихода подоткнула свое вдовье платье и принялась сметать пыль у меня в спальне. Миссис Крапп сочла это бесспорной дерзостью, а дерзостей, по ее словам, она решительно не допускала.

По дороге в Лондон мистер Пегготи рассказал мне о своем плане, которому я нисколько не удивился. Первым делом он собирался повидать миссис Стирфорт. Я чувствовал, что должен помочь ему в этом и быть посредником между ними, а потому, желая пощадить материнские ее чувства, я написал ей в тот же вечер. В самых осторожных выражениях я рассказал о том, какое оскорбление нанесено мистеру Пегготи, и о том, какую долю ответственности я несу за это. Сообщил, что мистер Пегготи — человек простой, но очень деликатный и благородный, и что она не откажется, как я надеюсь, принять его, когда с ним стряслась такая беда. В заключение я упомянул, что мы приедем в два часа дня; письмо это я отправил сам с первой утренней почтовой каретой.

В указанный час мы стояли перед дверью... Перед дверью дома, где еще несколько дней назад мне было так хорошо, перед дверью дома, которому я отдал так охотно мои юношеские упования и все мое сердце. Теперь этот дом был закрыт для меня, теперь он для меня рухнул, это был не дом, а руины...

Литтимера не было. После моего последнего посещения его физиономию заменила другая, куда более приятная; этот новый слуга открыл нам дверь и провел в гостиную. Там сидела миссис Стирфорт. Как только мы вошли, Роза Дартл скользнула из другого угла комнаты и стала за ее креслом.

Я тотчас же увидел по лицу матери, что она знает о случившемся от самого Стирфорта. Она была очень бледна, и в чертах ее отражалось волнение более глубокое, чем то, какое могло вызвать мое письмо, действие которого было, вероятно, ослаблено ее любовью к сыну. Больше чем когда-нибудь, мне казалось, она походила на своего сына, и я скорее почувствовал, чем увидел, что это сходство не ускользнуло и от моего спутника.

Она сидела в своем кресле прямая, неподвижная, и вид у нее был такой величественный и бесстрастный, словно ничто не могло ее встревожить. На мистера Пегготи, остановившегося перед ней, она смотрела очень пристально, и он так же пристально смотрел на нее. Пронзительный взгляд Розы Дартл впивался поочередно в каждого из нас троих. Некоторое время все молчали. Жестом миссис Стир-



форт пригласила мистера Пегготи сесть. Он тихо произнес:

— Не годится мне сидеть в этом доме, сударыня. Лучше я постою.

Снова наступило молчание. Затем она сказала:

— К моему большому сожалению, мне известна причина, которая привела вас сюда. Что вам от меня нужно? Чего бы вы от меня хотели?

Он сунул свою шапку под мышку, вытащил из нагрудного кармана письмо Эмли, развернул и подал ей.

— Пожалуйста, прочтите, сударыня. Его писала моя племянница.

Все так же величественно и бесстрастно она прочла письмо,— мне кажется, оно не произвело на нее никакого впечатления,— и вернула ему.

— «Если он не привезет меня настоящей леди»,— прочитал мистер Пегготи, водя пальцем по строке.— Я пришел сюда узнать, сударыня, выполнит ли он свое обещание?

— Нет,— отрезала она.

— Почему так? — спросил мистер Пегготи.

— Это невозможно. Он опозорит себя. Вы должны понять, что она ниже его.

— Пусть поднимет ее до себя,— сказал мистер Пегготи.

— Она невежественна и плохо воспитана.

— Может быть, это так, а может быть, и не так. Что до меня, то по мне это не так. Но я не судья в таких делах. Обучите ее!

— Я не хотела говорить прямо, но вы меня вынуждаете: если бы даже не было других препятствий, этот брак невозможен, так как она происходит из простой семьи.

— Послушайте меня, сударыня,— сказал он медленно и спокойно.— Вы знаете, что значит любить свое дитя. И я знаю. Будь она трижды мое дитя, я не мог бы любить ее сильней. Вы не знаете, что значит потерять свое дитя. А я знаю. Я не пожалел бы всех сокровищ мира, будь они у меня, только бы ее вернуть. Но спасите ее от позора — и никто из нас своим появлением не опозорит ее. Никто из нас, среди которых она росла, никто из нас, живших с ней все время, для которых в течение стольких

лет она была в жизни дороже всего,— никто из нас больше никогда даже не бросит взгляда на ее милое лицо! Только бы она жила на свете, а мы станем думать о ней так, словно она где-то далеко-далеко от нас, под другим солнцем. И мы отдадим нашу девочку ее мужу, а может быть, и деткам ее, и станем ждать того часа, когда все мы будем равны перед богом!

Эти грубоватые, но красноречивые слова не остались без отклика. Миссис Стирфорт все еще сохраняла надменный вид, но в ее голосе послышались мягкие ноты, когда она сказала:

— Я никого не защищаю. Я никого не обвиняю. Но, к сожалению, я должна повторить, что это невозможно. Такой брак безвозвратно погубит будущее моего сына, разрушит все его планы и надежды. Совершенно ясно: этого не должно быть и не будет. Если возможно как-нибудь иначе возместить...

— Вот сейчас я смотрю на ваше лицо, и оно похоже на лицо другого человека,— спокойно прервал мистер Пегготи, но глаза его блеснули,— и тот человек дружески улыбался мне в моем доме, у моего очага, в моем баркасе — всюду, а сам замышлял такое предательство, что я с ума схожу, когда об этом думаю... И если теперь это лицо, похожее на то, другое, не запылает огнем при мысли, что мне предлагают деньги за позор и гибель моего ребенка, значит оно не лучше того... Может быть, даже хуже, потому что передо мной — лицо леди!

Она изменилась мгновенно. Покраснев от гнева и сжимая ручки кресла, она высокомерно сказала:

— А какое возмещение можете вы предложить мне, когда между мной и моим сыном разверзлась такая пропасть? Что значит ваша любовь по сравнению с моей? Что значит ваша разлука по сравнению с нашей?

Мисс Дартл осторожно прикоснулась к ней и наклонила голову, чтобы ей что-то шепнуть, но она не захотела слушать:

— Молчите, Роза! Пусть этот человек выслушает меня. Мой сын, единственная цель всей моей жизни, которому я отдала все мои помышления, мой сын, каждое желание которого я исполняла с детских его лет, живя с ним одной жизнью, вдруг увлекся какой-то жалкой дев-

чонкой и покинул меня! Так отплатить за мое доверие, изо дня в день обманывать меня ради нее и ради нее бросить меня! Принести в жертву своей недостойной прихоти права матери на его чувство долга, любовь, уважение, благодарность — те права, которые с каждым часом его жизни должны были превращаться в нерушимые узы! Разве это не оскорбление?

Снова Роза Дартл попыталась успокоить ее и снова безрезультатно.

— Говорю вам, Роза, молчите! Если он мог рисковать всем из-за какого-то пустяка, я имею право рисковать всем ради цели более высокой. Пусть он отправляется куда пожелает с деньгами, которыми из любви к нему я его снабдила. Но неужели он думает, что его долгое отсутствие заставит меня измениться? Если он так думает, значит он плохо знает свою мать! Бросит он немедленно свою причуду — добро пожаловать назад. Не бросит — никогда ему не приблизиться ко мне, хотя бы я умирала, никогда, пока у меня хватит сил шевельнуть рукой, чтобы его не подпустить. Нет, пусть он откажется от нее навсегда, с сокрушенным сердцем придет ко мне и молит о прощении! Вот мое право! Вот какого признания вины я требую от него. Вот что значит наша разлука!

И, глядя на посетителя так же надменно и так же непреклонно, как в начале беседы, она закончила:

— И это не оскорбление?

Я слушал эту речь матери, я смотрел на нее, и мне казалось, будто я слышу и вижу сына, который не обращает никакого внимания на эти слова. Упрямство и непреклонность, которые я видел в ее сыне, я видел теперь в ней. Все, что я знал теперь о ложно направленной энергии сына, помогло мне понять и ее характер, понять, что в самой своей основе натуры их сходны.

Тут она обратилась ко мне и громко, так же холодно, как и вначале, заявила, что больше нам не о чем говорить и что она просит положить конец свиданию. Она встала с величественным видом, чтобы покинуть комнату, но мистер Пегготи сказал, что она может этого не делать.

— Не бойтесь, сударыня, я не буду вам докучать, мне больше нечего сказать вам,— заметил он, двинувшись

к двери.— Без всякой надежды я шел сюда и без всякой надежды ухожу. Я поступил так, как, по-моему, должен был поступить, но не ждал ничего доброго от своего прихода. Этот дом принес мне и моим близким слишком много зла; но я в здравом уме и ничего другого не ждал.

И мы ушли, а она осталась стоять около своего кресла — леди с красивым лицом и благородной осанкой.

Для того чтобы выйти из дому, мы должны были пересечь застекленную, вымощенную каменными плитами галерею, обвитую виноградом. Листья и побеги были зеленые, на небе сверкало солнце, стеклянные двери в сад были открыты. Как только мы к ним приблизились, неслышно появилась Роза Дартл и сказала мне:

— Недурно вы поступили, приведя сюда этого человека!

Ярость и злоба отразились на ее потемневшем лице и зажглись в ее черных глазах — даже это лицо не казалось мне прежде способным выражать чувства с такой силой. Как бывало всегда, в те мгновения, когда ее черты искажались, шрам от удара молотком выступил очень резко. Когда он начал подергиваться, что̀ было уже мне знакомо, она, поймав мой взгляд, подняла руку и ударила себя по губам.

— Ну и человека вы привели, чтобы здесь ратоборствовать! Нечего сказать, верный друг!

— Неужели вы так несправедливы, мисс Дартл, что обвиняете меня? — ответил я.

— Отчего же вы сеете рознь между этими двумя безумцами? Разве вы не понимаете, что они оба совсем обезумели от упрямства и гордости?

— В этом виноват я?

— Виноваты ли вы? — переспросила она.— Зачем вы привели сюда этого человека?

— Ему нанесли глубокое оскорбление, мисс Дартл. Может быть, вы этого не знаете.

— Я знаю, что у Джеймса Стирфорта лживое, порочное сердце и он предатель,— сказала она, прижимая руку к груди, словно для того, чтобы не вырвались бушевавшие в ней страсти.— Но какое мне дело до этого человека и до его ничтожной племянницы?

— Вы еще больше растравляете его рану, мисс Дартл. Она и так глубока. На прощанье я скажу только, что вы жестоко и несправедливо его оскорбляете.

— Я его не оскорбляю. Это развращенная, недостойная семья. А девицу я бы высекла!

Мистер Пегготи не сказал ни слова и вышел.

— Как вам не стыдно, мисс Дартл! — с негодованием воскликнул я.— Как можете вы так презрительно относиться к несчастью, которое обрушилось на этого человека, хотя он его и не заслужил!

— Я растоптала бы их всех! — ответила она.— Я разрушила бы его дом! Я хотела бы, чтобы ей выжгли клеймо на лице и в лохмотьях вышвырнули бы на улицу, пусть она умрет там с голоду! Будь у меня власть судить ее, вот к чему я бы ее присудила! Да что̀ там присудила! Я сделала бы это своими руками! Я ненавижу ее. Пусть только представится мне случай бросить ей в лицо то, что я думаю о ее позорном поведении, и я пойду ради этого куда угодно! Если бы я могла преследовать ее до могилы, я бы это сделала. Если бы в ее предсмертный час только одно слово принесло бы ей утешение, а я знала бы это слово, я предпочла бы сама умереть, лишь бы его не произнести!

Жестокость этих слов дает лишь слабое представление о страстности, с какой они были сказаны, о той страстности, которая чувствовалась во всем ее существе, хотя она не только не повышала голоса, но говорила даже тише, чем обычно. Я не в силах описать ее такой, какой она сохранилась в моей памяти, и передать ярость, которая ею владела. Мне случалось видеть проявление страстей в самых различных формах, но никогда мне не приходилось видеть проявление страсти в такой форме...

Я нагнал мистера Пегготи, который медленно, в раздумье, спускался с холма. Когда я с ним поравнялся, он сказал, что теперь он сбросил с себя груз, выполнив в Лондоне то, что задумал, и сегодня же вечером «отправится странствовать». Я спросил, куда он думает идти. Он ответил только:

— Я иду, сэр, искать мою племянницу.

Мы вернулись в комнатку над мелочной лавкой, и, улучив минутку, я повторил Пегготи то, что он мне ска-

зал. В ответ она сообщила, что утром он сказал ей то же самое. Так же, как и я, она не знала, куда он отправится, но, по ее мнению, у него был какой-то план.

Мне не хотелось оставлять его одного, и мы пообедали втроем мясным пирогом — это было одно из блюд, делавших честь искусству Пегготи,— и запах пирога, я хорошо помню, причудливо смешивался с поднимавшимися из лавки ароматами чая, кофе, масла, копченой грудинки, сыра, только что испеченного хлеба, горящих дров в камине, свечей и орехового соуса. После обеда мы посидели часок у окна, но говорили мало, а затем мистер Пегготи поднялся, достал свой клеенчатый мешок и толстую палку и положил их на стол.

У сестры он взял, в счет отказанных ему по завещанию денег, небольшую сумму, которой, как мне кажется, едва могло хватить ему на месяц. Он обещал мне сообщить, если с ним случится что-нибудь неладное, вскинул на плечо мешок, взял шляпу и палку и попрощался с нами.

— Всего тебе доброго, милая моя старушка. И вам также, мистер Дэви,— сказал он, обняв Пегготи, а мне потряс руку.— Пойду искать ее... по свету. А если она вернется и меня еще не будет,— ох, боюсь, что этого не случится! — или я привезу ее домой, хотелось бы мне жить вместе с ней до самой смерти там, где никто не сможет попрекнуть ее. Если же со мной что стрясется, помните,— вот мое последнее слово ей: «Я по-прежнему люблю мою дорогую девочку, и я ее прощаю!»

Произнес он это торжественно, стоя с непокрытой головой; затем надел шляпу и спустился по лестнице. Мы провожали его до дверей. Стоял теплый вечер, ветер поднимал пыль, и на залитой багровым светом людной улице, куда выходил наш переулок, неумолчное шарканье ног по тротуару на время утихло.

Он завернул за угол, и его поглотил свет заходящего солнца; мы потеряли его из виду.

Редко наступает такой же вечерний час, редко случается мне проснуться ночью, редко бывает так, что я гляжу на луну и звезды, смотрю на дождь, слушаю вой ветра, и передо мной не возникает одинокая фигура усталого, бедного странника и не вспоминаются эти слова:

«Пойду искать ее... по свету. Если же со мной что стрясется, помните,— вот мое последнее слово ей: «Я попрежнему люблю мою дорогую девочку, и я ее прощаю!»

ГЛАВА XXXIII

Блаженство

Все это время я был влюблен в Дору еще больше, чем раньше. Мысль о ней была прибежищем во всех моих невзгодах и скорбях и даже облегчала мне тяжесть потери друга. Чем больше я жалел самого себя и других, тем больше искал утешения в созерцании образа Доры. Чем коварней и печальней казалась мне жизнь, тем ярче блистала высоко над землей чистая звезда Доры. Не думаю, чтобы у меня было отчетливое представление о том, откуда появилась Дора, или о том, какое положение занимает она среди высших существ, но знаю одно: с негодованием и презрением я бы отверг мнение, будто она обыкновенное человеческое существо, подобное всем другим молодым леди.

Если можно так выразиться, я растворился в Доре. Я не просто был влюблен в нее по уши, но весь был насыщен любовью к ней. Я был так влюблен, что, говоря фигурально, можно было из меня выжать достаточно любви, чтобы утопить в ней кого угодно, но и тогда даже того, что оставалось во мне и вокруг меня, хватило бы с избытком для заполнения всего моего существа.

Вернувшись домой, я первым делом отправился ночью в Норвуд и, подобно герою старинной загадки, которая мне известна была с детства, бродил, думая о Доре, вокруг дома, «все кругом и кругом, но не заходя в дом». В этой непонятной загадке, помнится мне, речь шла о луне; что же касается меня, то я — лунатик, раб Доры — в течение двух часов разгуливал вокруг дома и сада, засматривал во все щели в заборе, ухитрялся ценою невероятных усилий дотянуться подбородком до ржавых гвоздей, увенчивавших забор, посылал воздушные поцелуи мелькавшим в окнах огонькам и время от времени роман-

тически призывал ночь защитить мою Дору... от чего защитить, я хорошенько не знал — вероятно, от пожара. А может быть, от мышей, к которым она питала сильнейшее отвращение.

Любовь так сильно овладела мной и столь естественным казалось мне сообщить о ней Пегготи, расположившейся как-то вечером возле меня с хорошо знакомыми мне принадлежностями для шитья и тщательно обследовавшей мой гардероб, что посредством всевозможных иносказаний я поведал ей великую мою тайну. Пегготи очень заинтересовалась, но я никак не мог добиться того, чтобы она взглянула на дело с моей точки зрения. Она была пристрастна ко мне и не могла понять, чего я опасаюсь и почему пребываю в унынии.

— Юная леди должна радоваться, что имеет такого поклонника,— сказала она.— А что до ее папы, то, скажите пожалуйста, чего еще нужно этому джентльмену?

Однако я заметил, что прокторская мантия мистера Спенлоу и его накрахмаленный галстук произвели некоторое впечатление на Пегготи и внушили ей большее уважение к человеку, которого с каждым днем я представлял себе все более и более неземным и который, как мне казалось, испускал даже некое сияние, когда, не сгибаясь, восседал в суде среди документов,— точь-в-точь маленький маяк среди моря канцелярских бумаг. Кстати сказать, когда я сидел вместе с ним в суде, мне, помнится, казалось необычайно странным, что всем этим старым судьям и докторам не было бы никакого дела до Доры, если бы они ее знали, и они отнюдь не потеряли бы голову от восторга, буде им предложили жениться на Доре, а пение Доры и ее игра на волшебной гитаре, которая доводила *меня* до безумия, не заставили бы ни одного из этих увальней свернуть хотя бы на дюйм с их пути. Я презирал их всех до единого. Они меня оскорбляли лично,— эти замороженные старые садовники в цветнике любви! Судьи казались мне бестолковыми путаниками, а загородка перед их креслами была не более привлекательна и поэтична, чем трактирная стойка.

Приняв на себя не без гордости попечение о делах Пегготи, я утвердил завещание, уладил все дела в Департаменте наследственных пошлин, повел Пегготи с собой

в банк, и скоро все хлопоты были закончены. В промежутках между этими деловыми визитами мы ходили на Флит-стрит смотреть слегка подтаявшие восковые фигуры (надеюсь, что теперь, через двадцать лет, они совсем растаяли), посетили выставку мисс Линвуд *, своего рода мавзолей рукоделия, способствующий самоуглублению и покаянию, осмотрели Тауэр и поднялись на верхушку собора св. Павла. Все эти диковинки немало развлекли Пегготи,— насколько ее в то время вообще можно было чем-нибудь развлечь,— за исключением, мне кажется, собора св. Павла, который вступил в соперничество с картинкой на крышке любимой ее рабочей шкатулки и, по ее мнению, отчасти проиграл от сравнения с этим произведением искусства.

Когда дела ее, которые мы в Докторс-Коммонс называли «обычными формальностями» (эти «обычные формальности» были делами весьма легкими и прибыльными), пришли к благополучному завершению, я взял ее однажды утром с собою в контору уплатить по счету. Мистер Спенлоу, по словам старого Тиффи, только что повел какого-то джентльмена приносить присягу для получения лицензии на брак *, но я знал, что он скоро вернется, так как контора наша находилась неподалеку от канцелярий заместителя епископа, а также генерального викария, и потому я предложил Пегготи подождать.

Когда дело шло об утверждении завещаний, мы в Докторс-Коммонс напускали на себя похоронный вид и старались казаться удрученными перед клиентами в трауре. Из такого же чувства деликатности мы всегда были веселы и беззаботны с клиентами, получавшими лицензию на брак. Поэтому я намекнул Пегготи, что мистер Спенлоу уже совсем оправился от потрясения, вызванного кончиной мистера Баркиса. А тут и сам мистер Спенлоу вошел в комнату с видом жениха.

Но ни Пегготи, ни я даже и не взглянули на него, увидев, что с ним идет мистер Мэрдстон. Мистер Мэрдстон очень мало изменился. Волосы у него были такие же густые и черные, как и раньше, а глаза его, так же как и в старые времена, не внушали никакого доверия.

— А, Копперфилд! — сказал мистер Спенлоу.— Кажется, вы знаете этого джентльмена?

Я холодно поклонился этому джентльмену, а Пегготи только чуть-чуть наклонила голову. Поначалу он, казалось, был недоволен этой встречей, но быстро принял решение, как себя вести, и подошел ко мне.

— Надеюсь, у вас все благополучно? — сказал он.

— Едва ли вас может это интересовать. Впрочем, если хотите знать, все благополучно,— ответил я.

Мы обменялись взглядами, и он обратился к Пегготи:

— Сожалею, что вы потеряли мужа.

— Это не первая потеря в моей жизни, мистер Мэрдстон,— ответила Пегготи, дрожа с головы до пят,— но хочу надеяться, что на этот раз некого обвинять и никто в этом не виноват.

— Так, так... Ну что ж, утешительные размышления. Вы свой долг исполнили? — сказал он.

— Слава богу, никто не зачах по моей вине. Да, мистер Мэрдстон, я ни одного бедного создания не запугала и не довела до преждевременной смерти,— сказала Пегготи.

Он хмуро поглядел на нее — раскаиваясь, по-видимому, что задал этот вопрос,— и сказал, повернувшись ко мне, но глядя не в лицо мне, а на мои ноги:

— Надо полагать, мы теперь не скоро встретимся снова, к нашему обоюдному удовольствию, так как подобные встречи едва ли могут быть нам приятны. Вы всегда восставали против моего законного авторитета, когда я к нему прибегал для того, чтобы вас исправить, ради вашей же пользы, и потому я не жду, что вы питаете ко мне добрые чувства. Неприязнь между нами...

— Мне кажется, давняя неприязнь! — перебил я его.

Он улыбнулся, и черные его глаза сверкнули беспредельной ненавистью ко мне.

— Она озлобила ваше сердце, когда вы были еще младенцем,— продолжал он.— Она отравила жизнь вашей бедной матери. Да, вы правы. Тем не менее я надеюсь, что впредь вы будете вести себя лучше. Я надеюсь, что вы исправитесь.

Тут он оборвал разговор, который вел в канцелярии, не повышая голоса, и, войдя в кабинет мистера Спенлоу, произнес громко и самым любезным тоном:

— Джентльмены профессии мистера Спенлоу привыкли уже к семейным спорам и знают, как они всегда запутаны и тягостны.

С этими словами он заплатил за свою лицензию, получил ее, аккуратно сложенную, от мистера Спенлоу, пожал ему руку, выслушал пожелание всяческого благополучия ему самому и его будущей супруге и вышел из конторы.

Мне труднее было бы сдерживать себя и выслушать молча мистера Мэрдстона, если бы я не прилагал в это время всех усилий, чтобы внушить Пегготи (эта добрая душа пришла в ярость только из-за меня!), что здесь не место пререкаться и что я умоляю ее сохранять спокойствие. Она так была возбуждена, что я был рад утихомирить ее любыми средствами и не противился ее объятиям, когда она бросилась ко мне, взволнованная воспоминаниями о наших прежних обидах; я примирился с этим, несмотря на присутствие мистера Спенлоу и клерков.

По-видимому, мистер Спенлоу не ведал, какая существует связь между мистером Мэрдстоном и мною, чему я был очень рад, ибо даже мысленно, вспоминая историю моей матери, не в силах был признать мистера Мэрдстона своим родственником. Мистер Спенлоу, кажется, полагал — если он вообще думал об этом,— что в нашей семье моя бабушка была кем-то вроде вождя правительственной партии, но что существовала еще какая-то партия мятежников под чьим-то руководством; во всяком случае, такие предположения родились у меня, пока мы ждали, чтобы мистер Тиффи подсчитал причитавшуюся с Пегготи сумму.

— Мисс Тротвуд, без сомнения, непреклонна и не выносит никаких возражений,— заметил мистер Спенлоу.— Я восхищаюсь ее характером и могу поздравить вас, Копперфилд, что вы на стороне тех, кто прав. К сожалению, между родственниками бывают раздоры — это случается почти всегда,— и великая вещь быть на стороне тех, кто прав.

Полагаю, под этими последними он разумел тех, у кого есть деньги.

— Кажется, брак удачный? — продолжал мистер Спенлоу.

Я сказал, что ровно ничего об этом не знаю.

— Да ну? Если судить по нескольким словам мистера Мэрдстона,— вполне обычных в таких случаях,— а также и по тому, что говорила мисс Мэрдстон, я сказал бы, что брак удачный.

— Вы разумеете, сэр, что у нее есть деньги? — осведомился я.

— Вот именно,— сказал мистер Спенлоу.— Я понял, что деньги есть. И мне сказали, что она красива.

— В самом деле? И молода?

— Недавно достигла совершеннолетия. Совсем недавно. Кажется, даже пришлось дожидаться этого.

— Помилуй ее бог! — воскликнула Пегготи. И это восклицание было таким неожиданным и страстным, что мы, все трое, смутились и пребывали в этом состоянии, пока не появился со счетом Тиффи.

Впрочем, старый Тиффи появился скоро и вручил счет мистеру Спенлоу, чтобы тот с ним ознакомился. Погрузив подбородок в галстук и поглаживая его, он тщательно проверил счет с видом человека, который был готов скинуть с него сколько угодно,— но что поделаешь, во всем виноват Джоркинс! — и с легким вздохом вернул его обратно Тиффи.

— Все правильно,— сказал он.— Все совершенно правильно. Как бы я рад был, Копперфилд, свести судебные издержки до уровня наших собственных расходов, но положение мое каково?! Ведь я не волен делать, что хочу. Компаньоном-то у меня Джоркинс!

Сказал он это с таким прискорбием,— каковое почти означало освобождение нас от всех издержек,— что я поблагодарил его от имени Пегготи и вручил Тиффи деньги. После этого Пегготи ушла к себе домой, а мы с мистером Спенлоу отправились в суд, где и вчинили иск о разводе на основании хитроумного закона (кажется, он теперь отменен, но на основании этого закона расторгнуто было немало браков); обстоятельства дела были таковы. Муж — звали его Томас-Бенджамин — получил брачную лицензию на имя Томаса — только Томаса,— умолчав о Бенджамине на тот случай, если он не будет столь ублаготворен, как надеялся. То ли бедняга не ублаготворился, то ли ему жена немного надоела, но после двухлетнего брака он подал в суд заявление через своего приятеля,

утверждая, что его зовут Томас-Бенджамин и что он никогда не был женат. И, к его большому удовольствию, суд это признал.

По правде говоря, я весьма сомневался в справедливости такого решения, и даже бушель пшеницы, который устраняет все аномалии, не смутил меня.

Но мистер Спенлоу мне возражал:

— Присмотритесь к тому, что̀ делается на белом свете,— вы увидите и добро и зло. Так и в церковном законодательстве — в нем тоже есть и добро и зло. Все это части общей системы! Прекрасно! В этом все дело!

У меня не хватило смелости сказать отцу Доры, что, пожалуй, мы могли бы кое-что улучшить на белом свете, если бы вставали рано утром и, засучив рукава, принимались за работу, но я откровенно сознался, что, по моему мнению, работу Докторс-Коммонс можно было бы улучшить. На это мистер Спенлоу ответил, что он решительно советует мне выбросить из головы эту идею, как недостойную джентльмена, но будет рад, если я сообщу, какие улучшения в Докторс-Коммонс я считаю возможными.

Мне тотчас же пришел на ум тот из судов Докторс-Коммонс, который был у нас перед глазами,— наш доверитель к тому времени был уже признан неженатым, мы вышли из зала и проходили мимо Суда Прерогативы,— и я заметил, что, по моему мнению, Суд Прерогативы какое-то странное учреждение. Мистер Спенлоу спросил, в каком отношении. Со всем уважением, какое я питал к его опытности (а еще с бо́льшим уважением, должен признаться, относился я к нему как к отцу Доры), я спросил, не кажется ли нелепым, что архив этого суда, заключающий подлинные завещания всех лиц, проживавших в течение трех столетий в огромной Кентерберийской епархии, помещается в здании, которое отнюдь для этого не предназначено и нанято самими архивариусами, помышлявшими лишь о собственных барышах; оно ненадежно, не защищено даже от пожара, до самых краев набито документами и, по сути дела, от крыши до потолка, представляет собой коммерческое предприятие, приносящее немалую прибыль архивариусам, которые, получив деньги, распихивают завещания куда попало с единственной целью от них избавиться. Быть может, добавил я,

несколько неразумно, что этим архивариусам, доходы которых простираются до восьми-девяти тысяч фунтов в год (не считая доходов их помощников и клерков), не вменяют в обязанность уделить небольшую часть этих денег для подыскания другого, вполне надежного здания, где хранились бы эти важные документы, которые люди всех классов и состояний, хотят они того или не хотят, обязаны им передавать.

— Быть может,— продолжал я,— несколько несправедливо, что все важные посты в этом важном учреждении — только почетные синекуры, тогда как несчастным клеркам, трудящимся вот в этих холодных, темных комнатах наверху, платят гроши за полезную работу, да к тому же нисколько их не уважают. И, быть может, не совсем благопристойно, что главный архивариус, на обязанности которого лежит забота об удобствах посетителей, постоянно толпящихся в этом учреждении, получает этот пост только как синекуру, да, кроме того, нередко является духовным лицом, занимает несколько доходных мест, служит каноником в соборе и так далее... А меж тем когда учреждение начинает свою работу, посетители терпят неописуемые неудобства, что̀ мы можем наблюдать ежедневно. Короче говоря, этот Суд Прерогативы Кентерберийской епархии такое вредное и нелепое учреждение, что, если бы он не притаился в укромном уголке на площади святого Павла, о чем мало кто знает, его давно следовало бы вытряхнуть и вымести вон.

Когда я начал слегка горячиться, мистер Спенлоу улыбнулся, а затем стал возражать мне по этому вопросу так же, как возражал раньше по другому. Что же из этого следует? — спросил он. Все зависит от точки зрения. Если публика верит, что завещания в полной сохранности, и предполагает, что учреждение работает как нельзя лучше, кто от этого страдает? Никто. А кому это идет на пользу? Тем, кто получает синекуры. Прекрасно. Итак, торжествует добро. Да, система, может быть, и несовершенна, но ведь на свете нет совершенства. Он только решительно возражает против того, чтобы вставлять палки в колеса. Обладая Судом Прерогативы, страна процветала. Вставьте палки в колеса Суда Прерогативы, и она перестанет процветать. У джентльмена должно быть правило: принимать

вещи такими, каковы они есть. И, разумеется, Суд Прерогативы просуществует столько, что на наш век хватит. Я ему ничего не ответил, хотя меня обуревали сомнения. Но он оказался прав, ибо это учреждение не просто существует и по сей день, но существует невзирая даже на пространный парламентский доклад, сделанный — не очень охотно — восемнадцать лет назад, доклад, в котором все мои обвинения были обстоятельно изложены, а также было установлено, что года через два с половиной в нынешнем складском помещении для завещаний решительно не хватит места. Какова судьба этих завещаний, сколько их за это время было потеряно, сколько было продано в лавки, торгующие маслом,— сие мне неизвестно. Во всяком случае, я очень рад, что моего завещания там нет и, надеюсь, оно не скоро туда попадет.

Я пишу об этой беседе в настоящей главе, повествующей о моем блаженстве, ибо именно здесь ей место. Медленно прогуливаясь, мы разговаривали так с мистером Спенлоу, пока не перешли на более общие темы. В конце мистер Спенлоу сказал, что ровно через неделю Дора празднует свой день рождения и он приглашает меня принять участие в небольшом пикнике, которым они собираются отметить этот день. Я немедленно потерял голову, а на следующий день прямо-таки превратился в идиота, когда получил крохотный листок почтовой бумаги с кружевным бордюром. На нем значилось: «Посылаю через папу. Не забудьте», и всю неделю я живо напоминал слабоумного.

Какие только нелепости я не делал, готовясь к знаменательному дню! Я краснею при воспоминании о том, какой я купил галстук. Мои башмаки стоило бы поместить в коллекцию орудий пытки. Накануне вечером я раздобыл и послал с норвудской каретой изящную корзиночку, которая, как мне казалось, была равносильна объяснению в любви. Были там, между прочим, конфеты-хлопушки, а в них самые нежные признания, какие только можно достать за деньги. В шесть часов утра я уже был на Ковент-Гарденском рынке и купил Доре букет цветов. В десять часов я сел верхом (для такого случая я взял напрокат красивую лошадку серой масти) и двинулся по дороге к Норвуду, уложив букет в шляпу, дабы он не завял.

Мне кажется, когда я увидел Дору в саду, но притворился, будто не вижу ее, и когда я проехал мимо ее дома, притворяясь, что его разыскиваю, я совершил две глупости, но другого нельзя было и ожидать от юноши в моем положении: это было так естественно. Но вот я нашел дом, вот я соскочил с лошадки у ворот сада и направился в своих башмаках-извергах через лужайку к Доре. Какое это было чудное зрелище — утро прекрасное, Дора сидит в саду под сенью сирени, в белой соломенной шляпке и в платье небесно-голубого цвета, а вокруг порхают бабочки!

С ней была молодая леди, не очень-то молодая, я бы сказал — лет двадцати. Звали ее мисс Миллс, а Дора называла ее Джулия. Она была закадычной подругой Доры. Счастливая мисс Миллс!

Находился там и Джип, и, по обыкновению, Джип стал на меня тявкать. Когда я преподнес букет, он оскалил зубы от ревности. Ну что ж, он был прав. Если у него было хоть малейшее представление о том, как я обожаю Дору, он был прав!

— О, благодарю вас, мистер Копперфилд! Какие чудесные цветы! — воскликнула Дора.

Я собирался сказать (и на протяжении трех миль обдумывал, как бы сказать это получше), что и мне казались они чудесными, пока я не увидел их рядом с *ней*. Но я не мог выговорить ни слова. Она была умопомрачительна. Когда я увидел, как она прижала цветы к крохотному подбородку с ямочкой, я потерял присутствие духа, дар речи и от восторга впал в идиотизм. Удивительно, что я не сказал: «Убейте меня, мисс Миллс, если у вас есть сердце! Позвольте мне здесь умереть!»

Потом Дора дала Джипу понюхать мои цветы. Джип заворчал и не пожелал нюхать. Дора захохотала и еще ближе поднесла их к нему. Джип вцепился зубами в цветок герани и растерзал его, словно это была кошка. Дора шлепнула его, надула губки и сказала с таким огорчением: «Мои бедные, чудесные цветочки!» — словно Джип вцепился в меня. О, если бы это было так!

— Могу вас порадовать, мистер Копперфилд; этой противной мисс Мэрдстон сейчас нет. Она уехала на

свадьбу своего брата и пробудет там по крайней мере три недели. Разве это не чудесно?

Я выразил уверенность, что, разумеется, это чудесно, а все, что чудесно для нее, чудесно и для меня. Мисс Миллс улыбалась, глядя на нас с видом мудрым и доброжелательным.

— Это самая неприятная особа, какую я только знаю! — сказала Дора.— Ты не можешь себе представить, Джулия, как она брюзжит и какая она ужасная!

— О, я-то могу себе это представить, моя милая! — сказала Джулия.

— Да, да, ты можешь, прости, дорогая, что я забыла об этом,— сказала Дора и взяла ее за руку.

Из этих слов я заключил, что мисс Миллс испытала превратности судьбы, чем и объясняется ее манера себя держать, исполненная мудрой благожелательности, которую я уже подметил. А позже, в течение дня, я выяснил, что это было именно так: мисс Миллс не посчастливилось в любви, и она после пережитых ею жестоких потрясений удалилась от света, но тем не менее не утратила снисходительного интереса к еще не увядшим упованиям юности и волнениям сердца.

Но тут вышел из дома мистер Спенлоу, и Дора направилась к нему со словами:

— Посмотрите, папа, какие чудесные цветы!

А мисс Миллс задумчиво улыбнулась, как будто желая сказать: «Наслаждайтесь, майские мотыльки, этим сияющим утром, пока вы еще так молоды!»

И все мы двинулись по лужайке к коляске, которая уже ждала нас.

Больше никогда не будет у меня подобной прогулки! И с той поры действительно никогда не было.

Их было только трое в фаэтоне, их корзинка с провизией, моя корзинка с провизией и футляр с гитарой; конечно, фаэтон был открытый. Я ехал верхом следом за ними, а Дора сидела спиной к лошадям и смотрела на меня. Она положила букет рядом с собой на мягкое сиденье и не позволила Джипу примоститься рядом с ней с этой стороны из боязни, что он его помнет. Она частенько брала цветы в руки и нюхала. А наши взгляды частенько встречались, и я понять не могу, как это я не перелетел

через голову моей красивой серой лошадки прямо в коляску.

Кажется, было пыльно. Кажется, было очень пыльно. Смутно припоминаю, что мистер Спенлоу убеждал меня не гарцевать в облаке пыли, но я совсем ее не замечал. Я видел только Дору в ореоле любви и красоты, а кроме нее — никого и ничего. Иногда мистер Спенлоу вставал и спрашивал, нравится ли мне ландшафт. Я отвечал, что он восхитителен, да так оно, должно быть, и было, но Дора заслонила от меня все. Солнце светило Доре, птицы щебетали для Доры. Южный ветерок дул только ради Доры, и для Доры цвели все цветы на холмах, решительно все, до последнего бутона. Утешением было то, что мисс Миллс понимала меня. Только мисс Миллс могла постичь до конца мои чувства.

Не знаю, как долго мы ехали, и до сего часа я не ведаю, куда мы приехали. Может быть, куда-нибудь неподалеку от Гилдфорда. А может быть, какой-нибудь волшебник из «Тысячи и одной ночи» сотворил это место на один только день, а когда мы уехали, стер его с лица земли. Это была зеленая лужайка на холме, покрытая мягким дерном. Росли там и тенистые деревья и вереск, и, насколько мог охватить взгляд, пейзаж был великолепен.

Меня очень раздосадовало, когда я увидел здесь людей, поджидавших нас, и моя ревность, даже к леди, была безгранична. Что же касается представителей моего пола, они все были моими смертельными врагами — в особенности один плут, года на три-четыре старше меня, с рыжими баками, которые являлись для него достаточным основанием быть невыносимо самонадеянным.

Все мы распаковали наши корзинки и занялись приготовлениями к обеду. Рыжие Баки объявили, что умеют заправлять салат — чему я не верю! — и этим привлекли к себе всеобщее внимание. Несколько юных леди обмыли для них латук и по их указанию нарезали его. Среди этих леди была и Дора. Тут я почувствовал, что сама судьба дала мне в соперники этого человека и что один из нас должен пасть.

Рыжие Баки заправили салат (удивляюсь, как все остальные могли его есть, ни за что на свете я бы не при-

коснулся к нему!), объявили себя главным виночерпием, и — этакая продувная бестия! — устроили винный погреб в дупле дерева. А вскоре я увидел, как Рыжие Баки с тарелкой в руках, на которой лежал почти целый омар, обедают у ног Доры!

У меня сохранилось весьма смутное воспоминание о том, что происходило после того, как это мрачное зрелище предстало моим глазам. Ну что ж, я был очень весел, но это была напускная веселость. Я подсел к юной леди с маленькими глазками и в розовом платье и немилосердно стал за ней ухаживать. Мое ухаживание она принимала благосклонно, но не ведаю, можно ли было отнести это на мой счет или она имела какие-нибудь виды на Рыжие Баки. Пили за здоровье Доры. Тут я сделал вид, будто неохотно прерываю мою болтовню, а когда выпил, немедленно ее возобновил. Отвешивая Доре поклон, я встретил ее взгляд, и мне показалось, что взгляд был умоляющий. Но она поглядела на меня поверх Рыжих Бак, и я остался непреклонен.

У юного создания в розовом была мамаша в зеленом, каковая, из соображений высшей политики, нас разделила. Впрочем, и вся компания распалась, покуда убирали остатки обеда, и я стал слоняться между деревьев в состоянии крайнего раздражения, терзаясь угрызениями совести. Я уже подумывал о том, не удрать ли мне на моей серой лошадке, сославшись на нездоровье,— но только куда? — как вдруг увидел Дору и мисс Миллс.

— Вы какой-то хмурый, мистер Копперфилд,— сказала мисс Миллс.

Простите, вы ошибаетесь. Ничуть не бывало!

— И ты, Дора, хмурая,— сказала мисс Миллс.

Да что ты! Нисколько!

— Мистер Копперфилд и ты, Дора, опомнитесь! — продолжала мисс Миллс внушительным тоном.— Не давайте весенним цветам увянуть от ничтожной размолвки. Если они погибнут, то погибнут навсегда. Я говорю это по опыту собственного прошлого, которого уже не вернешь. Родник, сверкающий на солнце, не следует засыпать камнями из-за какого-то каприза. Нельзя необдуманно уничтожать оазис в пустыне Сахаре!

Я едва сознавал, что делаю, но, весь пылая, схватил

ручку Доры и поцеловал! А она не сопротивлялась! Поцеловал я руку и мисс Миллс. И все мы, кажется, очутились на седьмом небе.

Оттуда мы уже не спускались. Мы оставались там весь вечер. Сперва мы гуляли среди деревьев, причем Дора застенчиво продела свою ручку под мою. И пусть это будет глупо, но один бог знает, какое было бы счастье, если бы мы вдруг стали бессмертны и с этим глупым чувством в сердцах остались бродить среди деревьев навсегда!

Но, увы, скоро мы услышали смех остальной компании и болтовню, услышали, как кто-то окликал:

— Дора! Где Дора?

Пришлось вернуться. Все потребовали, чтобы Дора спела. Рыжие Баки захотели достать из коляски футляр с гитарой, но Дора сказала, что никто не знает, где он находится, кроме меня. Итак, Рыжие Баки были посрамлены в один момент. И футляр достал я, и открыл его я, и гитару вынул я, и около Доры сидел я, и я держал ее носовой платочек и перчатки, и я упивался каждой нотой ее восхитительного голоска, и она пела для *меня,* который ее любил, а все остальные могли рукоплескать, сколько им угодно, но не имели ко всему этому ни малейшего отношения.

Я был пьян от радости. Я боялся, что наяву такое счастье невозможно, что вот-вот я проснусь на Бэкингем-стрит и услышу, как миссис Крапп звенит чайной посудой, приготовляя завтрак. Но Дора пела, и пели остальные, и мисс Миллс пела об эхо, дремлющем в пещерах Памяти, как будто мисс Миллс прожила на свете сто лет... И спустился вечер, и мы пили чай, заварив его в котелке на цыганский манер, и я был счастлив, как никогда.

И я стал еще счастливее, когда компания, в том числе и поверженные Рыжие Баки, стала разъезжаться и мы отправились домой уже в сумерках, в догорающем свете дня, а вокруг все благоухало. Мистера Спенлоу начало клонить ко сну после шампанского — да будет благословенна земля, породившая виноград, и солнце, взрастившее его, и гроздья, из которых давили вино, и торговец, который вино это подделал! — и мистер Спенлоу крепко заснул в углу фаэтона, а я гарцевал рядом и говорил с

Дорой. Она восхищалась моей лошадкой и похлопывала ее — о! какой очаровательной казалась ее крошечная ручка на шее лошади! А ее шаль никак не хотела держаться на плечах, и мне то и дело приходилось ее поправлять, и даже Джип, кажется, стал замечать, что происходит, и начал понимать, что пришло время подумать о том, как бы со мной подружиться.

А эта проницательная мисс Миллс, эта милая, хоть и измученная жизнью затворница, этот двадцатилетний патриарх, покончивший с мирскими радостями и горестями и ни за что на свете не желавший пробуждать уснувшее эхо в пещерах Памяти,— какое доброе дело она сделала!

— Если вы можете уделить мне одно мгновение, прошу вас, мистер Копперфилд, приблизьтесь ко мне с этой стороны коляски. Я хочу вам что-то сказать,— обратилась ко мне мисс Миллс.

И вот я рядом с нею, на моем прекрасном скакуне серой масти, и рука моя на дверце фаэтона.

— Дора приедет ко мне погостить. Она поедет со мной послезавтра. Если вы ничего против не имеете, позвольте пригласить вас к нам. Папа будет очень рад вас видеть.

Что мне оставалось, как не призвать мысленно тысячи благословений на голову мисс Миллс и не схоронить адрес мисс Миллс в самом надежном уголке моей памяти? Что мне оставалось, как не горячо поблагодарить мисс Миллс за эту услугу и не сказать ей, насколько высоко я ценю ее дружбу?

Тут мисс Миллс благосклонно отпустила меня со словами:

— Возвращайтесь к Доре.

Я вернулся назад, а Дора высунулась из коляски, чтобы удобней было беседовать со мной, и так мы проговорили всю дорогу. Я ехал на своем прекрасном скакуне серой масти так близко к колесу, что он задел передней ногой за колесо и «содрал кожу, так что придется уплатить три фунта семь шиллингов», как заявил мне его хозяин, каковую сумму я и уплатил, считая совсем ничтожной эту плату за полученную мною огромную радость. А что касается мисс Миллс,— она тем временем глядела на

луну, бормотала какие-то стихи и, мне кажется, вспоминала те далекие дни, когда она была чем-то связана с землей.

До Норвуда было слишком близко, и мы приехали туда слишком скоро, но мистер Спенлоу, подъезжая к дому, пришел в себя и сказал:

— Зайдите к нам, Копперфилд, отдохните.

Я согласился, и нам подали сандвичи и вино, разбавленное водой. Дора разрумянилась и в освещенной комнате казалась мне такой восхитительной, что я не мог заставить себя уйти и сидел, не отрывая от нее глаз, в каком-то полусне, пока храп мистера Спенлоу не напомнил мне о том, что пора и честь знать. И мы расстались. Всю дорогу я ощущал последнее прикосновение ручки Доры к моей руке, десятки раз вспоминал каждый эпизод и каждое ее слово и, уже лежа в постели, восхищался ею, как только может восхищаться юный олух, потерявший от любви голову.

Проснувшись утром, я решил объясниться Доре в любви и ждать решения своей участи. Вопрос заключался только в одном: быть мне счастливым или несчастным? Других вопросов для меня не существовало, и одна только Дора могла на него ответить. Три дня я провел в крайне бедственном положении, без конца терзая себя самыми неутешительными толкованиями всего, что когда-либо происходило между Дорой и мной. Наконец, нарядившись соответствующим образом, что стоило немало денег, я отправился к мисс Миллс с твердым решением объясниться в любви.

Не стоит упоминать сейчас о том, сколько раз я прошел взад и вперед по улице и обежал вокруг площади (на собственном мучительном опыте я тогда узнал, что на детскую старую загадку есть лучшая разгадка), прежде чем решился подняться по ступеням и постучать. Даже постучав и ожидая, пока мне откроют дверь, я вдруг подумал: а что, если осведомиться, проживает ли здесь мистер Блекбой (в подражание бедняге Баркису), попросить извинения и ретироваться? Однако я устоял.

Мистера Миллса не было дома. Да я и не предполагал его застать. В нем никто не нуждался. Мисс Миллс была дома. Достаточно и мисс Миллс.

Меня провели наверх в комнату, где находились мисс Миллс и Дора. Был там и Джип. Мисс Миллс переписывала ноты (помнится, это была новая песенка под названием «Панихида по любви»), а Дора рисовала цветы. Что я почувствовал, увидев, что это мои цветы! Точно такие цветы, какие я купил на Ковент-Гарденском рынке! Не скажу, чтобы на рисунке сходство было полное или что эти цветы хоть сколько-нибудь напоминали какие бы то ни было цветы вообще, но я узнал по тщательно скопированной бумаге, которой был обернут букет, что̀ предполагалось изобразить.

Мисс Миллс очень обрадовалась, увидев меня, и очень сожалела, что папы нет дома, хотя, кажется, мы все втроем перенесли это весьма мужественно. Несколько минут мисс Миллс развлекала меня разговором, потом положила перо на «Панихиду по любви», встала и покинула комнату. . .

Я начал подумывать, не отложить ли мне объяснение на завтра.

— Надеюсь, ваша бедная лошадка не очень устала, когда пришла вечером домой. Для нее это длинный путь,— сказала Дора, взглянув на меня очаровательными глазками.

Я начал подумывать, не объясниться ли мне сегодня.

— Да, для нее это длинный путь, потому что ее ничто не поддерживало во время нашей поездки,— сказал я.

— А разве ее, бедняжку, не покормили? — спросила Дора.

Я начал подумывать, не отложить ли объяснение на завтра.

— Н-нет... О ней позаботились как следует... Я хотел сказать, что, находясь около вас, она не наслаждалась тем невыразимым счастьем, каким наслаждался я.

Дора склонила голову над своим рисунком,— я пылал как в лихорадке, а ноги у меня одеревенели,— и сказала:

— Вы как будто не все время наслаждались этим счастьем.

Тут я понял, что жребий брошен и объясниться надо немедленно.

— По крайней мере вы совсем не думали об этом

счастье, когда сидели около мисс Китт,— сказала Дора, подняв брови и тряхнув головкой.

Должен заметить, что мисс Китт звали юное создание в розовом, с маленькими глазками.

— Я, собственно говоря, не понимаю, почему вы должны были наслаждаться и почему вообще вы называете это счастьем. Нет, вы не думаете того, что говорите. Но, конечно, вы совершенно свободны и можете поступать, как вам угодно. Джип! Вот несносный! Сюда!

Не знаю, как я это сделал, но я сделал это в один миг. Я опередил Джипа. Я заключил Дору в объятия. Я был безумно красноречив. Недостатка в словах у меня не было. Я сказал, как я ее люблю. Я сказал, что без нее умру. Я сказал ей, что обожаю ее и преклоняюсь перед ней. Джип все время тявкал как сумасшедший.

Когда Дора склонила головку, затрепетала и разразилась слезами, красноречие мое еще усилилось. Если она хочет, чтобы я умер ради нее, ей стоит сказать одно только слово, и я готов умереть! Жизнь без Доры — вещь нестоящая ни при каких условиях, и я не могу ее выносить и не вынесу. С той поры как я ее увидел, ни днем ни ночью не было минуты, когда бы я ее не любил! Я люблю ее и в эту минуту до безумия. И в каждую минуту моей жизни буду любить ее до безумия. Влюбленные любили и до меня, влюбленные будут любить и после меня, но ни один влюбленный никогда не любил, не мог любить, не может любить и не будет любить так, как я люблю Дору! Чем больше я неистовствовал, тем громче тявкал Джип. С каждым мигом мы оба, каждый по-своему, все больше сходили с ума.

Но вот немного погодя мы сидим — Дора и я,— уже немного успокоившись, на софе, и Джип лежит у нее на коленях и миролюбиво на меня поглядывает. Теперь на сердце у меня легко. Я в полном восторге. Мы с Дорой помолвлены.

Мне кажется, мы смутно представляли себе, что помолвка должна завершиться браком. Вероятно, это было так, раз Дора объявила, что она никогда не выйдет замуж без разрешения папы. Но не думаю, чтобы мы, в юношеском экстазе, заглядывали вперед, смотрели назад или стремились к чему-то, что выходило бы за пределы

настоящего. Мы должны были скрывать нашу тайну от мистера Спенлоу, но, конечно, мне и в голову не приходило, что в этом есть нечто неблаговидное.

Когда Дора, которая пошла за мисс Миллс, привела ее к нам, та казалась еще более задумчивой, чем обычно, ибо опасаюсь, это событие разбудило уснувшее эхо в пещерах Памяти. Но она дала нам свое благословение, заверила в вечной дружбе и вообще говорила с нами, как подобает Гласу, исходящему из Монастыря.

Какое это было безмятежное время! Какое счастливое, бездумное, безрассудное время!

То время, когда я снял мерку с пальчика Доры, чтобы заказать колечко из незабудок, а ювелир, которому я вручил мерку, догадался обо всем, и смеялся, склонившись над книгой заказов, и запросил с меня сколько вздумалось за хорошенькую безделушку с голубыми камешками, которая так связана в моей памяти с ручкой Доры, что вчера, случайно увидев похожее колечко на пальце моей дочери, я почувствовал, как у меня защемило сердце!

То время, когда я гулял, взволнованный своей тайной, преисполненный сознанием собственной значительности, и почитал такой честью любить Дору и быть ею любимым, что если бы я парил в воздухе, то и тогда не мог бы чувствовать себя выше людей, ползавших где-то там по земле!

То время, когда мы встречались в саду на площади и сидели в закоптелой беседке такие счастливые, что и посейчас я люблю только за это лондонских воробьев и их тусклые перья кажутся мне оперением тропических птиц!

То время, когда мы впервые сильно поссорились (после нашей помолвки не прошло еще и недели) и Дора отослала мне назад колечко, вложив его в сложенную треугольником записку, которая содержала ужасную фразу: «Наша любовь началась с глупости и кончилась сумасшествием», и от этих ужасных слов я рвал на себе волосы и вопил, что все кончено!

То время, когда под покровом ночи я помчался к мисс Миллс, которую я повидал украдкой в комнатке за кухней, где стоял каток для белья, и умолял мисс Миллс стать посредницей между нами и спасти нас от нашего

безумия и когда мисс Миллс исполнила мою просьбу и вернулась с Дорой и увещевала нас с трибуны своей разбитой молодости уступать друг другу и избегать пустыни Сахары!

То время, когда мы оба рыдали и помирились и снова были счастливы так, что комнатка за кухней с ее катком для белья и всем прочим превратилась в храм любви, и мы решили вести переписку через мисс Миллс, посылая хотя бы по одному письму ежедневно!

Какое это было безмятежное время! Какое это было счастливое, бездумное, безрассудное время! Время держит в своей деснице все дни моей жизни, и нет среди них ни одного, о котором я мог бы вспоминать с такой же улыбкой и такой же нежностью, как об этих днях!

ГЛАВА XXXIV

Бабушка приводит меня в изумление

Как только мы с Дорой были помолвлены, я написал Агнес. Я написал ей длинное письмо, в котором пытался дать ей понять, в каком блаженстве я утопаю и что за прелесть Дора. Я умолял Агнес не рассматривать мою любовь как легкомысленную влюбленность, всегда мимолетную или напоминающую одно из тех детских увлечений, над которыми мы с нею обычно смеялись. Я убеждал ее, что глубина этой любви поистине неизмерима, и выражал полную уверенность, что такой любви свет еще не видел.

И вот, когда я писал Агнес, сидя у открытого окна в чудесный вечер, и вспомнил ее ясные, спокойные глаза и кроткое лицо, при этом воспоминании такой мир и покой снизошли на мою смятенную и взволнованную душу,— а в этих треволнениях я жил последнее время и с ними отчасти было связано мое счастье,— что я расплакался. Помнится, я сидел над неоконченным письмом, подперев голову рукой, и мечтал о том, как бы это было хорошо, если бы Агнес была причастна к радостям моего домашнего очага. Мне казалось, что под сенью дома, ставшего

для меня священным благодаря присутствию Агнес, мы с Дорой будем счастливы больше, чем где бы то ни было. И казалось мне, что в любви, в радости и печали, в надежде и разочаровании — словом, во власти любого чувства — сердце мое невольно обращается к ней и там находит свое пристанище и лучшего друга.

О Стирфорте я не упомянул. Я написал только, что в Ярмуте случилось большое горе, что Эмили исчезла, а мне ее исчезновение нанесло двойную рану, принимая во внимание обстоятельства, его сопровождавшие. Я знал, как быстро она всегда угадывает правду, и знал я также, что она никогда первая не упомянет его имя.

На это письмо я получил ответ с обратной почтой. Читая его, я словно слышал голос Агнес. Да, это был ее нежный голос! Что могу я еще к этому добавить?

Во время моих последних отлучек из дому Трэдлс заходил раза два-три. Он застал Пегготи, которая ему сообщила, что она моя старая няня (о чем она сообщала решительно всем, кто хотел ее слушать), и он, завязав с ней добрые отношения, оставался поболтать обо мне. Так рассказала мне Пегготи, но боюсь, что болтал не он, а она, да притом весьма много, ибо ей — да благословит ее бог! — бывало трудненько остановиться, когда речь заходила обо мне.

Тут я припоминаю не только о том, что ждал визита Трэдлса в назначенный им день,— а этот день настал,— но и об отказе миссис Крапп от всех обязанностей, связанных с ее службой (но отнюдь не от жалованья), если Пегготи будет у меня бывать. После того как миссис Крапп, ведя на лестнице беседу,— очевидно, с каким-то невидимым духом, ибо по всем признакам, кроме нее, там никого не было,— визгливо поделилась с ним своим мнением о Пегготи, она прислала мне письмо, в котором излагались ее взгляды. Начав с заявления, которое у нее было наготове во всех случаях ее жизни, а именно — что она «тоже мать», она уведомляла меня о том, что знавала и лучшие времена, но во все периоды своей жизни питала врожденное отвращение к шпионам, доносчикам и незваным гостям. Имен она не называет, писала она, но на воре и шапка горит, и особенно она презирает шпионов, доносчиков и незваных гостей, носящих вдовий траур

(эти слова были подчеркнуты). Если джентльмен предпочитает быть жертвой шпионов, доносчиков и незваных гостей (имен она не называет), это его личное дело. Он имеет право поступать, как ему нравится, ну что ж, пусть поступает! Но она, миссис Крапп, выговаривает себе право не «иметь прикосновения» к таким особам. Поэтому она просит освободить ее от присмотра за помещением на верхнем этаже, покуда все не будет так, как было раньше и как было бы желательно. Далее она добавляла, что ее расходную книжку можно найти каждую субботу утром на маленьком столике, и просила производить подсчет расходов немедленно с единственной благодетельной целью избежать раздоров, «неприятных» для обеих сторон.

Затем миссис Крапп принялась устраивать на лестнице капканы, главным образом с помощью кувшинов, добиваясь, чтобы Пегготи переломала себе ноги. Такое осадное положение показалось мне внушающим тревогу, но я слишком боялся миссис Крапп, чтобы искать какого бы то ни было выхода.

— Дорогой Копперфилд! Как вы поживаете? — воскликнул Трэдлс, придя точно в назначенный час, несмотря на упомянутые препятствия.

— Очень рад видеть вас, дорогой Трэдлс, и жалею, что раньше вы меня не заставали. Но я так был занят...

— Да, да, знаю... Это так понятно! — сказал Трэдлс.— Ваша... м-м... живет в Лондоне?

— Вы о ком говорите?

— Она... простите... мисс Д... она живет в Лондоне? — спросил Трэдлс и от избытка деликатности покраснел.

— О да! Под Лондоном.

— Моя... может быть, вы припоминаете... она живет в Девоншире... их, знаете ли, десять... стало быть, я в этом смысле не так занят, как вы,— серьезно сказал Трэдлс.

— Удивительно, как это вы можете так редко с ней видаться,— сказал я.

— О! Да, пожалуй...— согласился Трэдлс с задумчивым видом.— Мне кажется, это потому, что иначе нельзя, Копперфилд...

— Конечно! — согласился я, улыбаясь и слегка краснея.— Но еще и потому, что вы — образец постоянства и терпения, Трэдлс.

— Вы так полагаете? — сказал Трэдлс и снова призадумался.— Не знаю, так ли это. Но она такая удивительная девушка, что, может быть, поделилась этими свойствами со мной. Вот теперь, когда вы об этом заговорили, Копперфилд, мне это не кажется удивительным. Уверяю вас, что она всегда забывает о себе и заботится об остальных девяти...

— Она самая старшая?

— О нет! Старшая — красавица!

Кажется, он заметил, что я улыбнулся, услышав такой простодушный ответ. И с улыбкой на своей бесхитростной физиономии добавил:

— Но, конечно, и моя Софи... Правда, славное имя, Копперфилд?

— Прекрасное! — сказал я.

— Но, конечно, и моя Софи,— продолжал он,— также красива, на мой взгляд, и кому угодно покажется одной из самых лучших девушек на свете — так я думаю... Когда же я говорю, что самая старшая — красавица, это значит, что она...

Тут он как будто очертил обеими руками какое-то облако и энергически закончил:

— Ослепительна!

— Вот как!

— Уверяю вас. Это что-то необычайное! Понимаете ли, она создана, чтобы вызывать восхищение в свете, но ей слишком редко представляется такая возможность, потому что они стеснены в средствах, и она, разумеется, по этой причине немножко раздражительна и иногда бывает слишком требовательна. Софи, знаете ли, ее ублажает.

— Софи — самая младшая? — осведомился я.

— О нет! — ответил Трэдлс, потирая подбородок.— Двум самым младшим только девять и десять лет. Софи обучает их.

— Так она вторая? — спросил я.

— Нет,— ответил Трэдлс.— Вторая — Сара. У нее, бедняжки, что-то неладное с позвоночником. Доктора го-

ворят, что это пройдет, но покуда она должна лежать в кровати еще год. Софи ухаживает за ней. Софи — четвертая.

— А мать жива?

— О да! Она жива,— сказал Трэдлс.— Это женщина высокой души, но сырой климат вреден для ее организма, и... словом, она не владеет ни руками, ни ногами.

— Да что вы! — воскликнул я.

— Печально, не правда ли? — спросил Трэдлс.— Но если к этому подойти, принимая во внимание только удобства семьи, то это не так ужасно, как могло бы быть, потому что Софи заняла ее место. Она, так сказать, заменяет мать своей собственной матери, а также и девяти сестрам.

Я пришел в восхищение от добродетелей этой молодой леди и, из самых достойных побуждений решив воспрепятствовать тому, чтобы злоупотребляли добротой Трэдлса в ущерб его планам на совместную жизнь с Софи, осведомился, как поживает мистер Микобер.

— Благодарю, Копперфилд, очень хорошо,— ответил Трэдлс.— Я теперь с ними не живу.

— Не живете?

— Нет. Видите ли, дело в том...— зашептал Трэдлс,— что теперь, вследствие временных затруднений, он переменил свою фамилию на Мортимер и не выходит из дому, пока не стемнеет... Да и то только в очках. За невзнос платы за квартиру был наложен арест на наше имущество. Миссис Микобер находилась в таком ужасном состоянии, что я не мог сопротивляться и поручился по второму векселю, о котором мы здесь говорили. Вам легко представить себе, как я обрадовался, когда благодаря этому все уладилось и миссис Микобер снова обрела хорошее расположение духа.

— Гм...

— Но радость ее была непродолжительна, потому что, к несчастью, через неделю наложен был второй арест,— продолжал Трэдлс.— После этого хозяйство у нас распалось. Теперь я живу в меблированных комнатах, а Мортимеры ведут жизнь очень уединенную. Надеюсь, вы не сочтете меня эгоистом, Копперфилд, если я скажу вам, что оценщик увез мой круглый столик с мраморной

доской, а также подставку для цветов и цветочный горшок Софи?

— Какая бесчеловечность! — воскликнул я с негодованием.

— Это было... это было больно,— сказал Трэдлс и сделал гримасу, которой он обычно сопровождал эту фразу.— Но я не хочу никого упрекать, у меня другая цель. Дело в том, Копперфилд, что я не мог выкупить эти вещи, когда их продавали, во-первых, потому, что оценщик, поняв, что я хочу их купить, назначил непомерно высокую цену, а во-вторых, потому, что у меня совсем не было денег. Но вот... Я следил все время за лавкой оценщика...— Трэдлс был в восторге от своей тайны.— Лавка помещается в самом начале Тоттенхем-Корт-роуд. И, наконец, сегодня они были выставлены на продажу. Я видел их через дорогу, потому что, упаси боже, если меня заметит оценщик — он заломит за них бог знает сколько! Теперь деньги у меня есть, и, может быть, вам нетрудно будет спросить вашу славную няню, не согласится ли она пойти со мной в эту лавку,— я покажу ей лавку из-за угла,— и купить вещи по доступной цене как бы для себя?

Отчетливо помню, с каким удовольствием излагал мне Трэдлс этот план и как гордился своим необычайным хитроумием.

Я ответил ему, что моя старая няня с удовольствием окажет ему эту услугу и что на поле битвы мы отправимся втроем, но при одном условии. Условие это таково: он должен торжественно обещать, что больше не разрешит мистеру Микоберу брать взаймы от его имени или вообще как бы то ни было использовать это имя.

— Этого больше не будет, дорогой Копперфилд, потому что я уже понял, насколько я был опрометчив и как дурно поступил по отношению к Софи. Я уже себе дал слово, и впредь опасаться нечего, но, если хотите, охотно даю слово и вам. По первому злосчастному обязательству я уже уплатил. Не сомневаюсь, мистер Микобер вернул бы эту сумму, если бы мог, но он не может. Впрочем, должен сказать, Копперфилд, что в одном мистер Микобер очень меня подкупил; это касается второго обязательства, срок которого еще не истек. Теперь он не гово-

рит мне, что обеспечение уже *есть,* но что оно *будет.* И я должен признать, что он поступает честно и благородно!

Мне не хотелось охлаждать упования моего славного приятеля, и я согласился с ним. Мы еще немного потолковали, а затем направились к мелочной лавке, чтобы завербовать Пегготи; Трэдлс отказался провести со мной вечер, ибо очень боялся, что его вещи приобретет кто-нибудь другой, прежде чем он успеет их выкупить, да к тому же этот вечер он всегда посвящал писанию письма самой лучшей девушке в мире.

Мне не забыть его взглядов, которые он бросал из-за угла Тоттенхем-Корт-роуд, пока Пегготи прицениваласъ к этим драгоценным вещам; не забыть мне и его волнения, когда Пегготи, так и не сторговавшись с хозяином, медленно шла к нам обратно и вдруг смягчившийся оценщик ее окликнул и она вернулась назад. В конце концов переговоры завершились тем, что она приобрела вещи по сравнительно недорогой цене, и Трэдлс потерял голову от радости.

— О, как я вам благодарен! — воскликнул он, услышав, что вещи будут посланы по его адресу в тот же вечер.— Но что, если я попрошу вас еще об одном одолжении, вы не найдете его нелепым, Копперфилд?

Я заранее сказал, что не найду.

— Если бы вы были так любезны,— обратился он к Пегготи,— и прямо сейчас забрали горшок для цветов, мне хотелось бы (ведь этот горшок, Копперфилд, принадлежит Софи) самому отнести его домой!

Пегготи с удовольствием исполнила его просьбу, а Трэдлс, осыпав ее изъявлениями признательности, с любовью обхватил цветочный горшок руками и понес его по Тоттенхем-Корт-роуд, и лицо его выражало такую радость, какой я еще не видывал.

Затем мы с Пегготи отправились ко мне домой. Я не знавал ни одного человека, для которого лавки обладали бы такой же притягательной силой, как для Пегготи, и я шел не спеша, забавляясь тем, как она смотрит на витрины во все глаза, и нисколько ее не торопил. Поэтому прошло немало времени, пока мы добрались до Аделфи.

Поднимаясь по лестнице, я обратил внимание Пегготи на внезапное исчезновение капканов миссис Крапп и на

следы чьих-то ног. Мы оба очень удивились, когда, поднявшись выше, увидели мою наружную дверь открытой (я запер ее перед отходом) и услышали голоса, доносившиеся из комнат.

Недоумевая, что это означает, мы переглянулись и вошли в гостиную. Каково же было мое удивление, когда я увидел тех, кого меньше всего на свете ожидал здесь встретить,— мою бабушку и мистера Дика! Бабушка, словно Робинзон Крузо женского пола, сидела на груде чемоданов, перед ней стояли клетки с ее двумя птичками, на коленях лежала кошка, а сама она пила чай. Мистер Дик задумчиво опирался на гигантский змей, подобный тем, какие мы не раз запускали вместе, и около него на полу тоже был нагроможден какой-то багаж.

— Бабушка! Дорогая бабушка! — воскликнул я.— Какая неожиданная радость!

Мы крепко обняли друг друга, затем обменялись сердечным рукопожатием с мистером Диком, а миссис Крапп, которая разливала чай и была исключительно любезна, с жаром заявила, что она заранее отлично знала, в какой восторг придет мистер Копперфулл, когда увидит своих дорогих родственников.

— А! Ну, а ты как поживаешь? — обратилась бабушка к Пегготи, которая задрожала от страха в присутствии этой грозной особы.

— Ты помнишь мою бабушку, Пегготи? — спросил я.

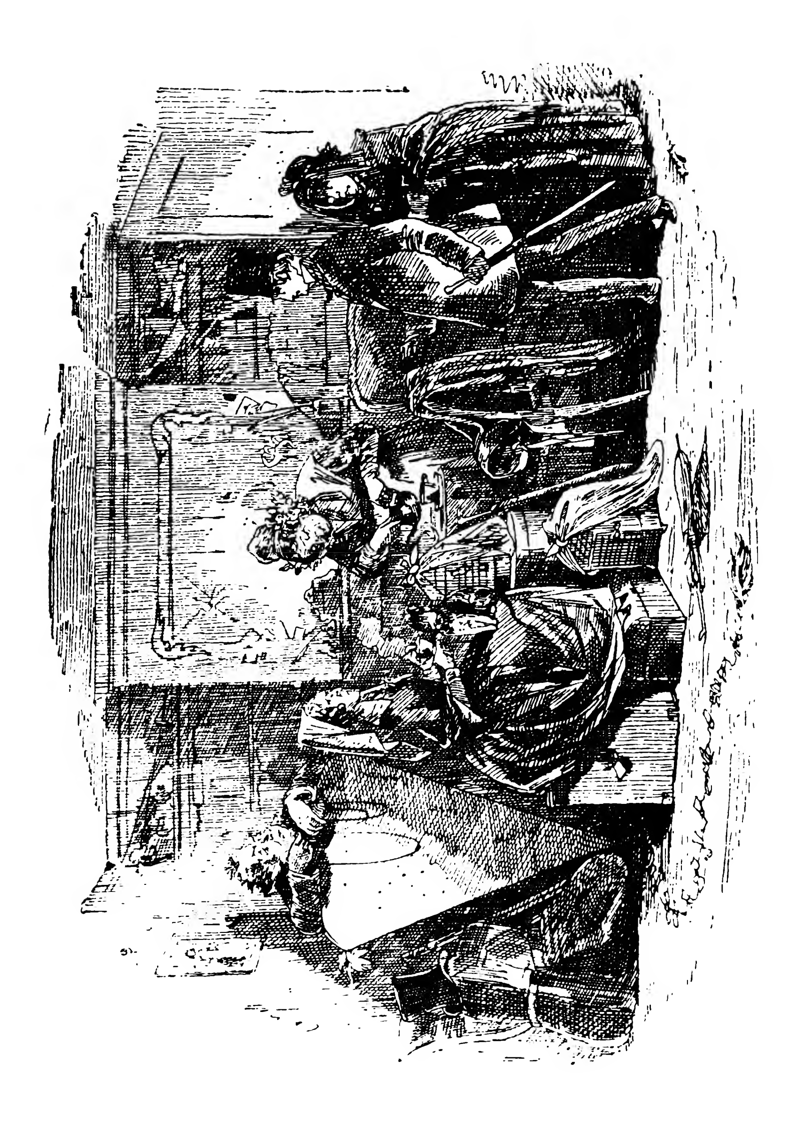
— Заклинаю тебя, дитя мое, не называй эту женщину именем, которое услышишь разве что на островах Южных морей! — воскликнула бабушка.— Если она вышла замуж и отделалась от своей фамилии,— а лучше этого она не могла ничего придумать,— то почему же не дать ей воспользоваться преимуществами такой перемены? Как тебя теперь зовут, Пе?

Это был компромисс, несколько примирявший бабушку с неприятным для нее именем.

— Баркис, сударыня,— приседая, сказала Пегготи.

— Ну что ж! Это звучит по-человечески,— сказала бабушка.— Оно звучит так, что ты уже не нуждаешься в миссионере. Как поживаешь, Баркис? Хорошо, надеюсь?

Услышав эти милостивые слова и увидев протянутую



ей руку, Баркис подошла, пожала руку и приседанием выразила свою благодарность.

— Вижу, мы постарели,— сказала бабушка.— Встречались мы с тобой только один раз. Хороши мы были тогда! Трот, дорогой, еще чашку!

Я поспешил подать чашку чаю бабушке, сидевшей, как всегда, прямо, не сгибаясь, и осмелился заметить, что лучше бы ей не сидеть на сундучке.

— Бабушка, позвольте мне пододвинуть сюда софу или кресло. Зачем вам сидеть так неудобно? — сказал я.

— Спасибо, Трот,— ответила она.— Я предпочитаю сидеть на моих вещах.— Тут она пристально поглядела на миссис Крапп и закончила:— Вы, сударыня, можете больше не утруждать себя.

— Подсыпать еще немножко чая в чайник, сударыня? — осведомилась миссис Крапп.

— Нет, благодарю, сударыня,— ответила бабушка.

— Принести еще кружочек масла, сударыня? А не то позвольте предложить вам свежее яичко. Или, может, поджарить ломтик грудинки? Для вашей милой бабушки, мистер Копперфулл, я все готова сделать! — сказала миссис Крапп.

— Мне ровно ничего не нужно, сударыня. Благодарю, я сама справлюсь.

Миссис Крапп, которая все время улыбалась, чтобы выказать свой добрый нрав, все время склоняла голову на плечо, чтобы заявить о своем слабом здоровье, все время потирала руки, чтобы выразить готовность услужить каждому, кто этого достоин,— миссис Крапп была вынуждена, улыбаясь, склонив голову к плечу и потирая руки, покинуть комнату.

— Дик, вы помните, что я говорила вам о людях угодливых и преклоняющихся перед богатством? — спросила бабушка.

У мистера Дика был испуганный вид, словно он забыл об этом, но он поспешил ответить утвердительно.

— Миссис Крапп принадлежит к их числу,— сказала бабушка.— Баркис, будь добра, займись чаем и дай мне еще чашку. Я не хочу, чтобы эта женщина мне наливала.

Я слишком хорошо знал бабушку и понял, что она очень озабочена и что этот приезд имеет гораздо боль-

шее значение, чем может показаться несведущему наблюдателю. Я заметил, как пристально она на меня посмотрела, когда ей казалось, будто я занят какими-то посторонними мыслями, и как не покидало ее чувство странной нерешительности, хотя внешне она сохраняла спокойствие и невозмутимость. И я стал опасаться, не обидел ли я ее чем-нибудь, а совесть моя подсказала, что я еще не сообщил ей ничего о Доре. Может быть, в этом все дело?

Мне было известно, что она заговорит только тогда, когда сама того захочет, а потому я подсел к ней, занялся птичками, принялся играть с кошкой и держал себя так непринужденно, как только мог. Но мне было совсем не по себе и стало не лучше, когда я увидел, что мистер Дик, стоявший позади бабушки, опираясь на огромный змей, пользуется каждым удобным случаем, чтобы с мрачным видом кивнуть мне головой и указать на бабушку.

— Трот! — обратилась ко мне бабушка, когда допила чай, и, тщательно разгладив на коленях платье, вытерла губы.— Ты, Баркис, можешь остаться. Трот! Ты приобрел твердость духа и уверенность в себе?

— Надеюсь, бабушка.

— А как тебе кажется? — спросила мисс Бетси.

— Кажется, что приобрел.

— Тогда скажи, мой милый,— продолжала бабушка, серьезно глядя на меня,— как по-твоему, почему я предпочитаю сидеть сегодня вечером на своих вещах?

Я покачал головой, ибо не мог догадаться.

— Потому что это все, что у меня осталось. Потому что я разорена, мой дорогой.

Если бы дом со всеми нами свалился в реку, я не был бы так потрясен.

— Дик это знает,— продолжала бабушка, спокойно кладя мне на плечо руку.— Да, я разорена, дорогой Трот. Все, что у меня осталось, находится здесь, в этой комнате, если не считать коттеджа. Я поручила Дженет сдать его внаем. Баркис, я хочу, чтобы этому джентльмену было где сегодня переночевать. А для меня, может быть, вы устроите что-нибудь здесь, во избежание лишних расходов. Мне решительно все равно. Только на сегодняшнюю ночь. Подробней мы поговорим обо всем этом завтра.

Я опомнился от изумления и от огорчения за нее,— да, могу сказать с уверенностью, за нее! — лишь тогда, когда она бросилась мне на шею, восклицая, что ей тяжело только из-за меня. Но уже через секунду она справилась со своим волнением и сказала с видом скорее торжествующим, чем удрученным:

— Надо стойко выносить превратности судьбы, мой дорогой, и не дать им нас запугать. Надо играть свою роль до конца. Надо устоять перед бедой, Трот!

ГЛАВА XXXV

Уныние

Как только я обрел способность соображать, которая мне вначале изменила после ошеломительного сообщения бабушки, я предложил мистеру Дику направиться к мелочной лавке, чтобы воспользоваться кроватью, на которой еще совсем недавно спал мистер Пегготи. Мелочная лавка находилась на площади Хангерфордского рынка, а в те времена площадь Хангерфордского рынка была непохожа на теперешнюю — перед входом в дом находилась деревянная колоннада (вроде той, какая бывает на старинных барометрах перед домиком с фигурками мужчины и женщины), весьма понравившаяся мистеру Дику. Удовольствие проживать над таким сооружением вознаградило бы его, полагаю, за многие неудобства, а поскольку, в сущности, их было мало, если не считать упомянутых мной ароматов и крохотных размеров помещения, мистер Дик был очарован своей комнатой. Правда, миссис Крапп с негодованием объявила ему, что там и кошку негде повесить, но мистер Дик, усевшись на кровать и обхватив ногу руками, справедливо заметил, обращаясь ко мне:

— Но я совсем не хочу вешать кошку, Тротвуд. Я никогда не вешал кошек. Не понимаю, какое это имеет отношение ко мне!

Я старался разузнать, известна ли мистеру Дику причина столь неожиданных и великих перемен в жизни бабушки. Но, как я и ожидал, он не имел об этом никакого

понятия. Он мог сообщить мне только, что два дня назад бабушка обратилась к нему с такими словами: «Дик! Вы в самом деле философ, каким я вас считаю?» На это он ответил, что льстит себя этой надеждой. Тогда бабушка сказала: «Дик, я разорена». На это он ответил: «Ах, вот как!» А тогда бабушка горячо его похвалила, чему он очень обрадовался. И затем они отправились ко мне, а дорогой пили портер и ели сандвичи.

Мистер Дик был безмятежно спокоен, когда с удивленной улыбкой смотрел на меня широко открытыми глазами, сидя на кровати и обхватив руками ногу, и, к стыду своему должен признаться, я попробовал ему объяснить, что это разорение означает нужду, страдания и голод. Но тут же я горько раскаялся в своей жестокости: его лицо вдруг побледнело и вытянулось, слезы полились по щекам, и он устремил на меня такой невыразимо печальный взгляд, что от этого взгляда должно было смягчиться сердце куда более жестокое, чем мое. Гораздо легче было привести его в уныние, чем теперь снова развеселить. И тут я понял (мне следовало сообразить раньше), все его спокойствие проистекало единственно лишь из того, что он нерушимо верил в самую мудрую, самую удивительную женщину в мире и безоговорочно полагался на силу моего ума. Такой ум, по его мнению, мог справиться с любыми несчастьями, кроме, пожалуй, смерти.

— Что же нам делать, Тротвуд? — спросил мистер Дик.— У нас, правда, есть Мемориал...

— Да, да, я знаю, что есть! — сказал я.— Сейчас, мистер Дик, нам остается только сохранять беззаботный вид,— бабушка не должна заметить, что мы думаем об этом.

Он с жаром согласился со мной и стал умолять, чтобы я, если он свернет хотя бы на дюйм с правильного пути, вразумил его одним из тех хитроумных способов, какие всегда находятся в моем распоряжении. К сожалению, надо сказать, что страх, который я на него нагнал, был слишком силен, чтобы он мог его скрыть. В течение всего вечера он следил за бабушкой таким мрачным взглядом и с таким беспокойством, словно она чахла у него на глазах. Поймав себя на этом, он старался изо всех сил не

качать головой, но зато вращал глазами так, словно они были заводные, а это было ничуть не лучше. За ужином я видел, что он смотрит на булку (которая случайно оказалась невелика) таким взглядом, точно она одна может спасти нас от голода. А когда бабушка настояла на том, чтобы он ел, как всегда, я подглядел, как он украдкой сует в карман куски хлеба и сыра, несомненно с единственной целью поддержать нас этими запасами, когда мы достигнем последней степени истощения.

Бабушка, напротив, сохраняла полное спокойствие — это был хороший урок для всех нас и прежде всего для меня. Она была очень приветлива с Пегготи, за исключением тех моментов, когда я нечаянно называл ее этим именем, и держала себя так, словно была дома, хотя я хорошо знал, как неуютно она чувствует себя в Лондоне. Спать она должна была на моей кровати, а я должен был лечь в гостиной, оберегая ее покой. Она считала крайне важным находиться поблизости от реки на случай пожара и в этом отношении, как мне кажется, была довольна.

— Трот, милый, не нужно! — сказала она, увидев, что я приготовляю напиток, который она обычно пила перед сном.

— Как, бабушка? Ничего не нужно?

— Вина не надо, дорогой мой. Эля.

— Но у меня, бабушка, есть вино. И вы всегда смешивали вино с водой.

— Сохрани его на случай болезни. Нельзя тратить вино попусту, Трот. Принеси мне эля. Полпинты,— сказала бабушка.

Мистер Дик, мне кажется, чуть не упал в обморок. Бабушка была непреклонна, и я сам пошел за элем. Этим удобным случаем воспользовались Пегготи и мистер Дик, чтобы отправиться в мелочную лавку, так как было уже поздно. Я расстался с ним, беднягой, когда он с огромным змеем за спиной стоял на углу улицы,— поистине памятник человеческой скорби.

Когда я вернулся, бабушка ходила по комнате и теребила оборку ночного чепца. Я подогрел эль и по заведенному порядку поджарил гренки. Когда все было для нее приготовлено, она тоже была готова,— на голове у нее был ночной чепец и подол капота подобран на колени.

— Мой милый, это гораздо лучше, чем вино,— сказала бабушка, проглотив полную ложку приготовленного питья.— И для печени полезнее.

Кажется, мой вид свидетельствовал, что я в этом не уверен, так как она добавила:

— Та-та-та, мой мальчик! Если все дело ограничится тем, что нам придется пить эль, будет превосходно.

— Я бы и сам так думал, бабушка, если бы это касалось меня,— сказал я.

— А почему же ты так не думаешь?

— Потому что вы и я разные люди,— ответил я.

— Глупости, Трот! — отрезала бабушка.

Бабушка продолжала прихлебывать с ложечки горячий эль, макая в него гренки с большим удовольствием, в котором не было ни капли притворства.

— Трот, как правило, я не люблю новые лица,— продолжала бабушка,— но твоя Баркис мне нравится.

— Эти слова для меня дороже золота,— сказал я.

— Какой странный мир! — заметила бабушка, потирая нос.— Я не в силах понять, как могла появиться на свет женщина с такой фамилией. Казалось бы, легче родиться с фамилией Джексон или какой-нибудь другой в этом роде.

— Возможно, что она с этим согласна. Но это не ее вина,— сказал я.

— Допускаю, что так,— сказала бабушка, по-видимому не очень довольная тем, что приходится соглашаться.— И все-таки это очень неприятно. Правда, *теперь* она Баркис. В этом есть некоторое утешение. Баркис любит тебя больше всех на свете, Трот.

— Она готова сделать все, чтобы это доказать,— сказал я.

— Да, пожалуй, все,— подтвердила бабушка.— Подумай только: эта глупая женщина умоляла меня взять часть ее денег, потому что у нее их слишком много. Вот дурочка!

Она прослезилась от умиления, и слезы закапали в горячий эль.

— Я никогда не видела более нелепого существа,— сказала бабушка.— С первой же минуты я поняла, что она самое нелепое существо, поняла, как только увидела

ее с этим несчастным младенцем — с твоей матерью. Но в ней, в Баркис, есть много хорошего...

Притворившись, будто смеется, бабушка провела рукой по глазам. Покончив с этим, она снова вернулась к своим гренкам и к нашей беседе.

— Ах, господи помилуй,— вздохнула она.— Мне все известно, Трот. Когда вы ушли с Диком, Баркис мне все рассказала. Мне все известно. Понятия не имею, на что могут надеяться эти несчастные девушки. Лучше было бы им разбить себе голову... об... об каминную доску...— закончила она.

Должно быть, созерцание моей каминной доски подсказало ей эту идею.

— Бедная Эмили! — сказал я.

— Ох! Не говори мне, что она бедная! — отозвалась бабушка.— Прежде чем причинить всем столько горя, она должна была как следует подумать! Поцелуй меня, Трот. Как жалко, что тебе так рано довелось приобрести жизненный опыт.

Когда я потянулся к ней, она уперлась стаканом мне в колено, чтобы удержать меня, и сказала:

— О Трот, Трот! Так, значит, ты воображаешь, что влюблен?

— Воображаю, бабушка! Я обожаю ее всей душой! — воскликнул я, так покраснев, что дальше уж некуда было краснеть.

— Ну, разумеется! Дора! Так, что ли? И, конечно, ты хочешь сказать, что она очаровательна?

— О бабушка! Никто не может даже представить себе, какова она!

— А! И не глупенькая? — осведомилась бабушка.

— Глупенькая?! Бабушка!

Я решительно уверен, что ни разу, ни на один момент мне и в голову не приходило задуматься, глупенькая она или нет. Конечно, я отбросил эту мысль с возмущением. Тем не менее она поразила меня своей неожиданностью и новизной.

— Не легкомысленная? — спросила бабушка.

— Легкомысленная?! Бабушка!

Я мог только повторить это дерзкое предположение с тем же чувством, что и предыдущее.

— Ну, хорошо, хорошо... я ведь только спрашиваю,— сказала бабушка.— Я о ней плохо не отзываюсь. Бедные дети! И вы, конечно, уверены, что созданы друг для друга и собираетесь пройти по жизни так, словно жизнь — пиршественный стол, а вы — две фигурки из леденца? Верно, Трот?

Она задала мне этот вопрос так ласково и с таким видом, шутливым и вместе с тем печальным, что я был растроган.

— Бабушка! Я знаю, мы еще молоды и у нас нет опыта,— сказал я.— Я не сомневаюсь, что мы, может быть, говорим и думаем о разных глупостях. Но мы любим друг друга по-настоящему, в этом я уверен. Если бы я мог предположить, что Дора полюбит другого или разлюбит меня, или я кого-нибудь полюблю или разлюблю ее — я не знаю, что бы я стал делать... должно быть, сошел бы с ума!

— Ох, Трот! Слепой, слепой, слепой! — мрачно сказала бабушка, покачивая головой и задумчиво улыбаясь.— Один мой знакомый,— продолжала она, помолчав,— несмотря на мягкий свой характер, способен на глубокое, серьезное чувство, напоминая этим свою покойную мать. Серьезность — вот что этот человек должен искать,— чтобы она служила ему опорой и помогала совершенствоваться, Трот. Глубокий, прямой, правдивый, серьезный характер!

— О, если бы вы только знали, как Дора серьезна! — воскликнул я.

— Ах, Трот! Слепой, слепой! — повторила она.

Сам не знаю почему, но мне почудилось, будто надо мной нависло облако, словно я что-то утратил или чего-то мне не хватает.

— Но все-таки я не хочу, чтобы два юных существа разочаровались друг в друге или стали несчастны,— продолжала бабушка,— и, хоть это любовь детская, а детская любовь очень часто — я не говорю, что всегда! — ни к чему не приводит, отнесемся к ней серьезно и будем надеяться на благополучный исход. Времени впереди еще довольно.

В общем, это было не очень утешительно для восторженного влюбленного, но я был рад, что бабушка посвя-

щена в мою тайну; тут я сообразил, что она, вероятно, утомилась. Я горячо ее поблагодарил за любовь ко мне и за все ее благодеяния, а она нежно пожелала мне спокойной ночи и унесла свое питье в мою спальню.

Каким я чувствовал себя несчастным, когда улегся в постель! Сколько я думал о том, что теперь в глазах мистера Спенлоу я бедняк; о том, что я совсем не таков, каким себя воображал, когда делал предложение Доре; о том, что честь заставляет меня сообщить Доре об изменившемся моем положении в обществе и вернуть ей слово, если она этого пожелает; о том, как ухитрюсь я прожить, пока прохожу обучение, когда я ничего не зарабатываю; о том, как помочь бабушке, когда все пути к этому были для меня закрыты!.. Сколько я думал о том, что останусь без денег, вынужден буду ходить в потертом костюме, не смогу подносить Доре маленьких подарков, не смогу гарцевать на красивом скакуне серой масти и показывать себя в наиболее выгодном свете! Жалкий я был эгоист, и понимал это, и мучился тем, что так много думаю о собственном своем несчастье... Но я был влюблен в Дору и ничего не мог поделать. Я знал, что низко с моей стороны думать так мало о бабушке и так много о себе, но мое себялюбие неотделимо было от Доры и я не мог забыть Дору из-за любви к кому бы то ни было. Как я был страшно несчастен в эту ночь!

Что касается снов, то я видел их бог знает сколько, самых разнообразных, и все о нищете! Но мне казалось, что они мне начали сниться прежде, чем я заснул. То видел я себя в лохмотьях — я предлагаю Доре спички, полдюжины пакетиков за полпенни; вот я в конторе, на мне надета ночная рубашка и сапоги, а мистер Спенлоу делает мне выговор за то, что я появляюсь перед клиентами в таком легкомысленном костюме; то я с жадностью подбираю крошки сухаря, который старый Тиффи съедает ежедневно, когда часы св. Павла пробьют один раз; вот я безнадежно пытаюсь получить лицензию на брак с Дорой, предлагая в возмещение только одну из перчаток Урии Хипа, которую Докторс-Коммонс единодушно отвергает. И, все время смутно сознавая, что нахожусь в своей комнате, я метался на диване, как потерпевший крушение корабль, по океану постельного белья...

Бабушке тоже не спалось, ибо до меня часто доносились ее шаги по комнате. Раза два в течение ночи, завернутая в длинный фланелевый халат, в котором она казалась гигантского роста, она появлялась в моей комнате, словно привидение, и приближалась к дивану, на котором я лежал. В первый раз я вскочил в тревоге и услышал, что горит Вестминстерское аббатство, в чем она убедилась по какому-то особенному зареву в небе, и пришла спросить мое мнение, не загорится ли Бэкингем-стрит, если переменится ветер. Во второй раз я уже лежал, не шевелясь, и услышал, как она присела ко мне и тихо прошептала: «Бедный мальчик!» И тогда я почувствовал себя в двадцать раз несчастней, ибо понял, с какой бескорыстной заботливостью думает она обо мне и как эгоистически забочусь я о себе самом.

Мне трудно было поверить, что такая длинная ночь может показаться кому-нибудь короткой. Эта мысль привела меня к размышлениям о званом вечере, на котором приглашенные танцуют целые часы напролет, и я думал об этом так долго, что званый вечер перешел в сновидение, и я услышал музыку, непрерывно игравшую одно и то же, и увидел Дору,— она непрерывно танцевала один и тот же танец и не обращала на меня ни малейшего внимания. Музыкант, игравший всю ночь на арфе, тщетно пытался покрыть ее обыкновенным ночным чепцом, когда я проснулся; вернее сказать — когда я окончательно отчаялся заснуть, и тут я, наконец, увидел, что в окно светит солнце.

В те дни в глубине одной из уличек неподалеку от Стрэнда находились старинные римские бани * — быть может, они целы и теперь,— где я часто купался в бассейне с холодной водой. Одевшись как можно тише, я поручил Пегготи попечение над бабушкой, зашел сперва в баню, где бросился вниз головой в холодную воду, а затем пошел по направлению к Хэмстеду. Я надеялся, что эти энергические меры хотя бы немного освежат мою голову; думаю, они принесли мне пользу, так как вскоре я пришел к заключению, что прежде всего я должен сделать попытку расторгнуть договор с мистером Спенлоу и получить обратно плату за обучение. Я позавтракал,

и по дорогам, еще влажным от утренней росы, вдыхая чудесный аромат летних цветов, доносившийся из садов и из корзин торговцев, которые они несли на голове в город, зашагал назад, к Докторс-Коммонс, думая только об этой первой своей попытке встретиться лицом к лицу с переменами в нашем положении.

До конторы я добрался так рано, что мне пришлось полчаса слоняться вокруг Докторс-Коммонс, прежде чем старый Тиффи, всегда приходивший первым, появился со своим ключом. Тогда я уселся в своем темном уголке, наблюдая игру солнечных лучей на колпаках дымовых труб напротив, и принялся думать о Доре, пока не показался аккуратно завитой мистер Спенлоу.

— Как поживаете, Копперфилд? Какое прекрасное утро! — сказал он.

— Чудесное утро, сэр. Вы уделите мне минутку до ухода в суд? — спросил я.

— Конечно. Пойдемте в кабинет.

Я последовал за ним в его кабинет, и он стал надевать мантию, глядясь в маленькое зеркало, висевшее на внутренней стороне дверцы стенного шкафа.

— К сожалению, я узнал печальные новости, касающиеся моей бабушки,— сказал я.

— Да что вы? Боже мой! Надеюсь, не паралич?

— Это не имеет отношения к ее здоровью, сэр,— ответил я.— Она понесла большие убытки... Вернее говоря, у нее почти ничего не осталось...

— Вы о...шеломили меня, Копперфилд! — воскликнул мистер Спенлоу.

Я понурил голову.

— Да, сэр... Ее положение так изменилось, что я решился спросить вас, не можете ли вы... одним словом... конечно, мы готовы пожертвовать частью внесенной суммы (я предложил это неожиданно для самого себя, увидев его бесстрастное лицо) ...не можете ли расторгнуть наш договор...

Никто не знает, чего мне стоило сделать это предложение. Ведь оно означало, что я прошу, как милости, отправить меня на каторгу, оторвав от Доры!

— Расторгнуть наш договор, Копперфилд? Расторгнуть?

Со всей возможной твердостью я объяснил, что решительно не знаю, откуда взять средства к существованию, которые мне теперь придется добывать самому. За будущее я не боюсь, сказал я — и подчеркнул это с особой выразительностью, как бы намекая, что со временем, бесспорно, стану подходящим зятем,— но в данный момент я должен жить только на свои средства.

— Как мне грустно слышать это, Копперфилд! —сказал мистер Спенлоу.— Чрезвычайно грустно. Расторгать договор по такой причине не принято. Деловые люди так не поступают. Это был бы необычный прецедент, совсем необычный. Впрочем...

— Вы так добры, сэр...— пробормотал я, ожидая, что он уступит.

— Не в этом дело. Ну что вы! Стоит ли об этом говорить! — продолжал мистер Спенлоу.— Впрочем, я хотел сказать, что если бы не моя участь... руки у меня связаны... если бы не мой компаньон мистер Джоркинс...

Надежды мои рассыпались прахом, но я сделал еще попытку:

— А если бы я поговорил с мистером Джоркинсом, не кажется ли вам, сэр...

Мистер Спенлоу с безнадежным видом покачал головой.

— Упаси бог, Копперфилд, чтобы я был к кому-нибудь несправедлив, а в особенности к мистеру Джоркинсу! Но я хорошо знаю своего компаньона, Копперфилд. Мистер Джоркинс не из тех людей, которые могли бы согласиться на такое необычное предложение. Мистер Джоркинс очень неохотно покидает привычную колею. Ведь вы его знаете!

По чести говоря, я не знал о нем ничего, кроме того только, что раньше он был единственным владельцем фирмы, а теперь проживал в полном одиночестве неподалеку от Монтегю-сквера, в доме, крайне нуждавшемся в окраске; пожалуй, я знал также, что он является в контору очень поздно, а уходит очень рано, что с ним как будто никогда ни о чем не советуются, что наверху в конторе у него есть мрачная конура, где он никогда не занимается делами, и что на его письменном столе лежит пожелтевшая от времени промокательная бумага без еди-

ного чернильного пятнышка; говорили, что этой бумаге уже двадцать лет.

— Вы не будете возражать, сэр, если я с ним поговорю? — спросил я.

— Сделайте одолжение! — сказал мистер Спенлоу.— Но я имел дело с мистером Джоркинсом, Копперфилд. Мне хотелось бы ошибиться, ибо я был бы счастлив удовлетворить вашу просьбу. У меня нет никаких возражений против вашей беседы с мистером Джоркинсом, Копперфилд, если вы считаете это нужным.

Получив разрешение, которое мистер Спенлоу сопроводил крепким рукопожатием, я уселся на свое место и стал размышлять о Доре, наблюдая за лучами солнца, передвинувшимися с колпаков дымовых труб на стену дома, расположенного напротив, покуда не пришел мистер Джоркинс. Тогда я поднялся в комнатку мистера Джоркинса, который очень удивился моему появлению.

— Входите, мистер Копперфилд,— сказал мистер Джоркинс.— Входите!

Я вошел, сел на стул и изложил свое дело мистеру Джоркинсу почти в тех же словах, что и мистеру Спенлоу. Мистер Джоркинс меньше всего казался страшилищем, как можно было бы ожидать. Это был дородный, вялый человек лет шестидесяти, с гладко выбритым лицом, нюхавший табак в таком количестве, что в Докторс-Коммонс говаривали, будто он питается главным образом этим возбуждающим снадобьем и в его организме решительно не остается места для другой пищи.

— Вы уже говорили об этом с мистером Спенлоу? — спросил мистер Джоркинс, с большим беспокойством выслушав меня до конца.

Я ответил утвердительно и сказал, что мистер Спенлоу направил меня к нему.

— Он говорил, что я буду возражать? — спросил мистер Джоркинс.

Мне пришлось сказать, что мистер Спенлоу допускал такую возможность.

— К сожалению, мистер Копперфилд, я ничего не могу для вас сделать,— сказал мистер Джоркинс возбужденно.— Дело в том... Но у меня назначено свидание в банке, прошу прощения...

С этими словами он поспешно встал и направился к двери; тут я отважился заметить, что, по-видимому, мое дело не удастся решить в мою пользу.

— Да, не удастся,— повторил мистер Джоркинс, останавливаясь в дверях и покачав головой.— О да! Я, знаете ли, возражаю! — сказал он поспешно и вышел, но тут же снова заглянул в комнату и проговорил: — Вы понимаете, мистер Копперфилд, если мистер Спенлоу возражает...

— Он лично не возражает, сэр,— сказал я.

— О! Лично! — нетерпеливо повторил мистер Джоркинс.— Уверяю вас, мистер Копперфилд, возражения есть! Это безнадежно. То, о чем вы просите, сделать нельзя. Я... но... у меня деловое свидание в банке...

Он спасся бегством и, насколько я знаю, появился в Докторс-Коммонс только три дня спустя.

Но я решил испробовать все средства и, дождавшись мистера Спенлоу, описал ему происшедшую сцену; я не теряю надежды, намекнул я, что он способен уломать непреклонного Джоркинса, если согласится за это взяться.

— Копперфилд, вы не знаете моего компаньона мистера Джоркинса столько времени, сколько знаю его я,— сказал, приветливо улыбаясь, мистер Спенлоу.— У меня даже и в мыслях нет обвинить мистера Джоркинса в хитрости, но у него такая манера возражать, которая часто вводит людей в заблуждение. Нет, Копперфилд. Немыслимо, чтобы мистер Джоркинс изменил свое мнение, поверьте мне! — заключил мистер Спенлоу, покачивая головой.

Я уже окончательно перестал понимать, кто из компаньонов на самом деле возражает — мистер Спенлоу или мистер Джоркинс, но мне стало совершенно ясно, что кто-то из них неумолим и о возврате бабушкиных тысячи фунтов не приходится и думать. В глубоком унынии, о котором я вспоминаю теперь без всякого удовольствия, ибо знаю, что оно вызвано было заботами о себе (хотя и всецело связанными с Дорой), я вышел из конторы и отправился домой.

Мысленно я старался приготовить себя к самому худшему и размышлял о том, что надлежит нам предпринять в будущем, которое представлялось мне крайне мрачным, как вдруг ехавшая позади меня наемная карета остано-

вилась рядом со мной, и я поднял глаза. Из окна кареты высунулась прелестная ручка и показалось улыбающееся лицо, которое я не мог видеть, не испытывая чувства радости и умиротворения с той минуты, когда увидел его впервые на фоне старой дубовой лестницы с широкими перилами, и всегда с той поры связывал нежную красоту этого лица с изображением на витраже в церкви.

— Агнес! — воскликнул я с восторгом.— Дорогая Агнес! Вот кого я рад увидеть больше всех на свете!

— Да неужели? — ласково сказала она.

— Мне так нужно с вами поговорить,— сказал я.— Стоило мне взглянуть на вас, и на сердце сразу стало легче! Будь у меня волшебная палочка, я вызвал бы только вас!

— Да что вы!

— Пожалуй... сперва — Дору,— покраснев, сказал я.

— Разумеется, сперва Дору,— сказала Агнес и засмеялась.

— Ну, а потом вас! Куда вы едете?

Она ехала ко мне, чтобы навестить бабушку. День был погожий, и она рада была выйти из кареты, в которой пахло словно в конюшне, устроенной в парнике (все это время я стоял, просунув голову в окошко). Я расплатился с кучером, она взяла меня под руку, и мы пошли. Для меня она была воплощенная Надежда. Стоило ей появиться здесь, рядом со мной, и я уже чувствовал себя совсем иначе, чем минуту назад.

Бабушка прислала ей странную, лаконичную записку, едва ли более длинную, чем банковский билет,— ее эпистолярный пыл обычно этим и ограничивался. Она сообщила, что попала в беду и покидает навсегда Дувр, с чем совершенно примирилась, чувствует себя превосходно, и о ней можно не беспокоиться. И вот Агнес приехала в Лондон повидать бабушку — они питали друг к другу самую живую симпатию все эти годы; точнее — с того дня, как я поселился в доме мистера Уикфилда. Агнес приехала не одна. С пей был ее папа и... Урия Хип.

— Теперь они компаньоны? — спросил я.— Будь он проклят!

— Да. У них какие-то дела здесь, я воспользовалась случаем и приехала. Но не думайте, Тротвуд, что мой

приезд бескорыстен и вызван только моими дружескими чувствами, потому что... может быть, это несправедливое предубеждение... но мне не хочется отпускать папу с ним вдвоем.

— Он по-прежнему имеет такое же влияние на мистера Уикфилда?

Агнес кивнула головой и сказала:

— У нас так все изменилось, что вы и не узнаете милого, старого дома. Они живут теперь у нас.

— Кто они? — спросил я.

— Мистер Хип с матерью. Он спит в вашей прежней комнате,— сказала Агнес, глядя на меня.

— Хотел бы я иметь власть над его снами! Тогда недолго пришлось бы ему там спать,— сказал я.

— А я живу в своей комнате, где раньше готовила уроки,— продолжала Агнес.— Как летит время! Вы помните? Комнатка, обшитая панелью, смежная с гостиной?

— Помню ли я, Агнес! Ведь это там я впервые увидел вас — вы выходили оттуда, а на боку у вас звенели ключи в какой-то чудной корзиночке.

— Вот-вот! — сказала, засмеявшись, Агнес.— Я так рада, что вы вспоминаете об этом с удовольствием. Счастливы мы были тогда...

— Да, очень!

— Эту комнатку я сохранила за собой. Но, понимаете ли, я не могу надолго оставлять миссис Хип. И должна выносить ее общество,— спокойно сказала Агнес,— когда предпочла бы побыть одна. Правда, у меня нет других оснований жаловаться на нее. Если она иногда и утомляет меня своими похвалами по адресу сына, то ведь это так естественно для матери. Он очень преданный сын.

При этих словах я посмотрел на Агнес, но она ничем не обнаружила, что ей известны планы Урии. Ее взгляд, такой кроткий и вместе с тем такой серьезный, встретился с моим; это был чудесный, открытый взгляд, и нежное ее лицо ничуть не изменилось.

— Да, они живут у нас, и главная беда в том,— сказала Агнес, что я не могу бывать с папой, когда мне хочется, потому что Урия Хип постоянно с нами, и не могу наблюдать за ним — если это не слишком смело сказано — так внимательно, как мне бы хотелось. Но если против

него замышляется какая-нибудь каверза или предательство, я верю, что преданная любовь и правда в конце концов восторжествуют. Я верю, что настоящая любовь и преданность в конце концов торжествуют над любым злом и всеми напастями в мире.

Ясная улыбка, какой я ни у кого другого не видел, угасла, пока я еще думал о том, как она прекрасна и как хорошо знакома мне с детских лет. Лицо Агнес мгновенно изменилось, и она спросила (мы приближались к моей улице), известно ли мне, как произошло несчастье, постигшее мою бабушку. Когда я ответил, что бабушка пока ничего мне не говорила, Агнес задумалась, и мне показалось, что ее рука, которой она опиралась на мою руку, задрожала.

Бабушка была одна и слегка взволнована. Между ней и миссис Крапп обнаружилось несогласие во взглядах по весьма отвлеченному вопросу (уместность пребывания прекрасного пола в этом помещении), и бабушка, не обращая внимания на спазмы миссис Крапп, оборвала спор, заявив, что от сей леди пахнет моим бренди и что та может выйти вон. Миссис Крапп сочла эти выражения основанием для судебного преследования и сообщила о своем намерении возбудить дело перед «Британским Джуди», по-видимому разумея под этим оплот наших национальных вольностей *.

Но пока Пегготи отсутствовала, отправившись с мистером Диком показать ему солдат у здания Конной Гвардии, бабушка успела остыть и, придя в восторг при виде Агнес, пожалуй даже возгордилась своим поведением во время столкновения, и встретила нас в превосходном расположении духа. Когда Агнес положила свою шляпку на стол и подсела к бабушке, я поглядел на ее кроткие глаза и чистый лоб и подумал о том, каким естественным кажется ее пребывание здесь, с каким доверием относится к ней бабушка, невзирая на ее юность и неопытность, и как она сильна своей бесхитростной любовью и преданностью.

Мы заговорили о разорении бабушки, и я рассказал им о сделанной мной утром попытке.

— Это нельзя назвать разумным, Трот, но намерение было хорошее,— сказала бабушка.— Ты — великодушный

мальчик... пожалуй, мне уже следует называть тебя молодым человеком. И я горжусь тобою, дорогой. Прекрасно. А теперь, Трот и Агнес, обратимся к делам Бетси Тротвуд и посмотрим, каково ее положение.

Я заметил, как побледнела Агнес, пристально глядевшая на бабушку. Бабушка, поглаживая кошку, пристально смотрела на Агнес.

— У Бетси Тротвуд — я имею в виду, милый Трот, не твою сестру, а себя,— были кое-какие средства,— начала бабушка, которая раньше никогда не рассказывала о своих денежных делах.— Какие средства — неважно, но на них можно было прожить. Больше того — она кое-что откладывала. Некоторое время она жила на ренту, а затем по совету человека, который ведал ее делами, вложила свои деньги в закладные. Все шло хорошо, проценты были высокие, пока у Бетси не выкупили закладных. Я говорю о Бетси так, словно она — военный корабль! Прекрасно. Тут Бетси должна была решить, что ей делать с деньгами. Она сочла себя более мудрой, чем тот, кто ведал ее делами, который в ту пору уже не был так дальновиден, как раньше... я говорю о твоем отце, Агнес... и она вбила себе в голову, что лучше ей самой распорядиться деньгами. Она поместила свой капитал за границей, но ничего, кроме убытков, эти операции не принесли. Сначала она потеряла деньги в недрах земли, потом в пучине моря... вылавливала какие-то сокровища, занималась каким-то вздором, как Том Тидлер *,— пояснила бабушка, потирая нос.— И снова она потеряла деньги в недрах земли и в довершение всего потеряла на банковских акциях. Не знаю, сколько стоили акции этого банка в течение некоторого времени... Кажется, ниже номинальной цены они не опускались. Но банк находился на краю света и лопнул, насколько мне известно. Во всяком случае, ничего от него не осталось, и он не заплатил и никогда не заплатит ни пенни. А все пенни Бетси были там. Тут пришел им и конец. Чем меньше об этом говорить, тем лучше.

Этот философический вывод бабушка сделала, поглядывая даже с некоторым торжеством на Агнес, чье лицо мало-помалу снова порозовело.

— Это все, дорогая мисс Тротвуд? — спросила Агнес.

— И этого достаточно, дитя мое,— сказала бабушка.—

Если бы еще оставались деньги, которые можно было бы терять, это было бы не все. Несомненно, Бетси нашла бы способ выбросить их вслед за остальными и начала бы новую главу. Но денег больше не было, и истории конец...

Сначала Агнес слушала затаив дыхание. Она то бледнела, то краснела, но теперь вздохнула свободней. Мне кажется, я догадался, почему. Она боялась, что ее несчастный отец в какой-то мере повинен в том, что случилось. Бабушка взяла ее за руку и засмеялась.

— Вся ли история? — повторила она.— Да, вся, если не считать, что «с тех пор она жила счастливо». Пожалуй, это можно будет когда-нибудь сказать и про Бетси... Агнес, головка у тебя умная. В некоторых отношениях и у тебя также умная голова, Трот, хотя этот комплимент ты заслуживаешь не всегда,— тут она с присущей ей энергией кивнула в мою сторону.— Что же делать теперь? Остается коттедж, который может приносить около семидесяти фунтов в год. Думаю, эти деньги мы, во всяком случае, получим. Так. Это все, что у нас есть,— закончила бабушка, у которой была та же особенность, что и у некоторых лошадей,— неожиданно останавливаться, когда, казалось, они еще долго собирались бежать.

— И есть еще Дик,— продолжала она, помолчав.— У него сотня фунтов в год, но, разумеется, это должно пойти на него самого. Хоть мне известно, что, кроме меня, никто его не ценит, но я скорей рассталась бы с ним, чем тратила на себя его деньги. Как же мы с Тротом проживем на наши средства? Агнес, что ты скажешь?

Тут я перебил ее.

— Мне нужно что-то делать — вот что скажу я.

— Идти в солдаты? — всполошилась бабушка.— Или в матросы? Слышать об этом не хочу! Ты должен стать проктором. С вашего разрешения, сэр, я не желаю, чтобы в нашей семье кого-нибудь колотили по голове!

Я хотел было пояснить, что отнюдь не собирался познакомить нашу семью с таким способом зарабатывать деньги, но Агнес спросила, надолго ли сняты для меня комнаты.

— Вы коснулись самого главного, дорогая,— сказала бабушка.— От этих комнат нам не отделаться по крайней мере еще полгода, разве что их удастся кому-нибудь

передать, но я на это не надеюсь. Последний жилец здесь умер. Эта особа в нанковой кофте и фланелевой юбке, уверяю тебя, уморит пятерых жильцов из шести! У меня есть немного наличных денег, и я с тобой согласна, что нам следует дожить здесь только до окончания срока договора, а Дику снять комнатку поблизости.

Я счел своим долгом сказать, что ей будет неудобно здесь жить, пока миссис Крапп ведет непрерывную партизанскую войну; на это бабушка кратко ответила, что при первых же вылазках неприятеля она так огорошит миссис Крапп, что та этого не забудет до конца жизни.

— Я думала о том, Тротвуд,— сказала нерешительно Агнес,— что, если бы у вас было свободное время...

— У меня много свободного времени, Агнес. После четырех-пяти часов дня я ничем не занят, да и утром также... Во всяком случае, у меня уйма свободного времени,— сказал я и почувствовал, что краснею, вспомнив, как часами слонялся по городу и по Норвудской дороге.

— Мне кажется, вы не стали бы возражать против места секретаря? — подойдя ко мне, тихо спросила Агнес, и столько в голосе ее было участия и заботливости, что он и сейчас звучит в моих ушах.

— Возражать, дорогая Агнес?

— Дело в том,— продолжала она,— что доктор Стронг, наконец, решился уйти на покой и переехал в Лондон. Я знаю, он спрашивал папу, не может ли он рекомендовать ему секретаря. Не думаете ли вы, что ему было бы приятней видеть около себя своего любимого ученика, чем кого-нибудь другого?

— Что бы я делал без вас, дорогая Агнес! — вырвалось у меня.— Вы мой добрый ангел. Я уже говорил вам это. Я о вас всегда думаю как о своем добром ангеле.

Ласково засмеявшись, Агнес заметила, что одного доброго ангела (она разумела Дору) вполне достаточно; затем она напомнила, что доктор обычно занимается у себя в кабинете утром и по вечерам и, надо полагать, нам легко будет договориться о часах занятий. Не знаю, чему я был больше рад — возможности зарабатывать себе на хлеб или перспективе работать у моего прежнего учителя. По совету Агнес, я тотчас же написал доктору, выразив желание занять место секретаря и прося принять

меня на следующий день в десять часов утра. Я адресовал письмо в Хайгет,— в этом памятном для меня месте он жил, и, не теряя ни минуты, сам отправился на почту.

Где бы ни находилась Агнес, это место всегда носило следы ее неслышного присутствия. Когда я вернулся, бабушкины клетки с птичками были повешены точно так же, как обычно висели они в окне гостиной ее коттеджа, а мое кресло занимало то же место у открытого окна что прежде и бабушкино, куда более покойное кресло; даже привезенный ею круглый зеленый экран был привинчен к подоконнику. Я знал, кто это сделал, ибо казалось, будто все незаметно сделалось само собой, и я немедленно угадал бы, кто расставил мои разбросанные книги в том порядке, в каком, бывало, они стояли в мои школьные годы,— угадал бы даже в том случае, если бы думал, что Агнес далеко-далеко отсюда, и не видел, как она хлопотала над ними и улыбалась, глядя, в каком беспорядке они навалены.

Бабушка отнеслась благосклонно к Темзе (которая в лучах заходящего солнца в самом деле была прекрасна, хотя и не так прекрасна, как море перед ее коттеджем), но не могла примириться с лондонским дымом, утверждая, что он «все проперчивает». Во всех уголках моей квартиры в погоне за этим «перцем» был произведен настоящий переворот, главную роль в котором играла Пегготи; а я наблюдал за этим и думал о том, как много суетится и как мало успевает сделать даже Пегготи и как много успевает Агнес, совсем не суетясь; в это время в дверь постучали.

— Это папа...— сказала Агнес, побледнев.— Он обещал прийти.

Я открыл дверь и впустил не только мистера Уикфилда, но и Урию Хипа. Мистера Уикфилда я уже давненько не видел и (после всех рассказов Агнес) был готов к тому, что он сильно изменился, но все же его вид поразил меня.

Дело было не только в том, что он казался сильно постаревшим, хотя одет был по-прежнему безукоризненно, а также и не в том, что на лице его был нездоровый румянец, выпученные глаза налиты кровью и руки нервически

дрожали, причину чего я хорошо знал, наблюдая его в течение нескольких лет. Нельзя сказать, чтобы он утратил свое прежнее благообразие и облик джентльмена, но больше всего ошеломило меня то, что, сохраняя все внешние признаки превосходства, он подчинился Урии Хипу — этому воплощению пресмыкательства и подлости. В своих взаимоотношениях они поменялись ролями, и представшее нам зрелище — могущественный Урия и подвластный ему мистер Уикфилд — показалось мне столь мучительным, что я не в силах его описать. Передо мной как будто была обезьяна, взявшая верх над человеком, и я никогда не думал, сколь унизительно это зрелище.

По-видимому, мистер Уикфилд это сам понимал. Войдя в комнату, он остановился, понурив голову, словно ему было стыдно. Но уже через секунду Агнес мягко сказала ему:

— Папа! Вот мисс Тротвуд... И Тротвуд, которого вы давно не видели...

Тогда он подошел к бабушке, сдержанно пожал ей руку и более сердечно пожал руку мне. Покуда это происходило, я увидел на лице Урии отвратительную усмешку. Агнес, мне кажется, тоже ее увидела и отодвинулась от него.

Видела ли все это моя бабушка, или нет — этот вопрос едва ли бы решили без ее помощи ученые физиогномисты. Ни у кого, мне кажется, не могло быть такого непроницаемого лица, когда она этого хотела. Ее лицо было подобно глухой стене, заслонявшей от света все ее мысли до того мгновения, пока она не нарушала молчания; а нарушила она его по своему обыкновению неожиданно.

— Значит так, Уикфилд,— сказала бабушка, и тут он в первый раз посмотрел на нее.— Я рассказала вашей дочке о том, как хорошо распорядилась своими деньгами, потому что не могла больше доверять это вам, видя, что вы заплесневели в деловом отношении. Мы совещались все вместе, и очень успешно. По моему мнению, Агнес стоит целой фирмы...

— Если мне позволят высказать мое скромное мнение, я вполне согласен с мисс Тротвуд и был бы счастлив иметь мисс Агнес компаньоном,— сказал Урия Хип, извиваясь.

— Вы сами компаньон, с вас и этого хватит,— отрезала бабушка.— Как вы поживаете, сэр?

Весьма признательный за этот вопрос, прозвучавший очень резко, мистер Хип неловко подхватил принесенный синий мешок с бумагами и ответил, что поживает он превосходно, крайне благодарен бабушке и надеется, что она поживает точно так же.

— А как вы, юный... я хочу сказать — мистер Копперфилд,— продолжал Урия,— надеюсь, и вы поживаете хорошо? Я в восторге, что вас вижу, мистер Копперфилд, даже и при нынешних обстоятельствах. (Я охотно ему поверил, ибо обстоятельства эти радовали его до крайности.) Конечно, мистер Копперфилд, нынешние обстоятельства не таковы, чтобы ваши друзья не могли пожелать вам ничего лучшего, но не деньги делают человека... человека делают... куда мне с моими ничтожными способностями выразить эту мысль!..— Он раболепно изогнулся.— Нет, не деньги...

Затем он пожал мне руку, но отнюдь не так, как это делается обычно: находясь на некотором расстоянии от меня, он схватил мою руку, поднял ее и опустил, словно ручку насоса, которой немного побаиваются.

— А как мы выглядим, мистер Копперфилд? — извиваясь, сказал Урия.— Не находите ли, сэр, что у мистера Уикфилда цветущий вид? Время не имеет власти над нашей фирмой, мистер Копперфилд, разве только помогает возвыситься ничтожеству — я имею в виду мою матушку и себя — и...— тут он словно спохватился,— помогает предстать во всей красе... я имею в виду мисс Агнес!

После этого комплимента он стал так невыносимо извиваться, что бабушка, глядевшая на него в упор, наконец, потеряла терпение.

— Вот прах его возьми! Что с ним такое? — сказала она сердито.— Не дергайтесь, сэр!

— Прошу прощенья, мисс Тротвуд! — отозвался Урия.— Я знаю, у вас нервы...

— Оставьте меня в покое, сэр! — воскликнула бабушка, нисколько не смягчившись.— Об этом помалкивайте. Ошибаетесь, нет у меня никаких нервов! Если вы угорь, сэр, так и будьте угрем. Но если вы человек, извольте управлять своими членами! Боже ты мой! — про-

должала она с великим негодованием.— Я не желаю сойти с ума от того, что вы здесь передо мной извиваетесь, как змея или как пробочник!

Мистер Хип, как и следовало ожидать, пришел в замешательство от такого взрыва, сила которого усугубилась еще тем, что бабушка в негодовании заерзала в кресле и потрясла головой, словно норовя броситься на Урию или вцепиться в него зубами. Тем не менее он обратился ко мне, и тон его был елейный:

— Я хорошо знаю, мистер Копперфилд, что мисс Тротвуд — леди во всех отношениях превосходная! — очень вспыльчива (я имел удовольствие, мистер Копперфилд, знать ее еще раньше, чем вы, когда был жалким клерком), и вполне естественно, что при перемене обстоятельств она стала гораздо более вспыльчивой. Следует еще удивляться, что этим все и ограничилось! Я пришел только сказать, что, если при нынешних обстоятельствах мы можем быть чем-нибудь вам полезны — моя матушка, или я, или фирма Уикфилд и Хип,— мы будем очень рады... Могу я это сказать? — отнесся он с тошнотворной улыбкой к своему компаньону.

— Урия Хип очень предприимчив в делах, Тротвуд,— сказал мистер Уикфилд каким-то монотонным, сдавленным голосом.— Я вполне с ним согласен. Вы знаете, я давно питаю к вам интерес. Независимо от этого, я целиком согласен с тем, что говорит Урия.

— О, как приятно, когда тебе так доверяют! — сказал Урия и так дернул ногой, что снова рисковал вызвать вмешательство бабушки.— Но я надеюсь, мистер Копперфилд, что мне удается немного облегчить бремя деловых забот мистера Уикфилда.

— Урия Хип приносит мне великое облегчение,— сказал мистер Уикфилд все тем же глухим голосом.— Такой компаньон, Тротвуд, освобождает меня от тягостных тревог.

Я знал: рыжая лисица Урия заставил мистера Уикфилда сказать все это мне, чтобы выставить своего компаньона в таком виде, в каком изобразил его тою достопамятной ночью, когда отравил мой покой. Снова я увидел на его лице тошнотворную улыбку и заметил, как пристально он за мной наблюдает.

— Вы уже уходите, папа? — с беспокойством спросила Агнес.— Не хотите ли пройтись пешком с Тротвудом и со мной?

Вероятно, мистер Уикфилд, прежде чем ответить, бросил бы взгляд на Урию, но тот его предупредил.

— У меня деловое свидание,— сказал он.— Если бы не это, я был бы счастлив побыть с друзьями. Но я оставляю компаньона как представителя фирмы. Ваш покорный слуга, мисс Агнес! Желаю вам здравствовать, мистер Копперфилд! Мое нижайшее почтение мисс Бетси Тротвуд!

Посылая нам воздушные поцелуи громадной рукой и искоса посматривая на нас застывшим, как у маски, взором, он удалился.

Мы уселись и часок-другой вспоминали о счастливой нашей жизни в Кентербери. Оставшись с Агнес, ее отец больше стал походить на прежнего мистера Уикфилда, хотя все же был чем-то подавлен и не мог превозмочь этого чувства. Впрочем, он оживился и с явным удовольствием слушал наши воспоминания о разных мелких эпизодах тогдашней жизни, многие из которых он не забыл. По его словам, когда он снова сидит вот так, как теперь, вместе с Агнес и со мной, как будто возвращаются прежние времена, и он хотел бы, чтобы ничто не менялось. Я уверен, что кроткое лицо Агнес и прикосновение ее руки к его руке творили с ним чудеса.

Бабушка (почти все это время она была чем-то занята с Пегготи в соседней комнате) не захотела выйти с мистером Уикфилдом и Агнес, но настояла на том, чтобы я проводил их туда, где они остановились. И я отправился. Обедали мы вместе. После обеда Агнес села около отца, как в прежние времена, и налила ему вина. Он выпил то, что она налила, но не больше — совсем как ребенок! — и мы сидели втроем у окна до самого вечера. Когда стало темнеть, он прилег на софу, Агнес подложила ему под голову подушку и некоторое время стояла, наклонившись над ним; а когда она вернулась к окну, еще не настолько было темно, чтобы я не мог разглядеть слезы, блестевшие у нее на глазах.

Я призываю небо помочь мне не забыть верную и преданную любовь дорогой Агнес в ту пору моей жизни. Ибо,

если бы я забыл, это значило бы, что близок мой конец, а тогда я хотел бы больше, чем когда-либо, помнить о ней! Столько правильных решений она внушила мне, так укрепляла меня своим примером в минуты моей слабости, так благотворно направляла мой пыл, с каким я приступал к еще неясным мне планам (я не ведаю, каким образом, ибо она была слишком скромна и деликатна, чтобы надоедать мне своими советами), что всем в моей жизни я обязан ей — и тем немногим, что сделал я хорошего, и тем, что не натворил много зла.

А как она говорила со мной о Доре, когда мы сидели в сумерках у окна! Как она слушала мои похвалы ей и как хвалила ее сама! Маленькую волшебную фигурку она озарила собственным своим чистым светом, благодаря чему Дора становилась еще более целомудренной, еще более драгоценной для меня. О Агнес, сестра моего детства, если бы я тогда знал то, что узнал много лет спустя!..

Когда я вышел на улицу, повстречался мне нищий. И когда я поднял голову к ее окну, думая о спокойных, ангельских глазах Агнес, нищий заставил меня вздрогнуть, повторяя, как эхо, слово, слышанное мною утром:

— Слепой! Слепой! Слепой!

ГЛАВА XXXVI

Энтузиазм

Следующий день я начал с того, что снова посетил римские бани, а затем отправился в Хайгет. Уныние мое рассеялось. Я уже больше не опасался потертой одежды и не печалился о том, что у меня не будет красивого скакуна серой масти. Мое отношение к постигшему нас несчастью изменилось. Теперь мне следовало доказать бабушке, что человек, которому она оказывала благодеяния, не вырос бесчувственным и неблагодарным. Теперь мне следовало извлечь пользу из мучительных уроков моего детства и приняться за работу мужественно и решительно. Теперь мне следовало взять в руки топор дровосека и расчищать себе путь сквозь лес препятствий до тех пор, пока я не достигну Доры. И я шел вперед быстрыми

шагами, словно они могли приблизить меня к намеченной цели.

Когда я очутился на знакомой дороге в Хайгет совсем не с теми помышлениями, которые в прошлом были так приятны и всегда с нею связывались, мне казалось, что во всей моей жизни произошел резкий перелом. Но это меня не лишило мужества. С новой жизнью возникали новые стремления и новые намерения. Велик будет труд, бесценна награда. Наградой была Дора, и я должен был Дору завоевать.

Я пришел в такое возбуждение, что пожалел, почему мой костюм еще не потерт. Мне захотелось рубить упомянутые деревья в лесу препятствий в таких условиях, которые позволили бы мне доказать свою силу. Я был готов попросить старика в очках с проволочной оправой, разбивавшего на дороге булыжник, уступить мне на некоторое время молоток, чтобы я мог положить начало пути к Доре, который я высеку в граните. Я так распалился и так запыхался, что мне показалось, будто я уже зарабатываю невесть сколько. Пребывая в таком состоянии, я вошел в коттедж, сдававшийся внаем, и внимательно осмотрел его, считая, что мне надлежит быть человеком практичным. Коттедж удивительно подходил для нас с Дорой, перед ним был садик, в котором Джип мог резвиться и лаять из-за ограды на торговцев; была там наверху и комната для бабушки. Вышел я из коттеджа еще более разгоряченный и стремительный, чем раньше, и помчался с такой быстротой к Хайгету, что оказался там на час раньше срока; да если бы я и прибыл вовремя, то все равно должен был бы послоняться еще немного и остыть, чтобы окончательно прийти в себя.

После того как я таким образом привел себя в порядок, моей первой заботой было отыскать дом доктора. Находился он не в той части Хайгета, где жила миссис Стирфорт, а в другом конце маленького городка. Выяснив это, я не мог не поддаться искушению, вернулся, вошел в переулок за домом миссис Стирфорт и заглянул через ограду в сад. Окна в комнате Стирфорта были закрыты наглухо, двери в оранжерею открыты, и Роза Дартл без шляпы быстрыми неровными шагами ходила взад и вперед по усыпанной песком дорожке, тянувшейся по краю

лужайки. Она напоминала мне хищного зверя в неволе, который, снедаемый безысходной тоской, влачит свою цепь все по одной и той же тропе.

Я пожалел, что пришел сюда, неслышно покинул свой наблюдательный пост и, уйдя подальше, прослонялся до десяти часов. Тогда еще не было церкви с острым шпилем, которая нынче стоит на холме, и я не мог узнать, который час. Ее место занимало старое кирпичное здание, предназначенное для школы,— насколько мне помнится, прекрасный старый дом, где, должно быть, приятно было учиться.

Когда я приблизился к дому доктора (это был очаровательный старинный коттедж, на который доктор, по-видимому, затратил немало денег, если судить по только что отремонтированному фасаду), я увидел его прогуливающимся по саду в таких же точно гетрах и в таком же костюме, что и в старину, словно он не переставал прогуливаться с той поры, когда я был учеником. И вокруг него были все те же приятели и собеседники, ибо по соседству росло немало высоких деревьев, а с газона наблюдали за ним несколько грачей, словно они получили письмо от грачей из Кентербери, почему и следили за доктором так пристально.

Зная, сколь безнадежна попытка привлечь к себе издали его внимание, я решился открыть калитку и пойти вслед за ним, чтобы он встретился со мной, когда повернет назад. Повернув и приблизившись ко мне, он задумчиво смотрел на меня в течение некоторого времени, очевидно вовсе обо мне не думая. Внезапно его добродушное лицо выразило чрезвычайную радость, и он схватил меня за обе руки.

— Да вы совсем мужчина, дорогой Копперфилд! — воскликнул он.— Как поживаете? Как я рад вас видеть! Вы очень повзрослели, мой дорогой Копперфилд! Вы... вы совсем... о! Боже мой!

Я выразил надежду, что он и миссис Стронг вполне здоровы.

— О да! — ответил доктор.— Анни здорова и будет очень рада вас видеть! Вы всегда были ее любимцем. Она это сказала вчера вечером, когда я показал ей ваше письмо. И... да... вы помните, Копперфилд, мистера Джека Мелдона?

— Прекрасно помню, сэр.

— Ну, конечно, конечно... И он тоже вполне здоров.

— Он вернулся домой, сэр? — спросил я.

— Из Индии? Да. Мистер Джек Мелдон не вынес тамошнего климата. Миссис Марклхем... Вы не забыли миссис Марклхем?

Забыть Старого Вояку! И в такой короткий срок!

— Миссис Марклхем, бедняжка, очень беспокоилась о нем,— продолжал доктор,— и мы вернули его домой. И купили патент на местечко, которое больше ему подходит...

Я хорошо знал мистера Джека Мелдона, чтобы из слов доктора не вывести заключения, что это местечко позволяет означенному джентльмену почти ничего не делать и получать неплохое жалованье. Доктор, идя рядом со мной, держал руку у меня на плече и, подбадривая меня взглядом, продолжал:

— Обратимся теперь к вашему предложению, дорогой Копперфилд. Оно мне очень подходит и доставило искреннее удовольствие. Но не кажется ли вам, что вы могли бы устроиться лучше? В школе, знаете ли, вы выделялись своими успехами. У вас есть способности, которые сулят много хорошего. Вы заложили фундамент, и на нем можно возвести любое здание. И разве не жаль посвятить весну своей жизни той скромной работе, которую я могу вам предложить?

Прежний пыл вернулся ко мне, и я с воодушевлением стал настаивать на своем предложении,— боюсь, несколько бессвязно,— напомнив доктору, что у меня уже есть профессия.

— Это верно,— согласился доктор.— У вас есть профессия, вы совершенствуетесь в ней, и это меняет дело. Но что значит, мой юный друг, семьдесят фунтов в год?

— Эта сумма удваивает наши теперешние средства к жизни, доктор Стронг,— сказал я.

— Боже ты мой! Подумать только! Но надо сказать, что я не предполагал ограничиться только семьюдесятью фунтами, потому что намерен был кое-что дарить юному другу, который поступит ко мне. Во всяком случае, я имел в виду ежегодные наградные,— сказал доктор, продолжая идти рядом со мной и не снимая руки с моего плеча.

— Я так обязан вам, дорогой учитель,— воскликнул я (на этот раз без лишних, пустых фраз),— что, право, не знаю, смогу ли я вас когда-нибудь отблагодарить...

— Не надо, перестаньте! — перебил доктор.

— Если вы не возражаете против того, чтобы я занимался у вас утром и вечером, и считаете возможным платить за это семьдесят фунтов в год, вы окажете мне величайшую услугу, и у меня нет слов...

— Боже ты мой! Подумать только, что таким пустякам придают такое значение! — простодушно воскликнул доктор.— Но вы не отказывайтесь, если вам предложат что-нибудь получше. Даете слово? — спросил доктор, а этот вопрос всегда торжественно взывал к чести каждого из его учеников.

— Даю слово, сэр,— ответил я, как мы отвечали в школьные времена.

— Значит, дело решено,— объявил доктор, похлопав меня по плечу, на которое он все еще опирался, покуда мы прогуливались.

— И я буду особенно доволен, сэр,— тут я польстил ему, правда невинно,— если вы поручите мне помогать вам в работе над словарем.

Доктор остановился, улыбнулся, снова похлопал меня по плечу и воскликнул с таким торжеством, поистине восхитительным, словно я обнаружил глубочайшую проницательность, доступную не всем смертным:

— Вы угадали, мой юный друг! Речь идет именно о словаре!

Да разве могло быть иначе! Его карманы были так же набиты словарем, как и его голова. Словарь торчал из него отовсюду. С того момента, как доктор отошел от преподавания, дело со словарем, по его словам, удивительно продвинулось вперед, а мое предложение работать утром и по вечерам он может только приветствовать, так как привык в середине дня прогуливаться и размышлять. Как раз теперь его бумаги несколько перепутаны, ибо мистер Джек Мелдон иногда брал на себя секретарские обязанности, хотя эта работа была ему не под силу; но мы скоро наведем порядок и, как нельзя лучше, двинемся вперед. Позднее, когда мы погрузились в работу, я убедился, что помощь мистера Джека Мелдона принесла мне

больше хлопот, чем я ожидал, так как он не только ошибался на каждом шагу, но и до такой степени испещрил рукопись доктора бесчисленными рисунками, изображавшими солдат и женские головки, что порой я с трудом мог выбраться из этого лабиринта.

Доктор был поистине восхищен перспективой нашей совместной работы над этим замечательным творением, и мы решили приступить к ней на следующий же день в семь часов утра. Положено было работать по два часа утром и по два-три часа вечером, за исключением субботнего вечера, когда я был свободен, и я счел такие условия чрезвычайно выгодными.

Когда все, к нашему обоюдному удовольствию, было таким образом улажено, доктор повел меня в дом поздороваться с миссис Стронг, которая в новом его кабинете сметала пыль с книг — эту вольность в обращении с его бесценными любимцами он позволял только ей.

По случаю моего прихода они еще не завтракали, и мы уселись за стол втроем. Не прошло и нескольких минут, как вдруг по лицу миссис Стронг я заключил, что прибыл еще один гость, хотя никаких звуков, об этом свидетельствующих, я не слышал. К воротам подъехал верхом какой-то джентльмен, ввел на поводу лошадь в маленький дворик, словно был у себя дома, привязал ее к кольцу в стене пустого каретного сарая и с хлыстом в руке вошел в столовую. Это был мистер Джек Мелдон, и, как подумал я, мистер Джек Мелдон отнюдь не изменился к лучшему в Индии. Впрочем, я был яростно предубежден против всех молодых людей, которые не рубят деревьев в лесу препятствий, и к моему впечатлению следует отнестись с осторожностью, имея в виду эту оговорку.

— Мистер Джек — Копперфилд! — сказал доктор.

Мистер Джек Мелдон пожал мне руку, но не скажу, чтобы очень крепко, и взглянул на меня с каким-то вялым, покровительственным видом, который я втайне счел весьма оскорбительным. Впрочем, и вообще его вялость, исчезавшая, лишь когда он обращался к своей кузине Анни, могла показаться очень странной.

— Вы уже завтракали, мистер Джек? — осведомился доктор.

— Я почти никогда не завтракаю, сэр. Это так скучно,— ответил тот, откинув голову на спинку кресла.

— Какие новости? — спросил доктор.

— Решительно никаких, сэр! Сообщают о голоде и о недовольстве где-то на севере, но ведь где-нибудь всегда есть голодные и недовольные.

Доктор хмуро взглянул на него и сказал, желая переменить тему разговора:

— Значит, нет никаких новостей? Ну что ж, никаких вестей — это добрые вести, как принято говорить.

— В газетах, сэр, напечатан длинный отчет о каком-то убийстве,— сказал мистер Мелдон.— Но всегда кого-нибудь убивают, и я не стал читать.

В те времена появление полного безразличия ко всем людским страстям и поступкам не почиталось еще великим достоинством, каковые узрели в нем позднее. Это безразличие стало одно время в высшей степени модным и проявлялось с таким успехом, что я знавал светских леди и джентльменов, которым больше пристало бы родиться гусеницами. Быть может, в те времена оно произвело на меня столь сильное впечатление потому, что было для меня внове, но, во всяком случае, не могло возвысить мистера Джека Мелдона в моих глазах и укрепить мое доверие к нему.

— Я приехал узнать, не пожелает ли Анни пойти сегодня вечером в оперу,— сказал мистер Мелдон, поворачиваясь к ней.— Сегодня последний интересный спектакль в этом сезоне. И певицу стоит послушать. Она изумительна. К тому же она на редкость безобразна.

И он снова принял скучающий вид.

Доктор, который всегда был рад доставить молодой жене развлечение, повернулся к ней и сказал:

— Вы должны пойти, Анни. Должны пойти.

— Мне не хочется,— ответила она.— Я предпочла бы остаться дома. Мне больше хочется остаться дома.

Не взглянув на своего кузена, она обратилась ко мне с вопросом об Агнес — навестит ли ее Агнес и придет ли она сегодня; вид у миссис Стронг при этом был такой взволнованный, что меня поразило, неужели доктор — он намазывал маслом гренок — может не видеть того, что бросается в глаза.

Но он был слеп. Он добродушно сказал, что она молода и должна развлекаться, а не скучать рядом со скучным стариком. И к тому же, прибавил он, ему хотелось бы, чтобы она выучила новые песенки, которые поет эта новая певица, а сможет ли она спеть их хорошо, если не пойдет в театр? Итак, доктор настоял на том, чтобы она приняла приглашение, а мистер Джек Мелдон вернулся к обеду. На том и порешили, и мистер Мелдон отправился, должно быть, к своему теплому местечку; во всяком случае, он уехал верхом и вид у него был беспечный.

На следующее утро я полюбопытствовал, была ли она в опере. Нет, она не была и дала знать в Лондон своему кузену, что не пойдет. Вместо этого она отправилась днем повидать Агнес и убедила доктора поехать с ней; вечер был чудесный, и домой они вернулись пешком полями — так сказал мне доктор. Я задал себе вопрос, поехала бы она в театр, если бы Агнес не было в Лондоне, или нет, и не оказала ли Агнес благодетельное влияние также и на нее.

Нельзя сказать, чтобы у нее был радостный вид, но лицо ее казалось добрым и хорошим, или она очень искусно притворялась. Я часто поглядывал на нее, так как она сидела у окна все время, пока мы занимались делом, а затем приготовила нам завтрак, который мы ели, не отрываясь от работы. Когда я уходил в девять часов, она опустилась на колени у ног доктора и помогла ему надеть башмаки и гетры. На лицо ее легла тень от зеленых листьев, нависавших над открытым окном; всю дорогу в Докторс-Коммонс я размышлял о том вечере, когда я наблюдал, как она глядела на доктора, погруженного в чтение.

Теперь я был очень занят — вставал в пять часов утра и возвращался домой в девять-десять часов вечера. Но я был несказанно рад, что работы у меня по горло; я не позволял себе ходить медленно, с восторгом веря, что чем больше я себя изнуряю, тем больше прилагаю усилий, чтобы стать достойным Доры. Она еще ничего не знала о перемене, происшедшей со мной, так как через несколько дней должна была приехать к мисс Миллс, и я откладывал до этого времени все, что намеревался ей сказать; я только сообщал ей в письмах (мы по-прежнему обмени-

вались письмами тайно, через мисс Миллс), что собираюсь очень многое ей рассказать. В ожидании встречи с нею я резко сократил потребление медвежьего жира, совсем отказался от душистого мыла и лавандовой воды и продал с огромными убытками три жилета как слишком роскошные для человека, ведущего такой суровый образ жизни.

Но этого мне было недостаточно; я горел желанием совершить еще что-нибудь и отправился к Трэдлсу, проживавшему тогда в мансарде на Касл-стрит, в Холборне. С собой я взял мистера Дика, который уже дважды бывал со мной в Хайгете и возобновил знакомство с доктором.

Я взял мистера Дика с собой потому, что, терзаемый несчастливым поворотом в судьбе бабушки и искренне убежденный, что ни один каторжник или галерный раб не трудился так, как я, он начал волноваться и даже лишился хорошего расположения духа и аппетита по той причине, что не приносит никакой пользы. В таком состоянии он был еще меньше, чем ранее, способен закончить свой Мемориал, и чем больше работал, тем чаще пробиралась в его труд злосчастная голова короля Карла Первого. Я очень опасался, как бы его болезнь не усилилась, если нам не удастся прибегнуть к невинному обману и внушить ему, что он безусловно приносит пользу, либо действительно приспособить его к какому-нибудь полезному занятию (а это было бы куда лучше); и вот я решил спросить у Трэдлса, не может ли он нам помочь.

Прежде чем идти к Трэдлсу, я написал ему обо всем, что произошло, и получил в ответ чудесное письмо, в котором он выражал сочувствие и заверял меня в своей дружбе.

Мы застали его за письменным столом, перед чернильницей и бумагами, погруженным в работу, от которой он отдыхал, созерцая стоявшие в углу комнатки подставку для цветочного горшка и круглый столик. Встретил он нас очень сердечно и сразу подружился с мистером Диком. Мистер Дик выразил твердую уверенность в том, что видел его раньше, и мы оба заявили: «Очень возможно».

Прежде всего я хотел посоветоваться с Трэдлсом вот по какому делу: я слышал, что немало людей, прославив-

шихся на разных поприщах, начинали свою карьеру с работы парламентского репортера, а так как Трэдлс возлагал, между прочим, свои надежды и на газеты, то все вместе взятое побудило меня спросить его в письме, как подготовиться к этой профессии. Трэдлс мне сообщил, что, насколько он мог узнать, одно только механическое усвоение необходимой для этого науки,— иными словами, полное овладение тайной стенографического письма и расшифровки,— потребует такой же затраты труда, как изучение шести языков, и при большом усердии может быть достигнуто через несколько лет. Он вполне резонно считал вопрос исчерпанным, но я чувствовал только, что появилось еще несколько высоких деревьев, которые надлежит срубить, и немедленно решил прокладывать с топором в руке путь к Доре сквозь эту чащу.

— Очень благодарен вам, дорогой Трэдлс,— сказал я.— Я начну завтра.

Трэдлс, казалось, очень удивился, для чего у него были все основания; но ведь он еще не имел понятия о том, в каком восторженном состоянии я находился.

— Я куплю книгу с изложением системы стенографического искусства,— продолжал я,— заниматься я буду в Докторс-Коммонс, где мне почти нечего делать. Буду записывать для практики речи в нашем суде... Трэдлс. дорогой мой, я одолею ее!

— Боже правый! — выпучив глаза, воскликнул Трэдлс.— Я и не знал, что у вас такой решительный характер, Копперфилд!

А как бы мог он это знать, раз это и для меня самого было новостью! Я промолчал и выпустил вперед мистера Дика.

— Послушайте, мистер Трэдлс, если бы я мог на что-нибудь пригодиться...— очень серьезно сказал мистер Дик.— Например... если бы я мог... бить в барабан или дуть во что-нибудь...

Бедняга! Несомненно, в глубине сердца он предпочел бы эти занятия всем другим. Трэдлс, который ни за что на свете не позволил бы себе улыбнуться, сказал спокойно:

— Но у вас прекрасный почерк, сэр. Я говорю с ваших слов, Копперфилд.

— Превосходный! — подтвердил я. Так оно и было — он писал удивительно четко.

— А не кажется ли вам, сэр, что вы могли бы переписывать бумаги, если бы я доставал их для вас? — спросил Трэдлс.

Мистер Дик нерешительно посмотрел на меня.

— Как вы думаете, Тротвуд? — сказал он.

Я покачал головой. Мистер Дик тоже покачал головой и вздохнул.

— Расскажите ему о Мемориале,— попросил он.

Я объяснил Трэдлсу, как трудно удалить из рукописей мистера Дика голову короля Карла Первого. Мистер Дик взирал на Трэдлса почтительно и серьезно и сосал большой палец.

— Но те бумаги, о которых я говорю, уже составлены и написаны,— сказал Трэдлс после короткого раздумья.— Мистеру Дику ничего не нужно в них изменять. Ведь это совсем другое дело, правда, Копперфилд? Во всяком случае, почему бы не попробовать?

Это окрылило нас надеждой. Я отвел Трэдлса в сторону, мы посовещались — мистер Дик, сидя на стуле, с беспокойством поглядывал на нас — и выработали план, в соответствии с коим мистер Дик должен был победоносно приступить к своей работе с завтрашнего дня.

На Бэкингем-стрит у окна мы положили на столе бумаги, которые Трэдлс достал для мистера Дика,— надлежало сделать не помню сколько копий какого-то документа насчет какого-то права проезда,— а на другом столе разложили последний неоконченный вариант гигантского Мемориала. По нашим указаниям, мистер Дик должен был совершенно точно переписывать лежащий перед ним документ без малейших отступлений от оригинала, а когда он почувствует необходимость хотя бы вскользь намекнуть на короля Карла Первого, он должен мчаться к Мемориалу. Мы уговорили его твердо придерживаться этих указаний и поручили бабушке наблюдать за ним. Позднее бабушка рассказала нам, что поначалу он походил на музыканта, играющего на литаврах, и непрерывно делил свое внимание между двумя столами.

Но скоро он нашел, что это утомляет его и сбивает с толку, уселся деловым образом и положил перед собой документ, а Мемориал оставил в покое до более подходящего времени. Короче говоря, хотя мы очень следили, чтобы он не переутомлялся и несмотря на то, что он приступил к работе не с начала недели, он заработал к субботнему вечеру десять шиллингов девять пенсов. Никогда до конца моих дней я не забуду, как он обходил все лавки по соседству, чтобы разменять свое богатство на шестипенсовики, и как он со слезами радости и гордости подкатил к бабушке столик на колесиках, на котором монетки уложены были сердечком! С того момента, как он стал заниматься полезным делом, он походил на человека, находящегося во власти благодетельных чар, и если в тот субботний вечер хоть одно существо на свете чувствовало себя поистине счастливым, так это был он — благородная душа, почитавшая мою бабушку самой удивительной женщиной в мире, а меня самым удивительным молодым человеком.

— Она не умрет с голоду, Тротвуд! Я позабочусь о ней, сэр! — сказал он, пожимая мне украдкой руку, и потряс обеими руками над головой, растопырив все десять пальцев, словно это были десять банков.

Я не знаю, кто был больше этим доволен — Трэдлс или я.

— Право, даже мистер Микобер вылетел у меня из головы! — вдруг сказал Трэдлс, вынимая из кармана письмо и протягивая мне.

Письмо было адресовано мне (мистер Микобер пользовался любым предлогом, чтобы писать письма): «Через любезного мистера Трэдлса, эсквайра, из Иннер-Тэмпла». Оно гласило:

«Мой дорогой Копперфилд,

Может быть, вы уже подготовлены к тому, чтобы узнать, что счастье улыбнулось. Вероятно, в прошлом я уже имел случай сообщить вам, что нахожусь в ожидании этого события.

Я собираюсь обосноваться в одном из провинциальных городов нашего благословенного острова (общество этого города представляет собой счастливое сочетание

элементов земледельческих и клерикальных), дабы приступить к деятельности, непосредственно связанной с одной из ученых профессий. Миссис Микобер и наши отпрыски будут меня сопровождать. Быть может, когда-нибудь наши останки будут покоиться на кладбище, примыкающем к тому почитаемому сооружению, благодаря коему упомянутый город прославился, смею сказать, повсюду, от Китая до Перу.

Посылая последнее прости современному Вавилону, где мы перенесли — хочется думать, не без достоинства — столько превратностей судьбы, миссис Микобер и я не можем скрыть от своего сердца, что расстаемся, может быть, на долгие годы, а быть может и навсегда, с существом, сопряженным нерасторжимыми узами с алтарем нашей семейной жизни. Если в канун сего отбытия вы пожалуете совместно с нашим общим другом мистером Томасом Трэдлсом в наш теперешний приют, где мы обменяемся приличествующими сему событию пожеланиями, вы окажете милость

тому,

кто

всегда

был

вам

предан —

Уилкинсу Микоберу».

Меня порадовало известие, что мистер Микобер отряхнул прах от ног своих и счастье, наконец, действительно ему улыбнулось. Узнав у Трэдлса, что мы приглашены на сегодняшний вечер, я согласился принять приглашение, и мы отправились вдвоем в конец Грейс-Инн-роуд на квартиру, которую занимал мистер Микобер под именем мистера Мортимера.

Размеры этого помещения были столь ограниченны, что близнецы, которым теперь было лет восемь-девять, спали на складной кровати в гостиной, где мистер Микобер сварил в кувшине для воды приятный напиток, называемый им «пивцо», приготовлением которого он славился. По сему случаю я имел удовольствие возобновить знакомство с юным мистером Микобером, многообещаю-

щим мальчуганом лет тринадцати, крайне непоседливым, что свойственно мальчишкам в таком возрасте. Вновь я увидел и его сестрицу, мисс Микобер, в которой, по словам мистера Микобера, «мать ее возродилась юной, как Феникс».

— Дорогой Копперфилд! Вместе с Трэдлсом вы застаете нас накануне переселения и будьте снисходительны к некоторым неудобствам, из этого вытекающим,— сказал мистер Микобер.

Давая подобающий ответ, я бросил беглый взгляд вокруг и увидел, что все имущество семьи уже упаковано и багажа отнюдь не слишком много. Я поздравил миссис Микобер с предстоящей переменой.

— Мой дорогой мистер Копперфилд, я вполне уверена в том, что вы питаете дружеский интерес ко всем нашим делам,— сказала миссис Микобер.— Мое семейство, если ему угодно, может почитать это ссылкой, но я — жена и мать, и я никогда не покину мистера Микобера.

Трэдлс, на которого устремился взгляд миссис Микобер, пылко выразил свое одобрение.

— По крайней мере так я смотрю, дорогие мистер Копперфилд и мистер Трэдлс,— продолжала миссис Микобер,— на обязательства, которые я взяла на себя, когда повторила эти непреложные слова: «Я, Эмма, беру тебя, Уилкинс» *. Вчера вечером при свече я перечитала эту церковную службу, и вот какое заключение я сделала: нет, я никогда не покину мистера Микобера. Возможно, мой взгляд на эту церемонию ошибочен, но тем не менее я никогда его не покину!

— Дорогая моя,— вставил с некоторым нетерпением мистер Микобер,— я никогда и не предполагал, что от вас можно ждать что-нибудь подобное.

— Я знаю, мой дорогой Копперфилд,— продолжала миссис Микобер,— что теперь я буду коротать свои дни среди незнакомых мне людей, знаю я также, что некоторые члены моего семейства, которых мистер Микобер известил в самых джентльменских выражениях об этом факте, не обратили никакого внимания на это сообщение. Может быть, я суеверна,— сказала миссис Микобер,— но у меня такое чувство, что мистеру Микоберу предназначено никогда не получать ответа на большую часть писем,

которые он пишет. Судя по молчанию моего семейства, я могу предсказать, что оно недовольно принятым мной решением. Но я никому не позволю совратить меня с пути долга, мистер Копперфилд, и не позволила бы этого даже папе и маме, если бы они были живы!

Я высказал мнение, что это и значит идти прямым путем.

— Может быть, заточить себя в кафедральном городе равносильно жертве, но согласитесь, мистер Копперфилд, что если это жертва для меня, то еще большая жертва для человека, обладающего способностями мистера Микобера.

— О! Вы переезжаете в кафедральный город? — спросил я.

Мистер Микобер, разливавший всем нам из кувшина напиток, отозвался:

— В Кентербери. Дело в том, дорогой Копперфилд, что я заключил соглашение, согласно которому обязался перед нашим другом Хипом помогать ему в качестве... быть его... доверенным лицом.

Я вытаращил глаза на мистера Микобера, которого очень обрадовало мое удивление.

— Должен вас поставить в известность,— начал он официальным тоном,— что главным образом деловитость миссис Микобер и ее благоразумные советы привели к таким последствиям. Перчатка, о которой как-то говорила миссис Микобер, была брошена в форме объявления, ее поднял мой друг Хип, и она привела к взаимопониманию. О моем друге Хипе, человеке исключительной проницательности, я хотел бы говорить с самым глубоким уважением. Мой друг Хип не определил мне жалованья, которое выражалось бы в какой-нибудь сумме, но, в расчете на мои ценные услуги, сделал немало, чтобы освободить меня от гнета денежных затруднений; на ценность этих услуг я полагаюсь всецело. Такт и ум, на которые я осмеливаюсь претендовать,— мистер Микобер произнес эти слова знакомым светским тоном, с хвастливым, но вместе с тем скромным видом,— отданы будут служению моему другу Хипу. Я уже несколько знаком с юриспруденцией, ибо мне приходилось быть ответчиком в гражданском процессе, и незамедлительно засяду за комментарии

одного из самых замечательных и прославленных английских юристов. Едва ли необходимо добавлять, что я имею в виду судью Блекстона *.

Эта речь, да и большая часть речей, произнесенных в тот вечер, прерывались замечаниями миссис Микобер, которая то и дело обнаруживала, что юный мистер Микобер сидит, поджав под себя обе ноги, или поддерживает голову так, словно она вот-вот у него отвалится, лягает под столом Трэдлса, елозит ногами или вытягивает их устрашающим образом, склоняет голову набок, окуная волосы в бокалы,— словом, проявляет свою непоседливость в форме, совершенно несовместимой с интересами остального общества, на каковые замечания матери юный мистер Микобер отвечал довольно дерзко.

Все это время я сидел пораженный откровениями мистера Микобера и размышлял над тем, что это может означать, пока миссис Микобер не подхватила нить разговора и не привлекла моего внимания.

— Я настоятельно прошу мистера Микобера, мой дорогой Копперфилд,— сказала она,— остерегаться, чтобы эта второстепенная отрасль юриспруденции, которой он себя посвятит, не помешала ему в конце концов подняться на вершину славы. Я убеждена, что мистер Микобер, отдавшись профессии, столь соответствующей его многочисленным способностям и его красноречию, должен прославиться. Скажите, мистер Трэдлс,— продолжала она с глубокомысленным видом,— как, например, насчет судьи или даже канцлера? Не может ли индивидуум отрезать себе путь к таким постам, если возьмет на себя исполнение обязанностей, какие согласился взять на себя мистер Микобер?

— Дорогая моя! — перебил мистер Микобер, но также взглянул испытующе на Трэдлса.— У нас есть время поразмыслить над этим вопросом.

— Нет, Микобер! — сказала она.— Ваша главная ошибка в жизни заключается в том, что вы не смотрите достаточно далеко вперед. Вы поистине обязаны перед своим семейством,— если не перед самим собой,— обнять проницательным взглядом самые отдаленные точки на горизонте, к которым могут вас привести ваши способности!

Мистер Микобер откашлялся и с большим удовлетворением хлебнул из стакана, все еще поглядывая на Трэдлса и как бы желая услышать его мнение.

— Гм... Положение таково, миссис Микобер...— начал Трэдлс, собираясь осторожно открыть ей истину.— Вы понимаете... я имею в виду реальные, прозаические факты... они за...

— Прекрасно, мой дорогой Трэдлс! — перебила миссис Микобер.— Я сама хочу быть насколько возможно прозаической и трезвой, когда говорю на такую важную тему.

— ...заключаются в том,— продолжал Трэдлс,—что эта отрасль юриспруденции, даже если мистер Микобер станет поверенным по всем правилам...

— Ну, конечно! — снова перебила миссис Микобер.— Уилкинс, не коси! Ты останешься косоглазым!

— ...не откроет ему путь к таким постам,— снова продолжал Трэдлс.— На них может быть назначен только барристер. А мистер Микобер станет барристером лишь в том случае, если поступит на пять лет в учение в какой-нибудь из судебных Иннов...

— Правильно ли я вас понимаю, дорогой мистер Трэдлс? Вы говорите, что по истечении этого срока мистер Микобер имел бы право быть назначенным судьей или канцлером? — спросила весьма учтивым, но деловым тоном миссис Микобер.

— Он *имел бы это право!* — произнес Трэдлс с ударением.

— Благодарю вас. Я вполне удовлетворена,— сказала миссис Микобер.— Если дело обстоит таким образом и мистер Микобер, приступая к своим обязанностям, не теряет никаких преимуществ и привилегий, я могу не беспокоиться. Разумеется, я говорю как женщина, но я всегда считала, что у мистера Микобера ум юридический, как говорил мой папа, когда я жила дома. И я полагаю, что в настоящее время мистер Микобер вступает на поприще, где этот ум проявит себя и завоюет ему высокое положение.

Я совершенно убежден, что мистер Микобер, обладающий юридическим умом, уже видел себя восседающим на мешке с шерстью *. Он самодовольно провел рукой по

голому черепу и, покорный судьбе, сказал с величавым видом:

— Дорогая моя, не будем предвосхищать решения судьбы. Если мне предназначено носить парик, то, во всяком случае, внешне,— он намекал на свой голый череп,— я готов принять это отличие. Мне не жаль моих волос, возможно, я лишился их ради каких-то высших целей. Этого я не знаю. Я намерен, дорогой Копперфилд, приуготовить моего сына для церкви. И, не скрою, я был бы счастлив, в интересах своего сына, достигнуть высокого положения.

— Для церкви? — спросил я, думая между тем об Урии Хипе.

— Да! — ответил мистер Микобер.— У него поразительно высокий голос, и ему надлежит начать с певчего. Наше пребывание в Кентербери и знакомства, которые мы там завяжем, несомненно помогут ему занять вакансию в соборе, когда она откроется.

Я снова взглянул на юного мистера Микобера и по выражению его лица увидел, что голос у него действительно должен быть высокий и исходить откуда-то из-под бровей; моя догадка подтвердилась, когда он запел (ему предложено было на выбор — идти спать или петь) «Долбит зеленый дятел» *. Исполнение сей песенки было встречено похвалами, а затем завязался общий разговор, и поскольку я был слишком погружен в свои смелые замыслы, чтобы умолчать о переменах в моей жизни, я поведал о них мистеру и миссис Микобер. Трудно передать, в какой она пришла восторг, узнав о беде, постигшей бабушку, и как это известие укрепило их бодрость и способствовало проявлению дружеских чувств.

Скоро пунш должен был в последний раз пойти вкруговую, и я, обратившись к Трэдлсу, напомнил ему, что нам нельзя разойтись, прежде чем мы не пожелаем нашим друзьям здоровья, счастья и успеха на новом их поприще. Я попросил мистера Микобера наполнить бокалы до краев и провозгласил тост по всем правилам — пожал через стол руку мистеру Микоберу и поцеловал миссис Микобер, дабы увековечить это знаменательное событие. Трэдлс последовал моему примеру и также пожал руку мистеру Микоберу, но, не считая себя таким же ста-

рым другом, как я, не отважился следовать за мной дальше.

— Дорогой мой Копперфилд, друг моей юности, если позволено будет так его назвать, и мой уважаемый друг Трэдлс,— надеюсь, он разрешит именовать его так,— от имени миссис Микобер, от своего имени и от имени наших отпрысков позволяю себе выразить горячую благодарность за ваши добрые пожелания! — начал мистер Микобер, поднимаясь и засовывая большие пальцы в карманы жилета.— Можно было бы ожидать, что в канун переселения, открывающего перед нами совершенно новую жизнь,— мистер Микобер говорил так, будто они уезжали за пятьсот тысяч миль,— я обращусь с прощальной речью к столь верным друзьям, которых вижу перед собой. Но все, что я имел сказать, я уже сказал. Какого бы положения в обществе я ни достиг, пребывая в кругу собратьев по ученой профессии, недостойным представителем коей я собираюсь стать, я постараюсь ее не посрамить, а миссис Микобер, несомненно, будет служить ей украшением. Под временным гнетом денежных обязательств, принятых с целью их немедленного погашения, но в силу неблагоприятного стечения обстоятельств оставшихся непогашенными, я оказался вынужденным прибегнуть к переодеванию, против которого восставали мои лучшие чувства,— я имею в виду очки,— и принять фамилию, на которую не могу притязать по закону. Но касательно этого я хочу только отметить, что туча уже исчезла с мрачного горизонта и дневное светило уже засияло на вершинах гор. В понедельник, в четыре часа дня, по прибытии в Кентербери, когда моя стопа опустится на родной мой вереск,— я снова буду называться Микобером!

Тут мистер Микобер опустился на стул и степенно выпил два бокала пунша один за другим. Затем он продолжал торжественно:

— Мне остается еще кое-что сделать перед разлукой — свершить акт справедливости. Мой друг мистер Томас Трэдлс дважды «дал свою подпись», как принято выражаться, для получения мной ссуды по векселю. В первый раз мистер Томас Трэдлс очутился, скажу кратко, в трудном положении. Срок второго векселя еще не истек. Первое обязательство выражалось в сумме...—

тут мистер Микобер тщательно справился с бумагами,— ...в сумме двадцать три фунта четыре шиллинга девять с половиной пенсов. Сумма второго, по моим записям,— восемнадцать фунтов шесть шиллингов два пенса. Если мой подсчет верен, общий итог равен сорока одному фунту десяти шиллингам одиннадцати с половиной пенсам. Быть может, мой друг Копперфилд возьмет на себя труд проверить итог?

Я проверил и признал его правильным.

— Если я покину столицу и моего друга мистера Томаса Трэдлса, не выполнив своих денежных обязательств, невыносимое бремя ляжет на мою душу. Поэтому я приготовил для моего друга мистера Томаса Трэдлса и вот сейчас держу в руке некий документ, который все приводит к желанной цели. Позвольте мне вручить моему другу мистеру Томасу Трэдлсу мою долговую расписку на сорок один фунт десять шиллингов одиннадцать с половиной пенсов. Я счастлив обрести вновь моральное достоинство, чувствуя, что теперь я опять могу ходить среди моих ближних с высоко поднятой головой!

После этого вступления (которым он был весьма взволнован) мистер Микобер вручил Трэдлсу свою долговую расписку и пожелал ему всяческих успехов в жизни. Я уверен, что этот акт был равносилен уплате долга не только для мистера Микобера, сам Трэдлс тоже едва ли уловил разницу, пока не поразмыслил на досуге.

После этого благородного поступка мистер Микобер столь высоко поднял голову перед своими ближними, что, казалось, его грудь расширилась раза в полтора, когда он светил нам с площадки лестницы. Мы распростились очень сердечно, и когда, покинув Трэдлса у дверей его дома, я возвращался к себе, размышляя о самых странных и разнообразных вещах, мне пришло в голову, что такой ненадежный человек, как мистер Микобер, никогда не просил у меня денег и что и этим я обязан только его жалостливым воспоминаниям обо мне, ребенке, жившем у него когда-то. Отказать ему у меня не хватило бы мужества, и, несомненно, он сам это знал (к его чести будь сказано) не хуже, чем я.

ГЛАВА XXXVII

Немножко холодной воды

Моя новая жизнь продолжалась уже больше недели, и я сильнее, чем прежде, был увлечен теми грозными решениями, каких, по-моему мнению, требовали обстоятельства. Я продолжал ходить чрезвычайно быстро, и попрежнему у меня было смутное представление, что таким образом я пробиваю себе дорогу. За какое бы дело я ни брался, я положил за правило тратить на него как можно больше сил. Я стал, в подлинном смысле слова, жертвой самого себя. Подумывал я даже о том, не перейти ли мне на растительную пищу, и при этом мне казалось,— правда, полной уверенности у меня не было,— что если я превращусь в травоядное животное, то этим воскурю фимиам перед алтарем Доры.

До сей поры малютка Дора пребывала в полном неведении относительно моей отчаянной решимости, на которую лишь туманно намекали мои письма. Но вот снова настала суббота, и в этот субботний вечер она должна была навестить мисс Миллс, а я — явиться туда к чаю, когда мистер Миллс отправится в свой клуб играть в вист (об этом мне протелеграфируют, вывесив в среднем окне гостиной клетку с птицей).

К тому времени мы окончательно устроились на Бэкингем-стрит, где мистер Дик блаженствовал, переписывая свои бумаги. Бабушка моя одержала знаменательную победу над миссис Крапп — она отказалась от ее услуг, предварительно выбросив в окошко первый же кувшин с водой, который та поставила на ступеньках, и собственной персоной защищая на лестнице приведенную ею поденщицу. Эти энергические меры вселили такой ужас в сердце миссис Крапп, что она удалилась к себе на кухню, придя к заключению, что бабушка рехнулась. Бабушка, оставаясь совершенно равнодушной к мнению миссис Крапп, а равно и всех людей на свете, скорее поощряла, чем опровергала такую мысль, и вот миссис Крапп, еще недавно столь храбрая, сделалась через несколько дней такой трусливой, что, предпочитая не встречаться с бабушкой на лестнице, старалась либо скрыть

свою объемистую фигуру за дверью — хотя на виду все-таки оставался широкий подол ее фланелевой юбки,— либо забивалась в темные углы. Бабушке это доставляло несказанное удовлетворение, и, мне кажется, она испытывала подлинную радость, прогуливаясь в нелепо торчавшем на макушке чепце по лестнице в те часы, когда миссис Крапп могла попасться ей на пути.

Бабушка, необычайно домовитая и изобретательная, ввела в наше хозяйство столько маленьких преобразований, что, мне казалось, я стал не беднее, а богаче, чем раньше. Между прочим, она превратила чулан в мою гардеробную и купила мне кровать, которую убрала и украсила так, что днем она походила на книжный шкаф, насколько может походить на него кровать. Я был предметом неусыпных ее забот, и даже бедная моя мать не могла бы любить меня горячей и положить столько сил, чтобы сделать меня счастливым.

Пегготи сочла для себя высокой честью разрешение участвовать в этих трудах, и хотя все еще не преодолела чувства благоговейного ужаса перед моей бабушкой, ей было выказано столько знаков доверия и поощрения, что теперь они стали наилучшими друзьями. Но вот настал день (это была именно суббота, и мне предстояло пить чай у мисс Миллс), когда Пегготи должна была вернуться домой, чтобы, выполняя свой долг, взять на себя заботу о Хэме.

— Ну что ж, прощай, Баркис,—сказала бабушка,— береги свое здоровье. Право же, я никогда не думала, что мне будет так грустно расставаться с тобой.

Я отвел Пегготи в контору пассажирских карет и проводил ее в путь. Прощаясь со мной, она расплакалась и поручила моим дружеским заботам своего брата, как уже сделал раньше Хэм. Мы ничего о нем не слыхали с тех пор, как он ушел тогда, на закате.

— А теперь, родной мой Дэви,— сказала Пегготи,— если вам, покуда вы обучаетесь, понадобятся деньги или если они вам понадобятся по окончании учения, дорогой мой, чтобы стать на ноги (а они вам все равно понадобятся, миленький мой), то у кого же больше прав ссудить вам деньги, чем у меня, глупой старой служанки моей милочки!

Я был не так уже одержим страстью к независимости, чтобы не сказать в ответ, что, если когда-нибудь мне придется взять взаймы деньги, я их возьму у нее. Мне кажется, ничто не доставило бы Пегготи большего утешения, чем такой ответ,— разве что я попросил бы тут же на месте большую сумму.

— И вот что еще, дорогой мой,— зашептала Пегготи,— скажите вашему хорошенькому ангелочку, что мне, ох, как хотелось бы увидеть ее хоть на минутку! И скажите ей, что, когда она будет выходить замуж за моего мальчика, я приеду и устрою вам такое красивое гнездышко, если вы мне разрешите!

Я заявил, что никто другой не прикоснется к «нашему гнездышку», чем привел в восторг Пегготи, уехавшую в наилучшем расположении духа.

В течение дня я по мере сил изнурял себя в Докторс-Коммонс, прибегая для этого ко всевозможным способам, а вечером в назначенный час появился на улице, где проживал мистер Миллс. У мистера Миллса была ужасная привычка засыпать после обеда, он еще не ушел из дому и в среднем окне не было никакой клетки.

Он так долго заставил меня ждать, что я страстно желал, чтобы клуб оштрафовал его за опоздание. Наконец он вышел, и тогда я увидел, как моя Дора сама вывесила в окне клетку и выглянула на балкон убедиться, тут ли я; увидав меня, она убежала в комнату, а Джип остался и бешено залаял на огромную собаку мясника, которая могла проглотить его, как пилюлю.

Дора встретила меня в дверях гостиной, из тех же дверей выскочил и Джип, спотыкаясь, рыча и, видно, воображая, будто я разбойник, и мы все втроем, радостные и любящие, вошли в комнату. Очень скоро я внес уныние в наши счастливые сердца — я этого не хотел делать, но слишком уж я был поглощен своей идеей — и без всяких предисловий спросил Дору, может ли она любить нищего.

Моя милая, маленькая Дора! Как она испугалась! Это слово вызвало у нее только представление о желтом лице пьяницы, о костылях или деревянной ноге, а не то о собаке с подносиком в зубах или еще о чем-нибудь в таком же роде. И она с очаровательным недоумением широко раскрыла глаза.

— Как вы можете задавать мне такие глупые вопросы? — надув губки, сказала Дора.— Любить нищего!

— Дора, любимая моя! Я — нищий! — воскликнул я.

— Какой глупый! — Тут она шлепнула меня по руке.— Сидит и рассказывает какие-то сказки! Я велю Джипу укусить вас!

Ее ребяческие манеры казались мне самыми восхитительными в мире, но необходимо было ясно высказать все, и я торжественно произнес:

— Дора, жизнь моя, я разорился!

— А я говорю, что велю Джипу укусить вас, если вы будете вести себя так глупо,— сказала Дора, тряхнув локонами.

Но у меня был такой серьезный вид, что Дора перестала встряхивать локонами, положила мне на плечо дрожащую руку и сначала посмотрела на меня с испугом и беспокойством, а потом расплакалась. Это было ужасно. Я упал на колени перед диваном, ласкал ее, умолял не надрывать мне сердца, но довольно долго бедная маленькая Дора могла только восклицать: «Ох, боже мой, боже мой!», и: «Ох, мне так страшно», и: «Где Джулия Миллс?», и: «Ох, отведите меня к Джулии Миллс и, пожалуйста, уходите!» — так что я потерял голову.

Наконец, после мучительных уговоров и просьб, я заставил Дору повернуть ко мне испуганное личико и постепенно успокоил ее, так что теперь это личико выражало только одну любовь, а прелестная нежная щечка прижалась к моей щеке. Тогда, не разжимая объятий, я сказал ей о том, как горячо-горячо люблю ее; и о том, что считаю правильным освободить ее от данного слова, ибо теперь я беден; сказал, что никогда мне этого не перенести и не оправиться, если я потеряю ее; и о том, что бедность меня не страшит, если не страшна она Доре, которая для меня — источник силы и вдохновения; я сказал, что уже принялся за работу с такой энергией, какую знают одни влюбленные, и учусь быть практичным и думать о будущем; сказал, что корка хлеба, заработанная своими руками, слаще любых яств, полученных по наследству. И много еще говорил я на эту тему со страстным красноречием, удивившим даже меня самого, хотя я ду-

мал о своем разговоре с Дорой день и ночь с тех пор, как выслушал поразительное бабушкино сообщение.

— Ваше сердце все еще принадлежит мне, милая Дора? — спросил я в упоении, ибо уже знал ее ответ, судя по тому, как доверчиво она прильнула ко мне.

— О да! — воскликнула Дора.— Да, оно — ваше. О, не будьте таким страшным.

Я кажусь страшным! Доре!

— Не говорите о том, что вы обеднели и должны трудиться изо всех сил! — сказала Дора, прижимаясь ко мне еще теснее.— Ох, не надо, не надо!

— Ненаглядная моя, корка хлеба, заработанная своими руками...

— Да, да! Но я больше ничего не хочу слушать о корках,— перебила Дора.— И Джип должен каждый день получать в двенадцать часов баранью котлетку, иначе он умрет!

Я был очарован детской прелестью ее манер. И ласково ей объяснил, что Джип по-прежнему будет получать регулярно свою баранью котлетку. И нарисовал картину нашего скромного семейного очага, где мы не зависим ни от кого благодаря моим трудам,— описал маленький домик, виденный мною в Хайгете, и комнату, отведенную для бабушки в верхнем этаже.

— Теперь я не такой страшный, Дора? — нежно спросил я.

— Нет, нет! — воскликнула Дора.— Но я надеюсь, что ваша бабушка будет подолгу сидеть у себя в комнате? И, надеюсь, она не сварливая старуха?

Если я мог еще крепче полюбить Дору, то полюбил именно тогда. Но я понял, что она немного непрактична. Мое новорожденное рвение остыло, когда я убедился, как трудно поделиться с ней этим рвением. Я сделал еще одну попытку. Когда она совсем пришла в себя и принялась закручивать уши Джипу, лежавшему у нее на коленях, я сказал очень серьезно:

— Любовь моя! Можно сказать вам еще одну вещь?

— О, пожалуйста, не будьте практичным! — умоляющим тоном воскликнула Дора.— Потому что мне становится так страшно!

— Сердце мое! Вам вовсе нечего бояться. Я хочу,

чтобы вы посмотрели на это совсем с другой точки зрения. Я хочу, чтобы это вдохнуло в вас мужество и воодушевило вас, Дора!

— Да, но это так страшно! — вскричала Дора.

— Нет, любовь моя! Настойчивость и сила характера помогут нам переносить куда более тяжелые вещи.

— Но у меня нет никакой силы,— возразила Дора, встряхнув локонами.— Правда, Джип? О, поцелуйте Джипа и будьте милым!

Немыслимо было устоять и не поцеловать Джипа, когда она поднесла его ко мне для этой цели и, руководя операцией, сама сложила свои свежие розовые губки, словно для поцелуя, причем настаивала, чтобы я поцеловал его в самый кончик носа. Я исполнил то, о чем она просила,— вознаградив себя потом за послушание,— а она своими чарами надолго заставила меня забыть о моей серьезности.

— Но, Дора, любимая моя! — сказал я, наконец, вновь обретя это качество.— Я хотел кое о чем поговорить с вами.

Судья в Суде Прерогативы — и тот влюбился бы в нее, если бы увидел, как она сложила ручки и воздела их, умоляя меня не пугать ее больше.

— Право же, я не собираюсь вас пугать, моя дорогая,— успокоительно сказал я.— Но, Дора, любовь моя, если бы вы иногда подумали... не падая духом, о, отнюдь нет!.. Но если бы вы иногда подумали... только для того, чтобы приободриться... подумали о том, что помолвлены с человеком бедным...

— Не надо, не надо! Пожалуйста, не надо! — вскричала Дора.— Это так страшно!

— Душа моя, совсем не страшно! — бодро возразил я.— Если бы вы иной раз подумали об этом и начали присматриваться, как ведут домашнее хозяйство у вашего папы и постарались постепенно привыкнуть... ну, хотя бы записывать расходы...

Бедная маленькая Дора не то всхлипнула, не то застонала.

— ...как бы это пригодилось нам впоследствии! — продолжал я.— И если бы вы обещали мне понемножку читать поваренную книгу, которую я вам пришлю, это

было бы чудесно для нас обоих. Ибо сейчас, моя Дора,— тут я еще больше воодушевился,— наш жизненный путь тернист и усыпан камнями, и от нас зависит выровнять его. Мы должны пробить себе дорогу! Мы должны быть мужественными! Впереди препятствия, но мы должны их преодолеть!

Сжав руку в кулак, с восторженным лицом, я говорил очень быстро, но уже никакого смысла не было продолжать. Я сказал достаточно. И опять все испортил. «Ох, мне так страшно! Ох, где Джулия Миллс? Ох, отведите меня к Джулии Миллс и, пожалуйста, уходите!» Короче говоря, кончилось тем, что я окончательно лишился рассудка и бесновался, бегая по гостиной.

Я думал, что на сей раз убил ее. Я брызгал на нее водой. Я упал на колени. Я рвал на себе волосы. Я называл себя грубым животным и безжалостным зверем. Я просил прощения. Я умолял ее посмотреть на меня. Я перевернул все вверх дном в рабочей шкатулке мисс Миллс, отыскивая флакон с нюхательной солью, и в порыве отчаяния схватил вместо него игольник из слоновой кости и осыпал Дору иголками. Я грозил кулаками Джипу, который был в таком же неистовстве, что и я. Я вытворял бог знает что и давно уже потерял способность соображать, когда в комнату вошла мисс Миллс.

— Кто это сделал? — вскричала мисс Миллс, бросаясь на помощь своей подруге.

Я отвечал:

— *Я*, мисс Миллс! *Я* это сделал! Смотрите — вот преступник! — или что-то в этом роде, а затем, чтобы укрыться от света, уткнулся лицом в диванную подушку.

Сначала мисс Миллс подумала, что произошла ссора и мы вступаем в пустыню Сахару, но вскоре уразумела суть дела, так как моя милая, любящая маленькая Дора, обняв ее, воскликнула, что я «бедный рабочий», а потом, подозвав меня, обняла и попросила взять у нее на хранение все ее деньги, после чего бросилась на шею мисс Миллс и зарыдала так, словно нежное ее сердечко готово было разорваться.

Должно быть, мисс Миллс была рождепа на свет, чтобы стать для нас благословением. Из нескольких моих слов она поняла, в чем дело, стала утешать Дору и

постепенно убедила ее в том, что я не чернорабочий,— повидимому, моя манера изъясняться внушила Доре мысль, что я стал портовым грузчиком и по целым дням вожу тачку вверх и вниз по сходням,— и таким образом восстановила между нами мир. Когда мы совсем успокоились и Дора пошла наверх освежить глаза розовой водой, мисс Миллс позвонила, чтобы подали чай. Тут я объявил мисс Миллс, что она мой друг навеки и что скорей сердце мое перестанет биться, чем я забуду об ее сочувствии.

Далее я изложил мисс Миллс то, что столь безуспешно пытался изложить Доре. Мисс Миллс отвечала, исходя из общепринятых истин, что Хижина счастья лучше, чем Дворец холодной роскоши, и что где любовь, там всё.

Я заявил мисс Миллс, что это сущая правда, и кто может знать это лучше, чем я, любящий Дору такой любовью, какой доселе не испытал ни один смертный! Но в ответ на меланхолические слова мисс Миллс, что для иных сердец было бы прекрасно, если бы мое утверждение оказалось верным, я попросил разрешения отнести его только к смертным мужского пола.

Затем я задал мисс Миллс вопрос, есть ли, по ее мнению, какой-нибудь практический смысл в предложении, которое я хотел сделать относительно расходов, домашнего хозяйства и поваренной книги.

После недолгого раздумья мисс Миллс отвечала так:

— Мистер Копперфилд, я буду откровенна с вами. Для иных натур страдания и испытания душевные — все равно что многие годы жизни, и мне следует быть с вами откровенной, словно я настоятельница монастыря. Нет, это предложение — не для нашей Доры. Наша милая Дора — любимое дитя природы. Она — дитя света, веселья и радости. Я готова признать, что, будь это возможно, это было бы очень хорошо, но...

И мисс Миллс покачала головой.

Заключительные слова, выражавшие некоторую уступку со стороны мисс Миллс, побудили меня спросить ее, не воспользуется ли она, в интересах самой Доры, случаем, ежели таковой представится, чтобы внушить ей более отрадное представление о подготовке к серьезной жизни. Мисс Миллс весьма охотно дала утвердительный ответ, а посему я спросил ее, не согласится ли она поза-

ботиться о поваренной книге; и если ей удастся расположить в пользу этой книги Дору, не пугая ее, она мне окажет величайшую услугу. Мисс Миллс взялась исполнить и это поручение, но в успехе не была уверена.

И вот вернулась Дора — такое прелестное маленькое создание, что я всерьез усомнился, позволительно ли тревожить ее столь обыденными делами. И она так меня любила и была так пленительна (особенно когда приказывала Джипу стоять на задних лапках и просить гренок, а потом делала вид, будто тычет его носом в горячий чайник в наказание за неповиновение), что я, памятуя о том, как испугал ее и довел до слез, почувствовал себя чудовищем, проникшим в убежище феи.

После чая появилась гитара, и Дора пела все те же очаровательные старинные французские песенки о том, что жить невозможно без танцев — тра-ля-ля! тра-ля-ля! — и в конце концов я почувствовал себя еще более свирепым чудовищем.

Наше веселье омрачилось только один раз, и это случилось незадолго до моего ухода, когда мисс Миллс почему-то упомянула о завтрашнем дне, а я, к несчастью, проговорился, что встаю в пять часов утра, так как должен трудиться не покладая рук. Не знаю, мелькнула ли у Доры мысль, что я служу сторожем в какой-нибудь конторе, но мои слова произвели на нее сильное впечатление, и больше она не играла и не пела.

Эта мысль еще не покинула ее, когда я с ней прощался, и она сказала мне милым вкрадчивым голоском, словно я был ее куклой (как думалось мне иной раз):

— Вы нехороший мальчик. Не вставайте в пять часов утра! Это так глупо.

— Любовь моя, я должен работать,— возразил я.

— А вы не работайте,— заявила Дора.— Зачем?

При виде этого славного, удивленного личика ничего не оставалось делать, как ответить весело и шутливо, что мы должны работать, чтобы жить.

— О! Как нелепо! — воскликнула Дора.

— Как же мы будем жить без этого, Дора? — сказал я.

— Как? Ну, как-нибудь,— ответила Дора.

По-видимому, она считала, что вопрос разрешен ею

окончательно, и, торжествуя, от всего своего невинного сердца, подарила мне поцелуй, а я ни за какие блага в мире не согласился бы ее разубеждать и возражать против ее решения.

Да! Я любил ее и продолжал любить всем сердцем, всеми силами своей души. Но, по-прежнему много работая, стараясь ковать железо, пока горячо, я иной раз по вечерам, сидя против бабушки, размышлял о том, как напугал я тогда Дору и как бы сделать так, чтобы с гитарой в руке проложить себе дорогу сквозь лес препятствий; мечтал я об этом, пока не начинало мне чудиться, что голова моя совсем поседела.

ГЛАВА XXXVIII

Компаньон покидает фирму

Моему решению касательно парламентских прений я не дал остыть. Железо я стал немедленно нагревать, пока оно не раскалилось, и принялся ковать его с такой настойчивостью, которой, говоря по чести, сам удивляюсь. Я купил рекомендованную мне книжку о благородном и таинственном искусстве стенографии (ценой в десять шиллингов шесть пенсов) и окунулся в море таких затруднений, что через две-три недели впал в полное отчаяние. Точки, повторяющиеся на все лады и означающие в одном месте одно, а в другом нечто другое, совершенно противоположное; чудесное, причудливое сочетание кружочков, бесчисленные значения черточек, напоминавших мушиные лапки; ужасные последствия не на месте поставленных завитушек — все это не только волновало меня в часы бодрствования, но и преследовало во сне. Когда я пробился ощупью сквозь эти трудности и овладел, наконец, алфавитом, который сам по себе был египетским храмом, появилась процессия новых чудовищ, именуемых «произвольными фигурами»; поистине никогда в жизни я не видел, чтобы кто-нибудь действовал так деспотично и капризно, как они; например, они настаивали, что знак, похожий на паутину, означает «ожида-

ние», а начерченная пером взлетающая ракета значит «невыгодный». Когда я вбил себе в голову эту галиматью, я установил, что она вытеснила оттуда решительно все, а как только я начал повторять забытое, она улетучилась в свою очередь; когда же я принялся снова ее заучивать, от меня стали ускользать другие разделы системы. Короче говоря, можно было прийти в отчаяние.

Можно было прийти в полное отчаяние, если бы не Дора — укрытие и якорь моего корабля, который трепала буря. Каждая закорючка в системе этих знаков подобна была сучковатому дубу в лесу препятствий, и я продвигался вперед, срубая эти дубы один за другим с таким пылом, что через три-четыре месяца решился проделать опыт с одним из наших прославленных ораторов в Докторс-Коммонс. Забуду ли я когда-нибудь, как прославленный оратор ускользнул от меня, прежде чем я успел начать, и оставил мой глупый карандаш метаться по бумаге, словно в пароксизме лихорадки?

Было ясно, что дело не пойдет на лад. Я слишком высоко занесся, так продолжать было нельзя. За советом я обратился к Трэдлсу, и он предложил диктовать мне речи, но медленно, с расстановкой, принимая во внимание мою неопытность. Я был очень благодарен ему за дружескую помощь и принял предложение. И вот изо дня в день, чуть ли не ежедневно, в течение долгого времени, по вечерам, когда я возвращался от доктора, у нас на Бэкингем-стрит происходили заседания по образцу парламентских.

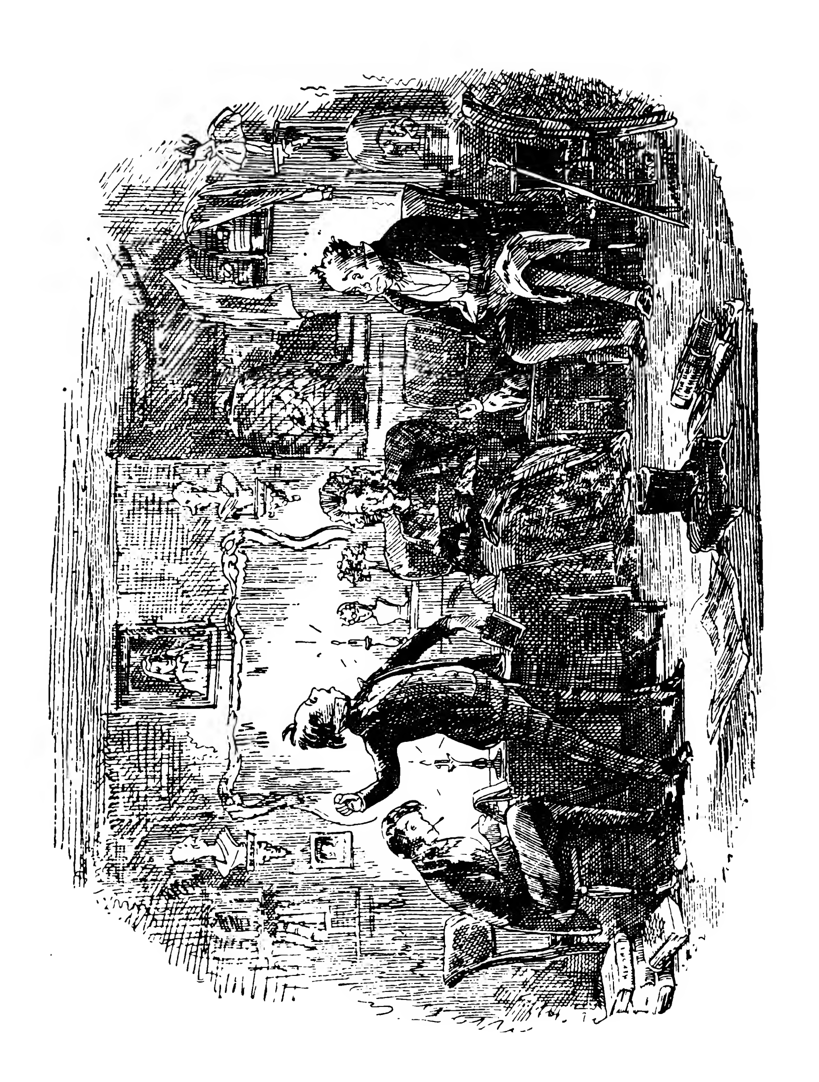
Хотелось бы мне увидеть еще где-нибудь такой парламент! Бабушка и мистер Дик представляли (смотря по обстоятельствам) то правительство, то оппозицию, а Трэдлс с помощью «Оратора» Энфилда * или томика «Парламентских прений» произносил громовые обвинительные речи против них. Стоя у стола, заложив пальцем нужную страницу в книге и размахивая правой рукой, Трэдлс, изображая мистера Питта, мистера Фокса, мистера Шеридана, мистера Бэрка, лорда Каслри, виконта Сидмута или мистера Каннинга, приходил в неописуемый раж, обвиняя бабушку и мистера Дика в распутстве и продажности. Обычно я сидел поодаль, держа свой блокнот на коленях и стараясь изо всех сил за ним

поспеть. Ни один всамделишный политик не мог превзойти Трэдлса шаткостью своих убеждений и легкомыслием. В течение недели он последовательно отстаивал все политические программы и сражался под всеми знаменами. Бабушка, бесстрастная, как министр финансов, иногда прерывала его возгласами: «Слушайте! Слушайте!», «О!» или «Нет!», в зависимости от содержания речи, а вслед за ней эти же возгласы издавал со всем пылом мистер Дик (совершенный образец сельского дворянина). Но мистера Дика, в течение его парламентской карьеры, обвиняли в таких деяниях и он был ответствен за такие ужасные последствия, что по временам ему становилось не по себе. Мне кажется, он начинал не на шутку страшиться, что в самом деле натворил много вещей, которые приведут к уничтожению британской конституции и к гибели страны.

Очень часто мы увлекались этими дебатами до той поры, когда стрелка часов приближалась к полуночи, а свечи уже догорали. В результате таких упражнений я стал неплохо поспевать за Трэдлсом, и для торжества моего оставалось только добиться, чтобы я хоть как-то мог разобраться в своих записях. Но после того как они были сделаны, понять их было ничуть не легче, чем китайские знаки на чайных чашках или золоченые надписи на огромных красных и зеленых бутылях в лавках с химическими товарами.

Ничего не оставалось делать, как вернуться и начать все сначала. Трудненько это было, но тем не менее я вернулся и, хоть и с тяжелым сердцем, начал все сначала и старательно и методически стал продвигаться вперед черепашьим шагом по той скучной дороге, какую я уже прошел, кропотливо исследуя каждую пылинку и изо всех сил стараясь понять эти коварные значки всюду, где бы они ни попадались. Я добросовестно исполнял свои обязанности в конторе так же, как и у доктора, и, в общем, работал как ломовая лошадь.

В один прекрасный день придя, как обычно, в Докторс-Коммонс, я нашел у входа в контору мистера Спенлоу; вид у него был хмурый, и он что-то бормотал себе под нос. Так как он нередко жаловался на головную боль — у него была короткая шея, и к тому же, по моему



мнению, он себя перекрахмаливал,— то я испугался, не дурно ли ему, но он тотчас же успокоил меня в этом отношении.

Вместо того чтобы ответить с обычной своей приветливостью «доброе утро», он взглянул на меня холодно и церемонно и спросил весьма сдержанно, не последую ли я за ним в кофейню, двери которой в те времена выходили на площадь св. Павла как раз против Докторс-Коммонс. Я повиновался с чувством какой-то растерянности; меня бросило в жар, словно всем моим опасениям предстояло вот-вот выйти наружу. Проход был узкий, я пропустил мистера Спенлоу немного вперед, и высокомерный вид, с которым он вскинул голову, не сулил мне ничего хорошего; у меня мелькнула мысль, не разузнал ли он о моих чувствах к моей обожаемой Доре.

Но если бы я даже не догадался об этом по дороге в кофейню, то я не мог бы не понять, в чем заключается дело, когда поднялся с мистером Спенлоу во второй этаж и увидел там мисс Мэрдстон, прислонившуюся к буфету, украшенному перевернутыми бокалами, на которых лежали лимоны, и двумя необыкновенными, вышедшими ко всеобщему благополучию из употребления ящиками с бесчисленными желобками для ножей и вилок.

Мисс Мэрдстон протянула мне холодные ногти и снова уселась, прямая, негнущаяся. Мистер Спенлоу закрыл дверь, знаком указал мне на стул, а сам остался стоять на коврике перед камином.

— Будьте любезны, мисс Мэрдстон, покажите мистеру Копперфилду, что у вас находится в ридикюле,— сказал мистер Спенлоу.

Кажется, это был тот самый старый ридикюль, что и в пору моего детства, с теми же стальными застежками, которые защелкивались так, будто кого-то кусали.

Сжав губы наподобие застежки ридикюля, мисс Мэрдстон открыла его — губы ее также чуть-чуть разжались — и показала мне мое последнее письмо к Доре, полное изъявлений в любви и преданности.

— Это ваш почерк, мистер Копперфилд? — осведомился мистер Спенлоу.

Меня бросило в жар, и мой голос показался мне совсем чужим, когда я ответил:

— Да, сэр.

— Если не ошибаюсь, эти письма также написаны вами, мистер Копперфилд? — спросил мистер Спенлоу, когда мисс Мэрдстон извлекла из ридикюля связку писем, перевязанных драгоценной голубой ленточкой.

С чувством полного отчаяния я взял у нее письма и, взглянув на обращения: «Моя вечно любимая Дора», «Мой обожаемый ангел», «Моя дорогая и единственная» и тому подобные, густо покраснел и опустил голову.

— Нет, нет! Благодарю. Я не намерен лишать вас этих писем,— холодно сказал мистер Спенлоу, когда я машинально протянул их ему.— Будьте добры, мисс Мэрдстон, начните!

Это нежное создание после короткого раздумья, в течение коего она созерцала коврик, сухим, ханжеским тоном начала так:

— Должна сознаться, что у меня с некоторого времени зародились подозрения насчет отношений мисс Спенлоу и Дэвида Копперфилда. Я наблюдала за мисс Спенлоу и Дэвидом Копперфилдом, когда они встретились впервые, и впечатление мое было не из приятных. Развращенность человеческого сердца такова, что...

— Вы меня обяжете, сударыня, если будете придерживаться фактов,— перебил мистер Спенлоу.

Мисс Мэрдстон опустила глаза, тряхнула головой, словно протестуя против неподобающего вмешательства, и с видом оскорбленного достоинства продолжала:

— Если я должна придерживаться только фактов, я изложу дело возможно короче. Может быть, это будет признано наиболее удовлетворительным. Я уже сказала, сэр, что у меня с некоторого времени зародились подозрения насчет отношений мисс Спенлоу и Дэвида Копперфилда. Я не раз пыталась получить точные сведения, которые подтвердили бы мои подозрения, но без успеха. Я не решалась сообщить о них тогда отцу мисс Спенлоу,— тут она строго поглядела на него,— зная о том, как люди не расположены в подобных случаях оказывать должное добросовестному исполнению долга.

Мистер Спенлоу, казалось, был совершенно усмирен благородной строгостью мисс Мэрдстон и постарался смягчить ее суровость, примирительно помахав рукой.

— По возвращении моем в Норвуд после отсутствия, вызванного женитьбой моего брата,— продолжала мисс Мэрдстон высокомерным тоном,— и по возвращении мисс Спенлоу от своей приятельницы мисс Миллс я пришла к выводу, что поведение мисс Спенлоу сильно укрепляет мои подозрения. Я стала наблюдать за ней еще более внимательно.

Милая, нежная маленькая Дора, она и не подозревала об этих глазах Дракона!

— Однако только вчера вечером я получила неопровержимые доказательства,— продолжала мисс Мэрдстон.— Мне и раньше казалось, что мисс Спенлоу получает слишком много писем от своей приятельницы мисс Миллс. Но мисс Миллс была ее приятельницей с полного соизволения отца — еще один меткий удар по мистеру Спенлоу! — и я не могла вмешиваться в их отношения. О развращенности человеческого сердца мне не позволяют говорить, но, надеюсь, я могу упомянуть — не только могу, но и должна! — о том, что кое-кому доверяли напрасно!

В свою защиту мистер Спенлоу пробормотал, что против этого он не возражает.

— Вчера вечером после чая я заметила, что собачка вертится по гостиной и рычит, держа что-то в зубах. Я сказала мисс Спенлоу: «Дора, что это у собаки в зубах? Это какая-то бумага». Мисс Спенлоу ощупала свою блузку, вскрикнула и подбежала к собаке. Но я помешала ей и сказала: «Дора, моя милая, позвольте!»

О Джип! О злосчастный спаньель, виновник этой беды!

— Мисс Спенлоу пыталась подкупить меня поцелуями, рабочими шкатулками, драгоценными безделушками, но об этом я умолчу. Когда я приблизилась к собачке, та забилась под софу, и с большим трудом ее пришлось извлечь оттуда каминными щипцами. Но и тогда она не выпускала изо рта письма. А когда я пыталась его отнять, рискуя быть искусанной, она так вцепилась в него зубами, что пришлось поднять ее на воздух вместе с этим документом. Наконец я им завладела. Прочитав письмо, я сказала мисс Спенлоу, что у нее должно быть еще много таких же писем, и в конце концов заставила ее

отдать мне связку, которая находится сейчас в руках Дэвида Копперфилда.

Она замолчала, снова защелкнула ридикюль и закрыла рот с таким видом, который свидетельствовал, что ее скорей можно сломать, но никак не согнуть.

— Вы выслушали мисс Мэрдстон,— повернулся ко мне мистер Спенлоу.— Теперь я прошу вас, мистер Копперфилд, сказать, имеете ли вы что-нибудь возразить?

Образ пленительного сокровища моего сердца возник передо мной — вот она плачет и рыдает всю ночь одна-одинешенька, моя милая испуганная бедняжка, вот она жалостливо просит и умоляет женщину с каменным сердцем о прощении, тщетно обнимает ее, предлагает рабочие шкатулки и безделушки, вот она мучится и страдает, и все из-за меня! — и этот образ почти лишил меня последнего самообладания, которое у меня еще оставалось. Боюсь, что на минуту меня охватила дрожь, хотя я изо всех сил пытался ее скрыть.

— Мне нечего сказать, сэр,— проговорил я,— за исключением того, что во всем виноват я. Это я уговорил и убедил Дору...

— Мисс Спенлоу, прошу помнить! — величественно сказал ее отец.

— ...скрывать все в тайне,— продолжал я, не желая величать ее так церемонно,— и я очень об этом сожалею.

— Вы заслуживаете самого сурового порицания, сэр,— сказал мистер Спенлоу, прохаживаясь взад и вперед по коврику перед камином и подчеркивая каждое слово наклоном не головы, а всего корпуса, ибо галстук его и позвоночник были несгибаемы.— Вы совершили недостойный поступок, мистер Копперфилд. Приглашая джентльмена к себе в дом,— не имеет никакого значения, сколько ему лет — девятнадцать, двадцать девять или девяносто,— я оказываю ему доверие. Если он обманывает мое доверие, он совершает бесчестный поступок, мистер Копперфилд!

— Я это чувствую, сэр, уверяю вас! — отозвался я.— Но я этого раньше не принимал в рассуждение. Честное слово, мистер Спенлоу, не принимал. Я люблю мисс Спенлоу так, что...

— Вздор! Чепуха! — покраснев, воскликнул мистер Спенлоу.— Прошу, мистер Копперфилд, не говорить мне, что вы любите мою дочь!

— Но как же иначе я могу защищать свое поведение, сэр? — смиренно сказал я.

— А как вы можете вообще защищать свое поведение, сэр? — спросил мистер Спенлоу, внезапно остановившись на коврике перед камином.— Вы подумали, мистер Копперфилд, о своем возрасте и о возрасте моей дочери? Вы подумали о том, что значит подрывать доверие, которое мы с дочерью должны питать друг к другу? Вы подумали о положении, которое занимает моя дочь в обществе, о планах, какие я строил в связи с ее будущим, о тех относящихся к ней распоряжениях, которые я мог бы сделать в своем завещании? Вы обо всем этом думали, мистер Копперфилд?

— Должен сознаться, сэр, очень мало,— ответил я, стараясь говорить почтительно и с сожалением, которое я в самом деле испытывал.— Но, поверьте мне, я думал о своем собственном положении. Когда я вам сообщил о нем, мы были уже помолвлены и...

— Покорнейше вас прошу, мистер Копперфилд, не говорить мне о помолвках! — перебил мистер Спенлоу, уподобляясь больше чем когда бы то ни было Панчу, ибо, как и Панч, он энергически хлопнул одной рукой по другой, что я и заметил, несмотря на все мое отчаяние.

Мисс Мэрдстон, доселе невозмутимая, сухо и презрительно засмеялась.

— Когда я вам сообщил, сэр, о том, что положение мое изменилось, тайное соглашение, к которому я имел несчастье склонить мисс Спенлоу, уже существовало,— начал я снова, заменив, таким образом, неприятное для него выражение.— Как только произошла эта перемена в моем положении, я напряг всю мою волю и употребил все мои силы, чтобы его улучшить. Я уверен, что со временем мне удастся его улучшить! Не назначите ли вы мне срок? Любой срок? Мы оба так молоды, сэр...

— Вы правы, вы оба очень молоды! — перебил мистер Спенлоу, кивнув несколько раз головой и сильно нахмурившись.— Все это вздор. А вздору надо положить конец. Возьмите назад эти письма и бросьте их в огонь.

Дайте мне письма мисс Спенлоу, и я также брошу их в огонь. Вы понимаете, разумеется, что в будущем наши встречи могут происходить только здесь, в Докторс-Коммонс, и мы должны условиться: не упоминать впредь о том, что произошло. Послушайте, мистер Копперфилд, вы не лишены благоразумия, а это единственный выход, который надо признать благоразумным.

Нет. Я и помыслить не мог о том, чтобы с этим согласиться. Мне очень жаль, но есть нечто более высокое, чем благоразумие. Любовь превыше всех земных соображений, и я люблю Дору до безумия, а она любит меня. В таких выражениях я это не сказал,— насколько мог, я их смягчил,— но именно это я имел в виду и был непреклонен. Я совсем не думал о том, что могу показаться смешным, но я знаю, что был непреклонен.

— Прекрасно, мистер Копперфилд. Я постараюсь повлиять на мою дочь,— сказал мистер Спенлоу.

Мисс Мэрдстон издала выразительный звук — протяжно втянула в себя воздух,— звук, который не был ни вздохом, ни стоном, но похож был и на то и на другое,— давая нам понять, что, по ее мнению, эту меру следовало применить прежде всего.

— Я постараюсь повлиять на мою дочь,— повторил мистер Спенлоу, получив такую поддержку.— Вы отказываетесь взять эти письма, мистер Копперфилд?

Дело в том, что я положил их на стол.

Да. Я заявил, что, надеюсь, он меня простит, но я не считаю возможным взять их от мисс Мэрдстон.

— И от меня также? — спросил мистер Спенлоу.

Весьма почтительно я это подтвердил: и от него также.

— Прекрасно! — сказал мистер Спенлоу.

Воцарилось молчание, и я не знал, уходить ли мне, или оставаться. В конце концов я медленно направился к двери, собираясь сказать, что, быть может, удалившись, тем самым пойду навстречу его желанию, как вдруг он обратился ко мне с видом, я бы сказал, поистине благочестивым, глубоко засунув руки в карманы сюртука:

— Должно быть, вам известно, мистер Копперфилд, что я не совсем лишен земных благ и что моя дочь — самое дорогое и близкое мне существо?

Я поспешил сказать, что если моя страстная любовь

и заставила меня совершить ошибку, то, я надеюсь, эта ошибка не дает ему оснований заподозрить меня в корыстолюбии.

— Я не на это намекал,— сказал мистер Спенлоу,— и для вас самих, мистер Копперфилд, да и для всех нас было бы лучше, если бы вы были корыстолюбивы, я хочу сказать — более рассудительны и меньше увлекались всем этим юношеским вздором. Вот именно. Я повторяю — но совсем с другой целью: вам, вероятно, известно, что у меня есть некоторые средства, которые останутся моей дочери?

Я допускал такую возможность.

— Вряд ли вы могли предположить, что я не написал завещания, когда мы ежедневно сталкиваемся здесь, в Докторс-Коммонс, с самым необъяснимым пренебрежением к устроению своих дел путем завещательных распоряжений — с тем пренебрежением, в котором, может быть, самым странным образом обнаруживается непоследовательность человеческой природы. Не так ли? — сказал мистер Спенлоу.

Я наклонил голову в знак согласия.

— И я не могу допустить, чтобы те распоряжения, какие я счел необходимым сделать в пользу моей дочери, поставлены были в зависимость от юношеских глупостей вроде настоящей! — сказал мистер Спенлоу под наплывом благочестивых чувств, медленно покачиваясь на каблуках.— Да, это только глупость. Чистый вздор! Скоро он будет весить не больше пушинки. Но если с этой глупой затеей не будет сразу покончено, я могу — да, я могу! — быть вынужденным в решительный момент защитить ее и обезопасить от последствий любого глупого шага на пути к браку. А теперь я надеюсь, мистер Копперфилд, что вы не заставите меня еще раз, хотя бы на четверть часа, открыть эту закрытую страницу в книге жизни и хотя бы на четверть часа вновь возвращаться к неприятному вопросу, давно улаженному.

В его манере говорить было безмятежное спокойствие,— то спокойствие, каким осеняет душу заход солнца, и это произвело на меня огромное впечатление. Он казался таким кротким и умиротворенным, он привел в такой образцовый порядок свои дела, что, размышляя

об этом, сам умилялся. Право же, я видел у него на глазах слезы, вызванные этим умилением.

Но что мне было делать? Я не мог отречься ни от Доры, ни от своего собственного сердца. Когда он посоветовал мне в течение недели поразмыслить над его словами, мог ли я сказать, что не нуждаюсь в этой неделе? Но разве я не знал в то же время, что, сколько бы недель я ни размышлял, ничто не может повлиять на такую любовь, как моя?

— А тем временем посоветуйтесь с мисс Тротвуд или с кем-нибудь, кто знает жизнь,— сказал мистер Спенлоу, оправляя обеими руками галстук.— Подумайте недельку, мистер Копперфилд.

Я уступил и покинул комнату, стараясь, чтобы мое лицо, несмотря на уныние и отчаяние, выражало непреклонность. Нахмуренные брови мисс Мэрдстон провожали меня до дверей,— я упоминаю о ее бровях, а не о глазах потому, что на ее лице брови играли куда более значительную роль,— и ее взгляд так похож был на тот, каким она, бывало, смотрела на меня по утрам, в этот же час, в гостиной в Бландерстоне, что мне почудилось, будто я снова запутался, отвечая урок, а на моем сердце мертвым грузом лежит этот старый ужасный учебник правописания с овальными гравюрами, которые я в своем детском воображении уподоблял стеклам очков, вынутым из оправы.

Когда я вернулся в контору и, пряча лицо от старого Тиффи и от остальных, уселся за своей конторкой в уголке, думая о нежданно разразившейся катастрофе и горько проклиная Джипа, меня охватила такая тревога за Дору, что не знаю, как это я не схватил шляпу и не помчался сломя голову в Норвуд. Мысль о том, что они запугивают ее и доводят до слез, а меня там нет, чтобы ее успокоить, была совершенно невыносима и побудила меня написать безумное письмо мистеру Спенлоу, умоляя его избавить ее от расплаты за мою ужасную судьбу. Я упрашивал его пощадить ее нежную натуру — не сломать хрупкий цветок — и, насколько помнится, писал ему так, как будто он был не ее отец, а людоед или Уонтлейский дракон *. Это письмо я запечатал и до его прихода в контору положил ему на стол, а когда он появился,

я видел в приоткрытую дверь его кабинета, что он взял со стола письмо и прочел.

В течение всего утра он не проронил ни слова о письме, но, прежде чем уйти днем из конторы, позвал меня в кабинет и сказал, что я могу не беспокоиться о благополучии его дочери. По его словам, он убедил ее, что все это вздор, и больше ему не о чем с ней говорить. Он считает себя снисходительным отцом (так оно, впрочем, и было), а я могу не утруждать себя заботами о ней.

— Если вы будете делать глупости и упорствовать, мистер Копперфилд, вы принудите меня снова отослать ее на время за границу,— заявил он.— Но я лучшего о вас мнения и надеюсь, что вы через несколько дней образумитесь. Что касается до мисс Мэрдстон (я упомянул о ней в письме), я доверяю бдительности этой леди и чувствую себя обязанным ей, но она получила твердое указание не затрагивать этого вопроса. Я хочу только одного, мистер Копперфилд: чтобы это было забыто. И все, что вы можете сделать, мистер Копперфилд,— забыть.

Все, что я могу сделать! В записке, которую я написал мисс Миллс, я с горечью цитировал эту фразу. Все, что я могу сделать,— писал я с мрачным сарказмом,— это забыть Дору! И это было «все»! Я просил мисс Миллс увидеться со мной в тот же вечер. Если этого нельзя было сделать с разрешения и ведения мистера Миллса, я просил о тайном свидании в комнатке за кухней, где находился каток для белья. Я сообщал ей, что мой рассудок пошатнулся на своем троне и она одна может предотвратить его падение. Я подписал письмо: «Пребывающий в исступлении ваш», и когда, прежде чем отправить с посыльным, перечитал все произведение, то не мог отделаться от чувства, что его стиль, пожалуй, похож на стиль мистера Микобера.

Все же я послал его. Вечером я отправился к мисс Миллс и бродил вокруг ее дома до тех пор, пока ее служанка потихоньку не впустила меня и не провела с черного хода в комнатку за кухней. Потом я убедился, что мне решительно ничто не мешало войти через парадный вход и явиться в гостиную, если бы не любовь мисс Миллс к романтике и таинственности.

В комнатке за кухней, как и следовало ждать, я бес-

новался. Мне кажется, я явился туда с целью разыграть из себя дурака и, надо прямо сказать, добился своего. Мисс Миллс получила от Доры написанную второпях записку, в которой та извещала, что все открылось; «О, прошу тебя, Джулия, приходи, немедленно приходи!» — молила Дора. Но мисс Миллс еще не ходила к ней, ибо не была уверена, что ее присутствие будет угодно высшим силам. Нас всех застигла ночь в пустыне Сахаре.

У мисс Миллс был в запасе поток слов, и она излила его на меня. Хотя она смешала свои слезы с моими, но я почувствовал, что наше несчастье доставило ей огромное наслаждение. Она, если можно так выразиться, лелеяла это несчастье, чтобы извлечь из него все, что только возможно. По ее словам, между Дорой и мной разверзлась бездна, и только Любовь может соединить ее края своей радугой. В этом жестоком мире Любовь должна страдать — так всегда было и так всегда будет. Но, по мнению мисс Миллс, это не имеет значения. Опутанные паутиной сердца разорвут в конце концов путы, и тогда-то Любовь будет отомщена.

Это было не весьма утешительно, но мисс Миллс отнюдь не хотела обольщать меня обманчивыми надеждами. Мне стало куда хуже, чем было раньше, и я почувствовал (о чем и сказал с глубокой благодарностью), что она мне истинный друг. Мы порешили, что утром она первым делом отправится к Доре и любым способом — взглядами или словами — сообщит ей о том, как я ее обожаю и в каком нахожусь отчаянии. Подавленные скорбью, мы расстались, и мне кажется, мисс Миллс была вполне удовлетворена.

Вернувшись домой, я рассказал обо всем бабушке и, невзирая на все, что она могла мне сказать, лег спать в отчаянии. В отчаянии я встал утром и в отчаянии вышел из дому. Было субботнее утро, и я прямо направился в Докторс-Коммонс.

Подходя к нашей конторе, я очень удивился, когда издали увидел у дверей рассыльных, о чем-то беседующих, и кучку зевак, которые смотрели в наглухо закрытые окна. Я ускорил шаги, прошел между собравшимися, недоумевая, почему они так пристально меня разглядывают, и поспешно вошел в контору.

Там были клерки, но никто ничего не делал. Старый Тиффи — в первый раз в своей жизни, думается мне,— сидел на чьем-то чужом табурете и не повесил на гвоздь своей шляпы.

— Какое страшное несчастье, мистер Копперфилд! — сказал он, как только я вошел.

— Что? Что случилось?! — вскричал я.

— Да разве вы не знаете? — воскликнул Тиффи, а остальные клерки окружили меня.

— Ничего не знаю,— ответил я, переводя взгляд с одного на другого.

— Мистер Спенлоу! — сказал Тиффи.

— А что с ним?

— Скончался!

Мне показалось, что не я, а стены конторы пошатнулись, но тут один из клерков подхватил меня. Меня усадили на стул, развязали мне галстук, принесли воды. Я не имел ни малейшего представления о том, сколько прошло времени.

— Скончался? — повторил я.

— Вчера он обедал в городе и поехал в фаэтоне один,— сказал Тиффи,— а груму приказал сесть в пассажирскую карету. Вы ведь знаете, он иногда так делал...

— Ну?

— Фаэтон прибыл без него. Лошади остановились у ворот конюшни. Слуга вышел с фонарем. В фаэтоне никого не было.

— Лошади понесли?

— Они не были разгорячены,— сказал Тиффи, надевая очки.— Не больше разгорячены, чем обычно. Вожжи были порваны, но ведь они волочились по земле. Весь дом всполошился, трое слуг вышли искать на дорогу. Они его нашли в миле от дома.

— Немного подальше, мистер Тиффи,— поправил младший клерк.

— Да? Кажется, вы правы,— сказал Тиффи.— Немного подальше, недалеко от церкви... Он лежал ничком поперек дороги возле самой обочины так, что часть тела была на боковой тропинке. То ли с ним случился припадок, и он выпал из фаэтона, то ли вышел, когда почувствовал себя плохо, а припадок случился потом, и был

ли он уже мертв, или только без сознания — этого никто, по-видимому, не знает. Если он и дышал еще, то, во всяком случае, говорить уже не мог. Немедленно был вызван врач, но ничем помочь было нельзя.

Трудно описать душевное состояние, в которое повергло меня это сообщение. Потрясение от такой развязки, развязки, наступившей столь внезапно для того, с кем я был отчасти не в ладах; ужасная пустота в комнате, занимаемой им так недавно, где кресло и стол как будто ждали его, а бумаги, написанные им еще вчера, казались призрачными; полная невозможность мысленно отделить его от конторы, а когда открывалась дверь, такое чувство, что он сейчас войдет в комнату; застой в делах и праздность служащих, которые с неутолимою страстью болтали о случившемся; непрерывное в течение всего дня мелькание посторонних людей, насыщавшихся по горло разговорами на одну и ту же тему,— все это легко может себе представить каждый! Но я не могу описать, как в сокровенных глубинах моего сердца я тайно ревновал даже к Смерти, какие чувства я испытывал, размышляя о том, что эта смерть отодвинет меня на задний план в мыслях Доры, с какой несказанною завистью думал я даже о ее скорби, как тревожился, что она плачет перед другими и другие ее утешают, как охватило меня эгоистическое желание прогнать от нее всех и каждого, остаться одному с ней и заменить для нее всех на свете в это самое неподходящее для такого желания время.

В такой тревоге и в таком беспокойстве — это состояние, думается, знакомо не только мне, но и другим,— я отправился в тот вечер в Норвуд. Узнав у одного из слуг, что мисс Миллс находится там, я вернулся домой, написал ей письмо, а бабушку попросил надписать адрес. Я вполне искренне выражал свою скорбь по поводу скоропостижной смерти мистера Спенлоу и, всплакнув при этом, просил ее сказать Доре, если только та в состоянии ее слушать, что он говорил о ней с беспредельной нежностью и заботливостью, не упрекая ее ни в чем. Знаю, я сделал это из себялюбия, ради того, чтобы напомнить ей о себе, но старался себя уверить, что воздаю этим должное его памяти. Возможно, я и в самом деле в это верил.

На другой день бабушка получила в ответ несколько строк; адресованы они были к ней, но предназначались для меня. Дора была вне себя от горя, а когда подруга спросила, хочет ли она послать мне привет, Дора, рыдая, только воскликнула: «О мой дорогой, бедный мой папа!» — как восклицала все это время. Но она не ответила отрицательно, что я счел очень важным.

Мистер Джоркинс, который находился в Норвуде со дня печального события, появился в конторе только спустя некоторое время. Вместе с Тиффи он удалился в кабинет, но скоро Тиффи выглянул и пригласил меня войти.

— Мистер Копперфилд! — сказал мистер Джоркинс.— Мы с мистером Тиффи собираемся осмотреть конторку и ящики покойного, чтобы наложить печати на личные его бумаги и отыскать завещание. Пока нет никаких следов завещания. Может быть, вы будете добры нам помочь?

Мне уже раньше страстно хотелось знать, что ожидает мою Дору — например, кто будет ее опекуном и тому подобное,— и это предложение отвечало моим желаниям. Мы тотчас же приступили к осмотру. Мистер Джоркинс отпирал ящики, и мы все втроем вытаскивали оттуда бумаги. Деловые бумаги фирмы мы откладывали в одну сторону, личные бумаги (их было немного) — в другую. Делали это мы очень торжественно, и когда случайно попадались нам печатка, пенал, кольцо или какая-нибудь другая вещица, которую мы привыкли видеть у покойного, наши голоса понижались до шепота.

Мы опечатали уже несколько пакетов и молча продолжали разбирать пыльные бумаги, как вдруг мистер Джоркинс произнес о своем умершем компаньоне те же самые слова, в каких сей последний отзывался о нем:

— Мистер Спенлоу очень неохотно покидал привычную колею. Вы же его знаете! Я склонен думать, что завещания нет.

— О нет! Я знаю, что есть,— сказал я.

Они оба прервали работу и повернулись ко мне.

— Когда я видел его в последний раз, он мне сказал, что у него есть завещание и что уже давно он привел в порядок свои дела.

Мистер Джоркинс и старый Тиффи покачали головой.

— Это не предвещает ничего хорошего,— сказал Тиффи.

— Отнюдь не предвещает ничего хорошего,— сказал мистер Джоркинс.

— Неужели вы сомневаетесь...— начал я.

— Милый мой мистер Копперфилд,— перебил Тиффи и положил руку мне на плечо, закрыв глаза и покачивая головой,— если бы вы пробыли в Докторс-Коммонс столько, сколько пробыл я, вы бы знали, что ни в одном деле люди не бывают так ненадежны, как в этом, и что никак нельзя полагаться на их слова.

— Но, боже мой, он сам это говорил! — настаивал я.

— В таком случае, все ясно. Вот мое мнение: завещания нет! — сказал Тиффи.

Мне показалось это очень странным, но завещания действительно не было. Поскольку можно было судить на основании бумаг покойного, он никогда не помышлял о завещании: мы не нашли ни малейшего намека на него, ни наброска, ни заметок, сделанных с целью составить завещание. Но не менее удивило меня, что его дела находились в полном беспорядке. Как мне потом рассказывали, крайне трудно было установить, сколько он должен, сколько уплатил и чем располагал ко дню своей смерти. Вполне возможно, что и сам он в течение многих лет не имел об этом ясного понятия. Мало-помалу обнаружилось, что, желая соревноваться с другими в широком образе жизни, которому в ту пору придавали в Докторс-Коммонс особое значение, он тратил больше, чем зарабатывал,— а зарабатывал он не очень много,— и свое состояние, ранее ему принадлежавшее, если когда-нибудь оно и было значительным (что весьма мало вероятно), почти совсем исчерпал. Пришлось продать обстановку и уступить аренду дома в Норвуде, и Тиффи, не предполагая, как заинтересован я во всем этом, сообщил, что после уплаты долгов покойного и вычета его доли для погашения безнадежных и сомнительных обязательств, выданных фирме, он, Тиффи, не дал бы и тысячи фунтов за оставшееся имущество.

Это выяснилось месяца через полтора. Все это время я ужасно страдал и готов был наложить на себя руки каждый раз, когда мисс Миллс сообщала мне, что моя

бедняжка Дора при упоминании обо мне повторяла все одно и то же: «О мой дорогой, бедный мой папа!» Сообщила она также, что у Доры нет другой родни, кроме двух незамужних теток, сестер мистера Спенлоу, которые проживают в Патни и в течение многих лет не поддерживали с ним почти никаких отношений. Они не то чтобы поссорились с ним (сообщила мне мисс Миллс), но когда-то мистер Спенлоу, по случаю крещения Доры, пригласил их к чаю, а они считали себя вправе притязать на приглашение к обеду и свое мнение выразили письменно в той форме, что, дескать, «в интересах обеих сторон» будет лучше, если они воздержатся от посещения. С той поры они следовали своей дорогой, а брат — своей.

Эти две леди вышли теперь из своего убежища и предложили Доре переехать к ним в Патни. Дора бросилась к ним на шею и с плачем воскликнула:

— Да, да, милые тетушки! Пожалуйста, возьмите в Патни и Джулию Миллс, и меня, и Джипа!

И вот вскорости после похорон они уехали в Патни.

Право, не знаю, как мне удавалось находить время, чтобы бывать в Патни, но я очень часто придумывал способ и повод послоняться в тех краях. Желая как можно добросовестней исполнить долг дружбы, мисс Миллс вела дневник. Время от времени она встречалась со мной на лугу, который служил общественным выгоном, и читала дневник, а если у нее не было для этого времени, давала мне прочесть самому. Как я дорожил этими записями, образцы которых я приведу:

Понедельник. Моя милочка Д. все еще очень подавлена. Головная боль. Обращаю ее внимание на то, какая чудесная мягкая шерсть у Дж. Д. ласкает Дж. Пробуждаются воспоминания, открываются шлюзы скорби. Взрыв горя. (Не есть ли слезы сердечная роса? Д. М.)

Вторник. Д. слаба и нервничает. Прекрасна в своей бледности. (Нельзя ли сказать того же о луне? Д. М.) Д., Д. М. и Дж. совершают прогулку в карете. Дж. выглядывает в окошко, страшно тявкает на мусорщиков, вызывает улыбку на заплаканном личике Д. (Из каких хрупких звеньев состоит цепь жизни! Д. М.)

Среда. Д. сравнительно бодра. Пела ей песенку «Вечерние колокола» *. Совсем не успокоила, даже наоборот, Д. невыразимо расстроилась. Нашла ее плачущей у нее в комнате. Прочла ей стихи о себе и о юной газели. Никакого результата. Упомянула также о фигуре Терпения на монументе. (Вопрос: почему на монументе? Д. М.)

Четверг. Д. чувствует себя лучше. Провела ночь спокойно. Слабый румянец снова появился на щеках. Я решила упомянуть имя Д. К. Сделала это осторожно во время прогулки. Д. немедленно пришла в расстройство чувств. «О! Дорогая Джулия! О, я была скверной, недостойной дочерью!» Успокоила ласками. Набросала идеальный портрет Д. К., стоящего на краю могилы. Д. снова пришла в расстройство чувств: «О! Что мне делать! Что мне делать! О! Увези меня куда-нибудь!» Я очень испугалась. Обморок Д. и стакан воды из таверны. (Поэтическая параллель: пестрая надпись над дверью; пестрота человеческой жизни. Увы! Д. М.)

Пятница. День, полный происшествий. Появляется в кухне человек с синим мешком. «Давайте ботинки леди, которые оставили для починки». Кухарка отвечает: «Ничего не приказывали». Человек настаивает. Кухарка выходит, чтобы справиться, оставляет человека одного с Дж. Когда она возвращается, человек все еще настаивает, но в конце концов уходит. Дж. исчез. Д. в отчаянии. Сообщают в полицию. Описывают человека: нос широкий, ноги, как балюстрада на мосту. Поиски по всем направлениям. Дж. нет. Д. горько рыдает, неутешна. Снова упоминаю о юной газели. Случай подходящий, но все тщетно. Вечером появляется незнакомый мальчишка. Его вводят в гостиную. Широкий нос, но ноги совсем не как балюстрада. Говорит, что за фунт скажет, где собака. Уклоняется от объяснений, несмотря ни на какие уговоры. Д. дает фунт, он ведет кухарку в какой-то домик, где Дж. один, привязан к ножке стола. Радость Д., которая пляшет вокруг него, пока он ужинает. Эта счастливая перемена ободряет меня, я упоминаю наверху о Д. К. Снова Д. рыдает, жалобно восклицая «О нет! нет! Дурно думать о чем-нибудь другом, кроме бедного папы!» Обнимает Дж. и засыпает в слезах. (Не следует ли Д. К. положиться на широкие крылья Времени? Д. М.)

В те дни мисс Миллс и ее дневник были единственным моим утешением. Видеть ее, которая только что видела Дору, созерцать первую букву имени Доры в каждой строчке этих благожелательных страничек, предаваться еще большей скорби благодаря ей — только в этом была моя отрада. Мне казалось, будто я жил в карточном домике, который рухнул наземь, и среди руин уцелели только мы — мисс Миллс и я; казалось, будто какой-то злой волшебник заключил невинную владычицу моего сердца в магический круг, куда я, и в самом деле, могу проникнуть только на этих могущественных крыльях, способных умчать так далеко столько человеческих существ!

ГЛАВА XXXIX

Уикфилд и Хип

Бабушка, мне кажется, была серьезно обеспокоена столь длительным моим унынием и притворилась, будто ей очень хочется, чтобы я поехал в Дувр поглядеть, все ли в порядке в ее коттедже, сданном внаем, а также заключил соглашение с арендатором на продление аренды. Дженет поступила на службу к миссис Стронг, и там я видел ее ежедневно. Покидая Дувр, она колебалась, не покончить ли ей раз и навсегда с отречением от мужского пола, в духе какового отречения она была воспитана, и не выйти ли замуж за лоцмана, но все же не отважилась на такой шаг. Не столько, кажется, из принципа, сколько потому, что лоцман не очень ей нравился.

Хотя мне было нелегко покинуть мисс Миллс, я охотно согласился на предложение бабушки, так как это давало мне возможность провести несколько спокойных часов с Агнес. Я поговорил с добряком доктором об отлучке дня на три; доктор считал, что этот отпуск мне необходим,— по его мнению, мне следовало уехать отдохнуть подольше, но этому воспрепятствовало мое рвение — и я решил ехать.

Что касается Докторс-Коммонс, я мог не тревожиться о своей работе в конторе. Правду сказать, мы не поль-

зовались особой славой среди первоклассных прокторов и быстро катились вниз, рискуя очутиться в сомнительном положении. Фирма считалась посредственной при мистере Джоркинсе, еще до вступления в нее мистера Спенлоу, и хотя дела поправились благодаря притоку новых сил и тщеславию мистера Спенлоу, но фирма все же не была достаточно солидна, чтобы не пошатнуться от такого удара, как внезапная потеря главного руководителя. Все расстроилось и пришло в упадок. Мистер Джоркинс, несмотря на свою репутацию у нас, был человек слабый и неспособный, а репутация его за пределами фирмы была не такова, чтобы укрепить к нему доверие. Теперь я работал с ним, и, наблюдая, как он нюхает табак и не обращает ни малейшего внимания на дела, я жалел о тысяче фунтов моей бабушки больше, чем когда бы то ни было.

Но это было еще не самое худшее. Вокруг да около Докторс-Коммонс кишело немало паразитов и прихлебателей, которые, не будучи прокторами, подвизались на этом поприще и устраивали свои делишки через прокторов, готовых уступить свое имя за определенную долю добычи, захваченной неблаговидным путем, и таких прокторов было тоже немало. Поскольку наша фирма стала нуждаться в делах, мы завели сношения с этой достойной шайкой и приманивали этих паразитов, побуждая их доставлять нам работу. Лицензии на брак и утверждения завещаний людей небогатых — вот те дела, за которыми мы охотились, так как они были для нас очень выгодны, но в этой погоне мы имели много соперников. «Перехватчики» и «зазывалы» расставлялись во всех переулках, ведущих к Докторс-Коммонс, с указанием не пропускать ни одного человека в трауре и ни одного джентльмена, имеющего застенчивый вид, и завлекать их в конторы своих хозяев. Эти распоряжения выполнялись столь неукоснительно, что меня самого, покуда не запомнили моего лица, дважды вталкивали в контору нашего главного конкурента. Интересы джентльменов, навязывающих свой товар, приходя в столкновение, распаляли страсти и вели к настоящим боям, и однажды наш главный зазывала (раньше он служил по винному делу, а потом по маклерской части) нанес явное бесчестье

Докторс-Коммонс, разгуливая в течение нескольких дней с подбитым глазом. Некоторые из этих разведчиков, учтиво помогая выйти из кареты какой-нибудь старой леди в трауре, не задумываясь, убивали любого проктора, которого она искала, рекомендовали своего хозяина как его законного преемника и представителя и втаскивали старую леди (иногда крайне пораженную) в контору своего хозяина. Таким образом было доставлено ко мне немало пленников. Что же касается брачных лицензий, конкуренция была так велика, что какому-нибудь робкому джентльмену, нуждавшемуся в лицензии, ничего не оставалось делать, как отдаться в руки первого попавшегося ему зазывалы, а не то из-за него начиналась драка и он становился добычей сильнейшего. В разгар свалки один из наших клерков,— именно такой прихлебатель,— обычно должен был сидеть уже в шляпе и быть готовым ринуться из конторы, чтобы дать присягу в канцелярии заместителя епископа по поводу любой жертвы, которая попадала в наши руки. Система «зазывания», мне кажется, существует и по сей день. В последний раз, что я был в Докторс-Коммонс, дюжий субъект в белом фартуке, выскочив из какой-то двери, шепнул мне на ухо: «Брачная лицензия!» — и только с большим трудом я помешал ему схватить меня на руки и отнести в контору проктора.

После такого отступления перейдем к Дувру.

С коттеджем все обстояло благополучно, и я имел возможность от всей души поздравить бабушку, сообщив, что арендатор унаследовал ее вражду и вел непрерывную войну с ослами. Выполнив незамысловатое поручение и переночевав там одну ночь, я рано утром пошел пешком в Кентербери. Снова пришла зима; свежий, холодный, ветреный день и раскинувшаяся передо мной равнина воскресили мои надежды.

Придя в Кентербери, я стал бродить по старинным улицам с какой-то тихой радостью, которая успокаивала и умиротворяла мое сердце. Висели все те же вывески, все те же имена значились над лавками, а в лавках были все те же люди. Школьные годы, казалось мне, остались так далеко позади, что меня удивило, сколь мало изменился город, и я стал думать о том, как мало изме-

нился я сам. Странно сказать, но тишина и покой, неотделимые в моей душе от образа Агнес, царили, чудилось, и в городе, где она жила. Почтенные башни собора, которым пронзительные крики старых грачей и галок придавали характер большей отрешенности от мира, чем могло бы им придать полное безмолвие; разрушенные ворота, некогда украшенные статуями, уже давно рухнувшими и развеянными в прах, как обратились в прах и паломники, благочестиво на них взиравшие; безмолвные закоулки, где столетний плющ вился по остроконечным крышам и развалившимся стенам; старинные дома и буколический ландшафт — поля и фруктовые сады — все по-прежнему овеяно было прозрачным воздухом, над всем реял прежний умиротворяющий дух раздумья.

Я вошел в дом мистера Уикфилда и в маленькой низкой комнатке в первом этаже, где в давние времена обычно сидел Урия Хип, увидел мистера Микобера, который с великим усердием что-то писал. Он был в черном костюме, как и подобает законнику, и в этой маленькой канцелярии казался особенно дородным и внушительным.

Мистер Микобер очень обрадовался, увидев меня, но вместе с тем немного смутился. Он хотел тотчас же повести меня к Урии, но я отказался.

— Если вы припоминаете, я знаю этот дом уже давно и сам найду дорогу наверх. Как вам нравится юриспруденция, мистер Микобер? — спросил я.

— Дорогой мой Копперфилд, человеку, обладающему особенно богатой фантазией, мешает изучать юридические науки обилие мелочей, которые мы в них находим,— ответил мистер Микобер.— Даже в нашей деловой корреспонденции,— тут он бросил взгляд на написанные им письма,— ум не может воспарить до сколько-нибудь возвышенных выражений. Но все же это великое поприще. Великое поприще!

Затем он сказал, что снял внаймы прежний домик Урии Хипа и что миссис Микобер будет очень рада снова видеть меня под своим кровом.

— Кров смиренный, если употребить любимое выражение моего друга Хипа,— продолжал мистер Микобер,— но он может явиться ступенью, ведущей к более роскошному жилищу.

Я спросил его, доволен ли он тем, как относится к нему его друг Хип. Он встал с табурета, чтобы убедиться, плотно ли закрыта дверь, и только потом ответил, понизив голос:

— Дорогой Копперфилд! Когда напрягаешь силы под гнетом денежных затруднений, всегда находишься по сравнению с другими в невыгодном положении. Это невыгодное положение не улучшается, если гнет вынуждает вас просить жалованье до наступления срока платежа. Могу сообщить вам только, что мой друг Хип отвечает на призывы, о коих мне нет нужды распространяться, в такой форме, которая воздает должное в равной мере его уму и сердцу.

— Я не подозревал, что он так охотно дает свои деньги,— заметил я.

— Прошу меня простить, но я говорю о моем друге Хипе по личному опыту! — сказал мистер Микобер с несколько принужденным видом.

— Я рад, что ваш личный опыт столь для него благоприятен,— отозвался я.

— Вы очень любезны, мой дорогой Копперфилд! — сказал мистер Микобер и стал напевать сквозь зубы какую-то мелодию.

— Вы часто видите мистера Уикфилда? — спросил я, чтобы переменить тему разговора.

— Не очень часто,— ответил мистер Микобер пренебрежительно.— Мистер Уикфилд, позволю себе сказать, преисполнен благих намерений, но он... одним словом, он... опустился.

— Боюсь, что его компаньон прилагает к этому все усилия,— сказал я.

— Дорогой Копперфилд, позвольте мне сделать одно замечание! — сказал мистер Микобер, с некоторым смущением поерзав на табурете.— Я здесь нахожусь в качестве лица, пользующегося особым доверием. Здесь на меня возложена значительная ответственность. Даже с миссис Микобер (давней моей спутницей во всех превратностях судьбы и женщиной замечательного ума) я не могу касаться некоторых предметов, не подлежащих обсуждению в силу взятых мною на себя обязанностей. А потому мне приходится заявить, что в наших друже-

ских отношениях — о, я верю, они никогда не прекратятся! — следовало бы провести черту. По одну сторону черты,— тут мистер Микобер воспользовался конторской линейкой для изображения этой черты на конторке,— находится решительно все, относящееся к человеческому интеллекту с одним только исключением, а по другую — это самое исключение, иными словами дела фирмы «Уикфилд и Хип» со всем, что сюда относится. Надеюсь, я не наношу обиды спутнику моей молодости, осмеливаясь просить его беспристрастно обсудить это предложение.

Хотя я увидел, что в мистере Микобере произошла перемена и он как-то обеспокоен, словно новые обязанности пришлись ему не по плечу, но обижаться у меня не было оснований. Так я ему и сказал, а он с облегчением потряс мне руку.

— Я, Копперфилд, прямо очарован мисс Уикфилд,— продолжал мистер Микобер.— Это — молодая леди, замечательная своими добродетелями, привлекательностью и изяществом манер. Честное слово,— тут мистер Микобер стал отвешивать грациозные поклоны и посылать воздушные поцелуи в пространство,— я выражаю нижайшее почтение мисс Уикфилд! Гм...

— Во всяком случае, это меня радует,— сказал я.

— Если бы мы не имели удовольствия как-то провести с вами приятный вечер, когда вы сообщили нам, что ваша любимая буква — «Д», я безусловно предположил бы, что это буква «А»,— сказал мистер Микобер.

Всем нам известно чувство, которое иногда возникает у человека, будто то, что он говорит и делает, он уже говорил и делал в далеком прошлом и давно-давно видел те же самые лица, предметы и окружение и будто он прекрасно знает, что́ именно ему сейчас скажут, словно внезапно вспомнил эти слова.

Загадочное это чувство я ни разу в своей жизни не испытывал прежде с такой силой, как в тот раз, когда мистер Микобер произнес приведенную выше фразу.

Вскоре я попрощался с мистером Микобером, поручив ему передать привет всем домашним. Когда я его покинул, а он уселся на табурет и, взяв перо в руки, покрутил головой словно для того, чтобы привести ее в должный порядок, прежде чем снова приняться за работу, я ясно

почувствовал, что с той поры, как он приступил к своим новым обязанностям, между нами возникла какая-то преграда, которая мешает нам обходиться друг с другом попрежнему и решительно изменяет характер наших отношений.

В уютной старой гостиной никого не было, хотя все говорило о недавнем пребывании здесь миссис Хип. Я заглянул в комнату, все еще занимаемую Агнес, и увидел, что она сидит у камина за старинным изящным бюро и пишет.

Входя, я заслонил свет, и она подняла на меня глаза. Как радостно было сознавать, что являешься причиной такой внезапной перемены в ее задумчивом лице и тебя встречает такой ласковый, милый взгляд!

— Ах, Агнес, последнее время мне вас так недоставало! — сказал я, когда мы уселись рядом.

— Да что вы? Снова! И так скоро? — спросила она.

Я кивнул головой.

— Я не понимаю, как это получилось, Агнес. Мне кажется, что мне не хватает каких-то свойств, в которых я очень нуждаюсь. В счастливые прежние времена вы так много здесь думали за меня, а я, не размышляя, так часто приходил к вам за советом и помощью, что, право, мне кажется, будто я потому-то этих свойств и не приобрел.

— А каких именно? — весело спросила Агнес.

— Не знаю, как их назвать. Скажите, можно считать меня настойчивым и серьезным?

— Я в этом убеждена,— ответила Агнес.

— И терпеливым? — спросил я несколько неуверенно.

— Да! — сказала, засмеявшись, Агнес.

— А тем не менее я чувствую себя так скверно и тревожно, становлюсь таким нерешительным, настолько сомневаюсь в себе, что, должно быть, мне не хватает... Как бы это сказать... Мне не на кого положиться. Так?

— Пусть так, если хотите,— отозвалась Агнес.

— Ну, вот! Слушайте дальше. Вы приезжаете в Лондон, и вот у меня уже есть на кого положиться, у меня есть цель, и мне ясен мой путь. Когда я сворачиваю с него, стоит мне приехать сюда, и мгновенно я чувствую себя другим человеком. Обстоятельства, которые при-

водили меня в уныние, ничуть не изменились с той минуты, как я вошел в эту комнату, но я уже испытываю какое-то благотворное влияние, и я меняюсь — о! меняюсь к лучшему! Что это такое? В чем ваш секрет, Агнес?

Опустив голову, она смотрела на огонь.

— Это старая история,— продолжал я.— Не смейтесь, если я скажу, что прежде так бывало в пустяках, а теперь в делах важных. Прежние мои неприятности — чепуха, нынешние — серьезны, но каждый раз, когда я покидаю мою нареченную сестру...

Агнес подняла голову — какое это было божественное лицо! — и протянула мне руку, которую я поцеловал.

— Когда вас не было со мной, Агнес, чтобы с самого начала дать мне совет или одобрение, я как будто терял голову и попадал из одного затруднительного положения в другое. Но как только я приходил, наконец, к вам (а я всегда приходил), на меня нисходил мир, и я обретал счастье. Словно усталый путник, я пришел сейчас в родной дом, и на меня нисходит благословенный покой.

Чувство мое было так глубоко, и эти слова так меня взволновали, что голос мой прервался, я закрыл рукой лицо и разрыдался. Я пишу чистую правду. Были ли во мне, как и в других людях, противоречия и разлад, мог ли я действовать иначе и гораздо лучше, правильно ли я поступал, не прислушиваясь к велениям собственного сердца, об этом я не думал. Я знал только, что был искренен, когда с таким волнением говорил, что около нее нахожу мир и покой.

Ее милое сестринское участие, лучезарные глаза, тихий голос, ее кротость и мягкость, благодаря которым я давно признал ее дом священным для себя приютом, помогли мне преодолеть мою слабость и рассказать обо всем, что̀ произошло с момента нашей последней встречи.

— Мне больше нечего добавить, Агнес, и теперь вы моя опора,— закончил я свой рассказ.

— Но почему же я? — улыбаясь, спросила она.— Кто-то другой должен быть опорой.

— Дора?

— Конечно.

— Видите ли, Агнес...— несколько смущенно сказал я.— На Дору трудновато... я не хочу сказать, что на нее нельзя опереться, потому что она — сама верность и чистота, но... трудновато... Право же, Агнес, я не знаю, как это выразить! Она — робкое существо, и ее легко смутить и испугать. Не так давно, незадолго до смерти ее отца, я решился поговорить с ней... Если вы не возражаете, я расскажу, как это было.

И я рассказал Агнес, как объявил Доре о своей бедности и говорил с ней о поваренной книге, о записи домашних расходов и обо всем прочем.

— Ох, Тротвуд, вы все тот же, такой же стремительный! — улыбнулась Агнес.— Вы имели все основания приняться за дело горячо, чтобы проложить дорогу в жизни, но можно ли было поступать так неосторожно с робкой, любящей, неопытной девочкой? Бедняжка Дора!

Никогда еще не приходилось мне слышать, чтобы в человеческом голосе звучала такая доброта. Мне казалось, я вижу, как она нежно обнимает Дору и своей великодушной защитой безмолвно упрекает меня за то, что я сгоряча поспешил смутить это сердечко. Казалось мне, я вижу, как Дора в своей очаровательной бесхитростной простоте ластится к Агнес, и благодарит ее, и ласково сетует на меня, и любит меня со всей своей детской невинностью.

Я был так благодарен Агнес и так ею восхищался! А в светлом будущем я видел их вдвоем, связанных тесной дружбой и горячо любящих друг друга.

— Что же я должен делать, Агнес? — спросил я после раздумья, в течение которого не отрывал глаз от огня.— Как мне поступить?

— Я думаю, следовало бы избрать достойный путь и написать этим двум леди. Вам не кажется, что скрывать было бы недостойно? — спросила Агнес.

— Да, конечно, раз *вы* так думаете,— согласился я.

— Я плохой судья в таких делах,— сказала Агнес после некоторого колебания,— но глубоко уверена... да, я уверена, что скрытничать и притворяться вам не подобает.

— Мне не подобает? Боюсь, Агнес, вы слишком высокого мнения обо мне.

— Вам не подобает, так как по натуре вы человек прямой,— сказала она,— и вот почему я написала бы этим леди. Искренне и просто, насколько это возможно, я бы рассказала обо всем, что произошло, и попросила бы разрешения бывать иногда у них в доме. Вы еще так молоды и только начали прокладывать себе путь в жизни, а потому, мне кажется, следовало бы написать, что вы согласны на все условия, которые они могли бы вам поставить. На вашем месте я умоляла бы их не отказывать вам в просьбе, не переговорив предварительно с Дорой, и обсудить вашу просьбу вместе с Дорой, как только они сочтут это возможным. Я не писала бы очень пылко и не требовала бы слишком многого,— добавила мягко Агнес.— Я положилась бы на свою верность и на свое постоянство... и на Дору!

— Но если, заговорив с Дорой, они ее испугают и Дора снова начнет плакать и не захочет сказать обо мне ни единого слова? — спросил я.

— А это возможно? — осведомилась Агнес все с тем же ласковым участием.

— Боже мой, да ведь она пуглива, как птичка! — воскликнул я.— И это вполне вероятно. И потом обе мисс Спенлоу (пожилые леди иногда бывают такими чудачками!) могут оказаться не совсем подходящими особами, чтобы к ним обращаться с такой просьбой!

— Я не стала бы об этом думать, Тротвуд,— сказала Агнес, ласково взглянув на меня.— Лучше подумать о том, правильно ли ты поступаешь, а если правильно, то так и поступать.

Больше я не колебался. С легким сердцем, но с глубоким сознанием важности задуманного дела, я посвятил едва ли не всю вторую половину дня сочинению письма; для выполнения столь трудной задачи Агнес предоставила в мое распоряжение свое бюро. Но сперва я спустился вниз повидаться с мистером Уикфилдом и Урией Хипом.

Урию я нашел в новой, выстроенной в саду конторе, где еще пахло штукатуркой; он имел необычайно гнусный вид среди груды бумаг и книг. Принял он меня, как всегда, раболепно и притворился, будто ничего не слышал от мистера Микобера о моем приезде, чему я взял на себя смелость не поверить. Вместе со мной он отправился

в кабинет мистера Уикфилда,— комната мало походила на прежнюю, ибо лишилась многих вещей, перешедших к новому компаньону,— и остановился у камина, где начал греть спину, поглаживая подбородок костлявой рукой, в то время как мы обменивались приветствиями с мистером Уикфилдом.

— Вы остановитесь у нас, Тротвуд, до отъезда из Кентербери? — спросил мистер Уикфилд, не преминув взглядом испросить у Урии согласия.

— А для меня есть место? — осведомился я.

— Я с удовольствием уступлю вам вашу прежнюю комнату, если это будет вам приятно, мой юный мистер... простите — мистер Копперфилд... но так понятно, что у меня это вырвалось...

— О нет, нет! — запротестовал мистер Уикфилд.— Зачем *вам* себя стеснять! Найдется другая комната... Найдется другая комната.

— Но я был бы так счастлив! — осклабившись, воскликнул Урия.

Чтобы положить этому конец, я сказал, что согласен жить у них, но только в другой комнате, а не то остановлюсь где-нибудь еще; решено было поместить меня в другой комнате, после чего я расстался с компаньонами до обеда и снова поднялся наверх.

Я надеялся побыть наедине с Агнес. Но миссис Хип попросила разрешения посидеть со своим вязаньем у камина под тем предлогом, что в ветреный день, при ее ревматизме, ей полезней быть в комнате Агнес, чем в гостиной или столовой. Хотя я без всякого сожаления отдал бы ее на милость ветра, отправив на самый высокий шпиль собора, но пришлось подчиниться необходимости и любезно ее приветствовать.

— Приношу вам смиренную благодарность, сэр,— сказала миссис Хип в ответ на мой вопрос о ее здоровье.— Не очень-то хорошо. Похвастать нечем. Если бы я увидела, что мой Урия занимает хорошее положение, чего мне еще желать? Как вы нашли моего Ури, сэр, какой у него вид?

По моему мнению, вид у него был, как всегда, гнусный, и я сказал, что никакой перемены в нем не заметил.

— О! Не заметили никакой перемены? Разрешите мне смиренно с вами не согласиться. Разве вы не заметили, какой он худой?

— Не больше, чем раньше,— ответил я.

— Да что вы! Это потому, что вы не глядите на него глазами матери,— сказала миссис Хип.

Глаза матери, с какой бы любовью они ни смотрели на него, были недобрые глаза, когда они взирали на все остальное человечество и встретились с моими; и я подумал, что она с сыном действительно очень любили друг друга. Она перевела взгляд с меня на Агнес.

— А вы тоже, мисс Уикфилд, не замечаете, какой у него утомленный и изнуренный вид? — спросила миссис Хип.

— Нет. Вы напрасно так беспокоитесь. У него прекрасный вид,— ответила Агнес, спокойно занимаясь своим рукоделием.

Миссис Хип громко засопела и принялась за свое вязанье.

Она не вставала и не покидала нас ни на минуту. Я приехал днем, часа за три-четыре до обеда, но она все сидела и сидела, орудуя своими вязальными спицами с такой же монотонностью, с какой сыплются песчинки в песочных часах. Она сидела по одну сторону камина, я сидел за бюро перед камином, а по другую его сторону, неподалеку от меня, сидела Агнес. Всякий раз, когда, размышляя над письмом, я отрывал от него взгляд, передо мной было задумчивое лицо Агнес, и это ангельское лицо, от которого словно исходило какое-то сияние, укрепляло мое мужество; но в то же время я чувствовал, как другой, недобрый взгляд скользит по мне, переходит на нее, снова останавливается на мне и украдкой опускается на вязанье. Не знаю, что это было за вязанье, ибо ничего в этом искусстве не понимаю, но напоминало оно сеть, а миссис Хип, работая костяными спицами, походила при свете камина на злую волшебницу, пока еще подчинявшуюся лучезарному доброму существу, сидящему напротив, но всегда готовую в подходящий момент набросить на кого-нибудь свою сеть.

За обедом она продолжала за нами следить тем же недреманным оком. После обеда ее заменил сын, и когда

мы остались втроем, мистер Уикфилд, он и я,— он продолжал украдкой наблюдать за мной и корчился так, что не было сил терпеть. В гостиной мать снова вязала и снова за нами следила. Пока Агнес играла и пела, она сидела около фортепьяно. Разок она попросила Агнес сыграть и спеть какую-то балладу, которой, по ее словам, так восхищается ее Ури (он зевал, развалившись в кресле), а в паузах поглядывала на него и сообщала Агнес, что он в полном восторге от музыки. О чем бы она ни заговаривала, почти всегда,— вернее просто всегда, без единого исключения,— она упоминала о нем. Было очевидно, что она получила такое предписание.

Это продолжалось до тех пор, пока все не пошли спать. Мне было так неприятно видеть мать и сына, которые, словно две отвратительные летучие мыши, распростерли над домом свои крылья, бросая на него мрачную тень, что я предпочел бы даже сидеть внизу, несмотря на вязанье и все прочее, чем идти спать. Я почти не спал. На следующий день снова начались вязанье и слежка, и так продолжалось до вечера.

Нельзя было улучить и десяти минут, чтобы поговорить с Агнес. Кое-как мне удалось только показать ей письмо. Я предложил ей прогуляться, но миссис Хип настойчиво повторяла, что чувствует себя плохо, и Агнес, из жалости, осталась дома, чтобы ее не покидать. Под вечер я вышел из дому один, размышляя о том, как следует поступить и вправе ли я дольше скрывать от Агнес то, что говорил мне в Лондоне Урия Хип; ибо это снова начало меня сильно тревожить.

Не успел я выйти из города на Рэмсгетскую дорогу, где можно было прекрасно прогуляться, как вдруг в сгущавшихся сумерках кто-то, шедший позади, окликнул меня. Показалась неуклюжая фигура в узком пальто, ошибиться было нельзя. Я остановился, и Урия Хип подошел ко мне.

— Что вам угодно? — спросил я.

— Как вы быстро ходите! — сказал он.— У меня ноги длинные, но вы им задали работу!

— Куда вы направляетесь? — осведомился я.

— Пойду с вами, мистер Копперфилд, если вы мне разрешите прогуляться со старым знакомым.

И он дернулся всем телом так, что это можно было истолковать не то как желание умилостивить меня, не то как насмешку; затем он зашагал рядом со мной.

— Урия! — помолчав, сказал я, стараясь говорить как можно вежливее.

— Да, мистер Копперфилд?

— Сказать вам правду — только прошу вас не обижаться,— я вышел погулять один, потому что слишком долго был на людях.

Он искоса взглянул на меня и спросил с отвратительной гримасой:

— Вы подразумеваете мою мать?

— Вот именно,— сказал я.

— А! Но ведь вам известно, мы люди маленькие и смиренные, и мы помним об этом и должны заботиться, чтобы нас не приперли к стене люди, не столь смиренные. В любви все хитрости хороши, сэр.

Обеими огромными руками он нежно погладил свой подбородок и издал короткий смешок. (Ни одно человеческое существо, мне кажется, не могло так походить на злого павиана.)

— Ведь вы, мистер Копперфилд,— продолжал он, выражая этим жестом одобрение своей осмотрительности и кивая головой в мою сторону,— весьма опасный соперник. И всегда им были, вы сами знаете.

— Так, значит, вы из-за меня устраиваете слежку за мисс Уикфилд и делаете ее жизнь в родном доме невыносимой? — спросил я.

— Что вы! Мистер Копперфилд! Какие жестокие слова! — воскликнул он.

— Можете выразить мою мысль любыми словами, какие вам нравятся. Но вы прекрасно понимаете, Урия, что я хочу сказать,— заявил я.

— О нет! Вы сами должны выразить свою мысль. Мне это не под силу. Нет, нет!

— Так вы думаете, что я смотрю на мисс Уикфилд не только как на любимую сестру? — спросил я, стараясь ради Агнес говорить как можно более сдержанно и спокойно.

— Прошу заметить, мистер Копперфилд, я не обязан

отвечать на этот вопрос. Может быть, да, а может быть, нет,— ответил он.

Никогда мне не приходилось видеть такой гнусной, хитрой физиономии и таких глаз, лишенных даже намека на ресницы.

— Продолжайте! — сказал я.— Ради мисс Уикфилд...

— О моя Агнес! — перебил он, отвратительно изогнув костлявую спину.— Будьте добры, мистер Копперфилд, называйте ее «Агнес»!

— Ради Агнес Уикфилд... да благословит ее бог...

— Благодарю вас, мистер Копперфилд, за это пожелание! —снова перебил он.

— Я скажу вам то, что при любых других обстоятельствах я не стал бы вам говорить... Как не стал бы говорить... Джеку Кетчу *.

— Кому, сэр? — переспросил Урия, вытянув шею и приставив руку к уху.

— Палачу! Человеку, о котором мне и в голову не пришло бы вспомнить,— пояснил я, а про себя подумал, что физиономия Урии не могла не вызвать в памяти это имя.— Я помолвлен с другой молодой леди. Надеюсь, этого вам будет достаточно.

— Вы клянетесь? — спросил Урия.

Я уже готов был, негодуя, это подтвердить, как вдруг он вцепился в мою руку и сильно ее сжал.

— О мистер Копперфилд! — воскликнул он.— Если бы вы удостоили меня своим доверием в тот вечер, когда я изливался перед вами от полноты сердца, а потом вас стеснил, улегшись спать у камина, о! в таком случае я никогда не сомневался бы в вас! Но раз это так, как вы говорите, я немедленно уберу мою мать и буду счастлив это сделать. Надеюсь, вы извините эти предосторожности, внушенные любовью? Какая жалость, мистер Копперфилд, что вы не удостоили меня своим доверием! Сколько раз вам представлялся удобный случай! Но вы никогда меня не удостаивали своим расположением, как мне бы того хотелось. Знаю, вы никогда меня не любили так, как я люблю вас!

Все это время он сжимал мне руку скользкими, холодными пальцами, а я прилагал все усилия, какие только можно было приложить, не нарушая приличий, к тому.

чтобы ее вырвать, но это мне не удалось. Он продел ее под рукав своего темно-красного пальто и крепко притиснул к боку, и я вынужден был идти с ним рядом.

— Пойдем домой? — спросил Урия, повернув меня назад, к городу, над которым уже сияла луна, серебря далекие окна.

— Прежде чем мы обратимся к другой теме, вы должны понять,— сказал я после длительного молчания,— что, на мой взгляд, Агнес Уикфилд настолько же выше вас и так же чужда всем вашим устремлениям, как вот эта луна.

— Она так всех умиротворяет! Не правда ли? О да! — воскликнул он.— Но сознайтесь, мистер Копперфилд, что вы не любили меня так, как я вас любил. Все время вы считали меня слишком смиренным и ничтожным, я не сомневаюсь.

— Я не люблю, когда слишком много говорят о своем смирении, да и вообще не люблю никаких излияний.

— О! Разве я этого не знал? — воскликнул Урия, лицо которого при свете луны казалось дряблым и серым.— Но как мало, мистер Копперфилд, вы осведомлены об истинном смирении человека, находящегося в моем положении! И мой отец и я учились в частной благотворительной школе для мальчиков, а мать в общественной, тоже благотворительной. С утра до вечера нас обучали смирению, и больше ничему! Мы должны быть смиренны и перед этой особой и перед той особой, здесь мы должны ломать шапки, там отвешивать поклоны и всегда обязаны знать свое место, и всегда унижаться перед высшими! А сколько этих «высших» у нас было! За свое смирение отец получил бляху старшины * в школе. И я также. За свое смирение отец получил место пономаря. Люди почтенные признали его человеком столь хорошего поведения, что решили оказать ему покровительство. «Будь смиренным, Урия,— учил меня отец,— и ты далеко пойдешь. Это всегда твердили и мне и тебе в школе, и так оно будет лучше. Будь смиренным, и ты добьешься своего». И в самом деле, вышло неплохо.

Тут я впервые узнал, что отвратительное, лицемерное, показное смирение было наследственным в семье Хипа. Я видел жатву, но никогда не думал о посеве.

— Когда я был совсем мальчишкой, я понял, чего можно добиться смирением, и с тех пор от смирения не отступал. Я ел мой кусок хлеба с аппетитом, но смиренно. Смиренно я покончил с учением и сказал себе: «Держись крепче». Вы предложили обучать меня латыни, но я лучше знал, что мне нужно. «Людям нравится быть выше тебя,— говаривал мой отец,— вот ты и пригибайся». Я и теперь, мистер Копперфилд, полон смирения, но все-таки какая-то власть у меня уже есть.

Говорил он все это,— я был уверен, ибо видел освещенное луной его лицо,— ради того, чтобы я знал о его решении вознаградить себя и воспользоваться своей властью. Я никогда не сомневался в его низости, хитрости и озлобленности, но тут впервые я понял, какой неумолимой, мстительной и подлой может стать натура человека, которую так долго, с самых ранних лет подавляли.

Этот рассказ был приятен мне хотя бы тем, что Урия отпустил мою руку, чтобы снова обеими руками погладить подбородок. Освободившись от него, я решил этим воспользоваться, и дальше мы шли рядом, но уже не под руку, и весь остальной путь до дому почти не разговаривали.

То ли мое сообщение оказало благотворное действие на его расположение духа, то ли ему доставили удовольствие размышления о прошлом,— не могу сказать, но, во всяком случае, расположение духа у него улучшилось. За обедом он говорил больше, чем обычно, спросил свою мать (которая была освобождена от своих обязанностей с того момента, как мы возвратились домой), не слишком ли он стар, чтобы оставаться холостяком, а однажды бросил такой взгляд на Агнес, что я готов был отдать все на свете за удовольствие сбить его с ног.

Когда мы, трое мужчин, остались одни после обеда, он еще больше осмелел. Вина он почти не пил, и эта смелость, мне кажется, вызвана была его торжеством и усугублялась искушением сделать меня свидетелем того, что происходит.

Накануне я заметил, что он старался подпоить мистера Уикфилда, и, уловив взгляд, брошенный на меня Агнес, когда она уходила, я ограничился одной-единствен-

ной рюмкой и предложил последовать за Агнес. И теперь я хотел поступить точно так же, но Урия меня опередил.

— Мы редко видим нашего гостя, сэр,— обратился он к мистеру Уикфилду, сидевшему — как это было непохоже на прежние времена! — в конце стола.— И я предлагаю выпить в его честь. Одну-две рюмки, если вы не возражаете. За ваше здоровье и счастье, мистер Копперфилд!

Я вынужден был сделать вид, будто пожимаю ему руку, которую он протянул через стол, а затем, совсем с другим чувством, пожал руку несчастного джентльмена, его компаньона.

— А теперь, мой компаньон,— продолжал Урия,— я беру на себя смелость... может быть, и вы предложите какой-нибудь тост, который доставит удовольствие Копперфилду?

Не буду останавливаться на том, как мистер Уикфилд предлагал выпить за мою бабушку, за мистера Дика, за Докторс-Коммонс и Урию, и как всякий раз он выпивал по две рюмки; не буду описывать, как он, сознавая свою слабость, безуспешно пытался с ней бороться, как он мучился от стыда за поведение Урии и вместе с тем хотел его ублажить, и как ликовал Урия, извиваясь и унижал его на моих глазах. Тяжело мне было это видеть, и моя рука отказывается об этом писать.

— А теперь, мой компаньон,— сказал, наконец, Урия,— и я хочу предложить еще один тост, но смиренно прошу налить рюмку до краев, потому что этот тост — за самое прелестное создание женского пола!

У отца Агнес рюмка была пуста. Он поставил ее на стол, взглянул на портрет, на который так была похожа Агнес, поднес ко лбу руку и откинулся на спинку кресла.

— Я человек слишком ничтожный и смиренный, чтобы пить за ее здоровье,— продолжал Урия,— но я преклоняюсь... я обожаю ее!

Если бы ее отец испытывал любую физическую боль, мне не было бы так страшно, как тогда, когда я увидел, какие душевные муки он терпит, сжимая обеими руками голову.

— Агнес,— воскликнул Урия, то ли не глядя на него, то ли не понимая его состояния,— Агнес Уикфилд, могу

смело сказать, прелестнейшая из женщин! Разрешите говорить откровенно среди друзей — быть ее отцом большая честь, но быть её мужем...

Избави меня бог когда-нибудь еще услышать такой вопль, какой издал отец, поднявшись из-за стола!

— В чем дело? — смертельно побледнев, произнес Урия.— Надеюсь, мистер Уикфилд, вы не сошли с ума? Да, я домогаюсь сделать вашу Агнес — своей Агнес, но на это у меня такие же права, как и у любого. Больше прав, чем у любого другого!

Я охватил руками мистера Уикфилда, я умолял его успокоиться, я заклинал его всем, что только мог придумать, и прежде всего его любовью к Агнес. Он обезумел. Рвал на себе волосы, бил себя по голове, отталкивал меня, старался освободиться, не говоря ни слова и ничего не видя; точно слепой, он устремился неведомо куда... Глаза его были выпучены, лицо искажено — страшное зрелище!

Бормоча что-то несвязное, но с необыкновенным жаром я умолял его опомниться и выслушать меня. Я молил его подумать об Агнес, об Агнес и обо мне, молил вспомнить, как мы росли вместе с Агнес и как я любил и уважал ее — радость его и гордость. Я всячески старался вызвать перед ним образ Агнес, даже упрекал в том, что он не щадит ее, так как она может узнать о происшедшей сцене.

Может быть, мои старания помогли в какой-то мере, а может быть, припадок его начал ослабевать сам собой, но постепенно он стал вырываться из моих рук все слабее и все чаще на меня поглядывал, сначала очень странно, а затем взор его стал более осмысленным. Наконец он произнес:

— Я это знаю, Тротвуд... Мое любимое дитя и вы... да, я знаю! Но посмотрите на него!

Он показал на Урию — бледный, застигнутый врасплох, тот с яростью сверкал глазами из какого-то угла, обманутый, очевидно, в своих расчетах.

— Посмотрите на моего мучителя! — продолжал мистер Уикфилд.— Из-за него я мало-помалу потерял свое имя и репутацию, мир и покой, дом и семейный очаг.

— Вернее, я сохранил вам ваше имя и репутацию, мир и покой,— быстро сказал Урия с видом хмурым и

смущенным, желая выйти из неловкого положения.— Оставьте эти глупости, мистер Уикфилд! Если я немного забежал вперед, а вы этого не ждали, что ж, я могу повернуть назад. Какой кому от этого вред?

— Я всегда знал — у каждого есть своя цель,— сказал мистер Уикфилд,— и я убедился, что его связывает со мною голый расчет. Но взгляните на него! О! Поглядите, что это за человек!

— Лучше остановите его, Копперфилд, если можете! — крикнул Урия, вытянув по направлению ко мне длинный указательный палец.— А не то — берегитесь! — он, пожалуй, скажет нечто такое, о чем потом пожалеет, да и вы пожалеете, что это слышали!

— Я расскажу все! — с отчаянием вскричал мистер Уикфилд.— Если я нахожусь в вашей власти, так почему же мне не быть во власти кого угодно!

— Говорю вам, берегитесь! — снова предостерег меня Урия.— Если вы не заткнете ему рот, вы ему не друг! Почему вам не быть во власти кого угодно, мистер Уикфилд? Потому, что у вас есть дочь. Ведь нам обоим коечто известно, не так ли? Не дразните собак! Что до меня — я их дразнить не буду. Разве вы не видите, что я человек смиренный, насколько это возможно? Повторяю, если я зашел слишком далеко, мне очень жаль. Чего вы еще хотите, сэр?

— О Тротвуд, Тротвуд! — ломая руки, вскричал мистер Уикфилд.— Как я опустился с той поры, когда впервые увидел вас в этом доме! Уже тогда я начал скользить вниз, но какой страшный, страшный путь я проделал с той поры! Слабость — вот что меня погубило! Слишком слаб я был, предаваясь воспоминаниям, и слишком слаб, стараясь забыться. Моя тоска по матери моего ребенка привела к болезни и к болезни привела любовь к ребенку. Я заражал все, к чему ни прикасался. Я принес несчастье той, кого я так любил! О! Вы-то это знаете! Я считал, что могу беззаветно любить только одно существо, и никого больше, я считал, что могу оплакивать только одно умершее существо и не плакать вместе с теми, кто когонибудь оплакивает, так же как и я. И опыт всей моей жизни обратился против меня! Я терзал свое малодушное сердце, а оно терзало меня. В своем горе я был

жалок, жалок был в любви, жалки были мои несчастные попытки бежать от тяжких испытаний любви и горя! И вот теперь я — развалина. О! Вы должны меня сторониться, вы должны меня ненавидеть!

Он упал в кресло и начал тихо всхлипывать. Возбуждение его угасало. Урия вышел из своего угла.

— Я знаю далеко не все из того, что̀ я делал в невменяемом состоянии,— сказал мистер Уикфилд и протянул ко мне руки, словно умолял не осуждать его.— Но он-то знает превосходно,— мистер Уикфилд имел в виду Урию Хипа,— так как всегда был около меня и нашептывал, что я должен делать. Это жернов на моей шее. Вы видите, он уже живет у меня в доме, вы видите, он мой компаньон... А только что вы его слышали. Ну, что мне еще остается сказать?

— Вы могли бы и этого не говорить, и было бы лучше, если бы вы вообще ничего не говорили,— заметил Урия вызывающе и вместе с тем вкрадчиво.— Вы не вели бы себя так, если бы не напились. Завтра вы одумаетесь, сэр. А если я и сказал слишком много или больше, чем хотел, что за беда? Я же на этом не настаивал!

Дверь открылась, и вошла Агнес; в лице ее не было ни кровинки, она обняла отца за шею и твердо сказала:

— Папа, вы нездоровы, идемте со мной.

Он прильнул головой к ее плечу, словно под гнетом нестерпимого стыда, и вышел с ней. Только на мгновение ее взгляд встретился с моим, но я понял — она знала, что̀ произошло.

— Я не ожидал, мистер Копперфилд, что он будет так буйствовать,— сказал Урия.— Но не беда! Завтра мы будем друзьями. Это только послужит ему на пользу. О его пользе я смиренно забочусь.

Я промолчал и поднялся наверх в ту тихую комнатку, где Агнес так часто сидела около меня, когда я корпел над книгами. До позднего вечера ко мне никто не приходил. Я взял какую-то книгу и пытался читать. Пробило полночь, я все еще читал, не зная и не понимая, что читаю, как вдруг Агнес тихо коснулась моего плеча:

— Рано утром вы уезжаете, Тротвуд. Попрощаемся.— Она недавно плакала, но теперь ее лицо было

так спокойно и так прекрасно! — Да благословит вас господь,— протягивая мне руку, сказала она.

— Дорогая Агнес, я вижу, вы не хотите говорить о сегодняшнем вечере. Но неужели ничего нельзя сделать?

— Надо уповать на бога,— ответила она.

— Может быть, я могу что-нибудь сделать? Ведь я-то прихожу к вам с моими горестями.

— И от этого мне легче выносить мои горести,— сказала она.— Нет, дорогой Тротвуд, вы ничем не поможете.

— Быть может, дорогая Агнес, это смелость с моей стороны советовать вам, потому что нет у меня вашей доброты, решительности, благородства, но вы знаете, как я вас люблю и чем обязан вам... Ведь вы не принесете себя в жертву ложно понятому чувству долга? Скажите, Агнес!

Никогда не видел я ее такой взволнованной. Она высвободила свою руку из моей и отступила на шаг.

— Дорогая Агнес! Скажите, что у вас нет таких мыслей. Вы для меня неизмеримо больше, чем сестра! Подумайте о том, что ваше сердце и такая любовь, как ваша,— бесценный дар!

О! Долго еще я видел потом это лицо и этот мимолетный взгляд, в котором не было ни удивления, ни упрека, ни сожаления! О! Долго еще я видел потом, как этот взгляд растворился в чудесной улыбке, когда она сказала, что не боится за себя и я не должен за нее бояться, и, назвав меня братом, ушла!

Было еще темно, когда у ворот гостиницы я занял место на крыше кареты. Перед самым отъездом стало рассветать, я сидел, думая об Агнес, как вдруг сбоку внезапно вырисовалась в предрассветной мгле голова Урии.

— Копперфилд! — хрипло прошептал он, уцепившись за железную скобу на крыше.— Прежде чем вы уедете, вам, должно быть, приятно будет узнать, что мы помирились. Я уже заходил к нему в комнату, и мы все уладили. Хоть я человек маленький, смиренный, но, ведь вы знаете, я ему полезен, а когда он не пьян, он блюдет свои интересы. А какой он, несмотря ни на что, приятный человек, мистер Копперфилд!

Я принудил себя выразить удовольствие, что Урия попросил прощения.

— Ну, это пустяки! Если ты человек маленький и смиренный, что стоит попросить прощения! Это так легко! Послушайте, вам когда-нибудь приходилось срывать незрелую грушу, мистер Копперфилд? — дергаясь, спросил он.

— Приходилось.

— Вот вчера вечером это сделал я,— продолжал он.— Но она созреет. Надо только подождать. Я умею ждать.

Расточая свои прощальные пожелания, он опустился наземь в тот момент, когда кучер уселся на козлы. Кажется, Урия что-то жевал, чтобы холодный утренний воздух не застудил ему горло. Но челюсти его двигались так, словно груша уже созрела, и он со смаком облизывал губы.

ГЛАВА XL
Странник

Мы вели в тот вечер на Бэкингем-стрит очень серьезный разговор о домашних событиях, подробно изложенных мною в последней главе. Бабушка была глубоко ими заинтересована и больше двух часов шагала, скрестив руки, взад и вперед по комнате. Когда случалось ей быть в сильном расстройстве чувств, она всегда совершала такое упражнение в ходьбе, а степень ее расстройства всегда можно было определить по длительности ее прогулки. На этот раз она была в таком волнении, что нашла нужным открыть дверь в спальню и дать себе больше простора, чтобы прохаживаться по обеим комнатам, и пока мы с мистером Диком тихо сидели у камина, она ровными шагами измеряла пространство по одной и той же линии, то появляясь, то исчезая, регулярно, как маятник.

Когда мистер Дик отправился к себе спать и мы с бабушкой остались одни, я сел писать письмо двум старым леди. Бабушка устала от ходьбы и присела у камина, подобрав, по обыкновению, подол платья. Но, вместо того чтобы, приняв обычную свою позу, поставить на колено стакан, она забыла его на каминной полке. Подперев правой рукой левый локоть, а левой рукой подбородок, она

задумчиво смотрела на меня. Когда я, отрываясь от письма, поднимал глаза, я неизменно встречал ее взгляд.

— Я в прекрасном расположении духа, дорогой мой,— успокаивала она меня, кивая головой,— но взволнована и опечалена!

Я был слишком занят своим делом и только позднее, когда она пошла спать, заметил, что ночная микстура, как называла она ее обычно, осталась нетронутой на камине. Я к ней постучался, чтобы сообщить об этом открытии, она подошла к двери и была со мной еще нежнее, чем всегда, но сказала: «Мне что-то не хочется пить сегодня, Трот»,— покачала головой и удалилась в спальню.

Утром она прочла и одобрила мое письмо двум старым леди. Я отнес его на почту, и теперь мне оставалось только вооружиться терпением и ждать ответа. Ждал я около недели и все еще пребывал в состоянии ожидания, когда однажды, в снежный вечер, выйдя из дома доктора, направился к себе домой.

Днем было очень холодно, дул резкий северо-восточный ветер. С наступлением сумерек он утих, и тогда повалил снег. Помню, он падал большими, тяжелыми хлопьями и ложился толстым ковром. Стук колес и шаги людей звучали приглушенно, словно улицы были густо усыпаны перьями.

Кратчайший путь до дому — а в такой вечер я, естественно, избрал кратчайший путь — был через Сент-Мартин-лейн. В те времена церковь, давшая название переулку, была стеснена домами, и не было перед ней свободного пространства, а переулок извивался по направлению к Стрэнду. Проходя мимо паперти, я увидел в углу лицо женщины. Она взглянула на меня, пересекла узкий переулок и скрылась. Я знал это лицо. Я его раньше видел. Где — не мог припомнить. С ним было связано какое-то воспоминание, пронзившее мне сердце. Но сейчас, когда оно появилось передо мной, я думал о другом и не мог сразу собраться с мыслями.

На ступенях паперти виднелась согбенная фигура человека, который, опустив на снег какую-то ношу, укладывал ее поудобнее. Женщину и его я увидел одновременно. Кажется, я не остановился; я продолжал идти, но он

выпрямился, повернулся и направился ко мне. Я очутился лицом к лицу с мистером Пегготи!

Тогда я вспомнил, кто эта женщина. Это была Марта, которой Эмили дала денег в тот вечер в кухне. Марта Энделл, рядом с которой он не хотел бы увидеть свою дорогую племянницу ни за какие сокровища, погребенные на дне моря, о чем поведал мне Хэм.

Мы горячо пожали друг другу руку. Сначала мы оба не могли выговорить ни слова.

— Мистер Дэви! — воскликнул он, крепко стискивая мою руку.— Легче стало у меня на сердце, когда я увидел вас. Счастливая встреча, счастливая встреча, сэр!

— Счастливая встреча, мой добрый старый друг! — подтвердил я.

— Подумывал я наведаться к вам сегодня вечерком, сэр,— продолжал он,— но я узнал, что теперь ваша бабушка живет с вами... Я ведь побывал в той стороне, на Ярмутской дороге... Вот я и побоялся, что уже слишком поздно. Я бы заглянул к вам завтра поутру, сэр, прежде чем отправиться в путь.

— Опять? — сказал я.

— Да, сэр,— ответил он, медленно покачивая головой.—Завтра я отправляюсь в путь.

— А куда вы сейчас идете? — спросил я.

— Да хотел зайти куда-нибудь переночевать,— отвечал он, стряхивая снег со своих длинных волос.

В те времена был боковой вход во двор «Золотого Креста» — гостиницы, столь памятной мне в связи с несчастьем, постигшим мистера Пегготи,— и стояли мы как раз против этого входа. Я указал ему на эти ворота, взял его под руку, и мы пересекли переулок. Две-три комнаты гостиницы выходили во двор; заглянув в одну из них и убедившись, что там никого нет, а в камине ярко пылает огонь, я повел его туда.

При свете я разглядел не только его длинные, взлохмаченные волосы, но и лицо, покрытое темным загаром. Он еще больше поседел, морщины на щеках и на лбу стали глубже, и видно было по всему, что он преодолел немало трудностей и странствовал и в вёдро и в непогоду; но он казался очень крепким и походил на человека, который настойчиво преследует свою цель и выдержит все

тяготы. Пока я молча занимался этими наблюдениями, он стряхивал снег со шляпы и одежды и отирал лицо. Усевшись напротив меня за стол, спиной к двери, в которую мы вошли, он снова протянул свою заскорузлую руку и крепко пожал мою.

— Я вам расскажу, мистер Дэви,— заговорил он,— где я побывал, расскажу и о том, что̀ мы узнали. Был я далеко, а узнали мы мало, но я вам расскажу.

Я позвонил, чтобы нам дали выпить чего-нибудь горячего. Он не пожелал пить ничего более крепкого, чем эль, а пока ходили за элем и подогревали его, он сидел в раздумье. Такая сила чувствовалась в его лице и таким оно было внушительным, что я не решался его тревожить.

— Когда она была маленькая,— начал он, подняв голову, как только мы остались одни,— она все, бывало, толковала со мной о море да о тех берегах, где море темно-синее и как оно сверкает на солнце. Иной раз я говорил себе: отец ее утонул, вот потому она и думает так часто о море. Не знаю, видите ли, может, она верила или надеялась, что̀ волны унесли его в те края, где всегда цветут цветы и небо всегда ясное.

— Возможно, что была у нее такая детская мечта,— отозвался я.

— Когда она... когда мы ее потеряли,— продолжал мистер Пегготи,— я, видите ли, думал, что *он* увезет ее в те края. Я предполагал, что он рассказывал ей всякие чудеса о них, говорил, что она сделается там настоящей леди, и таким образом заставил ее прислушиваться к его речам. Когда мы увидели его мать, я уже был уверен, что не ошибся. Я отплыл во Францию и высадился там, как будто с неба свалился.

Я увидел, как приоткрылась дверь и снежные хлопья залетели в комнату. Я увидел, как дверь приоткрылась еще больше и чья-то рука осторожно придерживает ее, чтобы она не захлопнулась.

— Я разыскал одного джентльмена, англичанина — он был там важная особа,— продолжал мистер Пегготи,— и рассказал ему, что иду искать свою племянницу. Он мне дал какие-то бумаги, они могли понадобиться мне в дороге,— хорошенько не знаю, как они называются,— ну, и хотел дать денег, но, по счастью, они мне были ни к

чему. Как же я благодарен ему за все, что он для меня сделал! «Я написал письма, и они дойдут скорей, чем вы,— сказал он мне,— и тем, кто поедет в ту сторону, я расскажу о вас, и пока вы странствуете здесь, многие живущие далеко отсюда уже будут вас знать». Я, как мог лучше, поблагодарил его и отправился в путь через Францию.

— Один и пешком? — спросил я.

— Все больше пешком,— ответил он.— Иной раз подсаживался на телегу к людям, ехавшим на базар... Бывало и так, что подвозили в пустой карете... По многу миль в день частенько с каким-нибудь бедным солдатом, шедшим навестить своих близких. Разговаривать друг с другом мы не могли,— пояснил мистер Пегготи,— а все-таки были добрыми товарищами, когда шагали вместе по пыльным дорогам.

Об этом я мог бы догадаться, прислушиваясь к его дружелюбному тону.

— Вот приду в какой-нибудь город, отыщу гостиницу и жду во дворе, покуда не подвернется кто-нибудь понимающий по-английски (почти всегда находился такой человек),— продолжал мистер Пегготи.— Тогда я им говорил, что иду искать мою племянницу... а они мне рассказывали, кто из людей побогаче остановился здесь, а я ждал и смотрел, не выйдет ли из дому кто-нибудь похожий на нее. Эмли не было — и я опять шел дальше. И вот стал я примечать, когда приходил в новую деревню, что люди уже знают обо мне. Они усаживали меня у дверей своих домиков и давали попить-поесть и говорили, где мне переночевать. И, вот что я вам скажу, мистер Дэви, немало женщин, у которых были дочки, примерно ровесницы Эмли, поджидали меня у креста нашего спасителя за околицей деревни, чтобы пригласить меня к себе. Были и такие, у которых дочки поумирали. И богу одному известно, как добры были ко мне эти матери!

Это Марта стояла у двери. Она прислушивалась к его словам, и я отчетливо видел ее осунувшееся лицо. Я боялся, как бы он не оглянулся и тоже не увидел ее.

— Часто сажали они мне на колени своих детей, все больше маленьких девочек...— сказал мистер Пегготи.— Много раз, бывало, могли бы вы увидеть, как я сижу в



сумерках с ними у двери, словно это детки моей любимой девочки. Ах, девочка моя!

В припадке отчаяния он громко всхлипнул. Я положил дрожащую руку на его руку, которою он заслонял лицо.

— Благодарю вас, сэр, не обращайте внимания,— сказал он.

Спустя немного он опустил руку, прижал ее к своей груди и продолжал рассказ:

— Они часто провожали меня утром, шли вместе со мной одну-две мили... А когда мы прощались и я говорил: «Благодарствуйте! Да благословит вас бог!» — они всегда как будто понимали меня и отвечали ласково. Наконец я пришел к морю. Сами понимаете, такому, как я, который плавал по морям, нетрудно было переправиться в Италию. Переправился я туда и снова начал скитаться, как и раньше. И народ такой же был добрый, и ходил бы я из города в город, может быть исходил бы всю страну, но тут дошел до меня слух, что ее видели где-то по ту сторону швейцарских гор. Один человек, знавший его слугу, видел их там, всех троих, и рассказал мне, как они путешествовали и где они теперь. И вот пошел я к этим горам, мистер Дэви, и шел день и ночь. Чем дольше я шел, тем дальше как будто отступали от меня эти горы. Но все-таки я добрался и перевалил через них. Когда я стал подходить к тому местечку, о котором мне говорили, я начал рассуждать сам с собой: «Что же я стану делать, когда увижу ее?»

Лицо той, которая прислушивалась к его словам, не чувствуя ночной стужи, по-прежнему виднелось в двери, а руки ее просили, молили меня не отгонять ее.

— Никогда я не терял в нее веры,— сказал мистер Пегготи.— Никогда! Ни на минуту! Пусть только увидела бы она мое лицо... услышала мой голос... увидела, как я стою перед ней,— и мысли ее обратились бы к родному дому, откуда она бежала, к дому, где прошло ее детство,— и, будь она леди королевской крови, все равно она упала бы к моим ногам! Уж я-то хорошо это знал! Много раз во сне я слышал ее крик: «Дядя!» — и видел, как она падает передо мной, словно мертвая. Много раз во сне я поднимал ее и шептал ей: «Эмли, родная моя, я пришел

издалека, чтобы принести тебе прощенье и увезти домой!»

Он умолк, покачал головой и продолжал со вздохом:

— Что до него — он был для меня ничто. Эмли — все. Я купил для нее крестьянское платье... Я знал: только бы найти ее — и она пойдет рядом со мной по каменистым дорогам, пойдет куда угодно и больше никогда, никогда меня не покинет... Надеть на нее это платье, выбросить то, которое она носила... она снова обопрется о мою руку, и я поведу ее домой... иной раз остановимся по дороге, чтобы отдохнули ее избитые ноги и сердце, еще более разбитое... вот все, о чем я тогда думал. И похоже на то, что ему я бы ничего не сделал, только посмотрел бы на него. Но... не суждено было этому сбыться, мистер Дэви,— *пока* не суждено! Я опоздал, и они уехали. Куда — я так и не узнал. Одни говорили — туда, другие — сюда. Я побывал и тут и там, но Эмли не нашел, и вот я вернулся домой.

— Давно ли? — спросил я.

— Всего несколько дней назад,— сказал мистер Пеготти.— Уже в сумерках я увидел старый баркас и свет в окошке. Подошел я поближе, посмотрел в окно: верная миссис Гаммидж сидит, одна-одинешенька, у очага, как мы с ней условились. Я крикнул: «Не пугайся! Это я, Дэниел!» — и вошел в дом. И как чудно́ мне там показалось — никогда бы я не подумал, что так мне будет чудно̀ в старом баркасе.

Из внутреннего кармана на груди он осторожно вынул маленький пакетик, в котором были два-три письма, и положил на стол.

— Вот это, первое,— сказал он, откладывая его в сторону,— пришло через неделю после моего отъезда. Банкнот в пятьдесят фунтов, завернутый в бумагу, на ней мое имя, ночью его подсунули под дверь. Она старалась изменить свой почерк, но разве мог бы я его не узнать!

Медленно и старательно он сложил листок бумаги точь-в-точь, как был он сложен раньше, и отодвинул в сторону.

— А это пришло на имя миссис Гаммидж месяца через два или три,— сказал он, развернув другую бумажку.

Несколько секунд он смотрел на нее, потом протянул мне и тихим голосом произнес:

— Будьте добры, прочтите, сэр.

Я стал читать:

«О, что̀ почувствуете вы, когда увидите этот почерк и узнаете мою грешную руку! Но постарайтесь, постарайтесь — не ради меня, ради доброты дяди,— постарайтесь, чтобы ваше сердце хотя бы на минутку смягчилось! Постарайтесь, прошу вас, пожалеть несчастную девушку и напишите на клочке бумаги, здоров ли он и что говорил обо мне, прежде чем вы перестали поминать между собой мое имя, и не кажется ли вам, что под вечер, в час, когда я, бывало, возвращалась домой, он как будто думает о той, которую так горячо любил. Ох, сердце у меня разрывается, когда я думаю об этом! Я стою перед вами на коленях, прошу и молю, чтобы вы не были ко мне так жестоки, как я того заслуживаю,— знаю, что заслуживаю! — но будьте доброй и милосердной, и напишите хоть что-нибудь о нем, и пришлите мне. Вам незачем называть меня Малюткой, незачем называть тем именем, которое я опозорила, но прислушайтесь к моим мольбам, сжальтесь надо мной и напишите хоть несколько слов о дяде, которого глаза мои никогда, никогда не увидят на этом свете!

Дорогая, если ваше сердце ожесточилось против меня,— я знаю, вы имеете право быть жестокой,— тогда спросите, дорогая, того, кому я больше всего принесла зла, того, чьей женой должна была я стать,— спросите его, прежде чем вы окончательно решитесь не отзываться на мою жалкую мольбу! Если хватит у него сострадания сказать, что вы можете ответить мне (я верю, сострадания у него хватит, о! я в это верю, ведь он всегда был такой хороший и великодушный!), скажите ему тогда, (но не раньше), что, прислушиваясь к ветру, дующему по ночам, я чувствую, как этот ветер с гневом проносится мимо него и моего дяди и мчится ввысь, к богу, чтобы свидетельствовать против меня. Скажите ему, что если завтра суждено мне умереть (а я так рада была бы умереть, будь я готова к смерти!), то до последнего моего

вздоха я буду благословлять его и моего дядю и молиться о счастье его домашнего очага!»

И в этом письме тоже были деньги. Пять фунтов. Они остались нетронутыми, как и те, полученные раньше, и мистер Пегготи также сложил их. К письму были приложены подробные указания, куда послать ответ, и хотя письмо прошло через много рук и трудно было определить с полной достоверностью место, где она скрывалась, тем не менее казалось весьма вероятным, что писала она оттуда, где, по дошедшим слухам, ее видели.

— Какой послали ей ответ? — осведомился я у мистера Пегготи.

— Миссис Гаммидж — женщина неученая, сэр,— ответил он,— и Хэм, по доброте своей, сочинил письмо, а она его списала. Они написали ей, что я пошел ее разыскивать, и передали мои прощальные слова.

— У вас здесь еще одно письмо? — спросил я.

— Это деньги, сэр,— сказал мистер Пегготи, развертывая сложенную бумажку.— Десять фунтов, как видите. А тут написано: «От верного друга»,— как и в первый раз. Но в первый раз деньги были подсунуты под дверь, а эти пришли третьего дня по почте. Я буду искать ее по почтовому штемпелю.

Он показал мне этот штемпель. Письмо было отправлено из города в верховьях Рейна. В Ярмуте он нашел каких-то иностранных купцов, знавших тот край, и они начертили ему что-то вроде карты, в которой он без труда мог разобраться. Он положил ее между нами на стол и, подперев одною рукой подбородок, другою намечал по ней свой путь.

Я спросил его, как поживает Хэм. Он покачал головой.

— Он работает не покладая рук. О нем по всей округе идет такая хорошая молва, что лучше уже и пожелать нельзя. Каждый готов прийти ему на помощь, да и он готов помочь всем. Никогда никто не слышал от него ни одной жалобы. Но моя сестра уверена (говоря между нами), что это его подкосило.

— Бедняга! В этом я не сомневаюсь!

— Он о себе вовсе не думает, мистер Дэви,— внушительным шепотом произнес мистер Пегготи,— как будто и о жизни своей не заботится. Когда в непогоду нужен

человек для тяжелой работы, он тут как тут. А если надо пойти на трудное дело, с опасностью для жизни, он впереди всех своих товарищей. И ласковый он, как ребенок. В Ярмуте все дети его знают.

Он задумчиво собрал письма, разгладил их рукой, вложил в пакетик и снова бережно спрятал у себя на груди. Лицо в дверях исчезло. Только снежинки залетали в комнату, а больше ничего не было видно.

— Ну, вот! — произнес он, посматривая на свой мешок.— Повидал я вас сегодня, мистер Дэви, и как же я этому рад!.. А завтра спозаранку опять в дорогу. Вы видели, что̀ у меня тут,— он прижал руку к груди, где хранился у него маленький пакет.— Одно только тревожит меня: а вдруг стрясется со мной какая-нибудь беда раньше, чем я возвращу деньги? Если я умру и они пропадут, или их украдут, или еще что случится, а он так ничего и не узнает и решит, что я их взял, ну, тут, думается мне, не задержусь я на том свете! Думается мне, я должен буду вернуться!

Он встал, поднялся и я. Перед тем как выйти, мы еще раз пожали друг другу руку.

— Я пройду хоть десять тысяч миль,— сказал он.— Я буду идти, покуда не упаду мертвым, лишь бы только положить перед ним эти деньги. Если я это сделаю и найду мою Эмли,— вот тогда я успокоюсь. А если я ее не найду, может быть она хотя бы услышит, что дядя, так ее любивший, не прекращал своих поисков, покуда не прекратилась его жизнь. И, если только я в ней не ошибаюсь, это заставит ее вернуться, наконец, домой!

Когда мы вышли и нас окутала студеная ночь, я увидел впереди поспешно удалявшуюся от нас одинокую фигуру. Под каким-то предлогом я заставил его повернуться ко мне и занимал разговором, пока та фигура не скрылась.

Он упомянул о пристанище для путников на Дуврской дороге, где, по его сведениям, можно получить чистую, недорогую комнату на ночь. Вместе мы прошли по Вестминстерскому мосту, и я расстался с ним на Саррийской стороне. И мне почудилось: когда он, одинокий, снова пустился в путь, все вокруг притихло из благоговения перед ним.

Я вернулся во двор гостиницы и со страхом стал озираться, не видно ли того лица, которое так глубоко врезалось в мою память. Нет, ее здесь не было. Наши следы уже замело снегом, виднелся только свежий мой след, а когда я, уходя, оглянулся, и его почти занесло — такой сильный был снегопад.

ГЛАВА XLI

Тетушки Доры

Наконец ответ двух старых леди пришел.

Они свидетельствовали мистеру Копперфилду свое уважение и сообщали, что тщательно обсудили его письмо «в интересах обеих сторон», каковое выражение вызвало у меня тревогу не только потому, что они к нему уже раз прибегли в ходе упомянутой выше семейной ссоры, но и потому, что, по моим наблюдениям (их подтверждает вся моя жизнь), такие общепринятые выражения похожи на фейерверк, первоначальный вид которого, перед тем как его пускаешь,— а пустить его ничего не стоит,— не дает никакой возможности судить о разнообразии форм и красок. Обе мисс Спенлоу прибавляли, что они намерены воздержаться от выражения «путем переписки» своих взглядов касательно затронутой мистером Копперфилдом темы, и имеют честь просить мистера Копперфилда пожаловать к ним в назначенный день (и в сопровождении, если он найдет нужным, какого-либо близкого друга), дабы они имели удовольствие поговорить с ним по указанному вопросу лично.

На это письмо мистер Копперфилд, заверяя в своем уважении, немедленно ответил, что будет иметь честь посетить обеих мисс Спенлоу в назначенный день, согласно их любезному разрешению, вместе со своим другом, мистером Томасом Трэдлсом из Иннер-Тэмпла. Отправив это письмо, мистер Копперфилд пришел в состояние сильного нервического возбуждения и пребывал в нем вплоть до назначенного дня.

В это критическое для меня время мое волнение, возможно, не усилилось бы до такой степени, если бы я мог

воспользоваться неоценимой помощью мисс Миллс. Но мистер Миллс, который всячески, тем или иным способом, мне досаждал — или мне казалось, что досаждал, а это одно и то же,— дошел в своих пакостях до предела: он вбил себе в голову, что должен ехать в Индию. Зачем ему было ехать в Индию, если не для того, чтобы доставить мне неприятность? Потому, дескать, что ему нечего делать в других частях света, а в этой стране у него дел по горло? Потому, мол, что он торговал с Индией, не знаю только чем (у меня были весьма смутные представления о каких-то шалях, затканных золотом, и о слоновых бивнях), и в юности своей был в Калькутте, а теперь решил туда вернуться в качестве компаньона какого-то резидента? Мне это было решительно безразлично. Однако для него это было так важно, что он собрался ехать в Индию и взять с собой Джулию. Джулия отправилась в провинцию попрощаться с родными, и на доме появились объявления, извещающие, что он сдается внаем или продается и что обстановка (каток для белья и все прочее) тоже продается по сходной цене. Значит, и здесь произошло землетрясение, жертвой которого явился я, не успев еще опомниться от первого!

В знаменательный день я долго не мог выбрать костюм. Я разрывался между желанием появиться во всей красе и боязнью, что какая-нибудь часть моего туалета не будет соответствовать, по мнению обеих мисс Спенлоу, моему весьма деловому характеру, а потому старался найти золотую середину между этими двумя крайностями. Бабушка одобрила результат этих стараний, а мистер Дик бросил нам вслед одну из своих туфель на счастье, когда мы с Трэдлсом спускались вниз по лестнице.

Чудесный малый был Трэдлс, и я его очень любил, но все же пожалел о том, что и по такому деликатному поводу он не мог отделаться от привычки причесывать волосы так, что они стояли дыбом. Это придавало ему удивленный вид — не будем говорить о сходстве с помелом,— и дурные предчувствия нашептывали мне, что это обстоятельство может оказаться для нас роковым.

По дороге в Патни я позволил себе намекнуть на это Трэдлсу, заметив, что если бы он пригладил их немного...

— С большим удовольствием, дорогой мой Коппер-

филд! — сказал Трэдлс, снимая шляпу и всячески стараясь привести в порядок свои волосы.— Но это никак невозможно.

— Не приглаживаются?

— Да. Ничего нельзя поделать. Если бы до самого Патни я тащил на голове полсотни фунтов груза, они все равно поднимутся, как только я сниму груз. Вы понятия не имеете, Копперфилд, какие у меня упрямые волосы. Я прямо-таки злющий дикобраз.

Должен сознаться, я был немного обескуражен, но вместе с тем восхитился его добродушием. И сказал ему, что очень уважаю его за добрый нрав, а волосы, должно быть, вобрали в себя все его упрямство, ибо в нем самом упрямства нет и в помине.

— Ох! — засмеялся Трэдлс.— С этими несчастными волосами старая история! Жена моего дяди их не выносила. Она говорила, что они ее раздражают. И они мне очень повредили, когда я влюбился в Софи. Очень повредили!

— Они ей не понравились?

— О нет, не ей! Но ее старшая сестра, та, которая красавица, очень ими забавлялась. Короче говоря, все сестры над ними смеялись.

— Как мило!

— О да! — согласился Трэдлс с очаровательной наивностью.— Это всех нас потешало. Они утверждали, что Софи хранит у себя в столе прядь моих волос, но должна держать их в книге с застежками, чтобы они не встали дыбом. Как мы над этим смеялись!

— Кстати, дорогой Трэдлс, ваш опыт может мне пригодиться,— сказал я.— Когда вы обручились с упомянутой вами молодой леди, вы делали официальное предложение ее семейству? Было ли что-нибудь похожее... похожее на то, для чего мы сейчас идем в Патни? — спросил я взволнованно.

— Видите ли, Копперфилд, это доставило мне немало мучений,— ответил Трэдлс, и на его серьезное лицо надвинулась тень раздумья.— Софи необходима своему семейству, и никто из них не мог допустить мысли о ее браке. Между собой они порешили, что она никогда не выйдет замуж, и называли ее старой девой. Поэтому,

когда я с большими предосторожностями упомянул об этом миссис Крулер...

— Это ее мама? — спросил я.

— Мама,— сказал Трэдлс.— Ее отец — его преподобие Хорес Крулер... Так вот, когда я с большими предосторожностями упомянул об этом миссис Крулер, это так на нее повлияло, что она завопила и лишилась чувств. В течение нескольких месяцев я не мог касаться этого вопроса.

— Но в конце концов коснулись?

— Это сделал его преподобие Хорес,— сказал Трэдлс.— Превосходный человек, замечательный во всех отношениях! Он указал ей, что, как подобает христианке, она должна примириться с жертвой (в особенности когда все это еще так неопределенно) и не питать ко мне чувств, несовместимых с любовью к ближнему. Что касается до меня, Копперфилд, даю вам слово, у меня было такое чувство, будто я, как хищная птица, кружусь над этим семейством.

— А как сестры, Трэдлс? Надеюсь, они были на вашей стороне?

— Я бы этого не сказал,— отвечал он.— Когда мы до некоторой степени умиротворили миссис Крулер, нужно было сообщить Саре. Вы помните, Сара это та самая, у которой неладно с позвоночником?

— Прекрасно помню.

— Она заломила руки,— продолжал Трэдлс с огорченным видом,— закрыла глаза, покрылась смертельной бледностью, совсем оцепенела и два дня не принимала никакой пищи, кроме воды с размоченными сухарями, которую давали ей с чайной ложечки.

— Какая неприятная девица, Трэдлс! — заметил я.

— О! Прошу прощения, Копперфилд! — воскликнул Трэдлс.— Она прелестная девушка, только очень чувствительная. Правду сказать, они все такие. Софи говорила мне потом, что невозможно описать, как она себя упрекала, когда ухаживала за Сарой. Я по себе это знаю, Копперфилд, потому что я сам чувствовал себя преступником. А когда Сара пришла в себя, мы должны были объявить остальным восьми сестрам. И на каждую сестру это сообщение действовало по-разному, но самым

трогательным образом. Две младшие, которых Софи обучает, только недавно перестали питать ко мне злобу.

— Во всяком случае, теперь они все успокоились? — осведомился я.

— По...пожалуй... я бы сказал, что, в общем, они примирились,— неуверенно ответил Трэдлс.— Дело в том, что мы стараемся не касаться этого вопроса, а мои неясные виды на будущее и стесненные обстоятельства очень их утешают. Какая это будет печальная картина, если мы когда-нибудь поженимся! Больше будет похоже на похороны, чем на свадьбу. И все они меня возненавидят за то, что я ее похитил.

Его славное лицо и то выражение, с каким он серьезно и в то же время комически покачал головой, производят на меня большее впечатление теперь, когда я об этом вспоминаю, чем произвели в тот момент; ибо тогда мои мысли были в таком разброде и я так трепетал от волнения, что совершенно не мог на чем бы то ни было сосредоточиться. Когда же мы стали приближаться к дому, где жили обе мисс Спенлоу, мой вид и присутствие духа оставляли желать столь многого, что Трэдлс предложил подкрепиться для бодрости каким-нибудь легким возбуждающим напитком, например кружкой эля. Он повел меня в ближайший трактир, а затем мы направились не очень твердыми шагами к дому обеих мисс Спенлоу.

Когда служанка открыла дверь — у меня возникло смутное чувство, будто меня выставили напоказ; затем, как будто в тумане, я прошел, пошатываясь, через холл, где висел барометр, и оказался в маленькой уютной гостиной в первом этаже, откуда был виден чистенький садик. Столь же смутно мне чудилось, что я сижу на софе и вижу Трэдлса без шляпы, а волосы у него торчат, и он похож на одну из этих назойливых фигурок на пружине, которые выскакивают из игрушечной табакерки, когда поднимаешь крышку. Чудилось, что слышу тиканье старомодных часов, стоявших на камине, и пытаюсь приноровить к нему биение своего сердца, но тщетно! Чудилось, что озираюсь вокруг и ищу хоть что-нибудь, связанное с Дорой, но не нахожу ровно ничего. Чудилось, что я слышу где-то далеко тявканье Джипа, но его тут же заставили замолчать. В конце концов я едва не столкнул в

камин Трэдлса, когда, пятясь, отвешивал в страшном смущении поклон двум маленьким, сухоньким, пожилым леди, одетым в черное и похожим на покойного мистера Спенлоу, высушенного или обструганного.

— Прошу вас присесть,— сказала одна из этих леди.

После того как я попытался повалиться на Трэдлса и уселся уже не на кошку,— на нее я сел сначала,— я достаточно овладел своими чувствами, чтобы прийти к заключению, что мистер Спенлоу, очевидно, был младшим в семье, что между сестрами была разница лет в шесть— восемь и что совещанием руководила младшая из сестер, поскольку у нее в руках находилось мое письмо — такое знакомое, а вместе с тем казавшееся таким странным,— письмо, на которое она поглядывала в лорнет. Они были одеты одинаково, но эта сестра казалась моложе — быть может, какой-нибудь пустяк, вроде кружевного воротничка, косынки на шее, брошки или браслета, придавал ей вид более оживленный. Обе они сидели совершенно прямо, держались чинно, чопорно, степенно и спокойно. Та сестра, у которой не было моего письма, скрестила на груди руки и застыла, словно идол.

— Если не ошибаюсь, мистер Копперфилд? — осведомилась сестра, державшая мое письмо, обращаясь к Трэдлсу.

Начало было ужасающее. Трэдлс должен был указать, что мистер Копперфилд — это я, я — заявить о своих правах на это имя, а они — отказаться от предвзятого мнения, будто Трэдлс является мистером Копперфилдом. Нечего сказать, приятное положение!

В довершение всего мы отчетливо услышали, как Джип дважды тявкнул и снова его заставили замолчать.

— Мистер Копперфилд! — произнесла сестра, державшая письмо.

Я что-то сделал — кажется, поклонился — и весь превратился в слух, как вдруг вмешалась другая сестра.

— Моя сестра Лавиния,— сказала она,— более знакомая с делами такого рода, сообщит вам, как мы намерены поступить в интересах обеих сторон.

Впоследствии я узнал, что мисс Лавиния почиталась авторитетом в сердечных делах, ибо в прошлом существовал некий мистер Пиджер, который питал пристрастие к

висту и считался в нее влюбленным. Лично я думаю, что это утверждение является совершенно бездоказательным и в подобных чувствах Пиджер был решительно неповинен; во всяком случае, я никогда не слыхал, чтобы он хоть как-то о них заявлял. Но обе сестры — мисс Лавиния и мисс Кларисса — непоколебимо верили, что он непременно объяснился бы в своей безумной любви, если бы в юности (когда ему было под шестьдесят) не подорвал свой организм злоупотреблением спиртными напитками, а затем водами Бата, которыми, пытаясь исправить дело, он наливался весьма неумеренно. У сестер даже мелькало подозрение, что он и умер от тайной любви, но, должен сказать, на портрете, хранившемся у них, он изображен с таким багровым носом, что, по-видимому, эта тайная любовь была тут совершенно ни при чем.

— Не будем касаться прошлого. Кончина нашего бедного брата Фрэнсиса изгладила прошлое из памяти,— сказала мисс Лавиния.

— С нашим братом Фрэнсисом мы не поддерживали постоянных отношений,— сказала мисс Кларисса,— но несогласий или ссоры между нами не было. Фрэнсис шел своей дорогой, а мы — своей. Мы решили, что так будет лучше в интересах обеих сторон. Так оно и было.

Обе сестры, когда говорили, чуть-чуть наклонялись вперед, а умолкнув, встряхивали головой и снова выпрямлялись, вытягиваясь в струнку. Мисс Кларисса не разнимала сложенных на груди рук. По временам она начинала выстукивать пальцами какой-нибудь мотив — менуэт или марш, мне кажется,— но рук не разнимала.

— После смерти нашего брата Фрэнсиса положение нашей племянницы,— вернее, предполагаемое в будущем положение,— изменилось, и потому мы считаем взгляды нашего брата на ее положение точно так же изменившимися,— сказала мисс Лавиния.— У нас нет оснований сомневаться, мистер Копперфилд, в том, что вы достойный молодой джентльмен и обладаете прекрасными качествами, а также и в том, что вы питаете склонность к нашей племяннице или по крайней мере убеждены, будто ее питаете.

Как бывало всегда, когда мне представлялся подходящий случай, я заявил, что никто никого так не любил, как

я люблю Дору. Трэдлс поддержал меня, что-то пробормотав.

Мисс Лавиния только-только собралась привести какие-то возражения, как ее опередила мисс Кларисса, одержимая, по-видимому, желанием непрерывно поминать своего брата Фрэнсиса.

— Если бы мама Доры,— сказала она,— выходя замуж за нашего брата Фрэнсиса, сразу сказала, что для его семейства нет места за обеденным столом, так было бы лучше в интересах обеих сторон.

— Может быть, теперь, сестра Кларисса, об этом не стоит говорить? — вставила мисс Лавиния.

— Это имеет отношение к нашему разговору, сестра Лавиния,— сказала мисс Кларисса.— Я не позволю себе вмешиваться в ту область, в которой только ты одна компетентна. Но что касается другой стороны вопроса, то тут я имею право голоса и у меня есть свое собственное мнение. Было бы лучше в интересах обеих сторон, если бы мама Доры, выходя замуж за нашего брата Фрэнсиса, ясно заявила, каковы ее намерения. Тогда мы бы знали, чего нам ждать. Тогда мы сказали бы: «Пожалуйста, не приглашайте нас вовсе»,— и можно было бы избежать всяких недоразумений.

Когда мисс Кларисса тряхнула головой, мисс Лавиния снова поглядела в лорнет на мое письмо и взяла слово. У обеих сестер, кстати сказать, глаза были маленькие, блестящие, круглые, как у птиц. И сами они были похожи на птиц: движения их были порывистые, быстрые, резкие, и прихорашивались они совсем как канарейки.

Мисс Лавиния, как я уже сказал, взяла слово:

— Вы просили у моей сестры Клариссы и у меня, мистер Копперфилд, разрешения бывать здесь в качестве искателя руки нашей племянницы, получившего на то ее согласие.

— Допустим, наш брат Фрэнсис,— снова ворвалась в разговор мисс Кларисса (если мне позволено будет так назвать ее мирное вмешательство),— хотел себя окружить атмосферой Докторс-Коммонс и только Докторс-Коммонс. Разве мы имели право или было у нас желание возражать? Конечно, нет! Мы никогда не хотели быть навязчивыми. Но почему этого не сказать прямо? Пусть у нашего

брата Фрэнсиса с его женой будет свое общество, а у меня с сестрой Лавинией — свое. Смею надеяться, мы могли бы его найти!

Поскольку эти слова обращены были к Трэдлсу и ко мне, мы оба что-то ответили. Ответа Трэдлса расслышать было нельзя, а я сказал, что это делает всем большую честь. Понятия не имею, что̀ я хотел этим сказать.

— Ты можешь продолжать, сестра Лавиния,— облегчив сердце, сказала мисс Кларисса.

Мисс Лавиния продолжала:

— Мистер Копперфилд, моя сестра Кларисса и я тщательно обдумали ваше письмо, показали его нашей племяннице и обсудили вместе с ней. Мы не сомневаемся в том, что вам кажется, будто вы ее любите.

— Кажется, сударыня!..— начал я с упоением.— О!..

Но мисс Кларисса метнула на меня взгляд (совсем как юркая канарейка), напоминающий, что оратора прерывать нельзя, и я попросил прощения.

— Любовь,— сказала мисс Лавиния, поглядывая на сестру и ища взглядом подтверждения, которое та выражала кивком после каждой фразы,— солидная любовь, уважение, преданность заявляют о себе не так громко. Голос любви тих. Любовь скромна и застенчива, она прячется, она ждет и ждет. Так зреет плод. Бывает, жизнь проходит, а она все еще созревает в тени.

Разумеется, тогда я не понимал, что это был намек на ее воображаемую историю со страдальцем Пиджером. Но, видя, как многозначительно кивает головой мисс Кларисса, я понял, что эти слова полны глубокого смысла.

— Легкие увлечения молодежи,— я называю их «легкими» по сравнению с таким чувством,— все равно что песок в сравнении со скалой,— продолжала мисс Лавиния.— Так трудно предугадать, будут ли они длительны, и есть ли у них прочное основание, что моя сестра Кларисса и я долго колебались, как нам поступить, мистер Копперфилд и мистер...

— Трэдлс,— подсказал мой друг, увидев, что взгляд устремлен на него.

— Прошу прощения. Кажется, из Иннер-Тэмпла? — осведомилась мисс Лавиния, снова взглянув на мое письмо.

Трэдлс сказал: «Совершенно верно»,— и ужасно покраснел.

Хотя у меня не было никаких определенных оснований чувствовать себя более уверенно, мне показалось, что обе сестры, в особенности мисс Лавиния, весьма рады новому и многообещающему домашнему развлечению, стараются извлечь из него все, что можно, и намерены нежно его лелеять, а это меня очень обнадежило. Я решил, что мисс Лавиния получила бы великое удовольствие, если бы могла надзирать за двумя юными влюбленными вроде Доры и меня, а мисс Кларисса была бы не менее довольна, наблюдая, как она надзирает за нами, и проявляя — всякий раз как у нее возникнет такая потребность — особый интерес к той стороне вопроса, которая так ее занимала. Тогда я осмелился со всем пылом заявить, что люблю Дору больше, чем могу выразить словами, и больше, чем можно вообразить, что все мои друзья знают, как я ее люблю, что моя бабушка, Агнес, Трэдлс и все мои знакомые знают, как я ее люблю и каким я стал серьезным благодаря этой любви. В качестве свидетеля я привлек Трэдлса. А Трэдлс, распалившись так, будто его призвали окунуться в парламентские прения, великолепно выполнил задачу — подтвердил мои слова искренне, просто, весьма чувствительно и разумно, что и произвело благоприятное впечатление.

— Я бы взял на себя смелость утверждать, что у меня есть опыт в подобного рода делах,— заявил Трэдлс,— ибо я сам обручен с молодой леди,— она, знаете ли, живет в Девоншире, их там десять сестер,— но в настоящее время не могу с точностью сказать, когда мы поженимся.

— Значит, вы, мистер Трэдлс, можете подтвердить мое мнение, что любовь застенчива и скромна и что она ждет и ждет?..— осведомилась мисс Лавиния, которая явно заинтересовалась Трэдлсом.

— О да, сударыня! — подтвердил Трэдлс.

Мисс Кларисса взглянула на мисс Лавинию и многозначительно кивнула. Мисс Лавиния выразительно взглянула на мисс Клариссу и слегка вздохнула.

— Сестра Лавиния, возьми мой флакон,— сказала мисс Кларисса.

Мисс Лавиния нюхнула ароматического уксуса и привела себя в чувство, а мы с Трэдлсом соболезнующе следили за этим; потом она продолжала, но более слабым голосом:

— Мы с сестрой долго колебались, мистер Трэдлс, как нам отнестись к склонности, быть может и воображаемой, таких молодых людей, как ваш друг, мистер Копперфилд, и наша племянница.

— Дочь нашего брата Фрэнсиса,— пояснила мисс Кларисса.— Если бы жена нашего брата Фрэнсиса, при жизни своей, сочла возможным (хотя она, конечно, имела полное право поступать, как ей вздумается) пригласить наше семейство к обеду, мы в настоящее время знали бы лучше дочь нашего брата Фрэнсиса. Продолжай, сестра Лавиния!

Мисс Лавиния взглянула на оборотную сторону моего письма, где значилось ее имя и адрес, и затем с помощью лорнета прочла там какие-то свои пометки, сделанные весьма аккуратным почерком.

— Нам кажется благоразумным, мистер Трэдлс, самим проверить эти чувства. В настоящее время мы ничего о них не знаем и не можем судить, каковы они на самом деле. Поэтому мы склонны согласиться на предложение мистера Копперфилда и разрешить ему приходить сюда.

— Я никогда не забуду, дорогие леди, вашей доброты! — воскликнул я, почувствовав, что у меня гора свалилась с плеч.

— Но,— продолжала мисс Лавиния,— но мы бы считали нужным, мистер Трэдлс, присутствовать при этих свиданиях, которые в настоящее время должны происходить у нас,— продолжала мисс Лавиния.— Мы не можем дать согласие на помолвку мистера Копперфилда и нашей племянницы, пока мы не получим возможности...

— Пока *ты* не получишь возможности, сестра Лавиния,— вставила мисс Кларисса.

— Пусть будет так,— вздохнув, согласилась мисс Лавиния.— Пока я не получу возможности понаблюдать за ними.

— Мне кажется, Копперфилд, ничего более разумного и деликатного придумать нельзя,— сказал Трэдлс.

— О да! — вскричал я.— Я не знаю, как благодарить!

— В таком случае,— продолжала мисс Лавиния, снова взглянув на свои пометки,— разрешая мистеру Копперфилду посещать нас на этих — и только на этих — условиях, мы просили бы его дать нам честное слово, что без нашего ведома он не будет никаким другим способом сноситься с нашей племянницей. А также, что он не будет ничего предпринимать в отношении нашей племянницы, прежде чем не познакомит со своими намерениями нас и...

— Тебя, сестра Лавиния,— вставила мисс Кларисса.

— Пусть будет так, Кларисса,— промолвила мисс Лавиния тоном, в котором слышалась покорность,— меня... и пока не получит нашего согласия. Мы считаем этот пункт обязательным, и он ни в каком случае не должен быть нарушен. Во избежание каких бы то ни было кривотолков мы хотели, чтобы сегодня мистера Копперфилда сопровождал его близкий друг,— тут она кивнула в сторону Трэдлса, который отвесил поклон.— Если мистер Копперфилд или вы, мистер Трэдлс, хотя бы чуть-чуть колеблетесь дать это обещание, я прошу вас предварительно подумать.

В неудержимом восторге я вскричал, что в этом нет никакой необходимости. Сильно волнуясь, я дал требуемое обещание, попросил Трэдлса быть свидетелем и заявил, что буду самым последним злодеем, если его нарушу.

— Погодите! — сказала мисс Лавиния, поднимая руку.— Прежде чем вас принять, джентльмены, мы решили оставить вас одних на четверть часа, чтобы вы обсудили этот вопрос. Позвольте нам удалиться.

Напрасны были мои уверения, что обсуждать его нет никакой нужды. Они настаивали на том, что им следует удалиться на указанный срок. И эти две птички с большим достоинством выпорхнули из комнаты, а я остался, выслушал поздравления Трэдлса и чувствовал себя вознесенным на вершину несказанного счастья. Ровно через четверть часа они появились с таким же достоинством, с каким прежде исчезли из виду. Когда они уходили, их платья шелестели, как осенние листья, и так же шелестели их платья, когда они возвращались.

Еще раз я обещал соблюдать предписанные мне условия.

— Остальное касается тебя, сестра Кларисса,— сказала мисс Лавиния.

Впервые разняв сложенные на груди руки, мисс Кларисса взяла письмо с пометками и взглянула на них.

— Мы будем рады видеть мистера Копперфилда за нашим обеденным столом каждое воскресенье, если это ему удобно. Обедаем мы в три часа,— сказала мисс Кларисса.

Я отвесил поклон.

— В будни мы будем рады видеть мистера Копперфилда за нашим чайным столом. Мы пьем чай в половине седьмого,— сказала мисс Кларисса.

Я снова отвесил поклон.

— Два раза в неделю, но, как правило, не чаще,— продолжала мисс Кларисса.

Я снова отвесил поклон.

— Может быть, мисс Тротвуд, упоминаемая мистером Копперфилдом в письме, пожалует к нам. Если это знакомство будет в интересах обеих сторон, мы рады принимать ее и отдавать ей визиты. Но если в интересах обеих сторон будет лучше воздержаться от визитов (как это произошло у нас с нашим братом Фрэнсисом и его семьей), тогда дело другое!

Я заявил, что бабушка сочтет за честь познакомиться с ними, хотя в душе и не был вполне уверен, поладят ли они между собой. Итак, соглашение было заключено, я выразил им свою горячую признательность и поднес к губам сначала руку мисс Клариссы, затем мисс Лавинии.

Мисс Лавиния встала и, попросив извинения у мистера Трэдлса за то, что мы покидаем его на минуту, предложила мне следовать за ней. Я с трепетом повиновался и очутился в другой комнате. Там находилась моя обожаемая Дора — она стояла за дверью, заткнув уши и уткнувшись личиком в стенку, и тут же был Джип с укутанной полотенцем головой, засунутый в жаровню для согревания тарелок.

О! Как она была прекрасна в траурном платье и как она сначала плакала и рыдала и ни за что не хотела выходить из-за двери! И как мы были счастливы, когда,

наконец, она решилась оттуда выйти! И в какое блаженство я погрузился, когда мы вытащили расчихавшегося Джипа из жаровни на белый свет и очутились вместе, все втроем.

— Моя любимая Дора! Теперь навеки моя!

— О, не надо! Пожалуйста, не надо! — умоляла Дора.

— Как? Неужели, Дора, вы не моя навеки?

— О, конечно, конечно! — воскликнула Дора.— Но я так боюсь!

— Боитесь, моя любимая?

— О да! Мне он не нравится,— сказала Дора.— Почему он не уходит?

— Кто, жизнь моя?

— Ваш друг,— сказала Дора.— Это не его дело. Какой он, должно быть, глупый!

— Радость моя! (Ее детскую пленительность ни с чем нельзя было сравнить.) Он превосходнейший человек!

— О! Нам не нужно никакого превосходнейшего человека,— надула губки Дора.

— Вы скоро его узнаете, дорогая, и он вам понравится больше всех. А потом приедет моя бабушка, и когда вы ее узнаете, вы тоже полюбите ее больше всех.

— Пожалуйста, не привозите ее! — с ужасом сказала Дора, подарила мне поцелуй и умоляюще сложила ручки.— Не надо. Я знаю, она противная, зловредная старуха! Не пускайте ее сюда, Доди! (Так переделала она мое имя Дэвид.)

Возражать было бесполезно; я засмеялся, восхищаясь ею и пребывая на седьмом небе от любви и счастья, а она показала мне новый фокус Джипа, который научился стоять в углу на задних лапках — правда, стоял он не больше мгновения, а затем падал. Не знаю, сколько времени я бы с нею провел, совсем забыв о Трэдлсе, если бы за мной не пришла мисс Лавиния. Мисс Лавиния очень полюбила Дору (она мне сказала, что Дора точная ее копия,— вот такой она была в дни юности; как же она с тех пор изменилась!) и обращалась с Дорой как с игрушкой. Я тщетно убеждал Дору пойти взглянуть на Трэдлса; в ответ на мое предложение она убежала к себе в комнату и там заперлась. Так я и отправился к Трэдлсу без нее, а затем мы вместе покинули дом.

— Все идет прекрасно,— сказал Трэдлс.— Эти пожилые леди очень приятны. Я не удивлюсь, если вы женитесь на много лет раньше, чем я, Копперфилд.

— Ваша Софи играет на каком-нибудь инструменте? — возгордившись, спросил я.

— Она играет на фортепьяно так, что может обучать младших сестер,— ответил Трэдлс.

— А она поет? — осведомился я.

— Иногда поет песенки, чтобы развлечь других, когда они в плохом расположении духа. Но всерьез не занимается пением,— сказал Трэдлс.

— И под гитару не поет?

— О нет! — сказал Трэдлс.

— А она рисует?

— Нет, совсем не умеет,— ответил Трэдлс.

Я обещал Трэдлсу, что он услышит, как поет Дора, и увидит нарисованные ею цветы. Он заявил, что мечтает об этом, и мы вернулись рука об руку домой в чудесном расположении духа. По дороге я поддерживал с ним разговор о Софи, и в его словах звучала такая вера в нее, что я пришел в восхищение. Мысленно я сравнивал ее с Дорой и при этом испытывал глубокое удовольствие, но все же признался себе, что, по-видимому, и Трэдлс сделал прекрасный выбор.

Конечно, я немедленно сообщил бабушке об успешном завершении переговоров, а также обо всем, что говорилось и происходило в ходе нашего совещания. Она была счастлива, видя, как счастлив я, и обещала, не откладывая, нанести визит тетушкам Доры. Но пока я писал в тот вечер письмо Агнес, она так долго ходила взад и вперед по комнатам, что я стал подумывать, не собирается ли она гулять до самого утра.

Мое письмо Агнес было полно пылких излияний и выражений благодарности, и я рассказал о прекрасных результатах, которых добился, следуя ее советам. Она ответила мне с обратной почтой. Письмо было обнадеживающим, серьезным, бодрым. С той поры бодрость никогда ей не изменяла.

Теперь я был занят больше чем когда-нибудь. Хотя от Хайгета, куда мне приходилось путешествовать ежедневно, до Патни было очень далеко, но, конечно, мне

хотелось бывать там как можно чаще. Так как приглашения на чай были на деле совершенно неосуществимы, я добился у мисс Лавинии позволения приходить днем по субботам, но не в ущерб моей воскресной привилегии. Таким образом, конец недели был для меня благодатным, все остальные дни я только и делал, что его ждал.

Я почувствовал большое облегчение, когда оказалось, что бабушка поладила с тетушками Доры лучше, чем я ожидал. Через несколько дней после совещания бабушка, как обещала, посетила их, после чего, еще через несколько дней, тетушки отдали ей визит с должными церемониями. Затем обмен визитами продолжался каждые три-четыре недели, но уже не с такими церемониями. Правда, мне было известно, что бабушка очень смущала тетушек Доры, пренебрегая достойным обычаем пользоваться каким-нибудь экипажем и отправляясь в Патни пешком в самое неожиданное время — то сейчас же после утреннего завтрака, то как раз перед чаем; к тому же их смущала ее манера носить шляпку так, чтобы голове было удобно, нисколько не считаясь с предрассудками цивилизованного общества. Однако вскоре тетушки Доры стали смотреть на бабушку как на леди эксцентрическую, мужеподобную, но зато наделенную недюжинным умом; и хотя бабушка иногда ерошила перышки Дориных теток, высказывая еретические мнения о разнообразных правилах приличия, она так горячо меня любила, что ради общего согласия приносила в жертву некоторые свои чувства.

Единственным членом нашего маленького кружка, не пожелавшим применяться к обстоятельствам, был Джип. Стоило бабушке появиться, как он немедленно скалил зубы, забивался под стул и беспрерывно рычал, время от времени издавая горестный вой, словно в самом деле видеть бабушку было ему не по силам. Чего только с ним не делали! Ласкали, бранили, шлепали, повели на Бэкингем-стрит (где он тотчас же, к ужасу всех жителей, бросился на двух кошек), но он никак не мог заставить себя выносить присутствие бабушки. Казалось иногда, будто он преодолел свою враждебность; на несколько минут он делался даже любезным, но тотчас же поднимал свою тупую мордочку и начинал так отчаянно выть, что ничего не оставалось делать, как завязать ему глаза и заточить

в жаровню для нагревания тарелок. Кончилось тем, что Дора всякий раз заворачивала его в полотенце и совала в жаровню, как только сообщали о приходе бабушки.

Одно только обстоятельство сильно смущало меня, когда наладилась эта спокойная жизнь. Казалось, будто все сговорились смотреть на Дору как на изящную игрушку или как на забаву. Бабушка, с которой она постепенно сблизилась, всегда называла ее «Цветочек», а мисс Лавиния без конца развлекалась, наряжая ее, прихорашивая, завивая ей локоны, обращаясь с ней как с избалованным ребенком. То же самое, конечно, делала и ее сестра. Мне казалось это очень странным, но все они относились к Доре так же, как Дора относилась к Джипу.

Я решил поговорить об этом с Дорой и в один прекрасный день, когда мы отправились на прогулку (с течением времени мисс Лавиния разрешила нам гулять одним), сказал ей, что мне бы хотелось, чтобы она убедила их обращаться с ней иначе.

— Потому что, дорогая моя, ведь вы не ребенок,— сказал я.

— Ну, вот! Вы начинаете ворчать!

— Ворчать, моя радость?

— Они так добры ко мне,— сказала Дора,— и я очень счастлива.

— Все это прекрасно, моя любимая,— сказал я,— но вы были бы так же счастливы, если бы они относились к вам разумно.

Дора укоризненно взглянула на меня — очаровательный взгляд! — начала всхлипывать и сказала, что, если она мне не нравится, зачем же я так упорно стремился обручиться с ней. И почему теперь я не ухожу, если не могу ее выносить!

Что мне было делать, как не осушить поцелуями ее слезы и не сказать, что я безумно ее люблю?

— Я вас тоже люблю, Доди, и вы не должны быть со мной жестоким,— сказала Дора.

— Жестоким, моя радость?! Да разве я могу быть с вами жестоким?

— Тогда не браните меня, и я буду хорошей,— сказала Дора, надув губки так, что они стали походить на розовый бутон.

А я пришел в восторг, когда сразу же вслед за этим она по своему почину попросила дать ей поваренную книгу, о которой я однажды говорил, и научить ее вести запись домашних расходов,— это я как-то обещал ей показать. В следующее мое посещение я принес поваренную книгу (я позаботился о красивом переплете, чтобы она не казалась такой скучной и была привлекательней на вид), а когда мы гуляли на лугу, показал Доре бабушкину старую тетрадь домашних расходов, подарил записную книжку, хорошенькую вставку для карандаша и коробочку с запасными графитами, чтобы она научилась ведению домашнего хозяйства.

Но от поваренной книги у Доры разболелась голова, а цифры заставляли ее плакать. Они никак не хотели складываться, говорила она, и потому она их стирала, а вместо них рисовала букеты, меня и Джипа.

Тогда я решил во время наших субботних прогулок преподать ей в занимательной форме несколько полезных уроков. Так, например, однажды, когда мы проходили мимо мясной лавки, я сказал:

— Предположим, моя радость, мы поженились и вы отправились за бараньей лопаткой к обеду. Вы знаете, как ее покупать?

Очаровательное личико моей Доры вытянулось, и ротик снова превратился в бутон, словно она предпочла бы закрыть поцелуем мой рот.

— Вы знаете, как ее покупать, дорогая? — повторил я, оставаясь непоколебимым.

Дора на минуту задумалась, затем сказала с торжествующим видом:

— Но ведь мясник-то знает, как ему продавать! Ах, какой вы глупый!

В другой раз, заглянув в поваренную книгу, я спросил Дору, как она поступит, если, когда мы поженимся, я скажу, что мне очень нравится рагу по-ирландски; она ответила, что прикажет кухарке приготовить рагу, а затем уцепилась обеими руками за мою руку и засмеялась так заразительно, что стала еще более очаровательной, чем обычно.

В результате поваренная книга лежала почти все время в углу комнаты и служила подставкой Джипу,

когда он становился на задние лапки. Но Дора была в таком восторге, выучив его взбираться на книгу без особого приглашения и стоять на ней, держа в зубах вставку для карандашей, что я не жалел о своей покупке.

И мы снова возвратились к футляру для гитары, к рисованию цветов и к песенке о том, что невозможно жить без танцев, — тра-ля-ля! — и были счастливы в течение всей недели. Время от времени мне хотелось набраться храбрости и намекнуть мисс Лавинии, что напрасно она обращается с Дорой как с игрушкой, а иногда я с изумлением ловил себя на том, что делаю ту же ошибку и сам обращаюсь с ней как с игрушкой,— так бывало иногда, но не часто.

ГЛАВА XLII
Злое дело

У меня такое чувство, словно мне не следует даже в этой рукописи, предназначенной только для моих глаз, рассказывать о том, как упорно,— сознавая свою ответственность перед Дорой и ее тетками,— трудился я над этой ужасной стенографией. Ко всему написанному мной о своей настойчивости в тот период моей жизни, о своем терпении и неизменной энергии, зародившихся тогда во мне и являющихся самыми сильными сторонами моей натуры, если, конечно, признавать, что они в ней есть,— ко всему уже мной написанному могу только добавить, оглядываясь назад, что именно эти качества — источник моего успеха. Мне выпала большая удача в жизни; многие работали куда больше, чем я, но добились далеко не такого успеха. Однако мне никогда не удалось бы сделать того, что мною сделано, если бы я в то время не приучил себя к пунктуальности, порядку, усидчивости, если бы не научился сосредоточивать свое внимание в каждый данный момент только на одном деле, нисколько не помышляя о том, что вот-вот должен буду обратиться к другому. Видит бог, я пишу это не из хвастовства. Тот, кто вспоминает историю своей жизни, как это делаю я, страницу за страницей, поистине должен быть человеком исключи-

тельным, если ему не приходится сожалеть о способностях, не нашедших применения, о многих утраченных возможностях, о многих ошибках и о противоборствовавших в сердце чувствах, одержавших над ним верх и совративших его с прямого пути. Нет сомнения, что и я употреблял во зло дарованные мне качества. Но я хочу только сказать одно: все, что я в жизни делал, я старался делать как можно лучше, чему бы я ни отдавался, я отдавался всей душой, и во всех своих делах, больших и малых, я неуклонно шел к цели. Никогда я не думал, что человек с любыми способностями — врожденными или благоприобретенными — может рассчитывать на достижение цели, если не считает для себя обязательными настойчивость и упорный труд. На свете так не бывает. Быть может, какому-нибудь талантливому и удачливому человеку посчастливится создать две стойки лестницы, по которой кое-кто и взберется, но перекладины этой лестницы, чтобы на них можно было стоять, должны быть сделаны из прочного материала, и тут ничто не может заменить пылкую, непоколебимую настойчивость. Никогда ничего не делать спустя рукава, но вкладывать в работу всего себя, и какова бы ни была работа, никогда не относиться к ней с пренебрежением — таково, насколько я теперь вижу, было мое золотое правило.

Я не стану повторять здесь, сколь многим я обязан Агнес, следуя в жизни этому правилу. И с благодарностью и любовью к ней я продолжаю свое повествование.

Недели на две она приехала погостить к доктору Стронгу. Мистер Уикфилд был старым его другом, и доктор, желая ему добра, хотел с ним повидаться и поговорить. Когда Агнес последний раз была в Лондоне, она беседовала с доктором, и результатом их беседы был этот приезд мистера Уикфилда с дочерью. Я не очень удивился, узнав от нее, что ей поручено найти где-нибудь по соседству помещение для миссис Хип, которая, по ее словам, нуждалась из-за своего ревматизма в перемене климата и была бы рада сделать это, не лишаясь общества Агнес. Но был я также удивлен, когда на следующий день Урия, как заботливый сын, привез свою достойную мать, чтобы водворить ее на новом месте.

— Видите ли, мистер Копперфилд,— сказал он, присоединяясь, помимо моего желания, ко мне, когда я прогуливался по саду доктора,— если человек любит, он, знаете ли, немножко ревнив... во всяком случае, он хочет не спускать глаз с предмета своей любви...

— К кому же вы теперь ревнуете? — спросил я.

— В настоящее время благодаря вам, мистер Копперфилд, ни к одному определенному лицу... во всяком случае, ни к одному лицу мужского пола,— ответил он.

— Вы хотите сказать, что ревнуете к лицу женского пола?

Он искоса взглянул на меня злыми красными глазами и усмехнулся.

— Право же, мистер Копперфилд... вы так искусны, что вытягиваете из меня все, как пробочником! Ну, что ж! Не буду от вас скрывать,— тут он положил свою руку, влажную и скользкую, как рыба, на мою,— я, в общем, не дамский угодник, сэр, и никогда не угождал миссис Стронг.

Хитро и гнусно он посмотрел на меня, и теперь глаза его казались зелеными.

— Что вы хотите сказать? — спросил я.

— Хоть я и юрист, мистер Копперфилд, но я хочу сказать только то, что сказал,— ответил он, язвительно ухмыляясь.

— А что означает этот ваш взгляд? — спокойно спросил я.

— Мой взгляд? Боже мой, Копперфилд, как вы проницательны! Что означает мой взгляд?

— Вот именно, ваш взгляд.

Казалось, это его очень позабавило, и он искренне рассмеялся — насколько вообще он мог искренне смеяться. Поскребши рукой подбородок, он продолжал, опустив глаза,— очень медленно и не отнимая руки от подбородка:

— Когда я еще был смиренным, ничтожным клерком, она всегда смотрела на меня сверху вниз. Она всегда хотела привлечь в свой дом мою Агнес, а к вам, мистер Копперфилд, всегда была дружески расположена. Меня же она не замечала, я был слишком ничтожен для нее...

— Предположим, что это так. Дальше? — сказал я.

— И для него также,— раздельно продолжал Урия, о чем-то размышляя и все еще поскребывая подбородок.

— Неужели вы не знаете доктора и полагаете, что он помнит о вашем существовании, если вас нет перед его глазами? — спросил я.

Снова он посмотрел на меня искоса, втянул щеки, чтобы удобней было скрести подбородок, и ответил.

— О! Я говорю не о докторе. О нет! Не об этом бедняге. Я имею в виду мистера Мелдона.

Сердце у меня замерло. Все прежние мои сомнения и подозрения, думы о мирной, счастливой жизни доктора, размышления о невинности и предосудительном поведении, клубок которых я не мог распутать, нахлынули на меня по милости этого кривляющегося субъекта.

— Когда он появлялся у нас в конторе, он всегда приказывал мне выйти,— сказал Урия. — Вот он каков, этот безупречный джентльмен! А я был очень покорным и смиренным. Таков я и теперь. Но мне это было не по вкусу и теперь не по вкусу!

Он перестал скрести подбородок, не переставая искоса глядеть на меня, и втянул щеки так, что казалось, они должны были соприкоснуться во рту.

— Она женщина красивая, что и говорить,— продолжал он, пока его лицо медленно обретало свой нормальный вид,— и уж кому-кому, а мне известно, что она не очень расположена к такому, как я. Вот она и может внушить моей Агнес метить повыше. Пусть я не дамский угодник, мистер Копперфилд, но у меня есть глаза, и я уже давно кое-что подметил. Вообще, у нас, людей маленьких и смиренных, есть глаза, и мы умеем ими пользоваться.

Я попытался сделать вид, будто ничего не понимаю и ничто меня не тревожит, но по его лицу я понял, что это мне не удалось.

— Я, знаете ли, Копперфилд, не хочу быть битым,— продолжал он, злобно торжествуя и сморщив кожу на лбу там, где у него полагалось быть рыжим бровям,— и я сделаю все, что в моих силах, чтобы положить конец этой дружбе. Я ее не одобряю. Не скрою от вас, по своей

натуре я человек непокладистый и хочу устранить всех, кто лезет не в свое дело. Если мне известно, что против меня строят козни, я не стану рисковать и постараюсь их разрушить.

— Вы сами всегда строите козни и убеждаете себя, что все поступают точно так же,— сказал я.

— Допустим, что так, мистер Копперфилд, но у меня есть основания, как говорил всегда мой компаньон, и этим делом я займусь всерьез. Пусть я человек смиренный, но я не допущу, чтобы меня провели! Я никому не позволю становиться мне поперек дороги. Я их заставлю посторониться, мистер Копперфилд!

— Не понимаю,— сказал я.

— Не понимаете? — спросил он и дернулся. — Удивляюсь, очень удивляюсь, мистер Копперфилд, вы всегда так сообразительны... В другой раз скажу яснее... Кто это там? Это мистер Мелдон приехал верхом и звонит у ворот, сэр?

Урия остановился как вкопанный, зажал руки между колен — коленные чашки были у него огромные — и согнулся вдвое от смеха. Смех был совершенно неслышен. Ни одного звука не вырвалось у него изо рта. Меня так возмутило его гнусное поведение и в особенности эта заключительная сцена, что я без дальнейших церемоний повернулся и пошел назад, оставив его посреди сада; в этой позе он напоминал пугало для ворон, лишенное подпорки.

Не в тот вечер, но, как я хорошо помню, через два дня, в субботу, я взял с собой к Доре Агнес. Предварительно я сговорился с мисс Лавинией, и Агнес была приглашена к чаю.

Я был исполнен гордостью и тревогой в одно и то же время: гордился я своей дорогой невестой, а тревожился, понравится ли она Агнес. Мы ехали в Патни одной пассажирской каретой, но порознь: Агнес сидела внутри, а я на крыше; я представлял себе Дору и все ее прелестные, хорошо знакомые мне ужимки; то мне хотелось увидеть ее точь-в-точь такой, какой она была тогда-то, то я начинал колебаться, не лучше ли будет, если она появится перед нами такой, какой я видел ее в другой раз. Эти мысли терзали меня, и я был как в лихорадке.

Во всяком случае, она будет очень хорошенькой — в этом я не сомневался,— случилось же так, что никогда раньше мне не приходилось видеть ее более восхитительной. Ее не было в гостиной, где я познакомил Агнес с двумя тетушками; от смущения она где-то спряталась. Но теперь я знал, где ее искать, и в самом деле нашел ее за той же дверью, где она стояла, заткнув уши, как и в первое мое посещение.

Сначала она совсем отказалась выйти, затем стала умолять об отсрочке ровно на пять минут по моим часам. Когда, наконец, она взяла меня под руку и мы двинулись к гостиной, ее личико так разрумянилось, что никогда прежде не видел я ее такой прелестной. Но когда мы вошли в комнату, она вдруг побледнела и стала еще в десять тысяч раз красивей.

Дора боялась Агнес. По ее словам, Агнес была «слишком умная». Но, бросив на нее взгляд и увидев ее лицо, веселое и вместе с тем серьезное, задумчивое и доброе, Дора тихонько вскрикнула от радости и удивления, нежно обвила руками шею Агнес и прильнула щечкой к ее лицу.

Никогда я не был так счастлив. Как мне было хорошо, когда я видел, что они сидят рядом, когда я видел, что моя маленькая возлюбленная смотрит так доверчиво в эти добрые глаза, когда я видел, как нежно и ласково глядит на нее Агнес!

Мою радость разделяли, по-своему, и мисс Лавиния и мисс Кларисса. Это было самое приятное в мире чаепитие. Во главе стола сидела мисс Кларисса. Я разрезал сладкий анисовый пирог и угощал им всех. Обе маленькие тетушки, подобно птицам, с удовольствием подбирали анис и клевали сахар. У мисс Лавинии был благожелательно-покровительственный вид, словно наша счастливая любовь была делом ее рук, и мы все были очень довольны собой и друг другом.

Ясность и приветливость Агнес покорили их сердца. С каким вниманием она относилась ко всему, что занимало Дору, как она быстро подружилась с Джипом (который немедленно пошел ей навстречу), как мило она шутила с Дорой, когда та стеснялась сесть на свое обычное место рядом со мной, с какой обаятельной скромностью она выслушивала какие-то признания Доры, от ко-

торых та вся разрумянилась! Казалось, что с ее появлением наш маленький кружок больше ни в ком не нуждается.

— Как я рада, что понравилась вам! — сказала Дора после чая. — Я на это не надеялась. А теперь, когда Джулии Миллс нет, мне так нужно, чтобы меня любили.

Кстати, я забыл об этом упомянуть раньше. Мисс Миллс отплыла в Индию, а мы с Дорой попрощались с ней в Грейвзенде на борту большого океанского корабля; мы получили на память имбирь, гуаву и другие подобные лакомства и покинули мисс Миллс плачущей на складном стуле, на шканцах; под мышкой у нее был большой, еще не начатый дневник, где она собиралась запечатлевать и хранить под замком свои размышления, которые будет в ней пробуждать океан.

Агнес выразила опасение, что ее портрет, нарисованный мной, был не очень-то лестным, но Дора решительно это опровергла.

— О нет! — сказала она, тряхнув локонами. — Он так вас хвалил! Он так высоко ценит ваше мнение, что я боялась, понравлюсь ли вам.

— Мое мнение не заставит его сильнее полюбить некоторых его знакомых,— улыбаясь, сказала Агнес,— для них оно не имеет значения.

— Но, пожалуйста, если можно, будьте обо мне хорошего мнения! — ластилась к ней Дора.

Мы стали потешаться над Дорой, которой так хотелось, чтобы все ее любили, а она назвала меня глупышкой; сказала, что не любит меня, и вечер промелькнул незаметно. Скоро должна была появиться карета, приближалось время нашего отъезда. Я стоял один перед камином, когда в комнату неслышно прокралась Дора, чтобы, как всегда, поцеловать меня перед моим уходом.

— Вам не кажется, Доди, что я была бы умней, если бы давно с ней подружилась? — спросила она, и ее глаза блестели, а правой своей ручкой она рассеянно крутила пуговицу у меня на сюртуке.

— Какой вздор, моя радость! — сказал я.

— Вы думаете, это вздор? — не глядя на меня, спросила Дора.— Вы уверены в этом?

— Конечно!

— Я не помню, в каком родстве вы состоите с Агнес, мой милый ворчун,— сказала она, продолжая крутить пуговицу.

— Ни в каком,— ответил я. — Но мы росли вместе, как брат и сестра.

— Я не понимаю, почему вы в меня влюбились,— продолжала Дора, принимаясь крутить другую пуговицу.

— Может быть, потому, Дора, что я не мог, увидев вас, не полюбить.

— А если бы вы меня никогда не увидели? — спросила Дора, переходя к следующей пуговице.

— А если бы мы не родились на свет? — весело сказал я.

Мне хотелось бы знать, о чем она думала, когда я молча любовался ее нежной ручкой, перебиравшей пуговицы у меня на сюртуке, смотрел на ее вьющиеся волосы, лежавшие на моей груди, и на ресницы ее опущенных глаз, медленно поднимавшиеся по мере того, как двигались вверх ее пальчики. Наконец ее глаза встретились с моими, она привстала на цыпочки и поцеловала меня — раз, два, три,— три раза поцеловала меня более задумчиво, чем обычно, и вышла из комнаты.

Минут через пять все они вернулись назад, и необычная задумчивость Доры совершенно исчезла. Смеясь, она решила показать нам до прихода кареты, каким фокусам научился Джип. На это ушло некоторое время (отнюдь не потому, чтобы они были разнообразны, а потому что Джип не желал слушаться), и когда послышался стук подъезжавшей кареты, мы еще не успели их досмотреть. Вслед за этим последовало поспешное, но очень нежное ее прощание с Агнес, последовало обещание ее писать Агнес (если только та не сочтет ее письма глупыми) и обещание Агнес писать ей, и вторичное прощание у дверцы кареты, и третье прощание, когда Дора, несмотря на возражения мисс Лавинии, выбежала еще раз из дому, чтобы у оконца кареты напомнить Агнес о письмах и тряхнуть локонами, бросив взгляд на меня (я занял место на козлах).

Пассажирская карета должна была доставить нас к Ковент-Гарден, где нам нужно было пересесть в другую карету и добраться до Хайгета. Я с нетерпением ждал

пересадки, чтобы узнать мнение Агнес о Доре. Как она ее хвалила! Как искренне и горячо поручала моим самым преданным заботам это нежное существо, очаровательное и бесхитростное, чье сердце я завоевал! С какой деликатностью она внушала мне, делая вид, будто далека от этого намерения, что я несу ответственность за осиротевшее дитя!

Никогда, никогда я не любил Дору так глубоко и искренне, как в тот вечер. Мы снова вышли из кареты и шли при свете звезд по тихой дороге, ведущей к дому доктора Стронга, и я сказал Агнес, что обязан этим ей.

— Когда вы, Агнес, сидели около нее, мне казалось, что вы не только мой, но и ее ангел-хранитель. И сейчас мне так кажется,— сказал я.

— Бедный ангел! — отозвалась она. — Но верный.

Ее чистый голос проник в самую глубину моего сердца, и я, не раздумывая, сказал:

— Сегодня я заметил, Агнес, что к вам вернулись прежние ваши спокойствие и бодрость, которых я ни у кого, кроме вас, не видел. Надеюсь, теперь у вас лучше дома?

— У меня лучше на душе,— сказала она. — Я совершенно спокойна, и на сердце у меня легко.

Я взглянул на ее ясное лицо, обращенное к небу, и при свете звезд оно показалось мне таким благородным!

— А в доме ничего не изменилось,— спустя некоторое время сказала Агнес.

— Больше не упоминалось о том... Простите, Агнес, я не хочу вас волновать, но мне очень хотелось бы знать... больше не упоминалось о том, о чем мы говорили, когда я вас видел в последний раз?

— Нет, ни разу,— ответила она.

— Я столько об этом думал!

— Вы должны поменьше об этом думать. Помните одно: я доверяю только искренней, бескорыстной любви. Не бойтесь за меня, Тротвуд,— добавила она через минуту,— я никогда не сделаю того, что вас так пугает.

В минуты спокойного раздумья, мне кажется, я никогда по-настоящему этого не боялся, но услышать об этом из ее собственных уст, не знающих лжи, было для меня огромным облегчением. Так я ей и сказал.

— Но скажите, дорогая Агнес,— ведь вы возвращаетесь домой, и, может быть, нам больше не удастся побыть наедине,— скоро ли вы опять приедете в Лондон?

— Вероятно, очень не скоро,— ответила она. — Я полагаю, нам нужно быть дома — ради папы. До следующего нашего приезда мы не часто сможем с вами встречаться, но я буду писать Доре, и через нее мы будем знать друг о друге.

Мы вошли во дворик при коттедже доктора. Было уже поздно. Окно в комнате миссис Стронг было освещено. Агнес показала на окно и пожелала мне спокойной ночи.

— Не волнуйтесь из-за наших невзгод и забот,— сказала она, протягивая мне руку. — Я так счастлива, зная, что счастливы вы. Если мне понадобится ваша помощь, вы можете быть спокойны — я к вам обращусь. Да благословит вас господь!

Лучезарная ее улыбка и этот спокойный, бодрый голос воскресили в моей памяти образ моей маленькой Доры, когда та сидела рядом с ней. Некоторое время я стоял на крыльце и смотрел на звезды, и сердце мое было исполнено любви и благодарности; затем я медленно побрел дальше. На ночь я снял комнатку неподалеку, в чистенькой харчевне; выходя из дворика, я случайно повернул голову и увидел свет в кабинете доктора. У меня мелькнула мысль,— и я даже упрекнул себя,— что он работает над словарем без моей помощи. Мне захотелось проверить, так ли это, и пожелать ему спокойной ночи, если он сидит за своими книгами, а потому я повернул назад, тихо пересек холл и, приоткрыв дверь, заглянул в кабинет.

При свете лампы, затененной абажуром, я прежде всего, к своему удивлению, увидел Урию. Он стоял около лампы, одна костлявая рука была прижата к губам, другая опиралась на стол доктора. Доктор сидел в своем рабочем кресле, закрыв руками лицо. Мистер Уикфилд, сильно взволнованный и удрученный, наклонясь к доктору и протянув руку, нерешительно касался его руки.

У меня мелькнула мысль, что доктор заболел. Я рванулся вперед, но встретил взгляд Урии и понял, в чем дело. Тогда я отступил, чтобы выйти, но доктор сделал мне знак остаться, и я остался.

— Во всяком случае, мы можем затворить дверь,— сказал Урия и неуклюже скорчился. — Зачем разглашать на весь город?

С этими словами он на цыпочках подошел к двери, которую я оставил открытой, и осторожно закрыл ее. Затем он вернулся на свое место. В его голосе и манерах чувствовалось навязчивое, лицемерное сострадание, и эта личина казалась,— по крайней мере мне,— самой невыносимой из всех, какие он мог на себя надеть.

— Я счел себя обязанным, мистер Копперфилд,— обратился ко мне Урия,— рассказать доктору Стронгу то, о чем мы с вами говорили. Впрочем, вы меня тогда не совсем поняли!

Я посмотрел на него, но промолчал, и, подойдя к моему славному старому учителю, пробормотал несколько слов, стараясь утешить его и ободрить. Он положил руку мне на плечо, как это бывало в пору моего детства, но седой своей головы не поднял.

— Поскольку вы тогда меня не поняли, мистер Копперфилд,— продолжал Урия тем же искательным тоном,— я беру на себя смелость, находясь среди друзей, смиренно сообщить, что я обратил внимание доктора Стронга на поведение миссис Стронг. Могу заверить, Копперфилд, что у меня не было ни малейшего желания вмешиваться в это неприятное дело, но все мы иногда оказываемся причастны к такого рода делам, которых следовало бы избегать. Именно это я хотел вам сказать, сэр, когда вы не изволили меня понять.

Вспоминая теперь его подмигиванье, не знаю, как я удержался, чтобы не схватить его за глотку и не задушить.

— Может быть, я говорил недостаточно ясно, да и вы также,— продолжал он. — Разумеется, мы оба не склонны были распространяться на эту тему. Однако я пришел к выводу, что мне надлежит объясниться чистосердечно, и я сообщил доктору Стронгу... Вы что-то сказали, сэр?

Это относилось к доктору, который застонал. Мне кажется, этот стон мог растрогать любое сердце, но на Урию он не произвел никакого впечатления.

— ...сообщил доктору Стронгу,— продолжал он,— что всем бросается в глаза, сколь нежны друг с другом

мистер Мелдон и красивая, милая леди, супруга доктора Стронга. Пришло время (поскольку теперь все мы причастны к этому делу, чего следовало бы избегать), пришло время сказать доктору Стронгу, что это было очевидно для всех еще до отъезда мистера Мелдона в Индию, что только ради этого мистер Мелдон нашел предлог вернуться из Индии и только ради этого он всегда находится здесь. Как раз когда вы появились, сэр, я спросил моего компаньона,— тут он повернулся к мистеру Уикфилду,— может ли он дать честное слово доктору Стронгу, что не пришел к тому же выводу уже давно. Ну, как, мистер Уикфилд? Будьте добры, сэр, скажите всем нам! Да или нет, сэр? Да ну же, компаньон!

— Ради бога, дорогой доктор,— сказал мистер Уикфилд, снова нерешительно кладя руку на руку доктора,— ради бога не придавайте большого значения каким-то подозрениям, которые могли у меня быть...

— Вот те на! — вскричал Урия, тряхнув головой.— Какое робкое и унылое признание! Хорош старый друг — нечего сказать! Но — черт побери! — когда я был у него только ничтожным клерком, Копперфилд, я видел, как он не раз,— да, не раз, а двадцать раз! — прямо с ума сходил (ну что ж, он — отец, и я, во всяком случае, не могу его осуждать) при одной мысли, что мисс Агнес может оказаться причастной к такому делу, которого следует избегать.

— Дорогой мой Стронг,— дрожащим голосом сказал мистер Уикфилд,— добрый мой друг, мне нет нужды вам говорить, что это мой порок — искать в действиях каждого человека один основной мотив и ко всем поступкам прилагать одну узкую мерку. Сомнения, которые у меня возникли, могли быть порождены этим неверным взглядом.

— Значит, у вас были сомнения, Уикфилд... — не поднимая головы, сказал доктор. — У вас были сомнения...

— Да говорите же, компаньон! — понукал Урия.

— Одно время они у меня... были. Я... да простит мне бог!.. Я думал, что они мелькали и у вас,— сказал мистер Уикфилд.

— Нет, нет и нет! — ответил доктор, и в тоне его слышалась глубокая скорбь.

— Одно время мне казалось,— продолжал мистер Уикфилд, что вам хочется отослать мистера Мелдона за границу для того, чтобы их разлучить.

— Нет, нет и нет! — повторил доктор. — Только для того, чтобы доставить удовольствие Анни заботой о друге ее детства. Только для этого.

— Потом я это понял, и теперь, когда вы так говорите, я не сомневаюсь,— сказал мистер Уикфилд. — Но мне казалось... прошу вас, вспомните мою порочную склонность давать всему одностороннее толкование... мне казалось, что в данном случае, при такой разнице в летах...

— Вот видите, мистер Копперфилд, как нужно рассуждать! — вставил Урия с лицемерной и оскорбительной жалостью.

— ...столь молодая и красивая леди, как бы она вас ни уважала, могла руководствоваться, выходя за вас замуж, только житейскими соображениями. Я не допускал наличия многих добрых чувств и благоприятствующих обстоятельств... Ради бога, помните это!

— Как мягко он говорит! — покачивая головой, вставил Урия.

— Я всегда наблюдал за ней с этой точки зрения,— продолжал мистер Уикфилд,— но, заклинаю всем дорогим для вас, старый мой друг, подумайте о том, какова была эта точка зрения... Сейчас меня заставили высказаться, и я не могу уклониться...

— О нет! В таких случаях уклоняться нельзя, мистер Уикфилд, сэр! — перебил Урия.

— ...от признания... — тут мистер Уикфилд растерянно и беспомощно посмотрел на своего компаньона,— от признания, что я сомневался в ней, подозревал ее в нарушении долга перед вами, и... если я должен говорить все... меня беспокоило, что Агнес, находясь с ней в дружеских отношениях, может заметить то, что видел я... или согласно моей порочной теории воображал, будто вижу. Об этом я не говорил ни единому человеку. Я никогда не хотел, чтобы об этом кто-нибудь знал. И, как бы ни было ужасно для вас слушать это,— закончил мистер Уикфилд, совершенно подавленный,— но если бы вы знали, как для меня ужасно об этом говорить, вы пожалели бы меня!

Доктор, человек необыкновенной доброты, протянул ему руку. Мистер Уикфилд некоторое время не выпускал ее из своей руки и стоял понурив голову.

— Разумеется, это дело неприятное для всех,— нарушил молчание Урия, извиваясь, как морской угорь. — Но если мы зашли так далеко, беру на себя смелость указать, что то же самое заметил и Копперфилд.

Повернувшись к нему, я спросил, как он смеет ссылаться на меня.

— О! Как это хорошо с вашей стороны, Копперфилд! — откликнулся Урия, изгибаясь всем телом. — Мы все знаем, какой вы добрый. Но вы знаете, что, когда я говорил с вами в тот вечер, вы прекрасно поняли, что я имею в виду. Право же, Копперфилд, вы тогда прекрасно поняли, о чем я говорю. Не отрицайте. Вы отрицаете с благими намерениями, Копперфилд, но не делайте этого.

Я поймал кроткий взгляд старого доброго доктора и почувствовал, что на моем лице слишком ясно написано признание в былых сомнениях и подозрениях, и не заметить этого нельзя. Отрицать было бесполезно. Что̀ бы я ни сказал, я не смог бы отпереться.

Мы снова замолкли и молчали до тех пор, пока доктор не встал и не прошелся раза два по комнате. Затем он вернулся к своему креслу, оперся на его спинку и, время от времени поднося платок к глазам, сказал с той искренностью и чистосердечием, которые, на мой взгляд, делали ему больше чести, чем любая попытка скрыть свои чувства:

— Я виноват. Мне кажется, я очень виноват. Ту, чей образ я ношу в своем сердце, я сделал жертвой подозрений и хулы,— я называю их хулой, хотя бы они зародились в самых сокровенных глубинах сознания,— и если бы не моя вина, она не стала бы этой жертвой.

Урия Хип издал звук, похожий на сопенье. Думаю, чтобы выразить сочувствие.

— Если бы не моя вина, Анни не стала бы жертвой подозрений и хулы! — повторил доктор.— Джентльмены! Вы знаете, я стар. Сегодня вечером я почувствовал, что жить мне осталось недолго. Но ручаюсь своей жизнью!.. да, своей жизнью!.. за верность и честь той леди, о которой мы говорим.

Никакой идеальный рыцарь, ни один прекрасный романтический герой, созданный фантазией художника, не мог бы произнести эти слова с более трогательным достоинством, чем этот бесхитростный старый доктор.

— Но я не намерен отрицать — пожалуй, сам не вполне понимая, как родилась у меня эта мысль, я готов признать,— что неумышленно склонил эту леди к несчастному браку,— продолжал он. — Я человек совершенно ненаблюдательный и верю, что наблюдения ряда людей, столь различных по возрасту и положению, если они уверенно приводят их к одному и тому же заключению, много правильнее моих.

Как я уже писал, меня часто удивляли его кротость и великодушие в отношениях с молодой женой, но трудно выразить, насколько возвысили его в моих глазах уважение и нежность, какие он теперь к ней проявил, и то, я бы даже сказал, благоговение перед ней, с которым он отвергал малейшие подозрения в ее неверности.

— Я женился на этой леди, когда она была очень молода,— сказал доктор.— Я взял ее к себе, когда характер ее еще не совсем сложился. Для меня было большим счастьем принимать участие в его формировании. Я хорошо знал ее отца. Я хорошо знал ее. Из любви к ее прекрасной, добродетельной натуре я научил ее всему, что было в моих силах. Если я причинил ей зло,— боюсь, что это так,— воспользовавшись (сам о том не ведая) ее благодарностью и привязанностью, то я от всего сердца прошу у этой леди прощения!

Он прошелся по комнате и, возвратившись на то же место, оперся о спинку кресла рукой, которая дрожала от волнения так же, как и его голос.

— Я думал, что буду для нее прибежищем от всех опасностей и соблазнов жизни. Я убеждал себя, что, невзирая на разницу в годах, она будет жить со мной в спокойствии и довольстве. Но я думал также и о том, что наступит время, когда она останется свободной и все еще молодой и прекрасной, но с более зрелым умом... Да, джентльмены, клянусь честью, я об этом думал!

Казалось, его славное лицо просветлело, оно дышало благородством и преданностью. В каждом его слове была

сила, и силу эту не могли сообщить словам никакие иные чувства!

— Моя жизнь с этой леди была очень счастлива. Вплоть до сегодняшнего вечера у меня были все основания благословлять тот день, когда я причинил ей такое великое зло.

Его голос, ослабевавший все более, по мере того как он это говорил, на миг оборвался, но затем он продолжал:

— Теперь я пробудился от своих мечтаний... Я всю свою жизнь был только бедным мечтателем, и о чем только я не мечтал!.. Я пробудился теперь и вижу, как это естественно, что она с чувством сожаления вспоминала о своем старом друге и сверстнике. Она думала и думает о нем с невинным сожалением, с чувством, в котором не было ничего запретного, она думала о том, что могло бы быть, если бы не было с ней меня. Увы, но это так! Многое, что я видел, но на чем не останавливался, представилось мне в этот мучительный час совсем в ином свете. Но, джентльмены, на дорогую мне леди не должна пасть даже тень подозрения!

На мгновенье его глаза засверкали и голос окреп, затем он помолчал и заговорил снова:

— Мне остается только со всей покорностью, на какую я способен, нести сознание несчастья, виновником которого являюсь я сам. Нет, не я должен ее обвинять, а она меня. Защитить ее от ложных толков, от тех жестоких подозрений, которым поддались даже мои друзья,— вот мой долг! Чем уединенней мы станем жить, тем легче мне это будет сделать. А когда пробьет час — да настанет он скорей, если будет на то господня милость! — и моя смерть принесет ей освобождение, я в последний раз взгляну на ее благородное лицо с беспредельной верой в нее и любовью и уйду без печали, и для нее начнутся дни, более радостные и счастливые...

Я не видел его лица, потому что слезы заволокли мне глаза, слезы, вызванные его искренностью и добротой, столь украшавшими этого прямодушного человека. Направляясь к двери, он добавил:

— Джентльмены, я открыл вам мое сердце. Уверен, вы отнесетесь к этому с уважением. Больше никогда мы

не должны говорить о том, о чем говорили сегодня. Уикфилд, старый друг, дайте мне вашу руку, я хочу подняться наверх.

Мистер Уикфилд поспешил к нему. Молча и медленно они вышли оба из комнаты, а Урия проводил их взглядом.

— Ну вот, мистер Копперфилд! — повернувшись ко мне, смиренно сказал Урия.— Дело обернулось не совсем так, как можно было ждать, потому что старый ученый — какой это замечательный человек! — слеп, как крот... Но теперь этому семейству придется убраться с дороги...

Мне достаточно было услышать его голос, чтобы прийти в бешенство — в такое бешенство, в какое никогда в жизни я не приходил.

— Негодяй! — вскричал я.— На каком основании вы впутываете меня в ваши интриги? Подлый лгун! Как вы смеете обращаться ко мне, словно мы с вами вместе все это обсуждали?

Мы стояли друг перед другом, и по его физиономии, на которой отражалось скрытое торжество, я прочел то, о чем знал раньше. Я понял, что он подчеркивал свою уверенность во мне только с целью причинить мне боль и для этого расставил мне ловушку. Это было уж слишком! Его худая щека была так соблазнительно близка... Я размахнулся и ударил по ней раскрытой ладонью с такой силой, что почувствовал зуд в пальцах, будто я их обжег.

Он схватил меня за руку. И так, глядя друг на друга, мы застыли. Стояли мы долго, так долго, что бледные следы моих пальцев исчезли на багровой его щеке, а щека еще больше побагровела.

— Вы сошли с ума, Копперфилд? — наконец сказал он беззвучно.

— Между нами все кончено, негодяй! Я не хочу вас знать! — сказал я и вырвал руку.

— Не хотите? — сказал он и схватился рукой за пострадавшую щеку.— Едва ли это вам удастся. Так вот какова ваша благодарность!

— Я не раз давал вам понять, что вас презираю,— сказал я.— А сейчас я это показал ясней, чем раньше.

Чего мне бояться? Бояться, что вы причините еще больше зла всем окружающим? Да ведь уже и зла не осталось, которое вы бы им не причинили!

Он прекрасно понял мой намек, понял, какие соображения заставляли меня сдерживаться и не рвать с ним окончательно. Думается мне, я не ударил бы его и не сделал бы этого намека, если бы в тот вечер Агнес не дала мне обещания. Но это неважно.

Снова наступило долгое молчание. Он продолжал смотреть на меня, его глаза, казалось, все время меняли цвет, но каждый их оттенок был отвратителен.

— Копперфилд,— начал он, отнимая руку от щеки,— вы всегда шли против меня. Я знаю, вы всегда были против меня в доме мистера Уикфилда.

— Думайте, что вам угодно! — гневно воскликнул я.— Если это было не так, тем больше ваша вина!

— А вы мне всегда нравились, Копперфилд,— сказал он.

Я не удостоил его ответом и взялся за шляпу, собираясь идти спать, но он преградил мне путь к двери.

— Копперфилд, чтобы возникла ссора, нужны две стороны. Я не хочу быть одной из них.

— Убирайтесь к черту! — сказал я.

— Не говорите так. Вы об этом пожалеете,— сказал Урия.— Как вы можете давать мне такое преимущество над собой, проявляя столь дурной характер? Но я вам прощаю.

— Это вы-то мне прощаете? — повторил я с презрением.

— Да, я, и вы ничего не можете поделать,— заметил Урия.— Подумать только! Вы напали на меня, который всегда был вашим другом! Но поссориться могут двое, а я не хочу быть одним из них. Хотите вы этого или нет, а я буду вашим другом. Теперь вы знаете, что̀ вас ожидает.

Необходимость вести этот разговор понизив голос (он говорил очень медленно, а я очень быстро), чтобы в такой неурочный час не потревожить обитателей дома, не способствовала улучшению моего расположения духа; все же я немного остыл. Заявив, что буду ждать от него то, чего ждал всегда и в чем до сих пор не ошибся, я рас-

пахнул дверь, чуть не защемив его,— словно он был огромный орех, который вложили в щель, чтобы расколоть,— и вышел. Но и он ночевал не в этом доме, а у своей матери, и не успел я пройти сотню ярдов, как он меня догнал.

— Знаете ли, Копперфилд,— зашипел он мне в ухо (я не повернул головы),— вы попали в скверное положение (я знал, что это так, и это еще больше меня раздражало). Вам это не делает чести, и не в вашей власти запретить мне, чтобы я вас простил. Я не хочу говорить об этом матери и никому не скажу. Я решил вас простить. Но удивительно, что вы подняли руку на человека, такого, как вы знаете, смиренного и ничтожного!

Я чувствовал себя почти таким же негодяем, каким считал его. Он знал меня лучше, чем я сам себя. Если бы он стал меня укорять или негодовать, мне было бы легче, и я оправдал бы себя в собственных своих глазах, но он заставил меня поджариваться на медленном огне, и эта пытка продолжалась полночи.

Утром, когда я встал и вышел из дому, церковный колокол уже звонил, а Урия прогуливался со своей матерью. Он приветствовал меня как ни в чем не бывало, и мне ничего не оставалось делать, как ответить тем же. Должно быть, я ударил его так сильно, что у него разболелся зуб. Во всяком случае, его лицо обвязано было черным шелковым платком, а узел прятался под шляпой, и это не очень его красило. Я узнал, что он собирается в понедельник утром ехать в Лондон к дантисту вырывать зуб. Надеюсь, зуб был коренной.

Доктор дал знать, что ему нездоровится, и вплоть до отъезда гостей проводил бо̀льшую часть дня в одиночестве. Агнес и ее отец уже с неделю как уехали, а мы с доктором еще не приступали к работе. За день до возобновления наших занятий доктор собственноручно вручил мне сложенную, но незапечатанную записку. Адресована она была мне; в самых ласковых выражениях он предписывал мне никогда не упоминать о том, что произошло в тот вечер. Об этом я рассказал только бабушке и больше никому. С Агнес я не мог говорить на эту тему, и она решительно ничего не подозревала.

Я был уверен, что и миссис Стронг ничего не подозревала. Прошло несколько недель, прежде чем я заметил в ней какую-то перемену. Она совершалась постепенно, как надвигается облако в безветренный день. Сперва, казалось, миссис Стронг недоумевала, почему доктор, обращаясь к ней, говорит с нежным состраданием, почему советует пригласить мать, чтобы та скрасила скучное однообразие ее жизни. Частенько, когда мы работали с доктором, а она сидела тут же, я подмечал, как она задумывается и следит за ним памятным мне взглядом. А потом случалось и так, что она вставала и со слезами на глазах выходила из комнаты. Мало-помалу ее красивое лицо затуманилось от скорби, и с каждым днем тени сгущались. Миссис Марклхем проживала в ту пору в доме, но только и делала, что болтала, и не замечала ровно ничего.

По мере того как изменялась Анни, та Анни, которая подобна была солнечному лучу в доме доктора, доктор, казалось, все больше старел и становился все более серьезным, но мягкость его характера, обходительность и неусыпная забота о ней стали,— если только это было возможно,— еще заметней. Однажды утром, в день ее рождения, она пришла посидеть у окна, пока мы работали (так бывало и прежде, но теперь она приходила робко и неуверенно, и вид у нее был трогательный), и я увидел, как доктор взял ее голову обеими руками, поцеловал в лоб и поспешно ушел, слишком взволнованный, чтобы остаться. А она застыла, как статуя, на том самом месте, где он ее покинул, затем голова ее поникла, она стиснула руки и зарыдала — мне трудно передать, как горько она зарыдала.

После этого случая, мне чудилось, ей не раз хотелось поговорить хотя бы со мной, когда мы оставались с ней одни. Но ни разу она не произнесла ни слова. Доктор бывал неистощим, придумывая для нее развлечения вне дома, и миссис Марклхем, очень падкая до развлечений, а всем прочим часто недовольная, с удовольствием им предавалась и на все лады восхваляла доктора. Что касается Анни, она не сопротивлялась, когда ее вели куда-нибудь, но казалась очень вялой, равнодушной, как будто ей ни до чего не было дела.

Я не знал, что̀ думать. Не знала и бабушка, которая из-за этих сомнений проделала, должно быть, сотню миль, прохаживаясь по комнате. Но самым странным оказалось то, что в этой сокровенной области семейного несчастья единственное реальное утешение явилось в образе мистера Дика.

Каковы были его размышления обо всем происходящем и заметил ли он вообще что-нибудь, мне так же трудно сказать, как, пожалуй, и ему помочь мне в этом деле. Но, как я уже упоминал в рассказе о своих школьных годах, он безгранично преклонялся перед доктором, а подлинная привязанность, даже в тех случаях, когда она возникает у животных к человеку, так обостряет сообразительность, что оставляет далеко позади самый высокий интеллект. Вот такое умное сердце, да позволено мне будет так выразиться, было и у мистера Дика, и луч истины пронизал его насквозь.

В часы досуга — а у него досуга было много — он с гордостью пользовался привилегией прогуливаться вместе с доктором по саду, как он гулял раньше по «Аллее доктора» в Кентербери. Но как только положение дел изменилось, он начал посвящать весь свой досуг (и старался его удлинить, вставая по утрам пораньше) этим прогулкам. Если раньше он бывал счастлив, когда доктор читал ему свое замечательное сочинение — словарь, то теперь он чувствовал себя не на шутку несчастным до тех пор, пока доктор не вытаскивал рукопись из кармана и не начинал читать. Он пристрастился гулять по саду с миссис Стронг (в те часы, когда мы с доктором работали), помогал ей ухаживать за ее любимыми цветами и полоть грядки. Вероятно, он и десяти слов не говорил за час, но интерес, который он проявлял к доктору и его жене, и его грустное лицо всегда пробуждали ответное чувство в их сердцах; каждый из них знал, что другой любит мистера Дика, а он любит их обоих. И он стал тем, чем не мог быть никто другой,— связующим звеном между ними.

Когда я думаю о том, как он с мудрым, непроницаемым видом шагал рядом с доктором по саду, с наслаждением вслушиваясь в звучание непонятных слов из словаря; когда я думаю о том, как он тащил вслед за Анни

огромные лейки или, стоя на коленях и надев перчатки, напоминающие звериные лапы, старательно протирал крошечные листики, проявляя,— деликатней, чем любой философ,— самые дружеские к ней чувства во всем, что делал, и каждой струйкой, бьющей из дырочек лейки, заявляя о своей преданности, верности и любви; когда я думаю о том, как он не давал заблудиться своему рассудку, к которому взывало само несчастье, и никогда не приводил за собой в сад злосчастного короля Карла Первого и никогда не забывал о том, что происходит нечто неладное и что следует все уладить,— когда я обо всем этом думаю, мне становится почти стыдно при мысли о том, что̀ сделал он, будучи не в своем уме, и что̀ при своем уме сделал я.

— Только я одна, Трот, знаю, что это за человек,— с гордостью говорила бабушка, когда мы об этом беседовали.— О! Дик еще покажет себя!

Прежде чем закончить эту главу, я должен упомянуть вот о чем. Когда Агнес с отцом еще гостили у доктора, я обратил внимание, что почтальон ежедневно приносит два-три письма на имя Урии Хипа, остававшегося в Хайгете до отъезда своего компаньона, ибо было время каникул; адрес был всегда надписан рукой мистера Микобера, который уже усвоил круглый, деловой почерк юриста. На основании этих данных я с удовольствием заключил, что у мистера Микобера дела идут хорошо, и был весьма удивлен, получив примерно в это время от его любезной супруги следующее письмо:

«Кентербери.
Понедельник вечером.

Вы, конечно, будете удивлены, дорогой мистер Копперфилд, получив это письмо. А еще больше удивит вас его содержание. А еще больше — просьба сохранить содержание письма в глубокой тайне. Но как жена и мать я нуждаюсь в утешении, и, не желая обращаться к моему семейству (очень нерасположенному к мистеру Микоберу), я не знаю никого, кто мог бы мне дать лучший совет, чем мой старый друг и прежний жилец.

Может быть, вам известно, дорогой мистер Копперфилд, что между мною и мистером Микобером (которого

я никогда не покину) всегда сохранялся дух взаимного доверия. Правда, мистер Микобер иногда мог взять взаймы некоторую сумму, не посоветовавшись раньше со мной, или умолчать о сроке, когда придется платить по обязательствам. Это действительно бывало. Но, в общем, у мистера Микобера не было никаких тайн от сердца, преисполненного любовью,— я подразумеваю его супругу,— и он неизменно перед отходом ко сну сообщал все, что̀ случилось за день.

Вы легко можете себе представить, дорогой мистер Копперфилд, с каким горьким чувством я сообщаю вам, что мистер Микобер совершенно изменился. Он стал скрытен. Он стал загадочен. Его жизнь — тайна для того, кто делил с ним горе и радость,— я снова подразумеваю его супругу,— с утра до ночи он сидит в конторе, и теперь я знаю о нем меньше, чем о человеке с юга, о котором рассказывают неразумным детям, будто рот у него набит холодной кашей с изюмом. К образу этой популярной сказки я прибегаю, чтобы поставить вас в известность, каково положение дел.

Но это не все. Мистер Микобер мрачен. Он суров. Он чуждается нашего старшего сына и старшей дочери, он не испытывает гордости, глядя на своих близнецов, он холодно взирает на невинного незнакомца, который только недавно стал членом нашего семейства. Денежные средства для покрытия наших расходов,— а у нас на счету каждый фартинг,— приходится добывать у него с огромными трудностями, выслушивая страшные угрозы, что он сам будет «платить по счетам» (подлинные его слова). И он безжалостно отказывается хоть как-то объяснить свое безумное поведение.

Это трудно выносить. Это надрывает сердце. Вы знаете мои слабые силы, и если вы посоветуете мне, как их употребить при таких необычайных обстоятельствах, вы окажете мне еще одну дружескую услугу в добавление к тем, которые столько раз оказывали.

Дети шлют вам горячий привет, незнакомец, к счастью своему ничего не ведающий, вам улыбается, а я, дорогой мистер Копперфилд, остаюсь ваша удрученная

Эмма Микобер».

Я позволил себе дать только один совет такой опытной жене, как миссис Микобер: пусть постарается она терпением и лаской вернуть к себе мистера Микобера (я знал, что она, во всяком случае, сможет это сделать). Но письмо заставило меня призадуматься.

ГЛАВА XLIII

Еще один взгляд в прошлое

Снова я хочу помедлить, остановиться на одном памятном периоде моей жизни. Я хочу встать в стороне и поглядеть, как туманной вереницей проходят мимо призраки тех дней, а с ними прохожу и я сам.

Минуют недели, месяцы, времена года. Они кажутся немногим длиннее, чем летний день и зимний вечер. Вот сейчас общественный выгон, где я гуляю с Дорой, весь в цвету; это луг, покрытый ярким золотом, но вот уже снежная пелена погребает под собой вереск, и поле вздувается какими-то шишками и горбами. Река, вдоль которой мы гуляем по воскресеньям, сверкает в лучах летнего солнца, но еще мгновенье — и она покрывается рябью под зимним ветром, а вот уже плывут по ней ледяные глыбы. Быстрее, чем когда-либо, река стремится к морю, она вспыхивает, темнеет и катит свои воды.

Ничто не меняется в доме двух маленьких леди, похожих на птичек. Тикают часы над камином, висит барометр в холле. И часы и барометр всегда ошибаются, но мы свято им верим.

Я достиг совершеннолетия. Мне двадцать один год — возраст достойный. Впрочем, такого рода достоинство может выпасть на долю каждого. Посмотрим, чего я достиг собственными силами.

Я укротил этого дикого зверя — таинственную стенографию. Она дает мне приличный заработок. Своими успехами я снискал высокое уважение всех, имеющих отношение к сему искусству, и теперь состою в числе двенадцати стенографов, записывающих парламентские прения для утренней газеты. Вечер за вечером я записываю предсказания, никогда не сбывающиеся, исповедания

веры, от которых всегда отрекаются, объяснения, преследующие одну лишь цель — ввести в заблуждение. Я барахтаюсь в словах. Британия, это злосчастное существо женского пола, всегда перед моими глазами, в виде домашней птицы, приготовленной для вертела: пронзенная канцелярскими перьями, связанная по рукам и ногам красной тесьмой. Я достаточно хорошо знаком с закулисной стороной политической жизни, чтобы знать ей настоящую цену. У меня нет веры в политику, и никогда мне не быть обращенным.

Мой славный старина Трэдлс пробовал заняться тою же работой, но она не по его натуре. Он с полным добродушием относится к своей неудаче и напоминает мне, что всегда считал себя тупицей. В той газете, где работаю я, ему иногда поручают собирать факты, голые факты, которые умы, более плодовитые, затем излагают и приукрашивают. Он получил право заниматься адвокатской практикой и с изумительным усердием и самоотречением наскреб еще сотню фунтов, чтобы вручить их нотариусу, при чьей конторе он состоит. Много было выпито весьма горячего портвейну по случаю получения им прав, и, судя по счету, я бы сказал, что Иннер-Тэмпл извлек из сего немалую выгоду.

Я выступил на другом поприще. Со страхом и трепетом я принялся за сочинительство. Я тайком написал какую-то безделку, отослал ее в один из журналов, и она была напечатана. С той поры я обрел мужество и стал писать. За эти пустячки (а их набралось уже немало) мне аккуратно платят. Вообще, дела мои идут хорошо: подсчитывая свои доходы по пальцам левой руки, я переваливаю через средний палец, останавливаюсь на втором суставе безымянного *.

Мы переехали с Бэкингем-стрит в хорошенький маленький коттедж поблизости от того, на который я загляделся, когда впервые охватил меня энтузиазм. Однако бабушка (выгодно продавшая свой дом в Дувре) не намерена остаться здесь, а думает перебраться в еще более крохотный коттедж, по соседству. Что же это предвещает? Мою женитьбу? Да!

Да! Я женюсь на Доре! Мисс Лавиния и мисс Кларисса дали свое согласие, и они трепещут от волнения,

если только могут трепетать от волнения канарейки. Мисс Лавиния, взяв на себя заботу о приданом моей ненаглядной, неустанно вскрывает пакеты из твердой, как кираса, бумаги и расходится во мнениях с весьма респектабельным молодым человеком, который держит под мышкой длинный сверток и сантиметр. Портниха, чья грудь всегда пронзена иголкой с ниткой, живет и столуется в доме и, по моему мнению, ест, пьет и спит, не снимая с пальца наперстка. Мою ненаглядную они превращают в манекен. Вечно посылают они за ней, чтобы она пришла и что-то примерила. По вечерам мы и пяти минут не можем спокойно посидеть вдвоем; тотчас какая-нибудь назойливая особа стучится в дверь и говорит:

— Ах, простите, мисс Дора! Не подниметесь ли вы наверх?

Мисс Кларисса и бабушка бродят по всему Лондону, выискивая предметы обстановки, чтобы затем мы с Дорой обозрели их. Лучше бы они покупали вещи сразу, без этой церемонии осмотра, ибо, когда мы идем покупать решетку для кухонной плиты или металлический экран, заслоняющий мясо от огня, Дора обращает внимание на китайский домик для Джипа, домик с колокольчиками на крыше и отдает предпочтение ему. А когда мы его покупаем, долгонько приходится приучать Джипа к его новой резиденции; входит он в свой домик или выходит оттуда, все колокольчики начинают звенеть, и он ужасно пугается.

Приезжает на подмогу Пегготи и тотчас берется за дело. По-видимому, в ее ведомство входит неустанная чистка. Она перетирает решительно все, что только можно перетирать, пока каждая вещица не начинает блестеть и лосниться, как и ее собственный славный лоб. В ту пору я начинаю время от времени встречать ее брата — по вечерам он бродит один по темным улицам и всматривается в лица прохожих. Я никогда не заговариваю с ним в такие часы. Когда он с сосредоточенным видом проходит мимо, я слишком хорошо знаю, кого он ищет и чего страшится.

Почему Трэдлс выглядит так внушительно, когда в один прекрасный день он приходит ко мне в Докторс-Коммонс, куда я все еще иной раз забегаю, так, для

порядка, если у меня есть свободное время? Потому что вот-вот сбудутся мои сны наяву. Я беру лицензию на брак.

Маленькая бумажка, а какая в ней сила! Она лежит на моей конторке, и Трэдлс созерцает ее с восторгом и благоговейным страхом. Вот два имени, по обычаю доброго старого времени навеки связанные одно с другим,— Дэвид Копперфилд и Дора Спенлоу. А вот из уголка взирает на наш союз сие отеческое учреждение — Департамент гербовых сборов, столь великодушно интересующееся всеми перипетиями человеческой жизни. А вот и архиепископ кентерберийский печатным шрифтом призывает на нас благословение и делает это по самой дешевой цене.

И все-таки для меня это сон, сон тревожный, счастливый, быстротечный. Я не могу поверить, что это свершится; однако я верю — каждый, кого бы я ни встретил на улице, несомненно предчувствует, что послезавтра я женюсь. Чиновник епископской канцелярии, ведающий юридической частью, узнает меня, когда я прихожу принести клятву, и обходится со мной так непринужденно, словно между нами какая-то масонская связь. В присутствии Трэдлса нет никакой нужды, но он меня сопровождает, всегда готовый прийти на помощь.

— Надеюсь, в следующий раз, дружище,— говорю я Трэдлсу,— вы придете сюда уже по своему делу, и, надеюсь, это случится скоро.

— Благодарю вас за доброе пожелание, дорогой мой Копперфилд,— отвечает он.— Я тоже на это надеюсь. Утешительно знать, что она будет ждать меня, сколько бы ни понадобилось, и что она — самая чудесная девушка во всем...

— Когда вы должны ее встретить? В котором часу приезжает карета? — спрашиваю я.

— В семь часов,— говорит Трэдлс, посмотрев на свои дешевые, старые серебряные часы,— те самые часы, из которых он когда-то, в школе, вынул колесико, чтобы сделать водяную мельницу.— Пожалуй, тогда же, когда и мисс Уикфилд?

— Немного раньше. Мисс Уикфилд приедет в половине девятого.

— Дорогой мой,— говорит Трэдлс,— я почти так же рад, как будто сам женюсь. Подумать только, что все так счастливо завершилось! И как я вам благодарен за нашу дружбу и за внимание, с которым вы отнеслись к Софи, пригласив ее участвовать в радостном празднестве и быть подружкой вместе с мисс Уикфилд! Я растроган до глубины души.

Да, я слышу то, что он говорит, я пожимаю ему руку, и мы идем, разговариваем, обедаем... но я ничему не верю. Все это — словно сон.

В назначенный час Софи появляется в доме тетушек Доры. У нее очень приятное личико — может быть, не безупречно красивое, но удивительно милое,— редко когда увидишь такое простодушное, доброе, искреннее, привлекательное создание. Трэдлс с великой гордостью представляет ее нам, и в течение десяти минут по часам потирает руки, и каждый волосок у него на голове поднимается на цыпочки, когда я, отведя его в уголок, приношу ему поздравления с таким удачным выбором.

Я привожу Агнес, приехавшую с кентерберийской каретой, и снова появляется среди нас ее веселое и прекрасное лицо. Агнес очень расположена к Трэдлсу, и приятно видеть их встречу и наблюдать, как сияет Трэдлс, знакомя с нею самую чудесную девушку в мире.

И все-таки я не верю. Мы проводим восхитительный вечер и бесконечно счастливы. Но я все еще не верю. Я не могу прийти в себя. Я не могу осознать свое счастье. Я пребываю в состоянии затуманенном, смутном, как будто недели две назад я проснулся рано поутру и с той поры не ложился спать. Я не могу сообразить, много ли времени прошло со вчерашнего дня. Мне кажется, я уже много месяцев ношу в кармане лицензию на брак.

Да и на следующий день, когда мы всей компанией идем осматривать дом — наш дом, дом Доры и мой! — я совершенно неспособен смотреть на себя как на его владельца. Мне кажется, что я здесь у кого-то в гостях. Я словно жду настоящего хозяина, который вот-вот придет и скажет, что рад меня видеть. Какой это красивый домик, в нем все так ярко и ново! У цветов на ковре такой вид, как будто они только что расцвели, а обои как будто едва успели покрыться зелеными листьями; чистей-

шие муслиновые занавески, мебель, зарумянившаяся, обитая розовой материей; летняя шляпка Доры с голубыми лентами уже висит на своем гвоздике,— могу ли я забыть, как я полюбил ее, когда увидел впервые в такой же точно шляпке! Футляр с гитарой уже стоит, как у себя дома, в своем углу. И все натыкаются на пáгоду Джипа, которая слишком велика для нашей квартиры.

Еще один счастливый вечер, такой же фантастический, как и все эти вечера, и я перед уходом прокрадываюсь в знакомую комнату. Доры там нет. Вероятно, еще не покончили с примеркой. Мисс Лавиния заглядывает в дверь и таинственно сообщает мне, что Дора скоро придет. Однако она медлит, но вот я слышу шорох, и кто-то стучит в дверь.

Я говорю: «Войдите!» — но кто-то стучит снова.

Я иду к двери, недоумевая, кто же это может быть. И вот я вижу блестящие глаза и зардевшееся лицо — это глаза и лицо Доры. Мисс Лавиния нарядила ее в платье и шляпку, предназначенные на завтра, чтобы показать их мне. Я прижимаю к сердцу мою маленькую жену, и мисс Лавиния взвизгивает, потому что я мну шляпку, а Дора смеется и плачет, видя мою радость. А я все не верю — верю меньше, чем когда бы то ни было.

— Вам нравится, Доди? — спрашивает Дора.

Нравится! Может ли мне не нравиться?

— И вы убеждены, что очень любите меня?

Эта тема чревата слишком опасными последствиями для шляпки, и мисс Лавиния снова взвизгивает и просит меня запомнить, что на Дору можно только смотреть, но ни под каким видом нельзя к ней прикасаться. И вот минуты две Дора в очаровательном смущении стоит, позволяя восхищаться ею, а потом снимает шляпку — какой привычной и родной кажется она без нее! — и убегает, держа ее в руке. Приплясывая, она возвращается в своем обычном платье, спрашивает Джипа, красивая ли у меня маленькая жена и простит ли он ее за то, что она выходит замуж, и в последний раз в своей девичьей жизни, опустившись на колени, заставляет Джипа стоять на поваренной книге.

Я ухожу, еще менее, чем раньше, веря в то, что меня ждет, и отправляюсь в комнату, которую нанял по сосед-

ству, а встаю спозаранку, чтобы заехать на Хайгет-роуд за бабушкой.

Никогда еще не видывал я бабушку в таком парадном наряде. На ней платье светло-лилового шелка и белая шляпка, и она великолепна. Дженет помогла ей одеться и стоит тут же, чтобы поглазеть на меня. Пегготи уже готова ехать в церковь, намереваясь созерцать церемонию с галереи. Мистер Дик, посаженый отец моей любимой, который у алтаря «отдаст ее мне в жены», завил себе волосы. Трэдлс, который, как было условлено, ждал нас у заставы, являет собою ослепительное сочетание светло-голубых и кремовых тонов. И он и мистер Дик имеют такой вид, словно с головы до пят затянуты в перчатку.

Несомненно, я все это вижу, ибо знаю, что именно так оно и есть; но я сбился с пути и словно ничего не вижу. И решительно ничему не верю. Однако, пока мы едем в открытой коляске, эта волшебная свадьба становится в достаточной мере реальной, чтобы я почувствовал какое-то недоумевающее сострадание к тем несчастливцам, которые, не принимая никакого участия в ней, только подметают лавки и занимаются своими повседневными делами.

Бабушка сидит и всю дорогу держит мою руку в своей. Когда мы останавливаемся неподалеку от церкви, чтобы ссадить Пегготи, которую мы привезли на козлах, бабушка стискивает мою руку и целует меня.

— Да благословит тебя бог, Трот! Мой родной сын не был бы мне дороже. Все утро я думаю о бедной дорогой малютке.

— Я тоже думаю о ней. И обо всем, чем я обязан вам, дорогая бабушка.

— Полно, дитя! — говорит бабушка и, преисполненная дружеских чувств, протягивает руку Трэдлсу, а тот подает руку мистеру Дику, который в свою очередь протягивает руку мне, а я протягиваю руку Трэдлсу, и вот мы подъезжаем к вратам церкви.

В церкви тихо, я в этом уверен, но эта тишина успокаивает меня не больше, чем паровая машина, пущенная во весь ход. Мне уже не до спокойствия.

Все, что следует потом,— сновидение, сновидение более или менее бессвязное.

Снится мне — они входят с Дорой; сторожиха, на обязанности которой лежит отпирать загородку перед скамьями, словно сержант, выстраивает нас у решетки, отделяющей алтарь; и снится мне, что даже в ту минуту я недоумеваю, почему эти сторожихи долженствуют быть самыми неприятными особами женского пола, каких только можно выбрать, и почему какой-то священный ужас пред гибельной заразой добросердечия повелевает расставлять на пути к небу эти сосуды с уксусом.

Мне снится — появляются священник и клерк; несколько лодочников и прочий люд заходят в церковь; ветхий моряк у меня за спиной наполняет церковь сильным запахом рома; густой бас начинает богослужение, и все мы внимательно слушаем.

Мне снится — мисс Лавиния, нечто вроде вспомогательной подружки, первая начинает всхлипывать и плакать (как полагаю я, в память Пиджера); мисс Кларисса прибегает к флакончику с нюхательной солью; Агнес берет на себя заботу о Доре; бабушка изо всех сил старается быть образцом суровости, и слезы струятся по ее щекам; а маленькая Дора вся трепещет и слабым шепотом отвечает на вопросы.

Мне снится — мы вместе, бок о бок, преклоняем колени; Дора дрожит все меньше и меньше, но все время сжимает руку Агнес; спокойно и торжественно проходит служба; а когда она заканчивается, мы смотрим друг на друга и улыбаемся сквозь слезы, точь-в-точь как апрель, который и улыбается и плачет, и вот мы уже в ризнице, и моя юная жена начинает рыдать, оплакивая своего бедного папу, дорогого папу.

Мне снится — она приходит в себя, и мы все по очереди расписываемся в книге, и я поднимаюсь на галерею за Пегготи, чтобы и она тоже расписалась. А Пегготи обнимает меня в уголке и говорит, что она видела, как выходила замуж моя дорогая мать. И вот все кончено, и мы уходим.

Мне снится — с гордостью и любовью я веду по проходу между скамьями мою милую жену, и, словно сквозь дымку, я вижу и не вижу людей, кафедру, памятники, скамьи, купель, орган, церковные окна, а откуда-то возникают слабые воспоминания о родной церкви, куда меня водили в детстве, так давно-давно.

Мне снится — нам шепчут вслед: какая мы юная пара и как прелестна моя маленькая жена! Но вот отъезжает коляска, и все мы веселы и болтаем без умолку. И Софи рассказывает нам, как ей чуть было не сделалось дурно, когда она услышала, что у Трэдлса требуют лицензию (которую я ему доверил), ибо была убеждена, что он ухитрился ее потерять или ее вытащили у него из кармана. И снится мне — Агнес весело смеется, а Дора так любит Агнес, что не хочет расставаться с ней и все еще держит ее за руку.

Снится мне завтрак, изобилие сытных, вкусных блюд и напитков, я принимаю участие в завтраке, но не имею ни малейшего представления о вкусе блюд и напитков, как бывает в любом сне; я ем, я пью и, если можно так выразиться, насыщаюсь любовью и браком и верю в реальность яств на столе не больше, чем во все остальное.

Снится мне — в том же дремотном состоянии, кажется, я произношу речь, но понятия не имею о том, что хочу сказать, и даже твердо убежден, что вообще не произносил ее. И все мы очень веселы и счастливы (хотя все это по-прежнему сон); а Джип поел свадебного пирога, после которого его тошнит.

Мне снится — подана почтовая карета, запряженная парой, и Дора уходит переодеться. Бабушка и мисс Кларисса остаются с нами, мы прогуливаемся по саду, и бабушка, которая произнесла за завтраком самую настоящую речь, обращенную к тетушкам Доры, от души смеется над собой и в то же время чуточку гордится своим красноречием.

И снится мне — Дора совсем готова к отъезду и вокруг нее вертится мисс Лавиния, которой ужасно не хочется расставаться с красивой игрушкой, доставлявшей ей столько приятных забот. А Дора делает множество удивительных открытий: она забыла и то и се — всякие мелочи, и все бегают взад-вперед в поисках забытых вещей.

И вот все окружают Дору, когда, наконец, она начинает прощаться; в своих ярких платьях и с яркими лентами они похожи на клумбу цветов! А моя ненаглядная, почти задушенная этими цветами, вырывается на свободу и, смеясь и плача, бросается ко мне, и я ревниво заключаю ее в свои объятия.



Мне снится — я хочу нести Джипа (он едет вместе с нами), а Дора говорит, что понесет его сама, иначе он подумает, что теперь, выйдя замуж, она его разлюбила, и сердце его разорвется. Мне снится — мы идем рука об руку, а Дора останавливается, озирается, говорит: «Если кому-нибудь я причинила зло, была неблагодарной, забудьте об этом!» — и заливается слезами.

Мне снится — она машет своей маленькой ручкой, и мы отправляемся в путь. И снова она останавливает карету, оглядывается, бросается к Агнес и, предпочитая ее всем другим, отдает ей свой последний, прощальный поцелуй.

Мы уезжаем, и я пробуждаюсь ото сна. Наконец-то я верю: рядом со мною моя дорогая, дорогая маленькая жена, которую я так горячо люблю!

— Теперь-то уж ты счастлив, мой глупенький мальчик? — говорит Дора.— И ты уверен, что не будешь раскаиваться?

Я посторонился, чтобы посмотреть, как проходят мимо меня призраки той поры. Они прошли, и я возобновляю свое повествование.

ГЛАВА XLIV

Наше домашнее хозяйство

Странное это было чувство: медовый месяц позади, подружки разъехались по домам, а я сижу в нашем маленьком домике вместе с Дорой, и меня уже, так сказать, прогнали со службы: кончилось мое сладостное старое занятие — ухаживание.

Как это было необычно — постоянно видеть Дору! Как трудно было постигнуть, что больше мне не нужно куда-то идти, чтобы ее повидать, не нужно мучиться из-за нее, не нужно ей писать, не нужно изощряться, придумывая, как бы остаться с ней наедине! Случалось, я отрывался по вечерам от своего писанья и, увидев ее сидящей напротив, откидывался на спинку стула и размышлял о том,

как странно, что мы теперь вместе, наедине друг с другом, и никому до этого нет дела, а романтическая пора нашего обручения покоится где-то на полке и там ржавеет, и мы можем теперь радовать только друг друга и больше никого — радовать друг друга до конца жизни.

Когда в парламенте бывали прения и я возвращался домой поздно, как странно было думать, что Дора ждет меня дома! Как это было поначалу удивительно, когда она спускалась вниз поговорить со мной, пока я ужинал! Это было так невероятно — узнать, что она закручивает свои волосы на папильотки. И как странно было мне видеть ее за этим занятием!

Мне кажется, чета молоденьких птичек вряд ли понимала в домашнем хозяйстве меньше, чем я и моя милая Дора. Конечно, у нас была служанка. Она ведала домашним хозяйством. До сих пор я еще подозреваю, что она была переодетая дочь миссис Крапп — так мы намучились с Мэри-Энн!

Фамилия ее была Парагон. Когда мы нанимали Мэри-Энн, у нас составилось о ней такое представление, словно эта фамилия лишь в слабой степени отражала ее качества *. У нее была письменная рекомендация, не менее длинная, чем какое-нибудь воззвание, и, согласно сему документу, она могла исполнять решительно все домашние обязанности, о которых я когда-либо слышал, а в придачу множество таких, о которых я и не слыхивал. Это была женщина в расцвете лет, с весьма суровой физиономией, и у нее постоянно появлялась какая-то красноватая сыпь, словно от кори, в особенности на руках. Был у нее кузен лейб-гвардеец, такой длинноногий, что походил на длинную вечернюю тень. Мундир был для него слишком короток, а он сам слишком велик для нашего домика. По этой причине домик казался меньше, чем был на самом деле. Стены нашего коттеджа не были толстыми, и когда кузен проводил вечер у нас, из кухни непрерывно доносилось какое-то урчание.

Наше сокровище, если судить по рекомендации, было существом трезвым и честным. И мне хочется думать, что, когда однажды мы нашли ее лежавшей под опрокинутым баком, причиной этого был припадок какой-нибудь болезни, а в пропаже чайных ложек был виноват мусорщик.

Но запугивала она нас ужасно. Свою неопытность мы сознавали и ничего не могли поделать. Я сказал бы, что мы были отданы ей на милость, если бы она была милостива, но она была женщина безжалостная и не ведала сострадания. Из-за нее у нас произошла первая маленькая ссора.

— Ненаглядная моя,— сказал я однажды Доре,— как ты думаешь, имеет ли Мэри-Энн хоть какое-нибудь понятие о времени?

— А что такое, Доди? — с невинным видом спросила Дора, отрываясь от своего рисования.

— Дело в том, родная моя, что сейчас пять часов, а мы должны были обедать в четыре.

Дора задумчиво посмотрела на часы и высказала предположение, что они спешат.

— Напротив, любовь моя,— сказал я, взглянув на свои карманные часы.— Они на несколько минут отстают.

Моя маленькая жена подошла, уселась ко мне на колени, чтобы своими ласками меня успокоить, и провела карандашом линию по моей переносице, что было очень приятно, но все же не могло заменить обеда.

— Не думаешь ли ты, дорогая моя, что тебе следовало бы сделать выговор Мэри-Энн? — сказал я.

— О нет! Я не могу, Доди!..— воскликнула она.

— Почему, любовь моя? — ласково спросил я.

— Ах, да потому, что я такая глупышка, а она это знает,— сказала Дора.

Это рассуждение показалось мне столь несовместимым с любым способом воздействовать на Мэри-Энн, что я слегка нахмурился.

— Ох, какие некрасивые морщинки на лбу у моего злого мальчика! — сказала Дора и провела по ним карандашом, все еще сидя у меня на коленях. Она пососала карандаш розовыми губками, чтобы он писал чернее, и с такой забавной миной принялась трудиться над моим лбом, что я поневоле пришел в восторг.

— Вот и пай-мальчик! Ему куда больше к лицу, когда он смеется,— сказала она.

— Но, любовь моя, послушай...

— Нет, нет! Пожалуйста, не надо! — воскликнула

Дора, целуя меня.— Не будь злым Синей Бородой! Не будь серьезным!

— Должны же мы иногда быть серьезны, моя драгоценная,— сказал я.— Ну вот, сядь здесь на стул поближе ко мне. Отдай мне карандаш. Теперь поговорим серьезно. Ты знаешь, дорогая... (Какая маленькая ручка держала этот карандаш и какое крохотное обручальное кольцо было на пальчике!) Ты понимаешь, моя любимая, не очень-то приятно уходить из дому без обеда. Правда?

— Да-а-а...— тихонько протянула Дора.

— Как ты дрожишь, моя любимая!

— Потому что я знаю — сейчас ты будешь меня бранить! — жалобно воскликнула Дора.

— Радость моя, я только хочу обсудить...

— Ох! Обсуждать — это еще хуже, чем бранить! — в отчаянии воскликнула Дора.— Я вышла замуж не для того, чтобы со мной что-то обсуждали. Если ты собирался что-то обсуждать с такой бедной глупышкой, как я, тебе следовало бы предупредить меня, злюка!

Я попробовал утихомирить Дору, но она отвернулась и столько раз встряхнула локонами и повторила: «Злюка, злюка!» — что я решительно не знал, что делать. Я прошелся по комнате в полной растерянности и вернулся к Доре.

— Дора, радость моя!

— Нет, я не твоя радость! Ты, конечно, жалеешь, что женился на мне, иначе ты не стал бы ничего со мной обсуждать,— заявила Дора.

Меня так обидело это незаслуженное обвинение, что я набрался храбрости и сказал серьезным тоном:

— Дорогая моя Дора, ты ведешь себя как ребенок и говоришь вздор. Должна же ты помнить, что вчера мне пришлось уйти, не дождавшись конца обеда, а третьего дня я должен был есть недожаренную говядину, и мне стало плохо. Сегодня я вовсе не обедаю. А завтрака мы ждали так долго, что подумать страшно, и вода все-таки не закипела. Я не хочу тебя упрекать, моя милая, но, право же, это неприятно.

— Злюка, злюка! Ты говоришь, что я противная жена! — воскликнула Дора.

— Милая Дора, да я этого никогда не говорил!

— Ты сказал, что я тебе неприятна! — объявила Дора.

— Мне неприятно, что у нас такое хозяйство,— вот что я сказал.

— Это одно и то же! — вскричала Дора.

По-видимому, она так и думала, потому что горько заплакала.

Снова я прошелся по комнате, пылая любовью к моей хорошенькой жене и осыпая себя такими упреками, что готов был разбить себе голову о косяк двери. Я опять подсел к ней и сказал:

— Дора, я тебя ни в чем не виню. Нам обоим надо многому научиться. Я только хочу тебя убедить, моя дорогая, что ты должна, право же должна (тут я решил не идти на уступки) приучить себя к тому, чтобы присматривать за Мэри-Энн. А также заботиться немножко о себе и обо мне.

— Я удивляюсь, право удивляюсь, как ты можешь быть таким неблагодарным,— всхлипывая, сказала Дора.— Ведь ты же знаешь, на днях, когда ты сказал, что не прочь покушать рыбы, я пошла за ней сама, прошла много-много миль и заказала ее, чтобы доставить тебе удовольствие.

— И это было очень мило с твоей стороны, моя радость,— сказал я.— Я так обрадовался. Я даже словом не обмолвился о том, что ты купила слишком много лососины на двоих. И что она стоила фунт шесть шиллингов, а этого мы не можем себе позволить.

— Она тебе очень понравилась,— всхлипывала Дора,— и ты назвал меня мышкой.

— И я еще тысячу раз назову тебя так, моя радость!

Но нежное сердечко Доры было ранено, и ее трудно было утешить. Она так трогательно всхлипывала и плакала, что мне казалось, будто я сказал невесть что и этим ее обидел. Мне надо было спешить, я задержался допоздна и весь вечер невыносимо терзался угрызениями совести. Я чувствовал себя убийцей, я почти верил, что совершил какое-то чудовищное злодеяние.

Был третий час ночи, когда я возвратился домой. У нас я застал бабушку,— она ждала меня.

— Бабушка! Что-нибудь случилось? — спросил я встревоженный.

— Ровно ничего, Трот. Да садись же! Цветочек немножко приуныл, и я с ней посидела. Вот и все.

Усевшись у камина, я подпер голову рукой и не отрывал глаз от огня; трудно было предположить, что мне может быть так тяжело и грустно, когда только-только сбылись мои самые радужные надежды. Я встретился взглядом с бабушкой, не спускавшей с меня глаз, ее лицо выражало тревогу, но оно немедленно прояснилось.

— Уверяю вас, бабушка, мне весь вечер было так грустно думать, что и Дора так же расстроена, как я. Но ведь я хотел только ласково и нежно поговорить с ней о наших домашних делах.

Бабушка одобрительно кивнула головой.

— Ты должен быть терпеливым, Трот,— сказала она.

— Ну, разумеется. Бог свидетель, я стараюсь не быть безрассудным.

— Вот-вот. Но. Цветочек — нежный и совсем крошечный, и ветер должен его щадить.

Мысленно я благодарил бабушку за ее чуткость к моей жене, и, я уверен, она это понимала.

— Вы не могли бы, бабушка, время от времени помогать Доре, дать ей добрый совет? Это было бы на пользу нам обоим,— сказал я, снова глядя на огонь.

— Нет, Трот. Не проси меня об этом,— сказала она с волнением.

Тон ее был так серьезен, что я с удивлением поднял глаза.

— Дитя мое, я оглядываюсь на свою жизнь,— продолжала она,— и думаю о тех, кто уже в могиле, о тех, с кем я могла быть дружнее и ближе. Раньше я строго осуждала ошибки супругов, но ведь это потому, что у меня самой был горький опыт и я могла строго осуждать и свои ошибки. Не будем об этом говорить. Много лет я была упрямой, своенравной брюзгой. И теперь я такая, да такой и останусь. Но мы многим друг другу обязаны, Трот, во всяком случае я — тебе, и теперь поздно нам ссориться.

— *Нам* ссориться?! — вскричал я.

— О дитя, дитя! — разглаживая складки платья, ска-

зала бабушка.— Как скоро это случится и Цветочек станет из-за меня несчастной, если я вмешаюсь в вашу жизнь,— этого и пророк не может предугадать. Я хочу, чтобы наша девочка любила меня и была веселой, как мотылек. Вспомни вашу домашнюю жизнь, когда твоя мать вторично вышла замуж. И остерегайся, чтобы не вовлечь нас с Дорой в беду.

Я понял, что бабушка права; понял я также и то, как благородно относится она к моей любимой жене.

— Вы только начинаете вашу жизнь, Трот,— продолжала она,— но Рим построен не в один день и даже не в один год. Твой выбор был свободен,— тут, мне показалось, ее лицо на секунду омрачилось,— и ты избрал очаровательное создание с любящим сердцем. Твой долг, да и радость для тебя, я уверена,— я совсем не собираюсь читать лекцию! — ценить ее (ведь ты ее сам выбрал) за качества, которые у нее есть, а не за те, которых у нее нет. Постарайся, если сможешь, развить в ней качества, каких ей не хватает. А если не сможешь, мое дитя,— она потерла нос,— ну что ж, ты должен обходиться и без них. Но помни, мой дорогой, ваше будущее только в руках вас обоих. Никто вам помочь не может, полагайтесь только на себя. Это и есть брак, Трот. И помогай вам бог! Вы — словно дети, заблудившиеся в лесу.

Последние слова бабушка произнесла веселым тоном и свое пожелание скрепила поцелуем.

— А теперь,— сказала она,— зажги мне фонарик и проводи меня по садовой тропинке до моей конурки (таким путем мы сообщались с ее домиком). Когда вернешься, передай Цветочку поцелуй от Бетси Тротвуд. И, что̀ бы ни случилось, Трот, выбрось из головы мысль превратить Бетси в пугало. Мне приходится видеть ее в зеркале, она и так достаточно худа и страшна!

С этими словами бабушка, по своему обыкновению, повязала голову носовым платком, и я проводил ее домой. Пока она стояла у себя в садике и светила мне фонариком, я заметил, что она снова вглядывается в меня с каким-то беспокойством. Но я слишком погружен был в размышления о том, что̀ она говорила, и слишком большое впечатление произвела на меня — по правде сказать, впервые — мысль, что мы с Дорой должны сами строить

свое будущее и никто нам помочь не может, а потому я не обратил на ее беспокойство никакого внимания.

Когда я вернулся назад, Дора спустилась вниз в своих крошечных туфельках и заплакала, положив голову мне на плечо, и говорила, что я был бессердечен, а она злюка; кажется, и я говорил то же самое, и все уладилось, и мы обещали друг другу, что эта размолвка будет первой и последней и никогда в жизни у нас не будет ничего подобного, хотя бы мы прожили сто лет.

Вслед за тем наша семейная жизнь подверглась еще одному испытанию — этому испытанию подвергли нас наши слуги. Кузен Мэри-Энн дезертировал и спрятался у нас в чулане для угля, откуда и был вытащен, к нашему изумлению, пикетом его товарищей по оружию и торжественно уведен в наручниках, что покрыло позором наш палисадник. Это придало мне смелости распроститься с Мэри-Энн, которая, получив жалованье, удалилась, к моему удивлению, весьма мирно; удивление мое уступило место другому чувству, когда я узнал о пропаже чайных ложек и о ее привычке брать от моего имени взаймы маленькие суммы у наших поставщиков. После миссис Киджербери — старейшей кентской обитательницы, которая ходила на поденную работу, но по дряхлости была неспособна преуспеть в этом занятии,— мы нашли другое сокровище; это была женщина симпатичнейшая, но она имела обыкновение катиться с подносом вниз по кухонной лестнице и с сервизом нырять в гостиную, словно в ванну. Опустошения, произведенные этой злосчастной особой, вынудили нас рассчитать ее, а за ней последовал (с промежутками, которые заполняла миссис Киджербери) длинный ряд особ, совершенно неподходящих, завершившийся миловидной девицей, которая отправилась на гринвичскую ярмарку в шляпке Доры. А затем я ничего не могу вспомнить, кроме непрерывных наших неудач.

Казалось, каждый, с кем мы имели дело, нас обманывал. Наше посещение лавок было сигналом, по которому немедленно появлялись испорченные продукты. Если мы покупали омара, он был полон воды. Мясо мы ели всегда жилистое, а на булках никогда не было румяной корочки. Чтобы узнать, сколько времени надо жарить

мясо и не пережарить его, я сам обратился к поваренной книге, где прочел, что полагается четверть часа на каждый фунт, а сверх того четверть часа на весь кусок. Но по какой-то странной, печальной случайности это правило всегда нас подводило, и ростбиф оказывался то совсем сырым, то превращался в уголь.

Все эти неудачи, я уверен, стоили нам значительно дороже, чем обошелся бы самый блистательный успех. Просматривая наши заборные книжки у лавочников, я пришел к заключению, что мы могли бы вымостить сливочным маслом весь наш подвальный этаж,— так много потребляли мы сего продукта. Не знаю, отмечали ли в то время отчеты акцизного управления повышение спроса на перец, но если наши подвиги и не повлияли на рынок, я уверен, многие семейства все же вынуждены были отказаться от употребления перца. А самое загадочное было то, что у нас в доме никогда ничего не было.

Что касается до прачки, которая закладывала наше белье и в пьяном виде приносила покаяние, мне кажется, это случалось не только у нас; то же следует сказать и о загорании сажи в дымоходе и о вызове приходских пожарных с насосом и о лжесвидетельстве бидла. Но опасаюсь, что нам не повезло больше, чем остальным, когда мы наняли служанку со склонностью к возбуждающим напиткам и наши счета за портер в трактире пестрели такими непонятными примечаниями: «Стакан рома с лимоном (миссис К.)», «Полстакана джина с корицей (миссис К.)», «Стакан рома с мятой (миссис К.)»; после объяснений выяснилось, что скобки всегда имели отношение к Доре, которая якобы поглощала все эти напитки.

Когда мы завели свое хозяйство, одним из наших первых подвигов был обед в честь Трэдлса. Я встретил его в городе и предложил отправиться вместе со мной. Он охотно согласился, а я написал Доре записку, предупреждая, что приведу его к нам. День был прекрасный, и дорогой мы беседовали о моем семейном счастье. Трэдлс был поглощен этой темой и заявил, что, когда он представляет себе такой же домашний очаг и Софи, которая ждет его и о нем заботится, ему больше ничего не нужно для полноты блаженства.

Более красивой маленькой жены, сидящей за столом

против меня, я не мог бы пожелать, но, когда мы все уселись, я, несомненно, мог бы пожелать, чтобы нам было не так тесно. Я не знал, чем это объяснить, но нам бывало тесно даже тогда, когда мы оставались вдвоем, и тем не менее места всегда хватало, чтобы все вещи где-то терялись. Полагаю, происходило это потому, что каждая из них была не на своем месте, за исключением пáгоды Джипа, которая неизменно загораживала свободный проход. На этот раз Трэдлс так был зажат между пáгодой, футляром с гитарой, цветами, нарисованными Дорой, и моим письменным столом, что я серьезно сомневался, удастся ли ему орудовать ножом и вилкой. Но он возражал со свойственным ему добродушием:

— Безграничный простор, Копперфилд! Уверяю вас, безграничный!

Было у меня еще одно желание — чтобы Джипа не поощряли к прогулкам по скатерти во время обеда. Я начинал склоняться к мысли, что такие прогулки — и сами по себе непорядок, даже если бы Джип и не обладал привычкой совать лапку в солонку или в растопленное масло. На сей раз он как будто вообразил, что его посадили на стол специально для острастки Трэдлса, и с таким непреклонным упорством тявкал на моего старого друга и кидался к его тарелке, что, можно сказать, разговор шел только о нем.

Но я знал, какое нежное сердечко у моей дорогой Доры и как она чувствительна к малейшей обиде, наносимой ее любимцу, и потому не протестовал. По той же причине я ни слова не сказал о валявшихся на полу ножах и вилках, о неприличном виде судков, стоявших как попало и казавшихся пьяными, и о том, что Трэдлсу уже совсем нельзя было повернуться, когда по столу начали кочевать кувшины и блюда с овощами. Созерцая лежавшую передо мной вареную баранью ногу и собираясь ее разрезать, я невольно задумался, почему покупаемое нами мясо отличается таким необычным видом и не заключил ли наш мясник договора на скупку всех барановуродцев, какие только появляются на свет. Но свои размышления я оставил при себе.

— Радость моя,— сказал я Доре,— что это у тебя там на блюде?

Я понять не мог, почему Дора делает потешные гримасы, как будто хочет меня поцеловать.

— Устрицы, дорогой,— робко сказала Дора.

— Это ты сама придумала? — в восторге спросил я.

— Д...да, Доди,— ответила Дора.

— Какая счастливая мысль! — воскликнул я, кладя на стол нож и вилку.— Трэдлс больше всего на свете любит устрицы!

— Да, да, Доди,— сказала Дора,— и вот я купила чудесный бочоночек, а продавец сказал, что они очень свежие. Но я... я боюсь... не случилось ли с ними что-нибудь. Они какие-то странные...

Тут Дора покачала головой, и в глазах у нее засверкали алмазы.

— Они открыты только наполовину,— сказал я.— Сними верхние раковины, любовь моя.

— Но они не снимаются,— горестно сказала Дора, трудясь изо всех сил.

— Знаете ли, Копперфилд,— вмешался Трэдлс, добродушно обозревая устрицы,— мне кажется... устрицы, конечно, превосходны, но, мне кажется... их совсем не открывали.

Да, их совсем не открывали, а у нас не было специальных ножей для устриц, да мы и не знали, как с этими ножами обращаться. И вот мы посмотрели на устриц и принялись есть баранину. Мы съели ту часть ноги, которая была съедобна, и вознаградили себя каперсами. Если бы я не протестовал, Трэдлс готов был превратиться в дикаря и съесть полную тарелку сырого мяса только ради того, чтобы выразить свое восхищение пиршеством. Но я не мог допустить, чтобы он принес такую жертву на алтарь дружбы, и вместо этого мы удовлетворились беконом, ибо, к счастью, в кладовке был обнаружен холодный бекон.

Моя маленькая жена была, бедняжка, так огорчена, думая, что я рассержусь, и так обрадовалась, когда этого не случилось, что я очень скоро оправился от смущения, и мы чудесно провели вечер. Пока мы с Трэдлсом беседовали за стаканом вина, Дора была тут же, рядом со мной, сидела, положив руку на спинку моего стула, и пользовалась каждым удобным случаем, чтобы шепнуть

мне на ухо, что, с моей стороны, так мило не сердиться и не брюзжать. Затем она приготовила чай, и столь восхитительно было видеть, как она увлечена этим делом, словно перед ней был кукольный сервиз, что я не обратил внимания, хорошо ли заварен чай. Потом мы с Трэдлсом сыграли одну-две партии в криббедж, Дора пела нам песенки, аккомпанируя себе на гитаре, и мне казалось, что наша влюбленность и наш брак — какое-то чудесное сновидение, а вечер, когда я впервые услышал ее голос, все еще длится.

Когда Трэдлс ушел и я, проводив его, вернулся в гостиную, моя жена придвинула свой стул к моему и села рядом со мной.

— Мне так жаль,— сказала она.— Ты попытаешься еще поучить меня, Доди?

— Сперва я должен научиться сам, Дора,— сказал я.— Мы оба еще ничего не знаем, моя дорогая.

— Ах! Но ты научишься. Ты такой умный.

— Какой вздор, моя мышка! — отозвался я.

— Мне хотелось бы поехать на целый год в провинцию и пожить с Агнес,— после долгого молчания сказала моя жена.

Ее ручки сжимали мое плечо, она опустила на них подбородок, и ее голубые глаза спокойно смотрели на меня.

— Зачем? — спросил я.

— Мне кажется, она могла бы меня исправить, а у *нее* я могла бы научиться,— сказала Дора.

— Все в свое время, любовь моя. Агнес должна была заботиться о своем отце в течение всех этих лет. Когда она была еще совсем ребенком, это была уже та самая Агнес, которую ты знаешь теперь.

— Скажи, ты будешь меня называть так, как я хочу? — не шелохнувшись, спросила Дора.

— Как? — улыбаясь, спросил я.

— Это имя глупое, но...— тряхнув локонами, сказала она.— «Девочка-жена!»

Смеясь, я спросил мою девочку-жену, почему ей пришло в голову, чтобы я так ее называл. Она по-прежнему оставалась неподвижной, но я обнял ее, привлек к себе и глубже заглянул в ее голубые глаза.

— Ах ты глупыш! Я совсем не хочу, чтобы ты называл меня «девочкой-женой», а не Дорой. Я хочу только, чтобы ты думал обо мне так про себя. Когда ты собираешься рассердиться на меня, скажи себе: «Да ведь это только девочка-жена!» Когда я буду несносна, скажи: «Я давно знал, что из нее выйдет только девочка-жена!» Когда ты заметишь, что я не такая, какой хотела бы стать,— а я, пожалуй, такой никогда не стану,— скажи себе: «А все же моя девочка-жена меня любит!» Потому что это правда — я тебя люблю.

Я не принял ее слов всерьез, пока не убедился, что она говорит вполне серьезно. И она так обрадовалась, когда я от всего сердца отозвался на ее просьбу, что лицо ее засияло, прежде чем глазки успели высохнуть. Да, она и в самом деле была моей девочкой-женой. Усевшись па полу около китайского домика, она позванивала по очереди во все колокольчики, чтобы наказать Джипа за плохое поведение, а Джип лежал на пороге домика, голова его высовывалась наружу; он обленился так, что даже раздразнить его было невозможно.

Просьба Доры произвела на меня сильное впечатление. Я гляжу назад, в прошлое, и из туманных его далей вызываю образ невинного существа, которое я страстно любил, и снова Дора обращает ко мне нежное лицо, а в моей памяти постоянно звучит ее просьба. Быть может, я не всегда выполнял ее,— я был молод и неопытен,— но никогда я не оставался глух к этой бесхитростной мольбе.

Вскоре после этого Дора сказала мне, что собирается стать чудесной хозяйкой. Она протерла костяные таблички своей записной книжки, очинила карандаш, купила огромную приходо-расходную книгу, старательно подшила все листы поваренной книги, вырванные Джипом, и сделала отчаянную попытку быть, как она выражалась, «хорошей». Но цифры по-прежнему упрямились — они никак не хотели подчиниться правилам сложения. Только-только ей удавалось с большим трудом подсчитать несколько цифр, как появлялся Джип и, прогуливаясь по странице, размазывал хвостом все написанное. Средний пальчик Доры весь пропитался чернилами, и, мне кажется, только этого она и добилась.

Иногда по вечерам, когда я сидел дома за работой,— теперь я много писал, и мое имя постепенно становилось известным,— я откладывал перо и следил, как моя девочка-жена старается быть «хорошей». Прежде всего она приносила огромную приходо-расходную книгу и с глубоким вздохом клала ее на стол. Потом она открывала ее на той странице, которую Джип накануне вечером сделал неудобочитаемой, и звала его, чтобы он убедился в своем проступке. Это служило поводом позабавиться Джипом, а иной раз, в виде наказания, намазать ему нос чернилами.

Затем она приказывала Джипу, чтобы тот немедленно улегся на столе, «как лев»,— это было одним из его фокусов, хотя должен сказать, что сходство отнюдь не являлось потрясающим,— и если он склонен был к уступчивости, то повиновался. Тогда она брала перо, начинала писать и обнаруживала приставший к перу волосок. Она брала другое перо, начинала писать и обнаруживала, что оно делает кляксы. Затем она брала новое перо, начинала писать и шептала: «Ох, это перо скрипит, оно помешает Доди!» Тут она бросала работу как дело нестоящее и уносила приходо-расходную книгу, сделав предварительно вид, будто хочет обрушить ее на льва.

Если же она бывала особенно усидчива и серьезна, она принималась за свою записную книжку и корзиночку со счетами и другими бумажками, напоминавшими скорей всего папильотки, и пыталась добиться какого-нибудь толку. Она сверяла одну бумажку с другой, делала записи в книжке, стирала их, снова и снова подсчитывала по пальцам левой руки, начиная то с мизинца, то с большого пальца, и в конце концов приходила в такое расстройство и отчаяние и казалась такой несчастной, что мне становилось больно смотреть, как омрачалось ее ясное личико,— и все из-за меня! Я потихоньку подходил к ней и спрашивал:

— Что такое, Дора?

Дора беспомощно поднимала на меня глаза и отвечала:

— В них совсем нельзя разобраться. У меня голова разболелась. Я не могу с ними сладить.

Тогда я говорил:

— Попробуем вместе. Я тебе покажу, Дора.

И я приступал к практическим занятиям, а Дора минут пять слушала с глубоким вниманием, после чего ее одолевала страшная усталость и она развлекалась тем, что накручивала мои волосы себе на пальчик или пыталась узнать, будет ли мне к лицу отогнутый ворот сорочки. Когда я молча прекращал эти забавы и продолжал объяснять, она огорчалась, вид у нее был жалкий и испуганный, и с раскаянием я вспоминал о том, что она моя девочка-жена и какая она была веселая, когда я впервые встретился ей на пути. Я откладывал карандаш и просил ее взять гитару.

У меня было много работы и много забот, но те же соображения заставляли меня хранить все про себя. Теперь я не знаю, прав ли я был, но делал я это ради моей девочки-жены. Я исследую свое сердце и стараюсь проникнуть в его тайны, ничего не скрывая в этом повествовании. И я знаю, у меня было такое чувство, словно, к несчастью своему, я что-то утратил или мне чего-то не хватает, но это чувство не вызывало у меня горечи. Бродя в погожий день один по улицам и размышляя о тех летних днях, когда все вокруг было озарено моей юношеской влюбленностью, я чувствовал, что мне чего-то недостает для осуществления моих мечтаний, но я думал, что эти мечтания только смутные прекрасные тени прошлого, откуда им нет пути в настоящее. Иногда, но ненадолго, мне хотелось, чтобы моя жена была мне советчиком с характером сильным и решительным, поддерживала бы меня, направляла и обладала способностью заполнить пустоту, которая, казалось мне, возникала вокруг меня. Но я чувствовал, что это лишь мечты о неземном счастье, которые никогда не могут свершиться и никогда не свершатся.

Я был супругом очень юным. Я познал благотворное влияние только тех испытаний и горестей, о которых писал на этих страницах. Если мне приходилось ошибаться, а это бывало частенько, то лишь потому, что я был ослеплен своей любовью и мне не хватало благоразумия. Я пишу истинную правду. Теперь мне незачем что бы то ни было утаивать.

Итак, я взял на себя тяготы и заботы нашей жизни, и мне не с кем было их делить. Наше беспорядочное хо-

зяйство осталось без изменений, но я к этому привык, и Дора, к моей радости, теперь почти никогда не огорчалась. Как и прежде, она была по-детски весела и беззаботна, горячо любила меня и по-прежнему забавлялась пустяками.

Когда прения в парламенте бывали утомительными,— я имею в виду их продолжительность, а не содержание, ибо в этом отношении они редко бывали иными,— и я возвращался домой поздно, Дора не ложилась спать до моего прихода и, заслышав мои шаги, всегда сбегала вниз мне навстречу. Когда же мои вечера были свободны от работы, подготовка к которой стоила мне в свое время таких трудов, и я писал за своим столом, она тихонько сидела рядом со мной, как бы ни было поздно, не произнося ни слова, так что я частенько подумывал, не заснула ли она. Но, подняв голову, я обычно видел, что ее голубые глаза смотрят на меня с тем пристальным вниманием, о котором я уже упоминал.

— Ох, как мальчик устал! — сказала как-то вечером Дора, когда я, закрывая бюро, встретил ее взгляд.

— Как девочка устала — вот это будет вернее! — отозвался я.— В следующий раз ты должна лечь спать, радость моя. Тебе нельзя сидеть так долго.

— Не отсылай меня спать! — взмолилась Дора, подходя ко мне.— Пожалуйста, не надо!

— Дора!

К моему изумлению, она расплакалась у меня на груди.

— Ты нездорова, несчастлива, дорогая моя?

— Нет. Совсем здорова и очень счастлива! — воскликнула Дора.— Но обещай, что ты позволишь мне смотреть, как ты пишешь.

— Есть на что смотреть до полуночи таким ясным глазкам!

— А они ясные, правда? — смеясь, подхватила Дора.— Я так рада, что они ясные.

— Маленькая кокетка!

Но это было не кокетство, а только невинная радость, вызванная моим восхищением. Я это хорошо знал, прежде чем она объяснила.

— Если ты находишь их красивыми, скажи, что я

могу всегда смотреть, как ты пишешь! — заявила Дора.— Ты в самом деле думаешь, что они красивы?

— В самом деле. Очень красивы.

— Тогда позволь мне всегда смотреть, как ты пишешь.

— Боюсь, что от этого глазки не станут яснее, Дора.

— Нет, станут! Потому что тогда, мой умница, ты будешь помнить обо мне, хотя твоя голова полна всяких фантазий. Можно тебя о чем-то попросить? И тебе это не покажется глупым? Глупее прежнего? — спросила Дора, заглядывая мне в лицо.

— Да что ж это может быть?

— Пожалуйста, позволь мне держать перья! — сказала Дора.— Я бы хотела что-нибудь делать в те часы, когда ты так прилежно трудишься. Можно мне подавать тебе перья?

Слезы навертываются у меня на глазах при воспоминании о том, как она обрадовалась, когда я ответил утвердительно. И с той поры всякий раз, как я садился писать, она сидела на прежнем своем месте, а рядом с ней лежал пучок запасных перьев. Она так радовалась, принимая участие в моей работе, приходила в такой восторг, когда мне нужно было новое перо,— а я очень часто притворялся, будто оно нужно,— что мне пришло в голову доставить еще одно удовольствие моей девочке-жене. Время от времени я делал вид, что мне нужно переписать однудве страницы рукописи. Вот когда для Доры был праздник! Сколько было приготовлений, прежде чем приступить к такому важному делу, какой приносила она из кухни фартук с нагрудником, чтобы не запачкаться чернилами, сколько раз она прерывала работу, чтобы посмеяться с Джипом, словно он все понимал, как глубоко была она убеждена, что труд ее не завершен, если она не подпишет своего имени в конце страницы, с каким видом она подавала мне, словно школьную тетрадь, переписанные ею листы, а потом, когда я хвалил ее, обнимала меня за шею!.. Трогательны для меня эти воспоминания, хотя другим они могут показаться наивными.

Вскоре после этого она завладела ключами и ходила по дому, бренча целой связкой в корзиночке, подвешенной к поясу на ее тоненькой талии. Мне редко слу-

чалось видеть, чтобы то, что полагалось запирать, было заперто, а ключи эти нужны были только для забавы Джипа, но Дора была довольна, и доволен был я. Она была уверена, что домашнее хозяйство идет хорошо от этой игры в хозяйство, и радовалась так, словно мы для забавы подметали и готовили обед в кукольном домике.

Так текла наша жизнь. Дора привязалась к бабушке почти так же, как ко мне, и частенько рассказывала ей, что когда-то боялась, не «старая ли она ворчунья». Никогда я не видел, чтобы бабушка была так снисходительна и добра к кому бы то ни было. Она ласкала Джипа, хотя тот не желал идти ей навстречу; ежедневно слушала игру на гитаре, хотя, боюсь, у нее не было никакого влечения к музыке; ни разу не нападала на «никуда не годных» служанок, хотя, конечно, соблазн был велик; шла пешком бог весть куда, чтобы купить какой-нибудь пустячок, о котором Дора, по ее мнению, мечтала, и сделать ей сюрприз. И каждый раз, пройдя по садику и не найдя Доры в комнате, она останавливалась у нижней ступеньки лестницы, и ее веселый голос разносился по всему дому:

— А где же маленький Цветочек?

ГЛАВА XLV

Мистер Дик оправдывает надежды бабушки

Прошло уже некоторое время с тех пор, как я перестал работать у доктора. Живя по соседству, я часто встречался с ним, и все мы несколько раз обедали у него и пили чай. Старый Вояка постоянно жил под кровом доктора. Она ничуть не изменилась, и над ее шляпкой попрежнему порхали бессмертные бабочки.

Подобно кое-каким другим матерям, которых я знавал, миссис Марклхем любила развлечения значительно больше, чем ее дочь. И, следуя своим наклонностям, она развлекалась вовсю, но — хитрый Старый Вояка! — делала вид, будто приносит себя в жертву своей дочери. Желание доктора доставить Анни как можно больше удо-

вольствий пришлось, таким образом, особенно по вкусу ее превосходной мамаше, которая не уставала превозносить его мудрость.

Несомненно, сама того не подозревая, она растравляла рану доктора. Единственно лишь из легкомыслия и эгоизма, свойственных нередко людям почтенного возраста, она восхваляла его желание облегчить жизнь своей молодой жены и тем самым укрепляла его боязнь, что он является для нее обузой и что истинной любви между ними быть не может.

— Вы знаете, душа моя,— обратилась она как-то к нему, в моем присутствии,— нехорошо, если Анни постоянно будет сидеть взаперти.

Доктор доброжелательно кивнул головой.

— Вот когда она достигнет возраста своей матери, тогда дело другое,— продолжала миссис Марклхем, махнув веером.— Я-то могла бы сидеть и в тюрьме и не стала бы даже думать, как оттуда выбраться, будь у меня приятное общество и карты. Но я-то ведь не Анни, а Анни не ее мать!

— Несомненно, несомненно,— подтвердил доктор.

— Вы — лучший из людей! Да, да... прошу прощения, не возражайте! — продолжала она, ибо доктор сделал умоляющий жест.— Я должна вам сказать в глаза то, что говорю за глаза: вы — лучший из людей, но, конечно, вы не можете... у вас... у вас не такие вкусы и стремления, как у Анни.

— Это верно,— грустно согласился доктор.

— Без сомнения это так,— заявил Старый Вояка.— Возьмем, например, ваш словарь. Какая это полезная вещь словарь! Как он всем нужен! Подумать только: какое слово что̀ значит! Без доктора Джонсона * или когонибудь еще в этом роде мы, пожалуй, бы и теперь называли итальянский утюг кроватью. Но разве мы можем ждать, что Анни заинтересуется словарем, в особенности если он еще не готов? Не правда ли?

Доктор кивнул головой.

— И вот почему я вас так хвалю за вашу мудрость,— продолжала миссис Марклхем, похлопывая доктора по плечу сложенным веером.— Вы не стараетесь, как многие пожилые люди, найти старую голову на молодых плечах.

Вы изучали характер Анни, и вы его знаете. Вот это я и нахожу очаровательным.

Мне показалось, что от таких комплиментов даже на лице терпеливого и спокойного доктора Стронга появились признаки душевного страдания.

— И вы можете мной распоряжаться, дорогой доктор, как вам будет угодно,— продолжал Вояка, похлопывая его дружески по плечу.— Знайте, что я вся к вашим услугам. Я готова ходить вместе с Анни и в оперу, и в концерты, и на выставки, словом, куда угодно, в любое из таких мест. Вы даже и не заметите, что я устаю. Долг прежде всего, дорогой доктор! Он превыше всяких иных соображений!

И она сдержала свое обещание. Она принадлежала к числу тех, кто может развлекаться без конца, и проявляла в этом отношении удивительное постоянство. В газетах она всегда раскапывала что-нибудь такое, что непременно должна была посмотреть Анни, а изучала она газеты ежедневно в течение двух часов, вооружившись лорнетом и расположившись в самом мягком кресле. Тщетно протестовала Анни, ссылаясь на то, что ей все это надоело. Обычно ее мать говаривала так:

— Я всегда считала тебя разумной, дорогая Анни. Должна сказать, милочка, ты не ценишь доброты доктора Стронга.

Это говорилось всегда в присутствии доктора и являлось, мне кажется, основной причиной того, почему Анни большей частью отказывалась от возражений, которые все же иногда делала. Но, в общем, она почти всегда покорялась и шла туда, куда водил ее Старый Вояка.

Теперь мистер Мелдон сопровождал их редко. Иногда приглашали бабушку с Дорой. И они принимали приглашение. Иногда приглашали только Дору. Было время, когда мне не очень хотелось отпускать с ними Дору, но воспоминание о том, что когда-то произошло в кабинете доктора, излечило меня от недоверия. Я уверовал в правоту доктора, и у меня не осталось ни малейших подозрений.

Бабушка, когда ей случалось побыть наедине со мной, иной раз потирала нос и говорила, что ей не все понятно; ей хотелось бы, чтобы они были более счастливы, и, по

ее убеждению, наша воинственная приятельница (так она всегда называла. Старого Вояку) ничего уладить не может. Она была еще того мнения, что, «если наша воинственная приятельница срежет свои бабочки и подарит их к первому мая трубочистам, это будет первый разумный ее поступок».

Свои надежды она возлагала на Дика. У этого человека, говорила она, несомненно бродит какая-то мысль в голове, и если ему удастся загнать ее в угол, а именно это особенно трудно для него, то он покажет себя с такой стороны, что все ахнут.

Не ведая об этих предсказаниях, мистер Дик занимал по отношению к доктору и миссис Стронг ту же позицию, что и раньше. Казалось, он не подвигается вперед, но и не отступает. Подобно дому, он утвердился на своем фундаменте. И, надо сознаться, я верил в его успех не больше, чем в то, что дом тронется с места.

Но вот однажды вечером, через несколько месяцев после моей свадьбы, мистер Дик заглянул в гостиную, где я работал в одиночестве (Дора вместе с бабушкой ушла к обеим птичкам пить чай), и, многозначительно покашливая, сказал:

— Не помешает ли вам, Тротвуд, если я с вами поговорю?

— Конечно нет, мистер Дик. Входите,— сказал я.

— Тротвуд! — обратился ко мне мистер Дик, прикладывая палец к носу после того, как потряс мне руку.— Прежде чем сесть, я хочу сделать одно замечание. Вы знаете свою бабушку?

— Немного,— ответил я.

— Она — самая замечательная женщина на свете! После этого сообщения, которое мистер Дик выпалил, словно был им заряжен, он уселся с более важным видом, чем всегда, и посмотрел на меня.

— А теперь, мой мальчик, я задам вам один вопрос.

— Сколько вам будет угодно,— сказал я.

— Кем вы меня считаете, сэр? — спросил мистер Дик, скрещивая руки.

— Добрым старым другом,— ответил я.

— Спасибо, Тротвуд! — обрадовался он и весело потянулся ко мне, чтобы пожать руку.— Но я, мой маль-

чик, спрашиваю, кем вы меня считаете вот в этом смысле.— Тут он коснулся своего лба и снова стал серьезен.

Я не знал, что сказать, но он пришел ко мне на помощь.

— Слабоват?

— Пожалуй... в некотором роде,— нерешительно отозвался я.

— Вот именно! — воскликнул мистер Дик, которого мой ответ, казалось, привел в восторг.— Видите ли, Тротвуд, когда они вынули заботы из головы... ну, вы знаете, из чьей головы, и вложили их... вы знаете куда, тогда там произошло...— Тут мистер Дик стал быстро вращать одной рукой вокруг другой, затем хлопнул в ладоши и снова стал вертеть руками, чтобы изобразить сумятицу.— Вот что со мной сделали! Верно?

Я кивнул ему, а он в ответ тоже кивнул.

— Одним словом, мой мальчик,— сказал мистер Дик, понизив голос до шепота,— я слабоумный.

Я хотел было возразить против такого заключения, но он прервал меня:

— Да, слабоумный! Она утверждает, что это не так. Она и слышать об этом не хочет. Но это так. Я это знаю. Если бы она, сэр, не была моим другом, я очутился бы под замком, и в течение многих лет мне пришлось бы влачить ужасную жизнь. Но я позабочусь о ней. Я никогда не трачу деньги, которые получаю за переписку. Я прячу их в коробку. Я сделал завещание. Я оставлю все ей. У нее будет богатство... почет!

Тут мистер Дик вынул носовой платок и вытер глаза. Затем старательно его сложил, разгладил обеими руками и положил в карман, как будто спрятав туда вместе с платком и бабушку.

— Вы, Тротвуд, образованный человек,— продолжал мистер Дик.— Очень образованный. Вы знаете, какой ученый человек, какой великий человек доктор! Вы знаете, какую он всегда оказывает мне честь. Он не чванится своей мудростью. Он так скромен, так скромен, он снисходит даже к бедному Дику, который слаб умом и ничего не знает. Я написал его имя на бумажке и по бечевке послал воздушному змею, когда тот был в небесах, среди

жаворонков. Воздушный змей был так рад это получить, сэр, и небеса стали еще ярче!

Я доставил ему полное удовольствие, сказав, что мы глубоко уважаем и почитаем доктора.

— А его красивая жена — это звезда! — продолжал мистер Дик.— Сверкающая звезда. Я видел, сэр, как она сверкает. Но...— тут он придвинул стул и положил руку мне на колено.— Облака, сэр... Облака...

На лице его выражалась озабоченность, которая отразилась и на моем лице, и я покачал головой в знак согласия.

— Что же это за облака? — спросил мистер Дик.

Он смотрел на меня так пристально и ему так хотелось получить ответ, что мне стоило большого труда сказать медленно и отчетливо, как обычно говорят детям, когда что-нибудь объясняют:

— К несчастью, они далеки друг от друга и для этого есть какая-то причина. Но какая причина — это секрет. Может быть, отчужденность неизбежна при такой разнице в летах. А может быть, она возникла из-за какого-нибудь пустяка.

Мистер Дик после каждой моей фразы задумчиво кивал головой; когда я замолчал, и он перестал кивать, но, размышляя, продолжал смотреть на меня в упор и не снимал руки с моего колена.

— Доктор не сердится на нее, Тротвуд? — наконец спросил он.

— Нет. Он ее обожает.

— Ну, теперь я все понял, мой мальчик,— сказал мистер Дик.

Совершенно неожиданно он с таким торжеством хлопнул рукой меня по колену, откинувшись на спинку стула и высоко подняв брови, что у меня мелькнула мысль, не сошел ли он окончательно с ума. И так же неожиданно он стал серьезен, снова подался вперед на своем стуле, почтительно вынул из кармана носовой платок, словно этот платок в самом деле представлял собой бабушку, и сказал:

— Самая замечательная женщина на свете, Тротвуд! Почему *она* ничего не сделала, чтобы все уладить?

— Слишком трудное и деликатное дело, чтобы она решилась вмешаться,— ответил я.

— А такой образованный человек,— тут он коснулся меня пальцем,— почему *он* ничего не сделал?

— По той же самой причине,— сказал я.

— Теперь я все понял, мой мальчик! — сказал мистер Дик.

Тут он вскочил, торжествуя еще более, чем раньше, и начал так кивать головой и с такой силой колотить себя в грудь, что, казалось, вот-вот вышибет из себя дух.

— Бедняга-сумасшедший, сэр! — воскликнул мистер Дик.— Дурак! Слабоумный! Это я о себе говорю, вы знаете! — еще один удар в грудь.— И он может сделать то, чего не могут сделать замечательные люди. Я их помирю, мой мальчик, постараюсь все уладить. На *меня* они не станут сердиться. *Меня* они не станут бранить. Если это будет некстати, они не обратят внимания. Ведь я только мистер Дик. А кто обращает внимание на Дика? Дик — это ничто. Пффф!

И он презрительно дунул, словно сдувая самого себя.

К счастью, он уже успел сообщить мне свой тайный замысел, так как послышался стук кареты, остановившейся у ворот садика,— это бабушка вернулась домой вместе с Дорой.

— Ни слова, мой мальчик! — заметил он.— Пусть вина упадет на Дика... На слабоумного Дика... На помешанного Дика... Мне давно казалось, что я начинаю понимать. А теперь я понял. После того, что вы мне сказали, я все понял. Прекрасно!

Мистер Дик не произнес больше ни слова на эту тему, но на ближайшие полчаса поистине превратился в телеграфический аппарат (к большому беспокойству бабушки), делая мне знаки свято блюсти тайну.

К моему удивлению, в течение двух-трех недель я больше ничего об этом не слышал, хотя и был очень заинтересован результатом его попыток; в принятом им решении, несомненно, был проблеск здравого смысла, а в его сердечной доброте не приходилось сомневаться, так как он всегда ее проявлял. В конце концов я стал подумывать, что мистер Дик, неустойчивый и неуравновешенный, или забыл о своем намерении, или от него отказался.

В один прекрасный вечер Дора захотела остаться дома, а мы с бабушкой отправились в коттедж доктора.

Стояла осень, прения в парламенте не отравляли мне удовольствия дышать вечерним воздухом, и аромат сухих листьев, по которым мы брели, вызывал у меня в памяти наш сад в Бландерстоне, а вздохи ветра навевали знакомую грусть.

Наступили сумерки, когда мы дошли до коттеджа доктора. Миссис Стронг только что вернулась домой из сада, а мистер Дик замешкался там, помогая садовнику заострять колышки. У доктора в кабинете сидел какой-то посетитель, но, по словам миссис Стронг, он должен был скоро уйти, и она просила нас подождать. Вместе с ней мы вошли в гостиную и уселись у окна, за которым сгущалась темнота. Во время наших посещений никаких церемоний не соблюдалось, ведь мы были старые друзья да к тому же соседи.

Не прошло и нескольких минут, как миссис Марклхем, которая всегда умудрялась из-за чего-нибудь суетиться, вошла в комнату с газетой в руке и сказала, задыхаясь:

— Боже мой! Почему ты меня не предупредила, что в кабинете кто-то есть?

— Но откуда же мне было известно, милая мама, что вы хотите об этом знать? — спокойно ответила миссис Стронг.

— Хочу ли я знать! — повторила миссис Марклхем, опускаясь на софу.— Никогда еще я не бывала так потрясена.

— Значит, вы были в кабинете, мама? — спросила Анни.

— Была ли я в кабинете! — возбужденно воскликнула миссис Марклхем.— Конечно, была! Я застала этого превосходного человека... вы только представьте себе, что я почувствовала, мисс Тротвуд и Дэвид! Я застала его за составлением завещания!

Ее дочь быстро отвела взгляд от окна.

— Да, застала его за составлением завещания, дорогая Анни,— повторила миссис Марклхем, расстилая на коленях газету, как скатерть, и разглаживая ее руками.— Какая предусмотрительность и какая любовь! Я должна рассказать вам, как это было. Я непременно должна воздать должное моему миленькому доктору — о! я не могу называть его иначе! — и рассказать, как это произошло.

Может быть, вам известно, мисс Тротвуд, что в этом доме не зажигают свечей, пока глаза буквально на лоб не вылезут, если вздумаешь вечером почитать газету. И в этом доме, кроме как в кабинете, нет кресла, где можно расположиться и заниматься чтением газеты так, как читаю ее *я*. Поэтому я пошла в кабинет, где горела свеча. Я открыла дверь. Кроме дорогого доктора, там находились двое мужчин, несомненно имеющих отношение к юриспруденции, и все трое стояли у стола, а у миленького доктора в руке было перо. «Этим я только выражаю»,— говорит доктор... Анни, душа моя, слушай, я повторяю в точности каждое его слово! «Этим я только выражаю, джентльмены, свое доверие к миссис Стронг, которой и оставляю все свое состояние без всяких условий». Один из джентльменов повторяет: «Все свое состояние без всяких условий». Вы можете представить себе чувства матери! Я только сказала: «Боже мой! Простите!» — споткнулась о порог и ушла оттуда задним коридором, тем самым, где кладовая.

Миссис Стронг открыла застекленную дверь, вышла на веранду, где и остановилась, прислонившись к колонне.

— Но вы только подумайте, мисс Тротвуд и вы, Дэвид! — продолжала миссис Марклхем, машинально провожая дочь взглядом.— Разве это не вдохновляющее зрелище — видеть, что человек в возрасте доктора Стронга обладает такой силой духа и способен совершить такой поступок! Это только доказывает, как я была права. Когда доктор Стронг оказал мне честь и, посетив меня, просил ее руки, я сказала Анни: «Что касается твоего обеспечения, моя дорогая, не сомневаюсь, доктор Стронг сделает для тебя еще больше, чем обещает сделать».

Тут зазвонил колокольчик, и мы услышали шаги удалявшихся посетителей.

— Несомненно, уже все кончено,— прислушавшись, сказал Старый Вояка.— Дорогой нам человек подписал, припечатал и вручил завещание, и теперь на душе у него спокойно. Он это заслужил! Какая у него душа! Анни, милочка, я иду в кабинет со своей газетой, потому что без новостей я прямо-таки несчастный человек. Мисс Тротвуд и Дэвид, прошу вас, повидайтесь с доктором.

Следуя за ней вместе с бабушкой в кабинет, я заме-

тил стоявшего в темной комнате мистера Дика, который складывал свой ножик, заметил, что бабушка с ожесточением потирает нос, выражая этим свое возмущение нашим воинственным другом, но кто вошел в кабинет первым и каким образом очутилась в один момент миссис Марклхем в своем удобном кресле, и почему мы с бабушкой замешкались перед дверью (быть может, глаза ее были острее моих, и она меня удержала),— всего этого я не помню. Но я помню, что мы увидели доктора, прежде чем он заметил нас,— он сидел за своим столом среди фолиантов, которые так любил, сидел спокойно, подперев голову рукой. Помню, в тот же самый миг мы увидели, как в комнату проскользнула бледная и трепещущая миссис Стронг. Помню, мистер Дик поддерживал ее. Помню, другой рукой он коснулся руки доктора, который поднял на него отсутствующий взгляд. Помню, как только доктор поднял голову, его жена упала на колени к его ногам и, умоляюще простирая руки, взглянула на него тем неповторимым взглядом, который я никогда не забуду. Помню, как при виде этого миссис Марклхем выронила газету и на лице ее появилось такое выражение, что оно скорей всего подошло бы деревянной голове на носу корабля, который называется «Изумление».

Когда я это пишу, я не вспоминаю, а вижу воочию удивление доктора и его нежность, достоинство, с которым его жена умоляюще простирала руки, трогательное волнение мистера Дика и явственно слышу, как бабушка с самым серьезным видом шепчет про себя: «И вот этот человек — сумасшедший!» — выражая свое торжество по поводу того, что спасла его от большой беды.

— Доктор! — окликнул мистер Дик.— Да в чем же дело? Поглядите-ка!

— Анни! — воскликнул доктор.— Встаньте, встаньте, моя дорогая!

— Нет! — ответила она.— Умоляю, пусть никто не уходит! О мой супруг, мой отец, нарушим это долгое молчание! Мы оба должны знать, что между нами произошло!

Тут миссис Марклхем обрела дар речи и, распираемая фамильной гордостью и материнским негодованием, воскликнула:



— Анни! Немедленно встань! Ты унижаешь себя, и твоим родным стыдно за тебя! Или ты, может быть, решила свести меня с ума?

— Мама! Не надо вмешиваться...— отозвалась Анни.— Я обращаюсь к моему мужу, и даже вы здесь — ничто!

— Ничто! — вскричала миссис Марклхем.— Я — ничто! Моя дочь рехнулась! О, дайте мне стакан воды!

Не отрываясь, я следил за доктором и его женой и не обратил внимания на эту просьбу, на которую, впрочем, никто не отозвался. И миссис Марклхем, выпучив глаза, запыхтела и стала обмахиваться газетой.

— Анни! — сказал доктор, нежно привлекая ее к себе.— Любовь моя! Если в нашей совместной жизни с течением времени произошла неизбежная перемена, вы в этом не повинны. Вина моя, только моя. Но я по-прежнему вас люблю и уважаю, по-прежнему восхищаюсь вами. Я хочу, чтобы вы были счастливы. Я преданно люблю вас и почитаю. Встаньте, Анни, прошу вас, встаньте!

Но она не поднималась с колен. Пристально поглядев на него, она придвинулась к нему ближе, положила ему на колени руку и, склонив на нее голову, сказала:

— Если есть у меня здесь друг, который ради меня или ради моего мужа может отозваться, если есть у меня здесь друг, который может громко высказать те догадки, какие иной раз нашептывало мое сердце, если есть у меня здесь друг, который почитает моего мужа или когда-нибудь был ко мне расположен, и этому другу известно хоть что-нибудь, чем нам можно помочь,— я умоляю его говорить!

Наступило глубокое молчание. После короткого мучительного колебания я его нарушил.

— Миссис Стронг! — сказал я.— Мне кое-что известно, но доктор Стронг настойчиво просил меня держать это в строжайшей тайне. Вплоть до сегодняшнего вечера я это скрывал, но, мне кажется, настало время, когда скрывать дальше — значит совершать ошибку из-за ложной деликатности: ваш призыв позволяет мне нарушить его приказ.

На мгновение она повернула ко мне лицо, и я понял, что прав. Я не мог бы сопротивляться этому умоляющему взгляду, даже если бы уверенность, которую я в нем почерпнул, была менее тверда.

— Наш мир и покой, быть может, в ваших руках,— сказала она.— Я верю, что вы ничего не утаите. Что бы вы или кто бы то ни было другой мне ни сказали, я заранее знаю: ничто не может бросить тень на благородство моего мужа. Если вам кажется, что ваши слова заденут меня, пусть это вас не смущает. Я сама дам ответ ему, а также господу!

После такой страстной мольбы я, не спрашивая разрешения доктора и только немного смягчив грубость Урии Хипа, откровенно рассказал обо всем, что произошло в той же самой комнате в тот памятный вечер. Невозможно описать, как таращила глаза миссис Марклхем и как пронзительно она вскрикивала, прерывая мой рассказ.

Когда я умолк, Анни оставалась безмолвной, голова ее по-прежнему была склонена. Потом она взяла руку доктора (он сидел в той же позе, в какой мы его застали), прижала к своей груди и поцеловала. Мистер Дик осторожно помог ей встать, и, опираясь на него и не сводя глаз с мужа, она заговорила:

— Я открою все, что было у меня на сердце с того дня, как мы стали мужем и женой,— сказала она тихо, покорно и трогательно.— Теперь, после того как я все узнала, я не могла бы жить, если бы что-нибудь утаила.

— Но я никогда не сомневался в вас, Анни, дитя мое,— ласково сказал доктор.— Это лишнее, уверяю вас, это совсем лишнее, дорогая моя.

— Нет, это очень важно, чтобы я открыла всю свою душу перед таким благородным и великодушным человеком, которого, год за годом и день за днем, я любила и почитала все больше и больше, о чем знает господь! — сказала она тем же тоном.

— Ох! — прервала миссис Марклхем.— Если у меня еще есть какое-то благоразумие...

(— Но у тебя его нет, интриганка! — с негодованием прошептала бабушка.)

— ...я должна сказать, что совсем не нужно касаться подробностей.

— Только мой муж может об этом судить, мама,— сказала Анни, не отрывая взгляда от его лица.— И он выслушает меня. Если то, что я скажу, мама, будет вам

неприятно,— простите! Я сама нередко и подолгу мучилась.

— Ох, боже мой! — охнула миссис Марклхем.

— Когда я была совсем маленькой, еще в детстве,— продолжала Анни,— все мои знания, даже самые начальные, я получила от терпеливого и всегда дорогого для меня друга и учителя — друга моего покойного отца. О чем бы я ни вспоминала, я всегда вспоминаю и о нем. Это он впервые обогатил мой ум сокровищами знаний, и на всем лежит печать его души. Если бы я получила их из других рук, никогда они не были бы для меня так полезны.

— Она ни во что не ставит свою мать! — воскликнула миссис Марклхем.

— Это не так, мама, но я воздаю ему должное. Я обязана это сделать. По мере того как я подрастала, он занимал в моей жизни все то же место. Я гордилась его вниманием, я глубоко и искренне была привязана к нему. Я смотрела на него... трудно описать... я смотрела на него как на отца, как на руководителя, как на человека, чья похвала дороже любых похвал, я смотрела на него как на человека, которому можно верить даже в том случае, если бы я изверилась во всем на свете. Вы знаете, мама, как я была молода и неопытна, когда неожиданно вы мне сказали, что он ищет моей руки...

— Раз пятьдесят, по меньшей мере, я об этом рассказывала всем присутствующим! — перебила миссис Марклхем.

(— Ну, так хоть теперь, ради бога, придержи язык и помалкивай! — пробормотала бабушка.)

— Для меня это была такая перемена и такая утрата, что сперва я очень волновалась и чувствовала себя несчастной,— продолжала Анни тем же тоном и так же глядя на доктора.— Я была совсем девочкой и, мне кажется, опечалилась, когда произошла такая великая перемена в человеке, на которого я смотрела снизу вверх. Но теперь он уже не мог оставаться тем, кем был для меня раньше, я была горда, что он счел меня достойной его, и мы поженились.

— В церкви святого Элфеджа, в Кентербери,— вставила миссис Марклхем.

(— Будь она неладна, эта женщина! — прошептала бабушка.— Никак не хочет угомониться!)

— Я никогда не думала о том, что муж принесет мне какие-нибудь земные блага,— слегка покраснев, продолжала Анни.— В моем юном сердце, полном благоговения, не было места для таких низменных чувств. Простите меня, мама, но вы первая внушили мне мысль, что есть на свете люди, которые могут оскорбить меня и его такими жестокими подозрениями.

— Я?! — вскричала миссис Марклхем.

(— Еще бы! Конечно, ты! И ты от этого не отмахнешься своим веером, мой воинственный друг,— заметила бабушка.)

— Это было первое горе в моей новой жизни,— сказала Анни.— Все мои беды связаны были с этим первым горем. А бед было так много, что мне их не сосчитать. Но нет, мой великодушный супруг, причина совсем не та, какую вы предполагаете! Потому что все мои помыслы, воспоминания, надежды — решительно все связано с вами!

Она подняла глаза и стиснула руки — прекрасное, одухотворенное воплощение верности. И с этого момента доктор не отрывал от нее пристального взгляда, как и она от него.

— Маму нельзя упрекнуть в том, что она выпрашивала у вас что-нибудь для себя, ее намерения были всегда безупречны, я в этом уверена! Но я видела, как много назойливых требований вам предъявляют от моего имени, видела, как злоупотребляют вашей добротой, пользуясь моим именем, как вы великодушны и как недоволен мистер Уикфилд, стоящий на страже ваших интересов. Тогда я впервые поняла, что люди гнусно подозревают, будто мою нежность купили, и кому же ее продали?! И этот незаслуженный позор я заставила вас делить со мной. Я не могу вам рассказать — а мама даже представить себе не может,— чего мне стоило выносить этот ужас, эти мучения и при этом твердо знать в душе, что день моей свадьбы только увенчал любовь и уважение всей моей жизни!

— Вот она благодарность за жертвы, которые приносишь своему семейству! — всхлипнув, воскликнула миссис

Марклхем.— Уж лучше бы ноги моей никогда здесь не было.

(— Да, лучше бы ее здесь не было, а ты отправилась восвояси! — вставила бабушка.)

— Как раз в то время мама хлопотала о моем кузене Мелдоне. Мне он очень нравился,— продолжала она тихо, но без колебаний.— Когда-то в детстве мы были даже влюблены друг в друга. Если бы все не пошло по-иному, пожалуй я могла убедить себя в том, будто в самом деле его люблю, я могла выйти за него замуж на свою беду. При несходстве характеров и взглядов брак не может быть счастливым.

Продолжая внимательно слушать, я задумался над этими словами так, словно они имели для меня особое значение или как-то особо меня касались, но как, мне было неясно. «При несходстве характеров и взглядов брак не может быть счастливым». «При несходстве характеров и взглядов...»

— Между нами нет ничего общего,— продолжала Анни.— Я давно в этом убедилась. Если бы мне не за что было больше благодарить моего мужа,— а как я должна быть ему благодарна за все! — то я была бы ему благодарна хотя бы за то, что он уберег меня от первых обманчивых порывов неопытного сердца.

Она неподвижно стояла перед доктором и говорила с глубокой серьезностью, приводившей меня в волнение. Но голос ее был по-прежнему спокоен.

— Когда он добивался у вас милостей, которыми ради меня вы так щедро его осыпа́ли — ради меня, и когда я, вопреки своей воле, представала перед вами такой корыстной, я тяжко страдала... Мне казалось, что для него было бы лучше пробивать себе дорогу самому. Мне казалось, будь я на его месте, я попыталась бы это сделать ценой любых лишений. Но я еще не думала о нем дурно вплоть до того вечера, когда он уезжал в Индию. В тот вечер я убедилась, что у него коварное, неблагодарное сердце. И тогда-то я поняла двойной смысл испытующего взгляда, которым следил за мной мистер Уикфилд. Тогда впервые я увидела воочию, как это страшное подозрение тяготеет надо мной.

— Подозрение, Анни! Нет, нет и нет! — сказал доктор.

— Я знаю, у вас его не было, мой дорогой муж,— отозвалась она.— И вот в тот самый вечер я пришла к вам, чтобы сложить к вашим ногам бремя стыда и печали, я пришла к вам, чтобы сказать, что под вашей кровлей некий человек, мой родственник, которому ради меня вы оказали столько благодеяний, осмелился сказать мне слова, какие не следовало произносить даже в том случае, если бы я, по его мнению, была слабым и корыстным существом... Но мой разум восстал против того, чтобы я передавала вам эти позорящие меня слова. Они замерли у меня на устах и до сего дня не срывались с них...

Застонав, миссис Марклхем откинулась на спинку кресла и спряталась за своим веером, решив, по-видимому, больше никогда не показываться.

— С того вечера я говорила с ним только в вашем присутствии, и то лишь в тех случаях, когда это было необходимо, чтобы избежать объяснения с вами. Прошли года, с тех пор как он от меня узнал, какое место он здесь занимает. Ваша тайная забота об его успехах, о которой вы потом мне сообщили, думая, что этим доставляете мне удовольствие, поверьте, еще больше отягчала мне бремя моей тайны...

Хотя доктор всячески пытался ее удержать, она мягко опустилась к его ногам и, смотря на него полными слез глазами, продолжала:

— Нет, пока не отвечайте! Позвольте мне сказать еще несколько слов! Права я была или ошибалась, но, если бы все повторилось снова, мне кажется, я поступила бы точно так же... Вы никогда не поймете, что̀ значит быть преданной вам и знать, что люди помнят о прежних моих отношениях к кому-то другому, знать, что любой человек может оказаться жестоким и заподозрить меня в коварстве, а эти подозрения подкрепляются благодаря стечению обстоятельств. Я была очень молода, и около меня не было никого, кто мог бы мне дать совет. С мамой у меня всегда были разногласия во всем, что̀ касалось вас. Если я замкнулась в себе и никто не знал об оскорблении, которое мне нанесли, то это потому, что слишком уважала вас и мне так хотелось, чтобы вы уважали меня!

— Анни, чистая моя душа! Дорогая моя девочка! — промолвил доктор.

— Погодите, прошу вас! Я скоро кончу. Я не переставала думать о том, что есть много женщин, на которых вы могли бы жениться... Они не были бы вам в тягость, не принесли бы вам столько забот и огорчений и создали семейный очаг, более достойный вас. Я все время со страхом думала, что, пожалуй, было бы лучше, если бы я осталась вашей ученицей, вашей дочерью. Я все время боялась, что не гожусь для вас, такого мудрого и такого ученого... И если я затаила это в душе (а так оно и было!), хотя должна была все рассказать вам, то только потому, что слишком уважала вас и надеялась, что наступит день, когда и вы станете меня уважать.

— Этот день наступил давно уже, Анни, и на смену ему придет только долгая ночь, моя дорогая.

— Еще одно слово! Я решила, твердо решила нести одна свое бремя и никому не говорить о недостойности того, к кому вы были так добры. А теперь последнее, мой самый дорогой, самый лучший друг! Сегодня вечером я поняла причину происшедшей в вас недавно перемены, которая принесла мне столько боли и так мучила меня... Иногда я приписывала ее прежним моим опасениям, иногда в своих предположениях была близка к истине. И вот сегодня вечером случайно я узнала, как глубоко и как благородно вы верите в меня, хотя и ошибаетесь на мой счет. Я не надеюсь, что смогу когда-нибудь отплатить своею любовью и почитанием за ваше бесценное доверие ко мне, я могу только, после того как это узнала, поднять глаза и взглянуть в дорогое мне лицо, лицо того, кого я почитаю, как отца, люблю, как мужа, и в детстве боготворила, как друга... И я могу только торжественно заявить, что даже в мимолетных своих мыслях никогда не была перед вами виновна, и любовь моя к вам и моя верность всегда были неизменны!

Она обвила руками шею доктора, а он склонил голову к ней, и его седые волосы перемешались с ее темно-русыми кудрями.

— О мой супруг, прижмите меня к своей груди! Не отталкивайте меня никогда! Не думайте и не говорите о том, что мы не подходим друг к другу, ведь это не так,

хотя у меня и много недостатков. С каждым годом я убеждалась в этом все больше, по мере того как все больше вас уважала. О! Прижмите меня к своей груди, мой супруг! Потому что моя любовь крепка, как скала, она будет длиться вечно!

В наступившей тишине бабушка торжественно, неторопливо направилась к мистеру Дику, обняла его и звонко поцеловала. И это было как раз вовремя, если принять во внимание его намерение, ибо в этот самый момент, по моим наблюдениям, он собирался от восторга стать на одну ногу.

— Вы — замечательный человек, Дик! — заявила бабушка самым решительным тоном.— Можете не возражать, я лучше знаю!

Тут она потянула его за рукав, а мне дала знак, и мы втроем потихоньку вышли из комнаты.

— Во всяком случае, это удар для нашего воинственного друга,— сказала бабушка по дороге домой.— Теперь я буду лучше спать, даже если бы больше нечему было радоваться.

— Боюсь, что она потрясена,— сказал с жалостью Дик.

— Что такое? Да вы когда-нибудь видели потрясенного крокодила? — спросила бабушка.

— Кажется, я вообще никогда не видал крокодила,— кротко ответил мистер Дик.

— Не будь этого старого крокодила, ничего бы и не случилось,— внушительно сказала бабушка.— Было бы хорошо, если бы кое-какие матери оставляли в покое дочерей, когда те выходят замуж, и не надоедали им своей любовью. Они, должно быть, думают, что имеют право на награду, породив на свет несчастную молодую женщину (господи помилуй, как будто она об этом просила), а лучшая для них награда — если они могут докучать ей, пока не загонят ее в гроб! О чем ты думаешь, Трот?

Я размышлял обо всем, что пришлось мне услышать. В памяти всплывали некоторые фразы: «При несходстве характеров и взглядов брак не может быть счастливым», «Первые обманчивые порывы неопытного сердца», «Моя любовь крепка, как скала...» Но мы были уже дома. Под ногой шуршали сухие листья, и дул осенний ветер.

ГЛАВА XLVI
Весть

Если моя память, ненадежная когда речь идет о датах, мне не изменяет, я был женат уже около года; как-то раз вечером, возвращаясь домой после одинокой прогулки и обдумывая книгу, которую я тогда писал,— а мое неизменное прилежание сопровождалось возрастающим успехом, и я в ту пору писал мой первый роман,— я поравнялся с домом миссис Стирфорт. Часто, живя по соседству, я проходил мимо него и раньше, хотя обыкновенно выбирал другую дорогу. Но случалось, что выйти на другую дорогу было не просто, и, в общем, я довольно часто проходил мимо этого дома.

Обычно я ускорял шаг и бросал на дом только мимолетный взгляд — дом неизменно казался угрюмым и печальным. Парадные комнаты не выходили на дорогу, и узкие, старомодные, с тяжелыми рамами, окна, которые и прежде глядели неприветливо, были наглухо закрыты, задернуты шторами, и вид у них был очень мрачный. Через мощеный дворик крытая галерея вела ко входной двери, которой никогда не пользовались, а над входом виднелось круглое лестничное оконце, совсем не связанное с фасадом; единственное среди прочих, оно не было занавешено, но также имело какой-то печальный вид. Не помню, видел ли я когда-нибудь свет в доме. Будь я случайным прохожим, вероятно я предположил бы, что одинокий владелец лежит там мертвый. А если бы, к счастью, я ничего не знал об этом месте и видел, что никакие перемены не могут его коснуться, я, верно, охотно дал бы волю своему воображению и начал строить разные хитроумные догадки.

Я старался думать о нем как можно меньше. Но, когда я видел его, мое внимание не могло пройти мимо, как проходил я сам, и целая вереница мыслей возникала в моем сознании. В этот вечер они были ярче, чем обычно, и смешивались с воспоминаниями детства и отроческими фантазиями, с тенями смутных и неосознанных разочарований, с какими-то картинами или мечтаниями, случайными и чуждыми течению моих дум. Я шел, погруженный

в мрачные размышления, как вдруг около меня послышался голос, который заставил меня вздрогнуть.

Это был женский голос. Я сразу узнал маленькую служанку миссис Стирфорт — ту самую, которая когда-то носила голубые ленты на чепчике. Теперь она сняла их, должно быть для того, чтобы вид ее больше подходил к дому, в котором произошли такие перемены, и носила только один или два печальных бантика мрачного, коричневого цвета.

— Не будете ли вы добры, сэр, зайти и поговорить с мисс Дартл?

— Это мисс Дартл послала вас за мной? — спросил я.

— Не сейчас, сэр, но это ничего не значит. Мисс Дартл видела дня два назад, как вы проходили мимо, и приказала мне сидеть на лестнице с работой, а если я вас увижу, попросить, чтобы вы зашли и поговорили с ней.

Я повернул назад и, пока мы шли с девушкой, спросил ее, как поживает миссис Стирфорт. Она чувствует себя плохо, сказала служанка, и редко покидает свою комнату.

Меня провели в сад к мисс Дартл, и там я направился к ней уже один. Она сидела на скамье у края террасы, откуда виден был огромный город. Вечер был хмурый, небо свинцовое, и, взглянув в сумрачную даль, где только несколько самых высоких зданий вырисовывались в тусклом свете, я подумал, что эта картина является подходящим фоном для воспоминаний этой бешеной женщины.

Она увидела меня и на миг привстала, чтобы со мной поздороваться. Со дня нашей последней встречи она еще больше похудела и побледнела, а сверкающие ее глаза еще больше горели и шрам выделялся еще резче.

Мы холодно поздоровались. Последняя наша встреча окончилась ссорой, и свое презрение ко мне она не давала себе труда скрывать.

— Мне сказали, мисс Дартл, что вы хотите поговорить со мной,— начал я, стоя около нее и положив руку на спинку скамейки; она жестом предложила сесть, но я отказался.

— Да,— ответила она.— Скажите, эту девушку нашли?

— Нет.

— А ведь она удрала!

Ее тонкие губы подергивались, словно ей не терпелось осыпать Эмили упреками.

— Удрала? — повторил я.

— Да. От него! — усмехнулась она.— Если ее до сих пор не нашли, то, пожалуй, уж и вовсе не найдут. Возможно, она умерла.

Никогда, ни на одном лице я не видел выражения такой жестокости и такого торжества.

— Может быть, смерть — это самое лучшее, что может пожелать ей женщина,— сказал я.— Я рад, мисс Дартл, что время так смягчило ваше сердце.

Она не удостоила меня ответа, но, снова надменно усмехнувшись, сказала:

— Друзья этой превосходной и глубоко оскорбленной юной леди — ваши друзья. Вы поборник и защитник их прав. Вы хотите знать, что̀ о ней известно?

— Да,— сказал я.

Злобно улыбаясь, она встала; подойдя к высокой изгороди из остролиста, которая была в нескольких шагах и отделяла лужайку от огорода, она громко окликнула: «Идите сюда!» — словно подзывала какое-нибудь поганое животное.

— Надеюсь, мистер Копперфилд, вы здесь воздержитесь от защиты ваших друзей и от мести,— сказала она, поглядев на меня через плечо и не меняя выражения лица.

Не понимая, на что она намекает, я кивнул головой, а она снова окликнула: «Идите сюда!» — вернулась к скамейке, и в этот момент появился респектабельный мистер Литтимер. С той же респектабельностью, что и раньше, он отвесил мне поклон и остановился чуть поодаль от мисс Дартл. В том взгляде, который она бросила на меня, снова садясь на свое место, было злобное торжество, но вместе с тем, странно сказать, он показался мне женственным и даже привлекательным,— взгляд, достойный какой-нибудь жестокой принцессы в сказке.

— А теперь,— повелительно начала она, не глядя на него и прикладывая пальцы к старому шраму, который опять подергивался, на этот раз, вероятно, не потому, что ей было больно, но потому, что она радовалась,—

а теперь расскажите мистеру Копперфилду об этом бегстве!

— Мистер Джеймс и я, сударыня...

— Не обращайтесь ко мне! — нахмурившись, перебила она.

— Мистер Джеймс и я, сэр...

— И ко мне также! — сказал я.

Мистер Литтимер, нисколько не обескураженный, дал нам понять легким поклоном, что ему по душе все, что по душе нам. И снова начал:

— Мистер Джеймс и я были за границей вместе с этой молодой женщиной с той поры, как она покинула Ярмут под покровительством мистера Джеймса. Мы побывали в разных городах и видели немало стран. Были мы во Франции, в Швейцарии, в Италии,— словом, почти везде.

Он смотрел на спинку скамейки так, будто обращался именно к ней, и легонько постукивал по ней пальцами, словно играл на немом фортепьяно.

— Мистер Джеймс удивительно привязался к этой молодой женщине. С того времени, как я у него служу, я никогда не видел его таким остепенившимся. Молодая женщина оказалась очень способной и научилась говорить на разных языках. Ее теперь не примешь за деревенскую жительницу. Я заметил, что ею любовались всюду, куда бы мы ни приезжали.

Мисс Дартл прижала руку к сердцу. Я видел, как Литтимер украдкой на нее поглядел и чуть-чуть усмехнулся.

— Да, этой молодой женщиной восхищались повсюду. Ее наряды, знаете ли, солнце, свежий воздух, заботы, которыми ее окружали, то да се... Словом, повсюду она обращала на себя общее внимание.

Он сделал короткую паузу. Глаза Розы Дартл, устремленные вдаль, беспокойно блуждали, и она закусила нижнюю губу, чтобы остановить подергивание рта.

Сняв руки со спинки скамейки, Литтимер переплел пальцы, принял более непринужденную позу и продолжал рассказ; взор его прикован был к земле, и, слегка вытянув шею, он чуть-чуть склонил свою респектабельную голову набок.

— Молодая женщина жила так, стало быть, некоторое время, а иной раз приходила в уныние, но когда она стала

давать волю унынию и дурному расположению духа, мне показалось, это немного начало утомлять мистера Джеймса. А от этого дело на лад не шло. И опять мистер Джеймс стал неспокойным. Чем беспокойней он становился, тем несноснее становилась она. И скажу о себе: трудновато мне приходилось с ними, с двумя. Но тем не менее все кое-как улаживалось; однако вообще, по моему мнению, это тянулось дольше, чем можно было ожидать.

Мисс Дартл опустила глаза и снова взглянула на меня с тем же торжеством, что и раньше. Мистер Литтимер, весьма респектабельно прикрыв рот рукой, откашлялся, переступил с ноги на ногу и продолжал:

— Много было разговоров и разных упреков, покуда мистер Джеймс не сказал, что уезжает на день-два с виллы, где мы жили около Неаполя (молодая женщина очень любила море)... А мне он поручил передать ей, что... для счастья всех заинтересованных лиц...— тут мистер Литтимер откашлялся,— он уезжает навсегда. Но должен сказать, что мистер Джеймс поступил очень благородно: он предлагал, чтобы молодая женщина вышла замуж за очень респектабельного человека, который готов был не обращать внимания на прошлое и сам по себе был завидным женихом. О таком женихе эта молодая женщина могла бы только мечтать, даже если бы все было как полагается — ведь она вышла из простой семьи.

Он снова переступил с ноги на ногу и провел языком по губам. Я был убежден, что негодяй говорит о себе, и по лицу мисс Дартл понял, что она думает то же самое.

— Мне поручено было передать также и это. Я готов был сделать что угодно, чтобы вывести мистера Джеймса из затруднений и восстановить мир и согласие между ним и любящей родительницей, которая по его вине так много вынесла. Вот почему я и принял поручение. Когда молодая женщина узнала об его отъезде, она пришла в такое неистовство, что и вообразить нельзя. Она совсем обезумела, и надо было силой ее удерживать, а не то она бы зарезалась, утопилась или разбила голову о мраморный пол.

Мисс Дартл откинулась на спинку скамейки, и лицо ее выражало ликование; казалось, она наслаждается звуками слов, произнесенных этим человеком.

— Но лишь когда я перешел ко второму возложенному на меня поручению,— продолжал мистер Литтимер, смущенно потирая руки,— а ведь каждый должен признать, что у мистера Джеймса были самые добрые намерения,— тут только молодая женщина показала, на что она способна. Я никогда не видел такой бешеной особы. Поведение ее было ужасное, возмутительное. Камень или пень и те проявили бы больше благодарности, чувства, терпения и рассудительности. Не будь я начеку, она покусилась бы на мою жизнь, я в этом уверен.

— За это я еще больше ее уважаю,— запальчиво сказал я.

Мистер Литтимер покачал головой, словно говоря: «Да ну, сэр? Но вы еще так молоды!» — и продолжал рассказ.

— Одним словом, пришлось на время убрать от нее подальше все, чем она могла бы причинить вред себе или другим, пришлось даже запереть ее. И все-таки, несмотря на это, ночью она убежала: выломала решетку в окне, которую я своими руками прибил, спустилась вниз по виноградной лозе, и, насколько мне известно, больше никто ее не видел и никто о ней ничего не слыхал.

— Вероятно, она умерла,— сказала мисс Дартл и улыбнулась так, словно попирала ногами тело погибшей девушки.

— Она могла утопиться, мисс,— сказал мистер Литтимер, улучив, наконец, подходящий момент, чтобы к кому-нибудь адресоваться.— Это очень возможно. Или ей помогли рыбаки, а не то жены и дети рыбаков. Она, знаете ли, мисс Дартл, из простой семьи и частенько разговаривала с ними на берегу или сидела около их лодок. Когда мистер Джеймс уезжал, я видел, как она проводила там целые дни. Она рассказывала детям, что и она тоже дочь рыбака и в детстве у себя на родине, как и они, играла на берегу; мистер Джеймс был очень недоволен, когда однажды узнал об этом.

О Эмили! Злосчастная ее красота! И предо мной возникла картина: она сидит на далеком-далеком берегу среди детей, таких же невинных, какой и она была когда-то, и слушает голоса малюток, которые могли бы называть ее «мама», если бы она была женой бедняка...

и прислушивается к грозному голосу моря с его вечным «никогда!».

— Как только стало ясно, что больше ничего нельзя сделать, мисс Дартл...

— Я вам сказала, чтобы вы ко мне не обращались,— строго и презрительно сказала мисс Дартл.

— Вы обратились ко мне, мисс,— сказал он.— Прошу прощения. Мой долг повиноваться.

— Значит, исполняйте ваш долг. Кончайте ваш рассказ и уходите!

— Когда выяснилось, что найти ее невозможно,— продолжал он с безграничной респектабельностью и покорно склонив голову,— я отправился к мистеру Джеймсу, туда, куда я должен был ему писать, и сообщил, что случилось. По этому поводу у нас произошла размолвка, и я счел за благо для моей репутации уйти от него. Я мог бы вынести и выносил многое от мистера Джеймса, но он слишком обидел меня. Он меня оскорбил. Я знал о несчастной ссоре между ним и его матушкой и о том, как она должна тревожиться, и потому взял на себя смелость вернуться домой, в Англию, и рассказать...

— За деньги, которые я ему заплатила,— сказала мне мисс Дартл.

— Совершенно правильно, сударыня... И рассказать то, что я знаю. Вот, мне кажется, все,— прибавил он после некоторого раздумья.— У меня нет сейчас должности, и я был бы не прочь получить какую-нибудь респектабельную службу.

Мисс Дартл бросила на меня взгляд, словно осведомляясь, хочу ли я задать какой-нибудь вопрос. Один вопрос еще раньше мне пришел на ум, и я сказал:

— Я бы хотел узнать у этого... типа (я не мог заставить себя назвать его более деликатно), перехватили ли они письмо, написанное ей ее домашними, или, по его мнению, она получила это письмо.

Он невозмутимо молчал, устремив глаза в землю и сложив руки так, что кончики пальцев одной руки слегка касались кончиков пальцев другой.

Мисс Дартл брезгливо повернулась к нему.

— Прошу прощения, мисс,— сказал он, очнувшись от своей задумчивости.— Но, исполняя вашу волю, я все же

занимаю какое-то положение, хоть я и слуга. Вы и мистер Копперфилд — не одно и то же. Если мистер Копперфилд хочет узнать что-нибудь у меня, беру на себя смелость заметить мистеру Копперфилду, что он может задать вопрос мне. У меня есть репутация, о которой я должен заботиться.

Я преодолел себя, посмотрел на него и сказал:

— Вы слышали мой вопрос. Если вам угодно, считайте, что он обращен к вам. Что вы на него ответите?

— Я не вправе дать решительный ответ, сэр,— промолвил он, медленно сближая и разводя кончики пальцев.— Обмануть доверие мистера Джеймса ради его матушки и обмануть его ради вас — это разные вещи. Я полагаю, что мистер Джеймс едва ли мог поощрительно отнестись к получению писем, после которых уныние ее и разногласия между ними должны были бы усилиться. Но от дальнейших объяснений, сэр, я предпочел бы воздержаться.

— Это все? — спросила меня мисс Дартл.

Я ответил, что больше мне нечего сказать.

— Кроме того, пожалуй,— добавил я, когда он сделал шаг, чтобы удалиться,— что я прекрасно уяснил роль, которую играл этот человек в этом злом деле, и расскажу все тому, кто был ей отцом с детских ее лет... И я рекомендовал бы вам пореже появляться в публичных местах...

Он остановился, как только я заговорил, и слушал, как всегда, бесстрастно.

— Благодарю вас, сэр. Но, прошу прощения, сэр, в этой стране нет рабов и надсмотрщиков над рабами и никому не разрешается поступать не по закону, а по своей воле. Если кто так поступает, то это опасно скорей для него, чем для других. А потому, сэр, я нисколько не боюсь бывать там, где мне вздумается.

Он отвесил вежливый поклон, так же поклонился мисс Дартл и удалился через ту же арку в изгороди из остролиста, откуда появился. Мы с мисс Дартл смотрели друг на друга в полном молчании. Держала она себя так же, как и тогда, когда вызвала этого человека.

— Он еще говорил,— начала она, скривив рот,— что его хозяин, как он слышал, плавает у берегов Испании

и, по-видимому, будет предаваться своим склонностям к мореходству, пока это ему не надоест. Но это не может вас интересовать. Теперь пропасть между этими двумя гордецами — матерью и сыном — еще шире, чем раньше, и на примирение мало надежды, потому что они одного покроя и время делает их еще более упрямыми и властными. Это вас тоже не может интересовать, но я хочу вам только сказать, что этот дьявол, которого вы считаете ангелом, то есть эта самая презренная девчонка, которую он вытащил из морской тины,— тут она в упор посмотрела на меня своими черными глазами и выразительно подняла палец,— должно быть, жива, потому что простые людишки так скоро не умирают. Если она жива, вы захотите найти и сберечь эту бесценную жемчужину. Этого хотим и мы, чтобы он как-нибудь случайно не сделался снова ее добычей. Вот единственное, в чем мы оба с вами заинтересованы. И вот почему я послала за вами, чтобы вы все это выслушали, хоть я и желала бы причинить ей такую боль, которую могла бы почувствовать даже такая грубая тварь, как она.

Ее лицо вдруг изменилось, и я понял, что кто-то появился позади меня. Это была миссис Стирфорт. Она подала мне руку более холодно, чем подавала когда-то, и вид у нее был еще более величавый, но я заметил,— и это меня тронуло,— что она хранит воспоминание о моей прежней любви к ее сыну. Она очень изменилась. Ее прекрасная фигура была уже не такой стройной, красивое лицо прорезали глубокие морщины, а волосы были почти белые. Но когда она опустилась на скамейку, она показалась мне все еще красивой, и как хорошо я помнил этот сверкающий, горделивый взгляд, который со школьных времен остался в моей памяти!

— Роза, мистер Копперфилд узнал обо всем?

— Да.

— Он узнал от самого Литтимера?

— Да. Я объяснила, почему вы этого хотели.

— Вы хорошая девушка. Я изредка, сэр,— это относилось ко мне,— обмениваюсь письмами с вашим прежним другом, но он еще не обрел вновь чувства долга или сыновних обязанностей. Поэтому у меня только та цель, о которой сказала вам Роза. Если бы как-нибудь

можно было помочь тому честному человеку, которого вы приводили сюда (его мне жаль, больше я ничего не могу сказать), и тем самым спасти моего сына от опасности снова попасть в ловушку хитрого врага, ну что ж, прекрасно!

Она выпрямилась и смотрела прямо перед собой куда-то вдаль.

— Понимаю, сударыня,— сказал я почтительно.— Уверяю вас, у меня нет ни малейшего желания неверно истолковать ваши мотивы. Но я должен сказать, даже вам, что я с детства знаю эту поруганную семью. И если вы полагаете, что эта девушка, над которой так надругались, не была бесчеловечно обманута и не предпочла бы теперь сто раз умереть, только бы не взять стакана воды из рук вашего сына,— вы совершаете страшную ошибку!

— Не надо, Роза, не надо! — удержала миссис Стирфорт Розу, которая порывалась вмешаться.— Неважно. Пусть будет так. Я слышала, вы женились, сэр?

Я ответил, что не так давно я женился.

— И дела ваши идут хорошо? Я живу замкнуто и мало о чем знаю. Но до меня дошли слухи, что вы становитесь известным.

— Мне очень посчастливилось,— сказал я,— и меня как будто хвалят.

— У вас нет матери? — Голос звучал мягко.

— Нет.

— Жаль. Она бы вами гордилась. До свиданья!

Она протянула мне руку, все такая же величественная и непреклонная, и рука ее лежала в моей руке так спокойно, как будто покой был и в ее душе. Гордость ее была такова, что утишила биение ее сердца и опустила на ее лицо завесу невозмутимости, сквозь которую она смотрела прямо перед собой в невидимую даль.

Идя по террасе к дверям, я снова взглянул на них — они обе сидели на скамье и, не отрываясь, смотрели куда-то, бог знает куда, а тени сгущались и смыкались вокруг них. Там и сям вспыхивали вдалеке, в городе, первые фонари, а на западе в небе еще виднелись слабые отблески света. Но с широкой равнины, простиравшейся вплоть до города, вздымался, словно море, туман, и набегающие волны его, смешиваясь с тьмой, казалось, захлестывали

обе фигуры. Не без основания я вспоминаю об этом и с благоговейным ужасом об этом думаю. Ибо, прежде чем я снова их увидел, бурное море подступило к их ногам.

Размышляя о том, что мне пришлось услышать, я счел нужным рассказать обо всем мистеру Пегготи. На следующий день, вечером, я отправился в Лондон его разыскивать. Он скитался по-прежнему, и по-прежнему была у него одна-единственная цель — найти племянницу, но чаще всего бывал в Лондоне. Теперь я частенько видел его в глухую ночь — он бродил по улицам и, одержимый страхом, все ждал и ждал, не встретит ли ее среди тех немногих прохожих, которые еще блуждали в эти неурочные, поздние часы.

Он нанимал комнатку над свечной лавкой на площади Хангерфордского рынка, о которой я уже упоминал, и откуда он начал свое паломничество. Туда я и направился. От жильцов дома я узнал, что он еще не ушел и его можно найти в его комнатке, наверху.

Он сидел и читал у окна, на котором стояло несколько горшков с цветами. Комнатка была очень опрятная и уютная. С первого взгляда я понял, что здесь все приготовлено для ее возвращения и что, выходя из дому, он всегда надеется привести ее с собой. Моего стука в дверь он не слышал и поднял глаза только тогда, когда я коснулся его плеча.

— Мистер Дэви! Благодарю вас, сэр! От души благодарю, что вы пришли! Присаживайтесь. Будьте дорогим гостем, сэр.

— Мистер Пегготи, не хочу вас очень обнадеживать,— сказал я, садясь на предлагаемый стул,— но я кое-что узнал.

— Об Эмли?

Он нервно прикрыл рот рукой, побледнел и уже не спускал с меня глаз.

— Где она — неизвестно, но она не с ним...

Напряженно глядя на меня, он в глубоком молчании сидел и слушал мой рассказ. Я хорошо помню, каким благородным, даже красивым, казалось мне его лицо, когда, отведя от меня взгляд, он подпер рукой лоб и застыл, опустив глаза. Он ни разу не перебил меня, он не проронил ни одного звука. Казалось, в продолжение мо-

его рассказа он видел перед собой только ее одну, а все остальные для него просто не существовали.

Когда я умолк, он заслонил лицо рукой, оставаясь безмолвным. А я в это время смотрел в окно и разглядывал цветы.

— Что вы об этом думаете, мистер Дэви? — наконец спросил он.

— Мне кажется, она жива,— ответил я.

— Не знаю. А вдруг первое потрясение было так сильно, что в своем безумии... Там было синее море, о котором она так часто говорила... Не потому ли она думала о нем столько лет, что оно должно было стать ее могилой?

Он ходил взад и вперед по комнате и словно обращался к самому себе; в голосе его слышалась какая-то боязнь.

— И все-таки, мистер Дэви, я чувствую, что она... жива,— добавил он.— И во сне и наяву я верил и знал, что найду ее... Это так поддерживало меня, так мне помогало... что я и мысли не могу допустить... Нет! Этого не может быть. Эмли жива!

Он твердо оперся руками на стол, а его лицо, обожженное солнцем, выражало непреклонную уверенность.

— Моя племянница Эмли жива, сэр! — твердо сказал он.— Не знаю откуда, не знаю как, но *мне было сказано,* что она жива.

Вид у него был почти вдохновенный, когда он это произносил. Я подождал, пока он пришел в такое состояние, что мог меня слушать. Затем я начал говорить о том, что, мне кажется, следовало бы сделать,— эта мысль пришла мне в голову накануне вечером.

— А теперь, дорогой друг...— начал я.

— Благодарю вас, сэр, благодарю! — И он потряс мою руку обеими руками.

— Если она приедет в Лондон, что весьма вероятно, потому что где же человеку легче всего укрыться, как не в этом огромном городе, а она, разумеется, захочет укрыться от всех, раз не вернулась домой...

— И она не вернется домой,— он грустно покачал головой.— Уйди она от него по своей воле, она бы вернулась. Но не теперь, сэр.

— Если она приедет сюда,— продолжал я,— есть один человек, который может найти ее скорее, чем кто-нибудь другой. Вы помните... будьте мужественны... не забывайте о своей великой цели!.. Вы помните Марту?

— Из нашего города?

Он мог не отвечать, достаточно было взглянуть на его лицо.

— Вам известно, что она в Лондоне?

— Я видел ее как-то на улице,— ответил он, содрогнувшись.

— Но вы не знаете, что Эмили, задолго до того, как бежала из дому, оказала ей однажды помощь, и в этом содействовал ей Хэм. И вы также не знаете, что, когда мы с вами сидели в придорожной харчевне, эта женщина стояла и подслушивала у двери...

— Да что вы, мистер Дэви! — удивился он.— В тот вечер, когда шел такой снег?

— Да, в тот вечер. С той поры я ее не видел. Когда мы с вами расстались, я вернулся назад, но ее уже не было. Я не хотел говорить вам о ней, да и теперь мне не хотелось бы... Но она — тот самый человек, которого я имею в виду. И с ней нам надо встретиться. Вы понимаете?

— Слишком хорошо понимаю, сэр.

Мы все больше понижали голос и теперь говорили почти шепотом.

— Вы сказали, что видели ее. Могли бы вы ее найти? Я могу встретиться с ней ведь только случайно.

— Мне кажется, я знаю, где ее искать, мистер Дэви.

— Теперь темно. Не выйти ли нам вместе? Попытаемся найти ее сегодня.

Он согласился и стал собираться. Я не показал виду, будто обращаю внимание на то, что он делает, но заметил, как он старательно прибрал комнатку, приготовил свечу, мешочек с огнивом и кремнем *, оправил постель, а под конец вытащил из комода одно из ее платьев (помню, она его носила), аккуратно сложенное вместе с какими-то принадлежностями туалета, и шляпку и положил на стул. Об этой одежде он не сказал ни слова, промолчал и я. Несомненно, она ожидала здесь Эмили много, много ночей...

— Было время, мистер Дэви, когда я считал эту девушку, Марту, грязью под ногами моей Эмли,— сказал он, когда мы спускались по лестнице.— Да простит мне бог, теперь это не так!

По дороге я спросил его о Хэме — отчасти потому, что хотел о нем узнать, а отчасти для того, чтобы втянуть мистера Пегготи в разговор. Он ответил почти в тех же выражениях, что и раньше: «Хэм все такой же, тянет свою лямку, о себе совсем не заботится, ни на что не жалуется, и все его любят».

Я спросил его, каковы намерения Хэма относительно виновника их несчастий. Можно ли, по его мнению, чего-нибудь опасаться? Что сделает, например, Хэм, если когда-нибудь встретится со Стирфортом?

— Не знаю, сэр,— ответил он.— Частенько я об этом думал, но ничего не могу сказать. Да какое это имеет значение!

Я напомнил ему то утро после ее побега, когда мы втроем шли по берегу.

— Помните,— спросил я,— как он глядел безумными глазами на море и говорил, что «оттуда придет конец»?

— Еще бы не помнить! — сказал он.

— Что он имел в виду?

— Я задавал себе тот же вопрос, мистер Дэви,— сказал он,— и не знал, что ответить. И вот что странно — хоть он такой добряк, но я ни за что не решился бы навести его на эти мысли. Ни одного непочтительного слова я от него не слыхивал, да и теперь вряд ли он стал бы говорить по-иному. Но эти мысли у него в голове не на мелководье. Они где-то глубоко, сэр, и мне их не разглядеть.

— Вы правы,— сказал я,— потому-то это меня и беспокоит.

— И меня, мистер Дэви. Даже больше, уверяю вас, чем его безрассудная храбрость, хотя таким он сделался тоже после того, как с ним произошла эта перемена. Не знаю, пойдет ли он на насилие, но, надеюсь, они никогда не встретятся.

Через Тэмпл-Бар мы вошли в Сити. Больше мы не разговаривали, он шел рядом со мной, весь отдавшись размышлениям об одной-единственной цели, которой он

посвятил свою жизнь, молчаливо сосредоточив на ней все свои душевные силы; вот почему он казался в толпе таким одиноким. Мы приближались к Блекфрайерскому мосту, как вдруг он повернул голову и указал на женскую фигуру, быстро двигавшуюся по другой стороне улицы. Это была она — та, кого мы искали.

Мы перешли улицу и стали ее нагонять, но тут я подумал, что она, должно быть, больше заинтересуется судьбой погибшей девушки, если мы поговорим с ней вдали от толпы, в укромном месте, где нас никто не будет видеть. Я посоветовал моему спутнику пока ее не останавливать, а идти за ней следом; к тому же мне безотчетно хотелось знать, куда она идет.

Мистер Пегготи согласился со мной, и мы пошли за ней на некотором расстоянии, но не теряя ее из виду и не подходя слишком близко, так как она часто озиралась. Один раз она остановилась, чтобы послушать оркестр; и мы тоже остановились.

Она шла долго. Следом за ней шли и мы. Судя по тому, как она шла, было очевидно, что она держит путь к какому-то заранее намеченному месту. Это обстоятельство, выбор ею многолюдных улиц да, быть может, странное очарование таинственности, которое испытываешь, когда кого-нибудь выслеживаешь, убедили меня в том, что я был прав, решив пока не останавливать ее. Наконец она свернула в глухую, темную уличку, тихую и безлюдную; я сказал: «Ну, теперь мы можем с ней поговорить»,— и мы пошли быстрей.

ГЛАВА XLVII
Марта

Мы были в Вестминстере. Марта повернула нам навстречу, и мы, пропустив ее, снова пошли следом за ней; шумные и залитые светом центральные улицы она покинула у Вестминстерского аббатства. Теперь, когда ей не мешали людские потоки, направлявшиеся к мосту и от моста, она шла так быстро, что вырвалась далеко впе-

ред, и мы ее снова нагнали в узкой прибрежной уличке неподалеку от Милбэнк *. В этот момент она перешла улицу и, по-видимому заслышав за собой шаги, не оглядываясь, пошла еще быстрей.

Мерцание реки, открывшейся мне сквозь мрачную подворотню, где приютились на ночь несколько повозок, казалось, заставило меня замедлить шаги. Молча я коснулся плеча моего спутника, и мы продолжали идти по той же стороне, стараясь держаться в тени домов, но как можно ближе к ней.

В конце этой улички в те времена находилось, да и теперь находится, небольшое разрушенное деревянное строение; должно быть, когда-то это был домик паромщиков. Стоит оно как раз там, где улица кончается и переходит в дорогу, идущую между домами и рекой. Дойдя до этого места и увидев реку, она остановилась, словно именно сюда шла. Затем медленно двинулась по берегу, не отрывая глаз от воды.

Все время я полагал, что она направляется к какому-нибудь дому. У меня была смутная надежда, что этот дом наведет нас на след пропавшей девушки. Но, увидев сквозь подворотню реку, я инстинктивно понял, что эта женщина дальше не пойдет.

В этот поздний час местность была угрюма — мрачная, грустная, безлюдная, как и все окрестности Лондона. Не было ни верфей, ни домов на печальной дороге по соседству с огромной хмурой тюрьмой. Канавы, полные грязи, подступали к тюремным стенам. На заболоченной земле буйно разрослась трава и сорняки. По одну сторону гнили остовы домов, не в добрый час начатых, да так и не достроенных. По другую — громоздились ржавые железные чудища: паровые котлы, колеса, коленчатые валы, трубы, горны, весла, якоря, водолазные колокола, крылья ветряных мельниц и бог весть какие еще странные предметы; здесь собрал их какой-то спекулятор, и в ненастную погоду, погружаясь в землю от собственной тяжести, они, казалось, безуспешно старались спрятаться под слоем пыли и грязи. Шум и сверкающие огни фабрик на другом берегу вторгались в ночной покой, и спокойны оставались лишь тяжелые столбы дыма, поднимавшиеся над фабричными трубами. Траншеи, полные ила, и илистые

насыпи, извивавшиеся меж старых деревянных свай, покрытых, словно зеленой щетиной, отвратительным мхом и обрывками прошлогодних рукописных объявлений, суливших награду тому, кто притянет к берегу приносимых прибоем утопленников,— эти траншеи и насыпи вели к самой воде. Говорили, будто где-то здесь во времена великой чумы * зарывали трупы умерших, и эта молва наложила, казалось, страшный отпечаток на всю округу. Скорее, впрочем, похоже было на то, что вся местность постепенно превратилась в кошмарное видение, возникшее из испарений оскверненной реки.

Словно разделяя судьбу извергнутых на берег отбросов, обреченных на гниение и разложение, женщина, по стопам которой мы шли, добрела до самой реки и здесь остановилась, неподвижная и одинокая, пристально вглядываясь в воду.

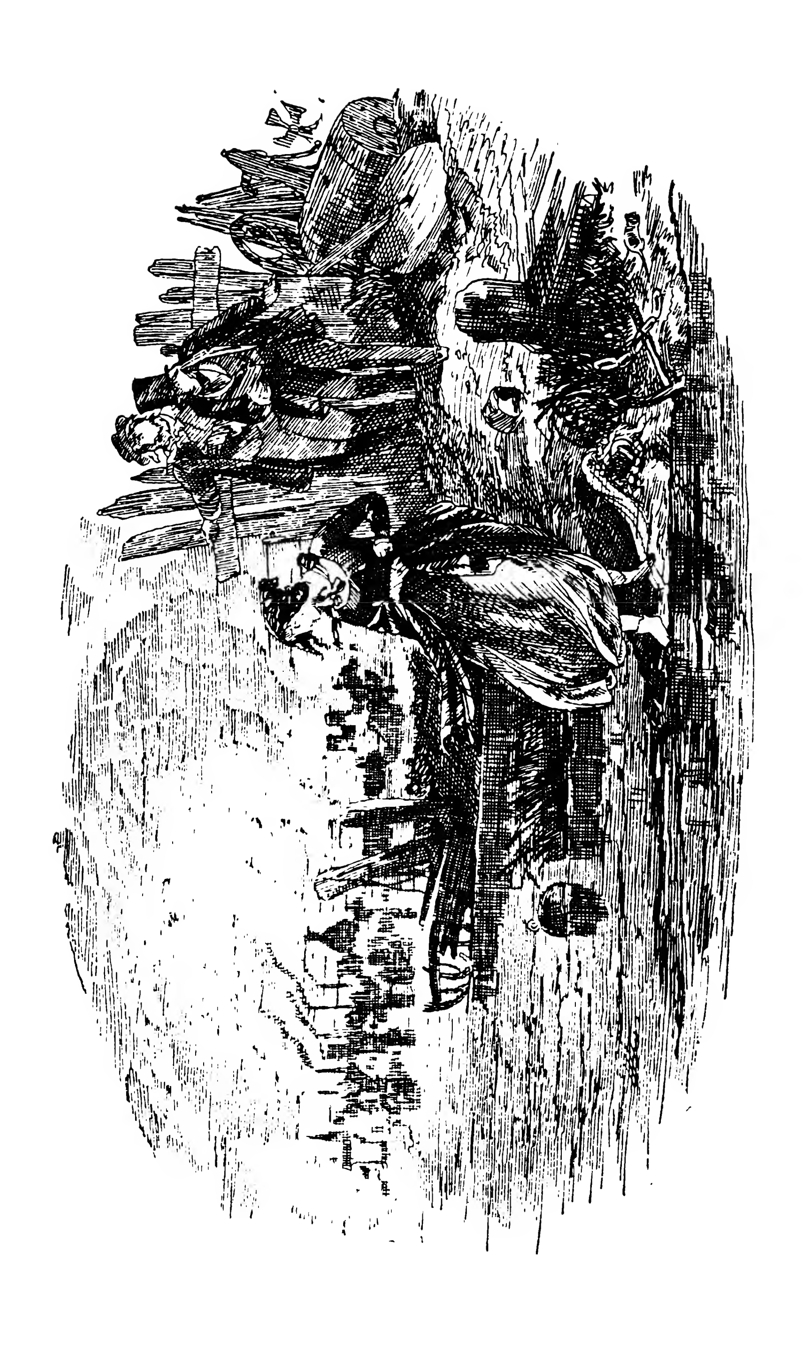
Неподалеку от нее завязли в грязи несколько лодок и баржей, и они-то помогли нам незаметно подойти к ней на расстояние в несколько ярдов. Сделав знак мистеру Пегготи не двигаться, я вышел из нашего прикрытия, чтобы заговорить с ней. Не без страха я приближался к этой одинокой фигуре. Она стояла у конечной цели своего путешествия в кромешной тьме, в тени, отбрасываемой железным мостом, стояла и, не отрываясь, смотрела на отблески огней, игравшие на поверхности быстро текущей воды; и меня охватил ужас.

Мне показалось, что она разговаривает сама с собой. Хотя она поглощена была созерцанием воды, но, стянув с плеч шаль, она начала закутывать ею руки, едва ли сознавая, что делает, похожая на сомнамбулу. Я знаю, и никогда мне этого не забыть: во всем ее облике и в порывистых движениях было нечто такое, что непререкаемо убеждало меня в одном — вот сию минуту, на моих глазах, она бросится в воду... Я схватил ее за руку. И в то же мгновение крикнул:

— Марта!

Она издала ужасный вопль и стала вырываться с такой силой, что один я бы ее не удержал.

Но рука, более сильная, чем моя, легла на ее плечо; подняв испуганные глаза, она увидела, кто перед ней стоит, рванулась еще раз и упала у наших ног. Мы от-



несли ее подальше от воды и положили подле груды сухих камней. Она плакала и стонала, затем приподнялась меж камней и схватилась обеими руками за злосчастную свою голову.

— Река! Река! — безумно выкрикивала она.

— Тише! Успокойтесь! — сказал я.

Но она все снова и снова повторяла: «Река!»

— Она — как я! — воскликнула Марта.— Я знаю — я принадлежу ей. Я знаю — она единственный друг таких, как я. Она течет из сельских мест, где когда-то была чистой... А потом она крадется между ужасных улиц, грязная и жалкая... И она, как моя жизнь, впадает в океан, который не знает покоя... Я чувствую — я должна быть с ней!

Никогда не доводилось мне слышать такого отчаяния, какое прозвучало в этих словах.

— Мне нельзя от нее уйти. Я не могу забыть ее. День и ночь она преследует меня. Только для нее я и годна, и только она годна для меня. О, страшная река!

У меня мелькнула мысль, что по лицу моего спутника, который, застыв на месте, безмолвно смотрел на нее, я мог бы прочесть историю его племянницы, даже если бы не знал ее. Ни в жизни, ни на портретах я не видел человека, лицо которого выражало бы одновременно такой ужас и такое сострадание. Он трясся, казалось, он вот-вот упадет; в испуге я коснулся его руки — рука была холодна, как у мертвеца.

— Она бредит,— шепнул я ему.— Скоро она придет в себя и заговорит иначе.

Я не знаю, что он хотел ответить. Губы его зашевелились, вероятно он думал, что говорит вслух, но он только указал на нее рукой.

Она снова разразилась рыданиями и, спрятав голову между камней, распростершись, лежала теперь перед нами как горестное воплощение позора и гибели. Я чувствовал, что надо переждать, пока это состояние пройдет и мы сможем с ней заговорить, и удержал его, когда он сделал движение, чтобы ее поднять. Так мы и стояли в полном молчании, и, наконец, она начала успокаиваться.

— Марта! — окликнул я, наклоняясь к ней и помогая ей подняться. Она хотела встать и, по-видимому, уйти,

но от слабости прислонилась спиной к лодке.— Марта! Вы знаете, кто со мной?

Она чуть слышно ответила:

— Да.

— Вы знаете, что мы долго шли следом за вами?

Она покачала головой. Ни на меня, ни на мистера Пегготи она не смотрела, стояла в какой-то жалкой позе и, сама того не сознавая, держала в одной руке шляпку и шаль, а другую прижимала ко лбу.

— Вы уже успокоились и можете говорить о том, что вас так интересовало в тот вечер, когда шел снег? — спросил я.— Дай бог, чтобы вы это вспомнили!

Рыдания снова потрясли ее, она невнятно пробормотала слова благодарности за то, что я не прогнал ее тогда от дверей.

— О себе мне нечего сказать,— прошептала она спустя некоторое время. — Я — дурная, я — погибшая. И ни на что я не надеюсь. Но скажите ему, сэр,— съежившись, она отступила от мистера Пегготи,— скажите ему, если есть у вас ко мне какая-нибудь жалость, что беда с ним стряслась не по моей вине!

— Вас никто в этом не обвинял,— сказал я так же взволнованно, как и она.

— Если я не ошибаюсь,— голос ее прервался,— это вы вошли в кухню в тот вечер, когда она сжалилась надо мной? Она не оттолкнула меня, как другие, она была ко мне так добра, так помогла мне... Это были вы, сэр?

— Да, это был я.

— Если бы я причинила ей зло, я давно была бы уже в реке,— сказала она, и страшен был ее взгляд, который она бросила на воду.— Я очутилась бы на дне в первую же зимнюю ночь, если бы в том была и моя вина!

— Причина ее бегства хорошо известна,— сказал я.— Вы ни в чем не виноваты, мы этому верим, мы это прекрасно знаем.

— О, если бы у меня было не такое дурное сердце, я могла бы стать лучше благодаря ей! — воскликнула девушка с горьким сожалением.— Как она была ко мне добра! Как ласково она со мной говорила и как она была права! Подумать только, я ведь знаю, кто я такая,— так

разве могла бы я захотеть, чтобы и она стала такой же! Я потеряла все на свете, жизнь мне не дорога. А тяжелей всего для меня, что мы расстались с ней навсегда!

Мистер Пегготи стоял, опустив глаза, и держался одной рукой за планшир лодки, а другой закрыл лицо.

— Незадолго до того вечера, когда шел снег, я узнала от кого-то из нашего города о том, что̀ случилось...— плача, говорила Марта.— Горше всего мне было думать, что люди вспомнят, что я была с ней когда-то знакома, и скажут, будто я ее совратила. Видит бог, я готова умереть, лишь бы вернуть ей доброе имя!

Она давно отвыкла владеть собой, и было страшно смотреть, как она терзалась от горя и угрызений совести.

— Что я говорю! Умереть — это нетрудно. Я согласилась бы жить! — рыдала она.— Я согласилась бы жить, я состарилась бы на этих проклятых улицах, я бродила бы по ним в темноте, и все бы шарахались от меня, а я бы видела, как загорается день над этими мрачными домами, и вспоминала, как то же самое солнышко заглядывало, бывало, в мою комнату... Да, чтобы ее спасти, я готова была бы пойти даже на это!

Опустившись на землю, она схватила горсть камешков и сжала их так, словно собиралась раскрошить. И снова скорчилась, сжалась в комок — ее руки судорожно напрягались, она сплетала пальцы перед лицом, как бы заслоняясь от света, и голова ее поникала словно под тяжестью невыносимых воспоминаний.

— Что же мне делать? — сказала она наконец, борясь с отчаянием.— Как мне дальше жить — такой, как я? Я — проклятая, я позорю всех, к кому бы ни подошла! — Вдруг она повернулась к моему спутнику.— Растопчите, убейте меня! Когда она была еще вашей гордостью, вы считали, что я ее опозорю, если на улице коснусь ее рукой! Вы не поверите ни единому звуку, что̀ бы я ни сказала. Да разве могли бы вы поверить! Вы сгорели бы от стыда, даже вот теперь, если бы мы с нею обменялись хоть словом. Я не жалуюсь. Я не говорю, что она такая же, как я,— я знаю, какое между нами расстояние! Я только хочу сказать, что хоть я и преступная и презренная, но благодарна ей от всей души и люблю ее. О!

Не думайте, что я уже больше никого не могу любить! Отшвырните меня, как это сделали все остальные! Убейте меня за то, что я такая, за то, что я когда-то знала ее, но не думайте так обо мне!

Не помня себя, она умоляла его об этом, а он смотрел на нее и, когда она умолкла, тихонько ее поднял.

— Марта! — сказал мистер Пегготи.— Упаси бог, я тебе не судья. Кому-кому, но не мне судить тебя, моя девочка! Коли ты так думаешь, значит ты совсем не знаешь, как я за это время изменился...— Он помолчал, потом продолжал: — Так-то... Ты не понимаешь, почему этот джентльмен и я хотим с тобой поговорить. Ты не знаешь, зачем нам это нужно. Ну, так слушай.

Его слова возымели на нее действие. Съежившись, она стояла перед ним и как будто боялась посмотреть ему в глаза, но ее бурная скорбь утихла и словно стала немой.

— Если ты слышала, о чем мы говорили с мистером Дэви в тот вечер, когда шел сильный снег,— продолжал мистер Пегготи,— ты знаешь, что я пошел искать — и где только я не искал! — мою дорогую племянницу. Да, мою дорогую племянницу,— повторил он твердо.— Потому что, Марта, она мне еще дороже теперь, чем раньше...

Она закрыла лицо руками, но не пошевельнулась.

— От нее я слышал,— продолжал мистер Пегготи,— что ты рано осталась без отца, без матери и не было у тебя никого, кто заменил бы их тебе, как это бывает у нас, у рыбаков. Кто знает, будь у тебя какой-нибудь близкий человек, ты привязалась бы к нему и для него стала бы заместо дочери, точь-в-точь как для меня моя племянница.

Она дрожала, и он поднял с земли ее шаль и заботливо накинул ей на плечи.

— Я знаю — она пойдет со мной хоть на край света, только бы ей меня увидеть,— продолжал он,— но знаю я также, что она готова убежать на край света, только бы не видеть меня... Потому что, хоть она и уверена в том, что я ее люблю... да... уверена, уверена,— повторил он, непоколебимо убежденный в истинности своих слов,— но ей стыдно, и этот стыд нас разделяет.

В каждом его слове, ясном и вразумительном, я находил новое подтверждение того, что он обдумал все это до мельчайших подробностей.

— Мистер Дэви и я,— продолжал он,— мы оба думаем, что наступит пора, когда она, бедняжка, одна-одинешенька, направится в Лондон. Мы верим,— мистер Дэви, я и все мы,— что ты так же не повинна в той беде, которая с ней стряслась, как младенец в утробе матери. Ты говорила, что она была кроткой, ласковой, доброй к тебе. Я это знал, да благословит ее господь! Я знал, она всегда и ко всем людям так относилась. Ты благодарна ей и любишь ее. Так помоги же нам ее найти, и господь тебя вознаградит!

Тут она впервые быстро взглянула на него, словно не верила своим ушам.

— И вы мне доверитесь? — тихо и удивленно спросила она.

— Всей душой,— ответил мистер Пегготи.

— Вы поручаете мне с ней поговорить, если я ее найду? Дать ей приют, если у меня будет, где приютить ее? А потом, не говоря ей ни слова, пойти к вам и привести вас к ней? — спросила она торопливо.

Мы оба в один голос ответили:

— Да.

Она подняла глаза и торжественно обещала, что отдаст всю себя этому делу. Никогда она не откажется от него, никогда не отречется, ничто не отвратит ее от этого дела, пока остается хоть какая-то надежда. А если она не соблюдет верность ему и станет колебаться на пути к цели, которая теперь убережет ее от греха, да падет еще больший позор на ее голову и да будет она, если только это возможно, еще более несчастна, чем теперь, в этот вечер на берегу реки! И да лишится она навсегда помощи людей и бога!

Говорила она чуть слышно и обращалась не к нам, а к ночному небу. Потом застыла в глубоком раздумье, не отрывая глаз от темной воды.

Тогда мы решили сообщить ей то, что̀ нам было известно, и я подробно рассказал ей все. Она слушала с великим вниманием, лицо ее поминутно менялось, но выражало все ту же решимость. На глаза навертывались

слезы, но она тотчас же овладевала собой. Казалось, будто душа ее переродилась и она обрела глубокое спокойствие.

Когда я кончил свой рассказ, она спросила, как нам дать знать в случае необходимости. Я вырвал из записной книжки листок и при тусклом свете уличного фонаря написал на нем наши адреса, а она спрятала листок у себя на груди. Я спросил, где она живет. Она помолчала, ответила, что не живет подолгу на одном месте. И, пожалуй, лучше нам ничего не знать.

Мистер Пегготи шепнул мне несколько слов; та же мысль пришла и мне в голову, и я вытащил кошелек, но мне не удалось уговорить ее взять деньги; не удалось также добиться у нее обещания, что она возьмет деньги в другой раз. Я убеждал ее, что мистера Пегготи никак нельзя назвать бедняком и мы никоим образом не можем согласиться, чтобы она тратила на поиски свои собственные деньги. Но она оставалась непреклонной. Даже мистер Пегготи не смог ее убедить. Она горячо благодарила его, но была непоколебима.

— Можно найти какую-нибудь работу... Я постараюсь найти,— сказала она.

— Ну, возьмите хотя бы немного, пока вы не нашли,— убеждал я.

— Я не могу получать деньги за то, что обещала вам сделать,— сказала она.— Умирай я с голоду, я и тогда не смогла бы их взять. Дать мне деньги — это значит лишить меня вашего доверия, отнять у меня цель, которую вы мне поставили, отобрать то единственное, что̀ спасает меня от реки.

— Во имя великого судии, перед которым и вы и все мы предстанем в день Страшного суда, отбросьте эту ужасную мысль! — сказал я.— Каждый из нас, если только захочет, может творить добрые дела.

Она вздрогнула, стала еще бледней, и губы ее задрожали, когда она ответила:

— Может быть, вам дано было спасти и привести к покаянию погибшее существо. Боюсь так думать — это слишком дерзко. Если я принесу хоть какое-то добро, у меня появится надежда — ведь до сих пор я приносила только зло. В первый раз за долгие годы моей жалкой

жизни мне оказывают доверие и дают мне возможность попытаться что-то сделать... Больше я ничего не знаю, и больше мне нечего сказать...

Снова слезы показались у нее на глазах, и снова она овладела собой. Потом она протянула дрожащую руку, коснулась руки мистера Пегготи, словно черпая у него целительную силу, и побрела по пустынной дороге. Она была больна, может быть болела уже долго. Присмотревшись к ней ближе, я заметил, что вид у нее истощенный и измученный, и по запавшим глазам можно было заключить о длительной ее нужде.

Мы последовали за ней на некотором расстоянии,— наш путь лежал в том же направлении,— и вышли на освещенные, людные улицы. Я так верил ее обещанию, что спросил мистера Пегготи, не покажется ли Марте, будто мы не доверяем ей, если и дальше пойдем за нею следом. Он был того же мнения и так же, как я, верил в нее. Предоставив ей идти своей дорогой, мы повернули к Хайгету. Он прошел со мной добрую часть пути, а когда мы расстались, возлагая надежды на успех нашей попытки, я заметил, что он задумчив и охвачен новым для него чувством сострадания, причину которого было нетрудно объяснить.

Домой я вернулся в полночь. Остановившись у ворот и прислушиваясь к колоколу собора св. Павла, который, мне казалось, я различал в звоне других колоколов, я с изумлением увидел, что дверь в бабушкином домике открыта и на дорогу падает слабый свет.

Я решил, что бабушка, которую обуял издавна знакомый мне страх, следит за пожаром, якобы пылающим где-нибудь вдали, и потому направился к ней. С большим изумлением я увидел в ее садике какого-то мужчину.

Он держал бутылку и стакан, из которого пил. Я остановился как вкопанный перед калиткой, в густой листве, потому что луна уже взошла, хотя и пряталась за облаками, и в этом человеке я узнал того самого незнакомца, которого раньше считал плодом воображения мистера Дика, а затем видел однажды вместе с бабушкой на улице Сити.

Он не только пил, но и ел, и, по всем признакам, ел с жадностью. Казалось, он с любопытством смотрит на

коттедж, словно видит его впервые. Наклонившись, он поставил бутылку наземь, затем взглянул на окна и украдкой огляделся вокруг; вид у него был беспокойный, пугливый, как будто ему не терпелось уйти.

На мгновение кто-то заслонил свет, лившийся из двери, и появилась бабушка. Она была очень взволнована и положила ему в руку несколько монет. Я слышал, как они звякнули.

— А что я с ними буду делать? — спросил он.

— Больше я не могу дать,— ответила бабушка.

— Ну, тогда я не уйду. Можешь их взять назад! — сказал он.

— Ты — дурной человек! — возбужденно воскликнула бабушка.— Как ты можешь так со мной поступать? Ах, да что тебя спрашивать! Это потому, что я так слаба и ты это знаешь! Что мне делать, чтобы избавиться от твоих посещений? Остается только одно — бросить тебя на произвол судьбы.

— Так почему же ты не бросишь меня на произвол судьбы? — спросил он.

— И ты еще меня спрашиваешь почему! Какой же ты бессердечный!

Он хмуро позвякивал монетами и качал головой; наконец он сказал:

— Так это все, что ты мне хочешь дать?

— Это все, что я *могу* тебе дать,— сказала бабушка.— Ты знаешь, что я разорилась, и теперь у меня денег меньше, чем было раньше. Я это тебе говорила. А теперь, когда ты получил от меня все, что можно, почему ты не уходишь и заставляешь меня страдать и смотреть, во что ты превратился?

— Да, я сильно обносился, если ты это имеешь в виду. Я живу как сыч.

— Ты отнял бо́льшую часть того, что было у меня когда-то,— сказала бабушка.— Год за годом ты ожесточал мое сердце против всех на свете. Ты был неблагодарен, низок, жесток! Уходи, и пусть тебя мучит совесть! Не прибавляй еще новых обид к тем обидам, которые ты столько лет мне наносил!

— Ах, так! Прекрасно! — отозвался он.— Ну что ж, на этот раз как-нибудь обойдусь.

Помимо его воли, негодование и слезы бабушки привели его, по-видимому, в некоторое замешательство, так как он направился, тяжело ступая, к садовой калитке. Я тотчас же сделал два-три шага, чтобы казалось, будто я только что появился, и вошел в садик в тот самый момент, когда он выходил. Мы пристально посмотрели друг на друга, когда он проходил совсем близко от меня, и обменялись взглядами, не скажу чтобы очень дружелюбными.

— Бабушка! — воскликнул я.— Этот человек снова преследует вас. Позвольте мне с ним поговорить. Кто он такой?

— Дитя мое, войди в дом и посиди со мною молча минут десять,— сказала бабушка, взяв меня под руку.

Мы уселись в ее крохотной гостиной. Бабушка укрылась за круглым зеленым экраном, наследием прежних дней, привинченным к спинке кресла, и время от времени вытирала платком глаза. Так прошло с четверть часа.

Затем она вышла из-за экрана и села рядом со мной.

— Трот, это — мой муж,— сказала она спокойно.

— Бабушка! Ваш муж? Я думал, что он умер.

— Умер для меня,— отозвалась бабушка.— Но он жив.

Пораженный, я сидел молча.

— Не похоже, чтобы Бетси Тротвуд могла питать нежную страсть, но было время, Трот,— сказала бабушка,— когда она всей душой верила в этого человека... Когда она глубоко любила его... Когда она не останавливалась ни перед чем, чтобы доказать свою преданность и любовь... А он отплатил ей тем, что растратил ее состояние и разбил ей сердце. И наступил день, когда она похоронила навсегда свое чувство в могиле, засыпала ее землей, а землю сровняла...

— Дорогая, добрая бабушка!

— Я обошлась с ним великодушно,— продолжала бабушка, по обыкновению кладя руку на мою.— Теперь, когда прошло столько времени, Трот, я могу сказать, что обошлась с ним великодушно. Он так был со мной жесток, что я могла бы добиться развода на самых легких для себя условиях, но я этого не сделала. Деньги, которые он получил от меня, он бросал на ветер, опускался

все ниже и ниже, кажется, женился второй раз, пустился в разные авантюры, стал игроком и мошенником. Во что он превратился — ты видел... Но когда я выходила за него замуж, это был красивый человек! — В словах ее звучала гордость, это был отголосок прежнего ее восхищения.— И я верила в то, что он — воплощение благородства... Какой же я была дурой!

Она сжала мою руку и покачала головой.

— Теперь, Трот, он для меня — ничто. Меньше чем ничто. Но для того, чтобы он не понес наказания за свои злые дела (а оно постигло бы его, если бы он стал бродягой), я даю ему денег, когда он приходит,— даю больше, чем в состоянии дать, лишь бы только он исчез. Дурой я была, когда выходила замуж, неисправимая дура я и сейчас, потому что когда-то верила в него и не хочу, чтобы сурово обошлись с этим человеком, хотя теперь он только тень моих прежних мечтаний. Потому что я глубоко любила его, Трот, как только может любить женщина...

Бабушка тяжело вздохнула и разгладила складки платья.

— Так-то, мой дорогой...— продолжала она.— Теперь ты знаешь и начало истории, и середину, и конец — словом, все. Больше никогда не будем об этом говорить. Разумеется, и ты никому не говори. Это стародавняя быль, но она терзает меня, так будем о ней молчать, Трот!

ГЛАВА XLVIII
Дела домашние

Над своей книгой я трудился много, стараясь, чтобы она не мешала точному исполнению моих обязанностей газетного репортера; книга вышла и имела большой успех. Голова у меня не закружилась от похвал, которыми прожужжали мне уши, хотя я и был весьма к ним чувствителен, но, несомненно, я сам был еще более высокого мнения о своем произведении, чем кто бы то ни было. Наблюдения над человеческой природой убедили меня,

что тот, кто имеет все основания верить в себя, никогда не должен чваниться, если хочет, чтобы в него уверовали другие. Посему, из уважения к самому себе, я оставался весьма скромным, и чем больше меня хвалили, тем больше старался быть достойным похвал.

В этом повествовании я не собираюсь излагать историю моих произведений, хотя обо всех других основных событиях моей жизни я рассказываю все, что помню. Мои произведения сами говорят за себя, и я оставляю их в покое. Если я время от времени о них упоминаю, то лишь потому, что они свидетельствуют о моем росте.

В то время у меня были некоторые основания полагать, что мои наклонности, а также случайные обстоятельства помогли мне стать писателем, и я с полной верой отдался своему призванию. Без этой уверенности я бы, несомненно, от него отказался и посвятил свою энергию какому-нибудь другому занятию. Следовало бы выяснить, какие природные склонности и какие случайные обстоятельства привели меня к этому решению.

Я так удачно работал в газетах и в других изданиях, что после выпавшего на мою долю успеха счел себя вправе улизнуть от ужасных парламентских прений. И вот, наконец, в один прекрасный вечер я в последний раз записал в свой блокнот музыку парламентских волынок, и с той поры никогда уже ее не слышал, разве что при чтении газет, в которых всегда, в течение всех сессий, мне слышится знакомое гудение, нисколько не изменившееся и только еще более продолжительное.

В то время, о котором я теперь пишу, я был уже года полтора как женат. После ряда опытов мы отказались от ведения домашнего хозяйства как от дела, вполне безнадежного. Домашнее хозяйство шло как ему вздумается, а мы наняли мальчика-слугу. Основным занятием сего слуги были ссоры с кухаркой. В этом отношении он оказался сущим Виттингтоном *, но только у него не было ни кошки, ни малейших шансов стать лорд-мэром.

Жил он, как мне кажется, под градом крышек от кастрюль. Вся его жизнь была сплошная драка. Он всегда с визгом взывал о помощи в самые неподходящие моменты — во время обеда, когда у нас бывали гости, или

по вечерам, когда собирались друзья,— и появлялся, изгнанный из кухни, а вслед ему летели метательные снаряды. Мы хотели от него отделаться, но он очень к нам привязался и не желал уходить. Он был плаксивый мальчишка, и когда ему намекали на разрыв наших отношений, начинал так горестно плакать, что нам ничего не оставалось, как держать его у себя. Матери у него не было, не было, по моим сведениям, и родственников, кроме сестры, которая уехала в Америку тотчас же после того, как сдала его нам на руки. Она оставила его у нас, как эльфы в сказке оставляют людям маленького уродливого подкидыша. Он ясно сознавал свое злосчастное положение и всегда тер себе глаза рукавом куртки, если только не был занят тем, что сморкался в самый кончик крохотного носового платка, который никогда не вытаскивал целиком из кармана, но всегда берег и тщательно прятал.

Этот злосчастный паж, нанятый в недобрый час за шесть фунтов десять шиллингов в год, был источником постоянного для меня беспокойства. Я с опаской следил за его ростом,— а он рос так же стремительно, как бобы,— и мне уже мерещилось то время, когда он начнет бриться, когда он полысеет и поседеет. Я не усматривал ни малейших возможностей от него отделаться и, провидя будущее, свыкся с мыслью о том, какой он будет для нас обузой, когда станет стариком.

И меньше всего я предполагал, что меня выведет из затруднения одно злополучное происшествие. Он стянул часы Доры, которые, как и все наши вещи, лежали где угодно, но только не на своем месте. А обратив эти часы в деньги, он истратил их (мальчишка он был всегда слабоумный) на безостановочное путешествие на крыше кареты, курсировавшей между Лондоном и Аксбриджем. Сколько я помню, он кончал свой пятнадцатый рейс, когда был взят и отведен на Боу-стрит * и при нем нашли четыре шиллинга шесть пенсов и подержанную флейту, на которой он не умел играть.

Это неожиданное происшествие, а равно и его последствия не причинили бы мне столько неприятностей, если бы он не принес покаяния. Но он покаялся, да к тому же весьма своеобразно — не оптом, а в розницу.

Через день после того, как я вынужден был дать свои показания против него, он сделал некоторые разоблачения насчет корзины в погребе — мы полагали, что она полна бутылок с вином, а нашли только пустые бутылки и пробки. Тут мы решили, что теперь он облегчил свою совесть, сообщив самое худшее, что̀ знал о нашей кухарке, но дня через два совесть снова стала его угрызать, и он открыл наличие у кухарки маленькой дочки, которая являлась ежедневно рано утром и уносила наш хлеб, а сам он за некоторую мзду снабжал молочника нашим углем. Еще дня через два власти уведомили меня о том, что он рассказал, будто лучшие куски говядины припрятывались среди кухонного хлама, а простыни попадали в мешок для тряпья. Немного погодя он устремился совсем в другом направлении и сознался, что ему известен замысел трактирного слуги ограбить наш дом, вследствие чего этот слуга был немедленно взят под стражу. Я так был сконфужен своей ролью жертвы, что готов был заплатить ему сколько угодно, только бы он держал язык за зубами, или щедро одарить тюремщиков, лишь бы ему дали возможность удрать. Досаднее всего было то, что он не имел об этом никакого понятия и считал, будто каждым новым разоблачением заглаживает передо мной свою вину и вдобавок делает меня своим должником.

Дело кончилось тем, что я удирал сам при виде полицейского агента, который приходил с новым сообщением, и мне пришлось чуть ли не скрываться, пока мальчишку не приговорили к ссылке за океан. Но и тогда он не утихомирился и непрерывно писал нам письма, а перед отправкой так упорно хотел увидеть Дору, что она пошла к нему на свидание и упала в обморок, когда очутилась за железной загородкой. Короче говоря, у меня не было покоя, пока, наконец, его не увезли и он не сделался, как я потом узнал, пастухом где-то там, «на севере», но где именно — не ведаю.

Все происшедшее навело меня на серьезные размышления, наши ошибки предстали передо мной в новом свете, и в один прекрасный вечер я не удержался и заговорил об этом с Дорой, невзирая на всю мою нежность к ней.

— Любовь моя,— обратился я к ней,— мне очень неприятно думать, что беспорядок в нашем хозяйстве отражается не только на нас (мы к нему уже привыкли), но и на других.

— Ты долго молчал, а теперь опять сердишься,— сказала Дора.

— Да нет же, дорогая моя! Я объясню, что̀ имею в виду.

— Мне не очень хотелось бы знать,— сказала Дора.

— А мне хотелось бы, чтобы ты знала, любовь моя. Спусти Джипа на пол.

Дора ткнула его носиком мне в лицо, сказала: «бу-у-у!» — дабы рассеять мою серьезность, но, не преуспев в этом, прогнала Джипа в его пагоду, сложила ручки и с покорным видом посмотрела на меня.

— Дело в том, дорогая,— начал я,— что в нас сидит какая-то зараза. Мы заражаем всех и вся вокруг.

Я продолжал бы выражаться столь же фигурально, если бы по лицу Доры мне не стало ясно, что она ждет, не предложу ли я какой-нибудь прививки или другого лекарства для излечения нашего заболевания. Поэтому я стал выражаться более ясно.

— Дело не только в том, моя птичка, что из-за нашей беспечности мы теряем много денег и не имеем необходимых удобств, и даже не в том, что это отражается на нашем расположении духа... Но мы несем серьезную ответственность за то, что портим каждого, кто поступает к нам на службу или как-то с нами связан. Мне начинает казаться, что виноваты не только они: все эти люди становятся дурными потому, что мы сами поступаем не очень хорошо.

— Ох! Что за обвинение! Ты хочешь сказать, что видел, как я брала золотые часы! Ох, — вскричала Дора, широко раскрывая глаза.

— Какая чепуха, моя дорогая! — опешив, сказал я.— Кто говорит о золотых часах?

— Ты говоришь. Ты! — настаивала Дора.— И ты отлично это знаешь. Ты сказал, что я поступаю нехорошо, и сравнил меня с ним!

— С кем?

— С этим мальчишкой! — зарыдала Дора.— Ох!

Какой злой! Ты сравниваешь свою любящую жену с мальчишкой-каторжником. Отчего ты мне не говорил этого прежде, чем мы поженились? Какое у тебя жестокое сердце! Отчего ты мне не сказал, что считаешь меня хуже мальчишки-каторжника? Ох! Какого ты ужасного обо мне мнения! О господи!

— Дора, любовь моя, успокойся! — Я осторожно пытался отнять у нее носовой платок, который она прижала к глазам.— То, что ты говоришь, не только смешно, но и дурно. И прежде всего это неверно!

— Ты всегда говорил, что он лгунишка! — рыдала Дора.— А теперь говоришь то же самое обо мне. О, что мне делать! Что мне делать!

— Детка моя! — продолжал я.— Прошу тебя, будь разумна и послушай, что я говорю. Если мы не научимся исполнять свой долг по отношению к тем, кто нам служит, они никогда не научатся исполнять свой долг по отношению к нам. Боюсь, мы предоставляем им возможность поступать дурно — возможность, которую не следовало бы им предоставлять. Даже если бы мы пожелали так же беспечно относиться к нашему хозяйству, как относимся теперь — а этого мы, конечно, не желаем! — даже если бы нам это нравилось и такой образ жизни был нам приятен — а это не так! — я убежден, что мы не имеем права так поступать! Мы просто-напросто портим людей! Об этом мы обязаны подумать. От этих мыслей я не могу отделаться, и потому мне иногда бывает очень не по себе. Вот и все, моя дорогая! Ну, довольно. Не будь дурочкой!

Дора долго не позволяла отобрать у нее носовой платок. Прикрывшись им, она без конца всхлипывала и бормотала. Зачем я женился на ней, если мне с ней так плохо. Почему же я не сказал, хотя бы у входа в церковь, что мне будет очень не по себе и что лучше мне не жениться? Почему же я не отсылаю ее в Патни к тетушкам или к Джулии Миллс в Индию, если не могу ее выносить? Джулия будет так рада ее видеть и никогда не назовет ее преступным мальчишкой-каторжником. Джулия никогда не назовет ее как-нибудь в этом роде. Одним словом, Дора была так удручена, и это меня так огорчило, что, по моему мнению, бесполезно было продолжать в

том же духе, как бы мягко я ни говорил, и мне надлежало пойти другим путем.

Но какой мне оставался путь? «Развивать ее ум»! Так принято было говорить, это звучало превосходно и многообещающе, и я решил развивать ум Доры.

Не мешкая, я приступил к делу. Когда Дора ребячилась и веселилась и мне бесконечно хотелось развеселить ее еще больше, я старался быть серьезным и... приводил в полное расстройство и ее и себя. Я говорил с ней о том, что занимало мои мысли, читал ей Шекспира и... утомлял ее до последней степени. Я приучил себя сообщать ей, как бы случайно, кое-какие полезные сведения и прививать здравые суждения, и... она шарахалась от них, как от хлопушек. Старался ли я развивать ум моей маленькой жены методически или мимоходом, я всегда замечал, что она инстинктивно чувствует, к чему клонится дело, и ужасно пугается. В частности, для меня было ясно, что она считает Шекспира страшным человеком. Развитие ее ума шло весьма медленно.

Я привлек к делу Трэдлса так, что он и сам об этом не подозревал. Когда он приходил к нам, я изощрялся перед ним вовсю, чтобы таким путем поучать Дору. Не было числа изречениям, полным житейской мудрости, да к тому же самого лучшего качества, которыми я засыпал Трэдлса. Но добился я только одного: Дора приходила в крайнее уныние и начинала очень нервничать, со страхом ожидая, что вот-вот я примусь за нее. Я походил на школьного учителя, на западню, на капкан, я стал пауком для мушки Доры, готовым в любой момент вылезти из своей норы к ее несказанному смятению.

Тем не менее я упорствовал в течение нескольких месяцев и, глядя вперед, в будущее, предвкушал наступление того момента, когда между Дорой и мной воцарится совершенная гармония и, к полному моему удовлетворению, я «разовью ее ум». Однако, несмотря на то, что я все это время как бы щетинился решимостью, подобно ежу или дикобразу, я не добился ровно ничего и стал подумывать, не развился ли ум Доры до крайних своих пределов.

Поразмыслив, я утвердился в этом предположении настолько, что бросил свою затею, которая была куда более

многообещающей на словах, чем на деле, и отныне решил быть довольным моей девочкой-женой и не пытаться ее изменить каким бы то ни было способом. Да мне и самому надоело быть рассудительным и благоразумным и видеть, как удручена моя милая крошка. Поэтому я купил ей хорошенькие сережки, а для Джипа ошейник и, возвращаясь домой, решил держать себя с нею как можно ласковее.

Дора пришла в восторг от этих маленьких подарков и радостно меня поцеловала; но между нами было какое-то легкое облачко, которое я решил рассеять. А если уж такому облачку суждено где-то быть, то лучше пусть будет оно в моем сердце.

Я сел на софу около жены и вдел ей в уши сережки. Потом я ей сказал, что в последнее время мы не были так дружны, как бывало раньше, и что в этом виноват я. Я говорил это искренне, да так оно и было на самом деле.

— Дело в том, Дора, жизнь моя, что я старался быть умным,— сказал я.

— И меня тоже сделать умной? — робко спросила Дора.— Правда, Доди?

Она вопросительно подняла брови, а я кивнул в ответ и поцеловал полураскрытый ротик.

— Из этого ничего не выйдет! — Дора тряхнула головой так, что сережки зазвенели.— Ты ведь знаешь, что я маленькая девочка... Помнишь, как с самого начала я просила тебя меня называть? Если ты этого не можешь, боюсь, ты никогда меня не полюбишь. Не кажется ли тебе иногда, что было бы лучше, если бы ты...

— Если бы я, дорогая моя?..— повторил я, так как она замолкла.

— Ничего! — сказала она.

— Ничего? — переспросил я.

Она обняла меня за шею, засмеялась и назвала себя глупышкой, как любила называть всегда, и спрятала лицо у меня на плече — локоны были такие густые, что поистине нелегко было их раздвинуть и увидеть ее личико.

— Не кажется ли мне, что было бы лучше, если бы я ничего не делал и не пытался развивать ум моей ма-

ленькой жены? Об этом ты хотела спросить? — сказал я, смеясь сам над собой.— Да, конечно.

— А ты это пытался сделать? — воскликнула Дора.— О, какой несносный мальчик!

— Но этого больше не будет,— сказал я.— Потому что я очень люблю ее такой, какая она есть.

— А это правда? — допытывалась Дора, прижимаясь ко мне.

— Зачем мне стремиться изменить то, что так дорого было мне в течение стольких лет? Ты не можешь быть еще лучше, чем ты есть! Никаких безрассудных опытов! Вернемся к старому и будем счастливы.

— И будем счастливы! — подхватила Дора.— О да! С утра до ночи! И ты не будешь сердиться, когда что-нибудь будет чуточку не так?

— Нет, нет! Будем делать, что можем.

— И ты больше не скажешь мне, что мы портим людей? — ластилась ко мне Дора.— Не скажешь? Потому что это такие злые слова!

— Нет, нет! — сказал я.

— Лучше быть глупой, чем нехорошей! Правда?

— Лучше быть просто Дорой, чем кем бы то ни было еще на свете!

— На свете! Ох, Доди, он такой большой!

Она тряхнула головой, сверкнула на меня очаровательными глазками, поцеловала меня, весело рассмеялась и умчалась к Джипу, чтобы надеть ему новый ошейник.

Так закончилась моя последняя попытка перевоспитать Дору. Я потерпел поражение. Моя мудрость так и осталась при мне и успеха не имела. Я не мог примирить ее с просьбой Доры называть ее «девочка-жена». Я решил делать все, что в моих силах, чтобы исправить положение вещей, но только постепенно, не спеша. Однако я предвидел, что из этого ничего не выйдет, а не то я снова превращусь в паука и буду вечно сидеть в засаде.

А облачко, то облачко, которое не должно было омрачать нашу жизнь и которое я должен был хранить в своем сердце? Что было делать с ним?

Знакомое тяжелое чувство тяготело надо мной. Пожалуй, оно даже углубилось, но оставалось таким же неясным, как и раньше, и преследовало меня, словно

печальный музыкальный мотив, звучавший где-то далеко в ночи. Да, я горячо любил свою жену и был счастлив, но это было не то счастье, о котором я когда-то мечтал — и мне всегда чего-то не хватало...

Выполняя принятое мной решение отразить на этих страницах мои мысли и чувства, я снова тщательно их исследую и обнажаю их тайны. Я считаю,— да и тогда считал,— мне не хватало того, о чем я грезил в юности; грезы эти нельзя было воплотить; в этом я, как и все люди, с душевной болью убеждался. Но насколько было бы для меня лучше, если бы моя жена мне помогала и разделяла мои заботы, которыми мне не с кем было поделиться. А ведь это было возможно, я знал.

И я странно колебался между этими двумя непримиримыми выводами, не сознавая ясно, насколько их трудно совместить; к одному, я чувствовал, неизбежно приходит каждый, а другой связан был с обстоятельствами моей жизни и мог быть иным. Когда я думал о воздушных замках моей юности, которые не суждено было выстроить, я вспоминал о лучшей поре, оставленной мной позади, у порога зрелости. И в памяти моей вставали счастливые дни, проведенные вместе с Агнес в милом старом доме,— вставали, словно призраки усопших, которые, быть может, восстанут из мертвых в ином мире, но здесь, на земле, не воскреснут никогда, никогда.

А иногда мне приходили в голову другие мысли. Что могло бы случиться или что случилось бы, если бы мы с Дорой никогда не встретились? Но моя жизнь так неразрывно связана была с Дорой, что эта мысль казалась самой праздной из всех моих фантазий и скоро исчезла из моего поля зрения, как плавающая в воздухе паутинка.

Я любил Дору. Чувства, которые описываю я здесь, дремали, иногда пробуждались и снова засыпали в сокровенной глубине моей души. Я их не сознавал, они, я уверен, не влияли на мои слова и поступки. Я один нес бремя наших маленьких забот и всех моих начинаний, а на попечении Доры были мои перья, и мы оба считали, что так оно и должно быть. Она была искренне ко мне привязана и гордилась мной. И когда Агнес в письмах к Доре добавляла, что старые друзья живо следят за моими успехами, гордятся мной и, читая мою книгу, как

бы слышат мой голос,— Дора, сверкая глазами, на которых блестели слезы радости, прочитывала мне эти строки и называла меня умным, знаменитым и дорогим мальчиком.

«Первые обманчивые порывы неопытного сердца». Эти слова миссис Стронг постоянно приходили в ту пору мне на память. Вряд ли я когда-нибудь забывал их. Просыпаясь ночью, я их слышал; помнится, мне даже казалось, что во сне я вижу их начертанными на стенах домов. Ибо я знал, что мое сердце было неопытным, когда я впервые полюбил Дору, и, будь оно опытней, я не изведал бы, после того как мы поженились, тех чувств, которые испытывал теперь.

«При несходстве характеров и взглядов брак не может быть счастливым». Вспоминал я и эти слова. Я пытался добиться того, чтобы Дора приспособилась ко мне, но потерпел неудачу. Оставалось приспособиться мне к ней, делить с ней, что возможно, и быть счастливым, взвалить на свои плечи все, что я должен был взвалить, и также оставаться счастливым. Это была та дисциплина, которой я старался подчинить мое сердце, когда начал трезво размышлять. Благодаря этому второй год моей жизни с ней был для меня более счастливым, чем первый, и — что еще важнее — жизнь Доры стала солнечной.

Но этот год не прибавил сил Доре. Я надеялся, что ручки, более легкие, чем мои, переделают ее характер, и улыбка младенца, лежащего у нее на груди, поможет моей девочке-жене превратиться в женщину. Этому было не суждено свершиться. Душа затрепетала у порога своей крохотной тюрьмы, а потом, не ведая о своем плене, отлетела.

— Когда мне снова можно будет бегать, как раньше,— сказала Дора,— я, бабушка, заставлю бегать Джипа. Он стал такой ленивый и неповоротливый.

— Боюсь, милочка, что болезнь у него другая, не лень,— заметила бабушка, мирно работавшая около нее.— Возраст, Дора!

— Вам кажется, он стар? — удивилась Дора.— Ох, как странно! Джип постарел!

— Пока мы живем, моя крошка, эта болезнь — удел всех нас,— ласково сказала бабушка.— Увы, я это чувствую теперь больше, чем раньше.

— Но Джип? Даже маленький Джип? — Дора посмотрела на него с жалостью.— Бедняжка!

— Мне кажется, мой Цветочек, он еще долго проживет,— сказала бабушка, погладив Дору по щеке, когда та наклонилась со своего ложа, чтобы взглянуть на Джипа, который ответил тем, что встал на задние лапки и, астматически задыхаясь, не щадил себя, пытаясь к ней вскарабкаться и тычась головой и передними лапами.— Ему надо будет положить на зиму в его домик фланельку, и я уверена, что весной он будет снова свеж и бодр. Ну и песик! — воскликнула она.— Будь он живуч, как кошка,— все равно он до последнего вздоха будет на меня тявкать!

Дора помогла ему влезть на софу, и действительно, он так рассердился на бабушку, что не мог устоять на ногах, и лаял, повалившись на бок. Чем больше смотрела на него бабушка, тем больше он ее попрекал, несомненно за то, что не так давно бабушка начала пользоваться очками, а по какой-то неведомой причине он считал очки личным для себя оскорблением.

Наконец, после длительных уговоров, Дора убедила его лечь, и когда он утихомирился, она стала поглаживать его длинное ухо, повторяя задумчиво: «Даже маленький Джип! Бедняжка!»

— Легкие у него хорошие, и нельзя сказать, чтобы его неприязнь ко мне ослабела,— улыбаясь, заметила бабушка.— Несомненно, он еще долго проживет. Но если ты хочешь, милый Цветочек, получить собачку, чтобы с ней бегать, я тебе достану другую — Джип уже стар.

— Спасибо, бабушка,— тихо сказала Дора.— Не нужно.

— Не нужно? — переспросила бабушка, снимая очки.

— Кроме Джипа, мне не надо никакой собачки,— сказала Дора.— Это было бы обидно для Джипа. И я не могла бы ни с кем так подружиться, как дружна с ним. Ведь он знал меня еще до того, как я вышла замуж, и залаял на Доди, когда тот в первый раз пришел к нам. Мне кажется, бабушка, я не смогу любить никакой собачки, кроме Джипа.

— Да... Конечно, ты права,— сказала бабушка, погладив ее по щеке.

— Вы не обиделись? — спросила Дора.

— Какое же у тебя чуткое сердечко, моя детка! — воскликнула бабушка и с любовью склонилась над ней.— Ты подумала, что я могу обидеться!

— Нет, нет, я этого не думала! — сказала Дора.— Но я немножко устала и сказала глупость... Я ведь глупенькая. А когда я говорю о Джипе, я становлюсь еще глупее... Он знает меня всю жизнь, знает все, что было со мной. Правда, Джип? И я не могу от него отвернуться только потому, что он немножко изменился. Правда, Джип?

Джип примостился поближе к своей хозяйке и лениво лизнул ей руку.

— Не правда ли, Джип, ты не так постарел, чтобы покинуть свою хозяйку? — сказала Дора.— Мы еще поживем немножко вместе!

Милая моя Дора! В следующее воскресенье она спустилась вниз к обеду и так радовалась, увидев старину Трэдлса (по воскресеньям он всегда обедал у нас), а мы думали, что через несколько дней она сможет «бегать, как раньше». Но ей посоветовали подождать несколько дней, затем еще несколько дней, и она все еще не бегала и даже не ходила. Она была прелестна, она была весела, но маленькие ножки, такие проворные раньше, когда они танцевали вокруг Джипа, оцепенели и были недвижны.

Каждое утро я стал приносить ее вниз, а каждый вечер уносить наверх. А пока я ее нес, она обнимала меня за шею и хохотала, словно я это делал, побившись с кем-нибудь об заклад. Джип тявкал, вертелся вокруг нас, забегал вперед и, еле переводя дыхание, останавливался на площадке лестницы, посмотреть, идем ли мы. Бабушка, лучшая и самая заботливая из всех сиделок на свете, тащилась за нами с ворохом шалей и подушек. Мистер Дик никому из смертных не уступил бы своей привилегии освещать нам дорогу. Внизу, у нижней ступеньки, частенько стоял Трэдлс, глядел вверх и принимал от Доры потешные поручения для передачи самой замечательной девушке на свете. Какое мы устраивали веселое шествие! А больше всех веселилась моя девочка-жена.

Но случалось, когда я брал ее на руки и замечал, что она становится все легче и легче, меня охватывало тяжелое чувство, словно я приближался к ледяной пустыне,—

она была еще невидима, но ее дыхание уже сковывало меня. Я избегал называть это чувство или размышлять о нем, но вот однажды вечером, когда оно мной овладело, а бабушка, уходя, крикнула Доре на прощание: «Спокойной ночи, Цветочек»,— я сел за свой стол и заплакал, подумав о том, какое это роковое имя и как увядает в полном расцвете этот цветок!..

ГЛАВА XLIX

Меня посвящают в тайну

В одно прекрасное утро я получил по почте из Кентербери письмо, адресованное на мое имя в Докторс-Коммонс, и с удивлением прочел следующее:

«Мой дорогой сэр,

Обстоятельства, над которыми я не властен, прервали на значительный промежуток времени ту близость, каковая, поскольку позволяли мои служебные обязанности, вызывала во мне картины и события прошлого, расцвеченные яркими красками воспоминаний, и доставляла мне, как и всегда будет доставлять, неописуемо приятные чувства. Это обстоятельство, а равно и то высокое положение, которого вы, мой дорогой сэр, достигли благодаря вашим талантам, не позволяют мне взять на себя смелость назвать вас, друга моей молодости, столь близким мне именем Копперфилд! Достаточно знать, что это имя, которое я имел честь упомянуть, всегда будет храниться среди документов нашего семейства (я разумею архив, хранимый миссис Микобер и относящийся к нашим прежним жильцам) как сокровище, с чувством глубочайшего уважения и даже с любовью.

Не пристало тому, кто из-за своих собственных ошибок и неблагоприятного стечения событий как бы уподобился потонувшему барку (я позволю себе привлечь это морское сравнение), не пристало, повторяю, тому, кто находится в таком положении, прибегать к языку приветствий и поздравлений. Пусть это будет делом рук более достойных и более чистых.

Если более важные занятия позволят вам ознакомиться с дальнейшим содержанием этих строк, написанных неискусной рукой,— а этого может и не случиться, смотря по обстоятельствам,— вы, натурально, полюбопытствуете, какую я преследую цель, сочиняя сие послание. Разрешите мне сказать, что я вполне понимаю основательность такого вопроса и готов на него ответить, но прежде всего должен заявить, что цель эта отнюдь не денежного характера.

Я не намекаю на тайную возможность, которая, быть может, находится в моем распоряжении, возможность направить молнию или пожирающее и отмщающее пламя на некий пункт, но позволяю себе заявить, между прочим, что мои самые светлые мечты рассеялись навсегда... покой мой нарушен... радость жизни убита... сердце у меня не на месте, и среди своих сограждан я не могу больше ходить с высоко поднятой головой. В цветке завелся червяк. Чаша полна горечи до краев. Червь делает свое дело и скоро покончит со своей жертвой. Чем скорей — тем лучше. Но не буду отклоняться в сторону.

Пребывая в крайне плачевном душевном состоянии, каковое не может смягчить даже влияние миссис Микобер, невзирая на то, что она предстает в тройственном образе — женщины, жены и матери, я намерен на короткое время бежать от самого себя и посвятить сорокавосьмичасовой отдых обозрению тех мест в столице, которые некогда были источником моих радостей. Ради лицезрения мирных приютов, приносивших душевный покой, я, конечно, направлю свои стопы и к тюрьме Королевской Скамьи. Сообщая, что я буду там (D. V.[1]), у южной стены этого узилища для заключенных по решениям гражданского суда, ровно в семь часов вечера послезавтра, я почитаю цель сего послания достигнутой.

Я не осмеливаюсь просить моего бывшего друга мистера Копперфилда или моего бывшего друга мистера Томаса Трэдлса из Иннер-Тэмпла, если сей последний джентльмен еще здравствует и преуспевает, чтобы они удостоили меня встречи и возобновления (насколько это возможно) наших добрых отношений, имевших место в

[1] Deo volente *(лат.)* — если богу будет угодно.

былые времена. Ограничиваюсь замечанием, что в означенный час и в означенном месте можно будет найти обломки, которые остались

от

Рухнувшей Башни

Уилкинса Микобера.

P. S. Может быть, уместно добавить к вышесказанному, что миссис Микобер не оповещена о моих намерениях».

Я перечитал письмо несколько раз. Отдавая должное напыщенному стилю мистера Микобера и его удивительной готовности браться за перо и писать длинные письма по любому подходящему или неподходящему поводу, я тем не менее понял, что за этим посланием, полным околичностей, скрывается нечто важное. Я отложил письмо, чтобы о нем подумать, снова взял его, чтобы перечитать, и все еще изучал его с крайним недоумением, когда появился Трэдлс.

— Дружище, никогда вы не приходили так кстати! Вы явились в тот самый момент, когда мне особенно нужен ваш разумный совет. Трэдлс, я получил очень странное письмо от мистера Микобера.

— Да что вы! Не может быть! — воскликнул Трэдлс.— А я получил письмо от миссис Микобер!

И раскрасневшийся от быстрой ходьбы и возбуждения Трэдлс, у которого волосы стояли дыбом, словно он только что увидел привидение, достал свое письмо и протянул мне, а я дал ему письмо, мной полученное. По мере того как он погружался в чтение письма мистера Микобера, я следил за ним. Он поднял брови, повторил вслух: «Направить молнию или пожирающее и отмщающее пламя» и воскликнул: «Бог ты мой! Копперфилд!» А затем я стал читать письмо миссис Микобер.

Вот оно:

«Я шлю искренний привет мистеру Томасу Трэдлсу, и если он еще помнит ту, которая некогда имела счастье быть его хорошей знакомой, не уделит ли он ей несколько минут своего досуга? Уверяю мистера Т.Т., что я

не стала бы злоупотреблять его любезностью, если бы не находилась на пороге отчаяния.

Тяжко говорить мне об этом, но причина, по которой я обращаюсь к мистеру Трэдлсу с этим злосчастным письмом и прошу его снисходительно отнестись к нему, заключается в том, что мистер Микобер (раньше такой хороший семьянин) стал чуждаться своей жены и детей. Мистер Т. не может себе представить, как изменилось поведение мистера Микобера, какой он стал необузданный и запальчивый. И постепенно эти качества усиливаются; право же, кажется, у него помрачение рассудка. Уверяю мистера Трэдлса, не проходит дня, чтобы с ним не случился какой-нибудь припадок. Мистер Т. поймет мои чувства, если я скажу ему, что мне все время приходится слышать от мистера Микобера, что он продался дьяволу. Уже с давних пор его безграничная доверчивость уступила место таинственности и скрытности, которые стали главными чертами его характера. Малейший повод, например простой вопрос, чего ему хотелось бы на обед, приводит к тому, что он заявляет о желании развестись со мной. Вчера вечером дети просили его дать им два пенса на покупку «лимонных сосулек» — так называется местное лакомство,— а он преподнес нашим близнецам ножик для устриц!

Я прошу мистера Трэдлса простить мне эти подробности. Без них мистер Т. не сможет получить никакого понятия о моем ужасном положении.

Могу ли я теперь взять на себя смелость и сообщить мистеру Т. цель моего письма? Разрешит ли он теперь положиться на его дружеское участие? О да! Я знаю его сердце!

Любящий женский глаз нелегко ослепить. Мистер Микобер едет в Лондон. Хотя сегодня утром перед завтраком он старательно заслонял рукой адрес, написанный им на ярлычке, который он прицепил к маленькому коричневому чемодану,— свидетелю былых счастливых дней,— но орлиный взгляд встревоженной супруги ясно различил буквы: д, о, н. Конечная остановка кареты — гостиница «Золотой Крест» в Вест-Энде. Осмелюсь ли я горячо просить мистера Т., чтобы он повидал моего заблудшего супруга и урезонил его? Осмелюсь ли я просить засту-

питься перед мистером Микобером за страждущее семейство? О нет! Это слишком большое одолжение!

Если мистер Копперфилд, достигнув славы, еще помнит столь скромную и малозаметную особу, как я, не возьмет ли на себя мистер Т. труд передать ему мое неизменное уважение и такую же просьбу? Во всяком случае, мистер Т. соблаговолит *хранить мое сообщение в строжайшей тайне и ни под каким видом не делать даже самых отдаленных намеков на него в присутствии мистера Микобера.* Если бы мистер Т. пожелал когда-нибудь мне ответить (хотя я чувствую, что это совершенно невероятно), письмо, адресованное в Кентербери, почтамт, до востребования, на имя М. Э., повлечет за собой меньше печальных последствий, чем адресованное непосредственно той, кто подписывает это письмо в страшном отчаянии, как

мистера Томаса Трэдлса
почтительный друг
и челобитчица
Эмма Микобер».

— Что вы думаете об этом письме? — взглянув на меня, спросил Трэдлс, когда я перечитал письмо дважды.

— А что вы думаете *об этом?* — спросил я, ибо, нахмурившись, он все еще читал послание мистера Микобера.

— Мне кажется, Копперфилд, оба эти письма заключают в себе нечто более важное, чем обычные письма мистера и миссис Микобер, но что именно — не понимаю. Они писали искренне и не сговариваясь между собой, я в этом не сомневаюсь. Бедная женщина! — Это относилось к письму миссис Микобер; стоя рядом, мы сравнивали оба письма.— Во всяком случае, мы должны пожалеть ее и ответить — написать, что не преминем повидаться с мистером Микобером.

Я выразил согласие тем более охотно, что теперь упрекнул себя в недостаточно внимательном отношении к ее первому письму. В свое время, как уже упоминалось, я размышлял о нем немало, но я был слишком занят собственными делами, да к тому же достаточно хорошо

знал все семейство и, не имея больше никаких известий, мало-помалу кончил тем, что перестал об этом думать. О Микоберах я размышлял частенько, но главным образом о том, какие «денежные займы» они сделали в Кентербери, а также вспоминал, что, поступив клерком к Урии Хипу, мистер Микобер чувствовал себя не в своей тарелке при встречах со мной.

Итак, я написал от имени нас двоих успокоительное письмо миссис Микобер, и мы оба его подписали. По дороге в город, на почту, мы вели долгую беседу с Трэдлсом и строили многочисленные предположения, упоминать о которых не стану. Днем мы посовещались с бабушкой, но пришли только к выводу, что не должны опаздывать на назначенное мистером Микобером свидание.

Хотя мы пришли в условленное место за четверть часа до назначенного времени, мистер Микобер был уже там. Скрестив на груди руки, он стоял, прислонившись к стене, и глядел на венчавшие ее острые зубцы так мечтательно, словно это были переплетающиеся ветви деревьев, осенявших его в юности.

Мы подошли к нему; вид у него был немного более смущенный и немного менее элегантный, чем в былые времена. Для поездки он распростился со своим черным костюмом законника, на нем были старый его сюртук и плотно облегающие панталоны, но от непринужденности, с какою он носил их прежде, остались лишь следы. Правда, разговаривая с нами, он мало-помалу вновь обретал былую элегантность, но даже его монокль болтался как будто не столь изящно, как раньше, а воротник сорочки хотя и был по-прежнему грандиозных размеров, но как-то обвис.

— Джентльмены! Вы — друзья в несчастье, настоящие друзья! — воскликнул мистер Микобер после обмена приветствиями.— Прежде всего позвольте осведомиться о физическом благополучии миссис Копперфилд in esse [1] и миссис Трэдлс in posse [2], полагая, так сказать, что мистер Трэдлс еще не сочетался — на радость и на го́ре * — с предметом своей любви!

---

[1] В настоящем *(лат.)*.
[2] В будущем *(лат.)*.

Мы оценили его учтивость и ответили подобающим образом. Затем он обратил наше внимание на тюремную стену и начал так: «Уверяю вас, джентльмены...» — но тут я запротестовал против такого церемонного обращения и попросил его говорить с нами так, как прежде.

— Ваша сердечность меня подавляет, дорогой Копперфилд! — сказал он и пожал мне руку.— Ваше обращение с тем, кто является лишь обломком Храма, называемого Человеком,— позвольте мне так назвать самого себя,— свидетельствует о сердце, которое делает честь нашей природе. Я хотел сказать, что вот сейчас обозревал мирный уголок, где протекли счастливейшие часы моей жизни...

— Я уверен, это было благодаря миссис Микобер,— сказал я.— Надеюсь, она в добром здравии?

— Благодарю! — ответил мистер Микобер, но лицо его слегка омрачилось.— Она чувствует себя не очень хорошо. Вот тюрьма! — Мистер Микобер горестно поник головой.— То место, где впервые на протяжении многих лет невыносимое бремя денежных затруднений не оповещало о себе изо дня в день несносными, не дающими прохода голосами! То место, где не было дверного молотка, стук коего предупреждал бы о появлении кредитора. То место, где вам не угрожало привлечение к суду, а те, кто вас засадил, не шли дальше ворот! Джентльмены! — продолжал мистер Микобер.— Когда тени этой железной решетки, увенчивающей кирпичные стены, падали на песок плаца, я видел, как мои дети пробираются в этом сложном лабиринте, избегая наступать на затененные места. Мне знаком каждый камень этой тюрьмы. Простите великодушно, если я не могу скрыть своей слабости!

— С той поры, мистер Микобер, у нас у всех произошли в жизни перемены,— заметил я.

— Мистер Копперфилд,— с горечью сказал мистер Микобер,— когда я находился в этом убежище, я мог смотреть своему ближнему прямо в лицо, и если он меня оскорбит,— пробить ему голову. Но больше я не нахожусь с моими ближними на равной ноге!

Понурив голову, мистер Микобер повернулся спиною к тюрьме; опираясь с одного бока на предложенную мной

руку, а с другого — на руку Трэдлса, он зашагал вместе с нами.

— На пути к могиле есть вехи,— продолжал мистер Микобер, умильно взирая назад через плечо,— подле коих человек пожелал бы задержаться до конца дней своих, если бы у него не было нечестивых стремлений. Такова и эта тюрьма в моей переменчивой карьере.

— У вас плохое расположение духа, мистер Микобер,— сказал Трэдлс.

— Совершенно верно, сэр,— согласился мистер Микобер.

— Надеюсь, не потому, что вам не нравится юриспруденция? — продолжал Трэдлс.— Вы ведь знаете, я юрист.

Мистер Микобер ничего не ответил.

— Как поживает, мистер Микобер, наш друг Хип? — спросил я после паузы.

— Мой дорогой Копперфилд! — побледнев, возбужденно воскликнул мистер Микобер.— Если вы считаете моего хозяина *вашим* другом, я могу только сожалеть об этом, если же вы считаете его *моим* другом, я позволю себе сардонически улыбнуться! Но кем бы вы ни считали моего хозяина, прошу не принять за обиду, если я отвечу только одно: здоров он или болен, он похож на лису, чтобы не сказать на дьявола... И прошу покорно разрешить мне как частному лицу не распространяться на эту тему, которая приводит меня как представителя моей профессии в состояние бешенства!

Я выразил сожаление, что, по неведению, коснулся темы, столь сильно его взволновавшей.

— А могу ли я узнать, не повторяя той же ошибки, как поживают мои старые друзья — мистер и мисс Уикфилд?

— Мисс Уикфилд всегда была и остается образцом совершенства,— ответил мистер Микобер, и лицо его зарумянилось.— Она, мой дорогой Копперфилд, единственная сияющая звезда на небосводе моего несчастного бытия. Эту молодую леди я почитаю, я удивляюсь ее характеру, я преклоняюсь перед ней. Какая сердечность, какая правдивость и доброта! Прошу вас, завернем куда-нибудь. Право же, я в таком расстройстве, что не могу собой владеть!

Мы повели его в переулок, где он вытащил носовой платок и прислонился к какой-то стене. Если я смотрел на него так же мрачно, как и Трэдлс, то едва ли наше общество могло действовать на него ободряюще.

— Такова моя судьба! — воскликнул мистер Микобер, непритворно всхлипывая, однако — не без оттенка былой элегантности.— Такова моя судьба, джентльмены, что прекраснейшие черты человеческой природы являются для меня укоризной. Уважение, которое я питаю к мисс Уикфилд,— это стрела, пронзающая мою грудь. Лучше покиньте меня, и я отправлюсь странствовать по лицу земли. Мои дела быстро уладит могильный червь!

Не вняв этому призыву, мы подождали, пока он не спрятал носового платка; затем он оправил воротничок сорочки и, дабы обмануть прохожих, которые случайно могли на него взглянуть, начал напевать какую-то песенку и сдвинул шляпу набекрень. Не желая терять его из виду, так ничего и не узнав, я сказал ему, что с удовольствием познакомлю его с бабушкой, если он поедет со мною в Хайгет, где к его услугам будет постель и ночлег.

— А вы, мистер Микобер,— сказал я,— приготовите нам стаканчик нашего превосходного пунша, и приятные воспоминания помогут вам забыть теперешние заботы.

— А не то, мистер Микобер, вы поведаете о них нам, если доверительные сообщения вашим друзьям способны вам как-то помочь,— осторожно сказал Трэдлс.

— Делайте со мной, джентльмены, все что хотите! — произнес мистер Микобер.— Я — соломинка в пучине морской, я нахожусь во власти стихов! Прошу прощенья, я хотел сказать — стихий.

Мы снова двинулись рука об руку, успели сесть в карету, которая вот-вот должна была тронуться, и приехали в Хайгет без помех и приключений. Я был в большом затруднении, не ведая, что мне сказать и как поступить; по всем признакам в таком же затруднении был и Трэдлс. Мистер Микобер погружен был в мрачное раздумье. По временам, правда, он пытался придать себе бодрый вид и напевал какую-то песенку, но его глубокая меланхолия производила тем большее впечатление, чем более ухарски он заламывал набок шляпу, вытягивая воротничок сорочки чуть ли не до самых глаз.

Мы пошли не ко мне, а к бабушке, так как Дора чувствовала себя неважно. Я послал за бабушкой, и она встретила мистера Микобера очень приветливо. Мистер Микобер поцеловал ей руку, отретировался к окну и вытащил носовой платок, испытывая тяжелую внутреннюю борьбу.

Мистер Дик был дома. По самой своей природе он был так преисполнен сострадания ко всем, кому было плохо, и так быстро распознавал подобных людей, что за пять минут по крайней мере раз десять пожал руку мистеру Микоберу. Такое участие со стороны незнакомого человека столь растрогало мистера Микобера, что при каждом пожатии он повторял: «О, это слишком, мой дорогой сэр!» А это до того вдохновляло мистера Дика, что он, еще с бо́льшим пылом, снова и снова пожимал руку гостю.

— Доброта этого джентльмена, сударыня,— обратился мистер Микобер к бабушке,— если вы разрешите прибегнуть к несколько грубоватому выражению, употребляемому в нашем национальном спорте, сбивает меня с ног! Такой прием, право же, смущает человека, который, как я, сражается с затруднениями, находясь под бременем тревоги.

— Мой друг мистер Дик — человек необыкновенный,— с гордостью сказала бабушка.

— Я в этом убежден,— сказал мистер Микобер.— Дорогой мой сэр (ибо мистер Дик снова пожал ему руку), я глубоко тронут вашим участием!

— Как вы поживаете? — спросил мистер Дик с беспокойством.

— Неважно, дорогой мой сэр,— вздыхая, ответил мистер Микобер.

— Вам не следует унывать, вы должны, насколько возможно, развеселиться,— сказал мистер Дик.

Мистер Микобер был совершенно очарован этими дружескими словами, а также и тем, что снова ощутил руку мистера Дика в своей руке.

— Участь моя,— сказал он,— такова, что, созерцая разнообразную панораму человеческого бытия, мне случалось встречать оазисы, но такого зеленого, такого освежающего я не встречал никогда!

В другое время это бы меня позабавило; но я чувствовал, что все мы как-то напряжены и встревожены, и с таким беспокойством наблюдал за мистером Микобером, который колебался между явным намерением нечто открыть и желанием не открывать ничего, что мое беспокойство перешло в лихорадочное волнение. Трэдлс сидел на кончике стула, глаза его были широко раскрыты, волосы торчали более выразительно, чем обычно; он поглядывал то на мистера Микобера, то на пол и не издавал ни звука. Бабушка, хоть и присматривалась внимательно к своему новому гостю, владела собой лучше, чем мы, ибо она втянула его в разговор и принудила отвечать, хотел он этого или не хотел.

— Вы очень старый друг моего внука, мистер Микобер,— сказала бабушка.— Жалею, что не имела удовольствия видеть вас раньше.

— А я, сударыня, жалею, что не имел чести знать вас в прежние времена,— отозвался мистер Микобер.— Я не всегда был таким обломком разбитого судна, каким вы видите меня в настоящее время.

— Надеюсь, все обстоит благополучно с миссис Микобер и со всем вашим семейством? — спросила бабушка.

Мистер Микобер отвесил поклон.

— С ними обстоит все благополучно, поскольку могут надеяться на благополучие несчастные отверженные,— мрачно ответил мистер Микобер после паузы.

— Господи помилуй! — воскликнула бабушка с присущей ей выразительностью.— Что вы имеете в виду, сэр?

— Мое семейство, сударыня,— ответил мистер Микобер,— может в любой миг лишиться средств к существованию. Мой хозяин...

Тут мистер Микобер, к моему вящему неудовольствию, умолк и начал очищать лимоны, которые я распорядился принести ему вместе с другими составными частями пунша.

— Ваш хозяин, вы сказали...— вставил мистер Дик и слегка подтолкнул его под руку.

— Благодарю вас, мой добрый сэр, за напоминание,— отозвался мистер Микобер, и вслед за этим последовало еще одно рукопожатие.— Мой хозяин мистер Хип как-то

соизволил заметить, сударыня, что, не получай я жалованья, поступив к нему на службу, мне бы пришлось стать бродячим фокусником, шпагоглотателем и пожирателем огня. Кто его знает, может быть, и в самом деле мои дети должны будут снискивать себе пропитание кувырканьем, а миссис Микобер суждено сопровождать игрой на шарманке их противоестественные ухищрения!

Мистер Микобер сделал выразительный жест ножом, давая понять, что эти представления будут иметь место лишь после того, как его не станет. Засим с видом отчаяния он продолжал очищать лимоны.

Бабушка, облокотившись на маленький круглый столик, обычно стоявший рядом с ней, внимательно следила за ним. Несмотря на отвращение, которое внушала мне мысль хитростью заставить его открыть то, что́ добровольно он не хотел сказать, я собирался застигнуть его врасплох именно в этот момент; но он был слишком погружен в свои операции: бросал в чайник лимонные корки, клал сахар на лоточек для щипцов, наливал спирт в пустой графин, уверенно размешивал подсвечником кипящую воду и прочее и прочее. Однако я видел, что вот-вот настанет перелом, и он настал.

Он отодвинул все свои снадобья и посуду, поднялся со стула, вытащил носовой платок и разразился слезами.

— Мой дорогой Копперфилд,— выглядывая из-за платка, сказал мистер Микобер,— из всех занятий это такое занятие, которое требует душевного спокойствия и самоуважения. Я не могу продолжать. Это несомненно.

— В чем дело, мистер Микобер? — спросил я.— Говорите, пожалуйста. Вы — среди друзей.

— Среди друзей! — повторил мистер Микобер, и все, что он дотоле сдерживал, наконец прорвалось.— О господи! Да ведь именно потому, что я среди друзей, вы видите меня в таком состоянии. В чем дело, джентльмены? В чем дело? Подлость — вот в чем дело! Низость — вот в чем дело! Обман, мошенничество, заговор — вот в чем дело! И называется вся эта гнусность — *Хип!*

Бабушка всплеснула руками, а мы оцепенели, как пораженные громом.

— Конец борьбе! — воскликнул мистер Микобер, яростно размахивая носовым платком и то и дело вытягивая вперед обе руки, а потом раздвигая их так, словно он плыл среди нечеловеческих трудностей.— Больше я не могу вести такую жизнь! Я — человек погибший, у меня нет ничего, что могло бы примирить меня с жизнью. На мне лежало табу, пока я был на этой проклятой службе у негодяя. Верните мне мою жену, верните мне мое семейство, сделайте снова Микобера из этого несчастного, который стоит перед вами в моих башмаках, а потом предложите мне глотать шпагу — и я проглочу ее! Еще с каким аппетитом!

Никогда я не видел человека в таком возбуждении. Я пытался его успокоить, чтобы добиться чего-нибудь более вразумительного. Но он распалялся все больше и больше и ничего не хотел слушать.

— Я не пожму никому руки,— восклицал мистер Микобер, задыхаясь, сопя и захлебываясь слезами так, словно тонул в холодной воде,— не пожму руки... пока... не раздавлю эту отвратительную гадину... *Хипа!* Я не приклоню нигде головы, пока не... обрушу... Везувий... на... этого... подлеца... *Хипа!* Пусть... под этим кровом... напитки... в особенности пунш... удушат меня, если я... раньше... не придушу его так, что... у него глаза на лоб полезут... у этого невиданного плута и лжеца... *Хипа!* Я... я... ни с кем не буду знаться... ничего не буду говорить... нигде не буду жить... пока... не раздроблю на... мельчайшие частицы... этого... невероятного, этого... сверхъестественного лицемера, этого клятвопреступника... *Хипа!*

Я боялся, что мистер Микобер умрет тут же, на месте. Страшно было видеть, как он продирался сквозь эти нечленораздельные фразы, и когда приближался к имени Хипа, с трудом проложив к нему путь, бросался вперед, выкрикивая его с силой, поистине удивительной. А когда он, весь в поту, рухнул на стул и посмотрел на нас, он был в совершенном изнеможении — на лице появлялись краски, которым было здесь совсем не место, судороги сжимали горло, а на лбу вздувались жилы. Я было хотел помочь ему, но он отмахнулся и ничего не пожелал слушать.

— Нет, Копперфилд!.. кхх... Не прикасаться... кхх... пока мисс Уикфилд... кхх... возмещено зло... кхх... причинил гнусный негодяй... *Хип!* (Я глубоко уверен, что он не мог бы произнести и трех слов, если бы это словечко в конце фразы не вливало в него удивительную энергию.) Нерушимая тайна... кхх... от всего света... кхх... без исключений... через неделю в этот же день... кхх... в часы завтрака... кхх... все присутствовать... также бабушка... кхх... добрейший джентльмен тоже... всем быть в гостинице в Кентербери... кхх... там... миссис Микобер и я... пели «Остролист»... * кхх... выведу на чистую воду неслыханного мошенника... *Хипа!..* Больше не могу... говорить... кхх... ничего слушать... немедленно ухожу... не могу... кхх... выносить общество... по следам проклятого, отпетого преступника *Хипа!*

Повторив в последний раз это магическое слово, которое поддерживало его до конца, мистер Микобер исчерпал свои последние силы и выбежал из дому, а мы, потрясенные, обнадеженные и озадаченные, остались в таком состоянии, что оно мало чем отличалось от его собственного. Но и теперь его страсть к писанью писем была слишком сильна, чтобы он мог с ней справиться. Мы всё еще были потрясены и озадачены, когда мне принесли следующее идиллическое послание, которое он написал в ближайшей таверне:

«Весьма секретно и доверительно.

Мой дорогой сэр,

Позволю себе просить вас передать вашей бабушке мои извинения за то крайнее возбуждение, в коем я находился. Извержение дымившегося вулкана последовало после внутренней борьбы, которую легче понять, чем описать.

Надеюсь, я вполне вразумительно пригласил вас встретиться со мной ровно через неделю, утром, в Кентерберийском доме увеселений, где миссис Микобер и я имели однажды честь объединить наши голоса с вашим в пении прославленной песни бессмертного акцизника, вскормленного на том берегу Твида *.

Исполнив свой долг и совершив акт искупления, что только и позволит мне смотреть в глаза моих ближних,

я исчезну. Я хотел бы лишь, чтобы меня поместили в тот приют всеобщего отдохновения, где,

> Каждый навек затворяся в свою одинокую келью,
> Спят непробудно смиренные предки села*,

под бесхитростной надписью

Уилкинс Микобер».

ГЛАВА L

Мечта мистера Пегготи сбылась

Прошло несколько месяцев после нашего свидания с Мартой на берегу реки. С той поры я ее не видел, но она не раз давала о себе знать мистеру Пегготи. Ревностная ее помощь ни к чему не привела, и, судя по словам мистера Пегготи, я пришел к заключению, что до сих пор не найдено никакой нити, которая помогла бы нам что-нибудь узнать о судьбе Эмили. Признаюсь, я начал отчаиваться в результате наших поисков и все глубже и глубже проникался уверенностью в том, что она умерла.

Но его убеждение оставалось непоколебимым. Насколько мне известно,— а его честное сердце, как мне кажется, было открыто для меня,— он неизменно и благоговейно верил, что найдет ее. Терпение его было неистощимо. И хотя временами я содрогался при мысли о том, в какое он впадет отчаяние, если его вере нанесен будет удар, но она пустила такие глубокие корни в его прекрасной душе и была так чиста, что с каждым днем я все больше его уважал и почитал.

Он был не из тех, кто только надеется, но ничего не делает. Всю свою жизнь он привык действовать, и хорошо знал, что, надеясь на помощь других, он должен вместе с тем помогать себе сам. Я знал, что он отправлялся в Ярмут, если среди ночи ему вдруг начинало казаться, будто в окне старого баркаса почему-либо нет свечи. Я знал, что, вычитав из газет какие-нибудь сведения, которые могли иметь малейшее отношение к Эмили, он брал свою палку и пускался в путь за несколько десятков миль. Когда я передал ему рассказ, известный мне бла-

годаря мисс Дартл, он отправился морем в Неаполь и вернулся назад. Трудные были все эти путешествия, так как он старался тратить как можно меньше денег, сберегая их до той поры, когда найдет Эмили. И все это время я ни разу не слышал от него ни одной жалобы, ни разу не слышал, что он устал или отчаялся.

После нашей женитьбы Дора часто видела его и очень полюбила. И сейчас он перед моими глазами — стоит рядом с ее софой, в руках неказистая шапка, а моя девочка-жена глядит на него голубыми глазами с каким-то боязливым восхищением. А вот он приходит ко мне поболтать вечерком, в сумерки, я увожу его выкурить трубочку, и мы гуляем по саду. И передо мною встает другая картина — его опустевший дом, который мне, ребенку, казался таким уютным по вечерам, когда в очаге пылает огонь, а за окном воет ветер...

В одно из своих вечерних посещений он сообщил, что, выйдя побродить прошлой ночью, встретил недалеко от своего дома Марту; она ждала его и просила ни в коем случае не уезжать из Лондона, покуда он ее снова не повидает.

— Она сказала — почему? — осведомился я.

— Я ее спросил, но она только сказала, что я ей должен это обещать, и исчезла,— ответил он.

— А она говорила, когда появится снова?

— Нет, мистер Дэви,— промолвил он, задумчиво проводя рукой по лицу.— Об этом я ее тоже спросил. Но она ответила, что не может этого сказать.

Я слишком долго старался его подбадривать, внушая надежду, которая висела на волоске, и потому заметил только, что, мне кажется, он встретится с ней скоро. Все свои сомнения я хранил про себя.

Но вот как-то вечером недели через две я гулял один по саду. Я хорошо помню этот вечер. Было это на второй день той недели, по истечении которой мистер Микобер назначил нам встречу. Целый день шел дождь, было очень сыро, густая листва деревьев намокла, листья, казалось, отяжелели от влаги; но дождь уже прекратился, хотя небо еще не прояснилось, и весело зачирикали птицы. Пока я гулял по саду, сумерки сгустились, постепенно затихли птичьи голоса, и воцарилась та особенная тишина, кото-

рая бывает за городом в такие вечера, когда деревья неподвижно замирают и только одинокие капли время от времени падают с ветвей.

Чуть в стороне от нашего домика, между увитыми плющом шпалерами, шла короткая аллея; она выходила прямо на дорогу перед домом. Задумавшись и случайно повернув голову в сторону аллеи, я увидел фигуру в простенькой мантилье. Она быстро двигалась по направлению ко мне и вдруг меня поманила.

— Марта! — воскликнул я, бросившись ей навстречу.

— Вы можете со мной пойти? — взволнованно прошептала она.— Я у него была, но его нет дома. Я оставила ему на столе записку, написала, куда он должен прийти. Мне сказали, что он скоро вернется домой. У меня есть для него новости. А вы не могли бы пойти со мной сейчас же?

Вместо ответа я открыл калитку и вышел вместе с ней. Жестом она попросила меня молчать и зашагала по направлению к Лондону; по ее пыльной одежде было очевидно, что она шла оттуда пешком и очень спешила.

Я спросил, не туда ли мы идем. Она утвердительно кивнула головой и снова сделала тот же жест. Тогда я окликнул пустую карету, мы сели, и на мой вопрос, куда ехать, она ответила:

— К Гольдн-скверу! Скорей!

Затем она забилась в угол кареты; рука, которой она закрыла лицо, дрожала; другой рукой она снова сделала мне тот же знак, что и раньше, словно ей было непосильно слышать чей бы то ни было голос.

Я был в каком-то смятении,— то загоралась во мне надежда, то поднимался страх,— и я взглянул на нее, ожидая объяснений. Но она так упорно молчала, да и мне самому, в моем состоянии, молчание было так необходимо, что я не решился его прервать. Мы ехали, не произнося ни слова. По временам она выглядывала в окно, словно ей казалось, что мы едем слишком медленно, хотя мы ехали достаточно быстро, и по-прежнему оставалась безмолвной.

Мы вышли из кареты у названной ею площади, и я приказал кучеру ждать, на тот случай, если он нам пона-

добится. Она коснулась моей руки и повела меня в одну из мрачных уличек, где раньше было столько прекрасных особняков, которые давно уже обветшали и сдавались внаем покомнатно. Войдя в открытую дверь одного из таких домов, она отпустила мою руку и сделала знак следовать за ней по лестнице.

Дом был набит жильцами. По мере того как мы поднимались, распахивались двери комнат, и в них показывались головы жильцов; немало народу также спускалось по лестнице. Прежде чем войти в дом, я бросил взгляд наверх и в окнах увидел женщин и детей, глазевших на улицу поверх цветочных горшков; должно быть, мы привлекли их внимание, ибо теперь главным образом глазели на нас из-за дверей женщины и дети. Широкая лестница с массивными перилами из какого-то темного дерева, карнизы над дверьми, украшенные резными цветами и фруктами, глубокие амбразуры окон — все эти символы былого величия были невероятно грязны и пришли в полное обветшание. От сырости и времени паркет местами прогнил, и ходить по нему было небезопасно. Пытались, как я заметил, влить новую кровь в это разрушавшееся здание — кое-где подновили старинную дорогую скульптуру из дерева, заменив ее дешевой поделкой; это походило на брак между разорившимся старым аристократом и бедной плебейкой: участники этого неудачного союза отшатывались друг от друга. Несколько окон на лестнице были завешены или заделаны, в оставшихся почти не было стекол, и источенные червями рамы, казалось, всасывали внутрь дурной воздух, но отнюдь его не выпускали. Я взглянул в эти окна без стекол и увидел такие же дома, а внизу — жалкий двор, напоминавший свалку.

Мы взбирались на самый верх. Раза два мне показалось, что в сумеречном свете я вижу неясные очертания женщины, которая шла перед нами. Когда нам осталось подняться еще на один марш лестницы, выходивший на чердак, я увидел, что эта женщина на миг остановилась у двери, нажала ручку и вошла в комнату.

— Что это? — прошептала Марта.— Она вошла ко мне в комнату. Я ее не знаю.

Но я-то знал ее. Я был поражен, когда узнал мисс Дартл.

Едва я успел ответить моей спутнице, что видел эту леди раньше, как из комнаты послышался ее голос, хотя слов нельзя было разобрать. Марта, бросив удивленный взгляд, сделала знакомый мне жест, потянула меня за собой вверх по лестнице до какой-то боковой дверцы, которая, по-видимому, не была заперта, и толкнула ее; дверь открылась, и мы очутились в крохотной — чуть побольше шкафа — пустой мансарде с низким покатым потолком. Она сообщалась полуоткрытой дверью с комнатой, которую Марта назвала своей. Здесь, запыхавшись от подъема по лестнице, мы остановились, и Марта дала мне знак молчать, слегка прикоснувшись пальцами к моим губам. Отсюда я мог только разглядеть, что комната большая, в ней находится кровать, а на стенах висят дешевые литографии с изображением кораблей. Ни мисс Дартл, ни той особы, к которой она, как мы услышали, обращалась, я не мог видеть. Тем более не могла их видеть моя спутница, ибо я стоял ближе к двери.

Несколько мгновений царило мертвое молчание. Не отнимая руки от моих губ, Марта приложила другую руку к своему уху.

— Неважно, что ее нет дома,— заносчиво проговорила мисс Дартл.— Я ее совсем не знаю. Я пришла повидать вас.

— Меня? — послышался тихий голос.

При звуке этого голоса я вздрогнул. Это была Эмили!

— Вас. Я пришла поглядеть на вас! Как? Вам не стыдно смотреть людям в глаза? Вам, виновнице такого зла?!

Безжалостность и безграничная ненависть в ее голосе, холодный, резкий тон и еле сдерживаемое бешенство дали мне возможность представить ее себе так, словно она стояла передо мной. Я видел сверкающие черные глаза, искаженное от страсти лицо, видел и этот побледневший шрам, пересекающий губы и трепетавший, когда она говорила.

— Я пришла посмотреть на прихоть Джеймса Стирфорта,— продолжала мисс Дартл.— На девицу, которая бежала с ним и стала в своем родном городе притчей во языцех... На дерзкую интриганку, на наглую любовницу таких людей, как Джеймс Стирфорт. Я хочу знать, что это за птица!

Послышался шорох. Должно быть, несчастная женщина, осыпаемая такими оскорблениями, бросилась к двери. Но говорившая преградила ей дорогу. Наступила короткая пауза.

И снова заговорила мисс Дартл. Она говорила сквозь зубы и постукивала по полу ногой.

— Остановитесь! Или я вас разоблачу перед жильцами и перед всей улицей! Если вы попытаетесь удрать от *меня*, я вцеплюсь вам в волосы, я заставлю камни восстать против вас!

Испуганное бормотанье было единственным ответом, который достиг моего слуха. Наступило молчание. Я не знал, что делать. Я страстно хотел положить конец этой встрече, но чувствовал, что не имею права вмешиваться. Только один мистер Пегготи мог видеть ее и за нее заступиться. «Но когда же он придет?!» — думал я с тоской.

— Наконец-то я ее увидела! — презрительно усмехнувшись, продолжала Роза Дартл.— Ну, и жалкое же он существо, если дал себя увлечь этой притворной скромности и склоненной головке.

— О, ради бога, пощадите меня! — вскричала Эмили.— Я не знаю, кто вы, но вам известна моя печальная история, и, ради бога, пощадите меня, если хотите, чтобы и вас щадили!

— Если я хочу, чтобы щадили *меня?* — с бешенством повторила та, другая.— Что общего между *нами?*

— Ничего, кроме нашего пола,— зарыдав, отозвалась Эмили.

— Эти слова в устах такой бесчестной твари способны убить любое чувство, кроме презрения и отвращения, которые я к вам питаю. Наш пол! Да, вы делаете большую честь нашему полу!

— О, я это заслужила! — воскликнула Эмили.— Но как это ужасно! Подумайте, дорогая леди, что́ я перенесла и как я пала! О Марта, вернись! Когда же я буду дома!

Мне было видно, как мисс Дартл села в кресло, пристально смотря вниз, словно там, у ее ног, распростерлась на полу Эмили. Теперь я хорошо мог разглядеть ее плотно сжатые губы и жестокие торжествующие глаза, которые она не отрывала от одной точки.

— Теперь слушайте меня, а свои уловки приберегите для ваших простофиль,— сказала она.— Неужто вы надеетесь разжалобить слезами *меня?* С таким же успехом вы можете соблазнить меня вашими улыбочками, продажная тварь!

— Смилуйтесь надо мной! — рыдала Эмили.— Посочувствуйте мне хоть сколько-нибудь, или я сойду с ума и умру!

— Это было бы слабым возмездием за все ваши преступления,— сказала Роза Дартл.— Да знаете ли вы, что вы сделали? Вы думали когда-нибудь о домашнем очаге, который разрушили?

— О! Не проходило ни одного дня, ни одной ночи, чтобы я об этом не думала! — воскликнула Эмили. Теперь я ее увидел. Она упала на колени, голова ее откинулась, глаза были устремлены к небу, руки заломлены, волосы распустились и спадали на плечи и на спину.— Была ли хоть одна минута во сне или наяву, когда бы я не видела этот дом так же ясно, как в тот день, когда покинула его навсегда! — продолжала она.— О, мой дом, мой дом! Милый, дорогой дядя! О, если бы вы знали, как меня терзали воспоминания о вашей нежности, когда я свернула с пути добра, вы не проявляли бы ее с таким постоянством! Лучше бы вы хоть раз в жизни рассердились на меня, это было бы какое-нибудь утешение! А у меня нет в жизни никакого утешения, потому что все они так меня любили! — Она упала ниц, пытаясь прикоснуться к подолу платья той, которая надменно сидела в кресле.

Роза Дартл глядела на нее сверху вниз, недвижная, как бронзовая статуя. Губы ее были плотно сжаты, она делала над собою страшное усилие, чтобы удержаться и не ударить ногой лежавшую перед ней прекрасную женщину. В этом я уверен. Я видел ее очень отчетливо, я видел, что для этого она призвала все свое мужество и силу духа. Когда же, наконец, придет мистер Пегготи!

— Жалкое тщеславие этих ничтожных червей! — произнесла она, когда овладела собой настолько, что могла говорить.— *Ваш* дом! Неужто вы воображаете, что я стану о нем думать или поверю, будто вы можете нанести этой жалкой норе вред, который нельзя было бы загладить

деньгами? *Ваш* дом! Да вы для вашей семейки предмет купли-продажи, как и все остальное, что проходит через их руки!

— О, только не это! — вскричала Эмили.— Обо мне говорите что угодно, но не переносите мой позор на них, которые так же достойны уважения, как и вы. Они и без того мною опозорены. Если уж вы не щадите меня, то по крайней мере уважайте их, как подобает леди!

— Я говорю о *его* доме,— сказала Роза Дартл, не удостаивая обратить внимание на этот призыв, и подобрала подол платья, чтобы Эмили не осквернила его своим прикосновением.— Я говорю о том доме, где я живу. Вот,— с презрительным смехом она указала на распростертую у ее ног женщину,— достойная причина разрыва между матерью-леди и сыном-джентльменом! Вот кто причинил такое горе дому, куда она не могла бы войти даже в качестве судомойки, вот кто был причиной страданий, жалоб и укоров! Грязная тварь, которую подбирают где-то на берегу, чтобы позабавиться на часок, а потом швыряют назад — туда, где она родилась!

— Нет! Нет! — заламывая руки, вскричала Эмили.— Когда он встретился мне впервые — о! если бы этот день никогда не настал для меня и он впервые увидел бы меня в гробу! — я росла такой же невинной, как вы или любая леди, и собиралась стать женой человека, выйти замуж за которого было бы счастьем для любой леди! Если вы живете у него в доме, вы должны знать, какую он мог получить власть над такой слабой, тщеславной девушкой, как я. Я не оправдываю себя, но знаю хорошо и знает он, а если не знает, то в час своей смерти, когда душа его будет объята тревогой, должен будет сознаться, что обольстил меня и что я поверила ему, уверовала в него и полюбила!

В тот же миг Роза Дартл вскочила, чтобы ее ударить. Лицо ее так потемнело и так исказилось от отвращения, что я чуть-чуть не выскочил, чтобы стать между ними. Но она промахнулась. Задыхаясь и дрожа всем телом от бешенства, она стояла теперь перед Эмили и смотрела на нее с неописуемой ненавистью — подобного зрелища я никогда не видел и, кажется мне, никогда не увижу.

— *Вы* его любите? *Вы?* — вскричала она, судорожно сжимая и разжимая руку, словно ей не хватало только ножа, чтобы вонзить в жертву своей ярости.

Эмили исчезла из поля моего зрения. Ответа не последовало.

— И она смеет своим бесстыжим языком говорить это *мне!* — продолжала Роза Дартл.— Почему только не секут таких тварей? Будь моя воля, я бы засекла такую особу до смерти!

Этому можно было поверить. Лицо ее было так искажено бешенством, что я побоялся бы дать ей в руки орудия пытки.

Потом она начала смеяться — медленно и отрывисто,— показывая пальцем на Эмили, словно призывая богов и людей стыдиться ее.

— *Она* его любит! Эта падаль! И она мне сказала, что он о ней заботился! Ха-ха! Какие лжецы эти торгаши!

Ее насмешка была еще более жестокой, чем ярость. Я предпочел бы стать объектом ее ярости. Но она давала ей исход только на мгновение. А затем, как ни трудно было ей себя сдержать, она подавляла свое бешенство.

— О, чистый источник любви! — продолжала она.— Я уже вам говорила, что пришла сюда для того, чтобы поглядеть, каковы твари, подобные вам. Я любопытна. И теперь я вполне удовлетворена. И еще для того, чтобы дать вам совет поскорей найти свой дом и спрятаться среди тех превосходнейших людей, которые вас ждут. Ваши деньги их утешат. Когда все позабудется, вы снова можете уверовать в кого-нибудь и полюбить. Я думала, что вы сломанная игрушка, думала, что вы потускневшая мишура, которую выбрасывают вон. И что же оказалось? Вы — чистое золото, настоящая леди, обольщенная невинность! Ваше сердце — полно любви и веры, у вас именно такой вид, который вполне соответствует вашим басням! Раз так, я скажу вам еще кое-что. Вы меня слышите, прекрасная фея? Будет так, как я скажу!

Снова на мгновение вспыхнула ее ярость. Ее лицо судорожно исказилось, но потом она опять улыбнулась.

— Скройтесь! Если не у себя дома, то где хотите. Скройтесь где-нибудь подальше. Скройтесь там, где вас

никто не знает, а еще лучше — в безвестной могиле! Удивляюсь, как это вы не нашли средства успокоить ваше нежное сердце, которое никак не хочет разбиться! Есть много таких средств, я слыхала. Их найти нетрудно.

Рыдания Эмили прервали ее. Она замолчала, прислушиваясь к ним, словно к музыке.

— Может быть, я человек странный, но я не могу дышать с вами одним воздухом,— продолжала она.— Это нездоровый воздух. Я его очищу, я его очищу от вашего присутствия! Если вы останетесь здесь до завтра, я объявлю на лестнице, кто вы такая, и расскажу всю вашу историю! Мне говорили, что здесь есть честные женщины. Печально, если такая, как вы, женщина легкого поведения, укрылась среди них. Если же вы поселитесь где-нибудь в этом городе и будете заниматься не тем, чем вам полагается (а этим занимайтесь сколько хотите, сделайте одолжение, я возражать не буду!), помните, как только я узнаю, где вы находитесь, я окажу вам ту же услугу. А узнаю я очень скоро, можете не сомневаться,— мне поможет джентльмен, который не так давно добивался вашей руки.

Когда же придет, наконец, мистер Пегготи? Долго ли мне это выносить? Долго ли я смогу это выносить?

— Боже мой! — воскликнула несчастная Эмили таким голосом, который мог тронуть самое жестокое сердце, но Роза Дартл все улыбалась.— Что же я должна делать?

— Делать? — повторила Роза Дартл.— Наслаждаться счастьем, вспоминая о прошлом! Погрузиться в воспоминания о любви Джеймса Стирфорта — разве он не хотел выдать вас замуж за своего лакея?! Или питать чувство благодарности к честному и достойному джентльмену, который соглашался получить вас в подарок от него! А не то можете выйти замуж за этого доброго человека и благодаря его любезности жить счастливо, если не найдете утешения в приятных воспоминаниях, в сознании собственных достоинств и того почетного положения, до которого, в глазах каждого, вас подняли... Если же и это вас не удовлетворит — тогда умирайте! Много есть подворотен и мусорных ям для тех, кто умирает от подобных огорчений. Выберите одну из них и отправляйтесь на небеса!

На лестнице послышались отдаленные шаги. Я узнал их. Слава богу, это был он!

Роза Дартл медленно отошла от двери — теперь я ее не видел.

— Но помните! — сказала она медленно и жестоко, открывая другую дверь, чтобы выйти.— Я вас ненавижу и твердо решила отыскать вас, куда бы вы ни скрылись, и сорвать с вас прекрасную маску, если вы не исчезнете отсюда... Вот что я хотела сказать, и то, что́ сказала, сделаю!

Шаги по лестнице все ближе... ближе... Он встречается с нею на лестнице, проходит мимо... он уже в комнате!

— Дядя!

И страшный крик. Через мгновение я заглянул в комнату. В его объятиях она потеряла сознание. Несколько секунд он не сводил с нее глаз, потом нагнулся поцеловать ее — о! с какой нежностью! — и накрыл ей лицо носовым платком.

— Мистер Дэви! — тихим, дрожащим голосом обратился он ко мне.— Благодарю отца небесного, что сбылась моя мечта. Благодарю от всей души за то, что он привел меня к моему ребенку!

С этими словами он поднял ее на руки и понес вниз по лестнице, недвижимую и бесчувственную, а накрытое платком ее лицо было обращено к нему.

ГЛАВА LI

Начало еще более долгого странствия

На следующий день, рано утром, когда я прогуливался с бабушкой в нашем садике (теперь бабушка гуляла мало, так как проводила много времени, ухаживая за Дорой), мне сказали, что меня спрашивает мистер Пегготи. Он показался в садике, когда я шел ему навстречу, и, увидев бабушку, снял шапку, как делал это всегда, ибо питал к ней глубокое уважение. Я уже рассказал ей все, что произошло вчера. Молча она подошла к нему, от всей души пожала ему руку и похлопала по плечу. Она сделала это так выразительно, что все слова



казались лишними. Мистер Пегготи прекрасно понял ее, как будто она сказала их тысячу.

— А теперь, Трот, я пойду повидаться с Цветочком, она ведь скоро будет вставать,— сказала бабушка.

— Надеюсь, сударыня, вы не из-за меня уходите? — спросил мистер Пегготи.— Если у меня не зашел ум за раз,— мистер Пегготи хотел сказать «ум за разум»,— вы уходите из-за меня.

— Вам нужно поговорить, мой друг, и лучше это сделать наедине,— заметила бабушка.

— Я просил бы вас, сударыня, будьте добры, останьтесь, если только моя трескотня вас не утомляет,— сказал мистер Пегготи.

— Вы хотите? Ну что ж, пусть будет так,— кратко, но доброжелательно сказала бабушка.

Опираясь на руку мистера Пегготи, она направилась к маленькой беседке в глубине сада, где уселась на скамью, а я сел подле нее. Было место и для мистера Пегготи, но он остался стоять, опираясь рукой на маленький дощатый столик. Прежде чем заговорить, он некоторое время стоял неподвижно и глядел на свою шапку, а я невольно обратил внимание на то, как ясно эта мускулистая рука выражает силу и непреклонность его характера и как хорошо подходит она к его открытому лбу и волосам с проседью.

— Вчера вечером я привел свое дитя,— начал мистер Пегготи, устремив на нас взор,— к себе в дом, где я приготовил все для ее прихода и где долго-долго ждал ее. Прошло несколько часов, прежде чем она меня поняла правильно. А когда поняла, она опустилась на колени у моих ног и рассказала мне, как на молитве, обо всем, что́ было. Можете мне поверить, когда я слышал ее голос — какой он был веселый когда-то! — и увидел, какая она несчастная, словно повержена в прах, на землю, на которой некогда наш спаситель писал благословенным своим перстом, я почувствовал, что сердце мое разрывается, хотя оно было полно благодарности.

Он вытер рукавом лицо, даже не пытаясь скрыть, почему это делает; потом откашлялся.

— Но это продолжалось недолго. Ведь я нашел ее! Как только я об этом вспоминал, все проходило. Право,

не знаю, почему мне вздумалось теперь говорить об этом. Минуту назад у меня и в мыслях не было говорить о себе хоть бы слово... Но так уж у меня это вышло само собой, я ничего поделать не мог.

— Душа у вас благородная, и придет день, когда вам воздастся сторицей,— сказала бабушка.

Тень от листьев падала на лицо мистера Пегготи. Он с легким смущением поклонился бабушке, благодаря ее на добром слове. Потом поднял оброненную нить рассказа и продолжал:

— Когда моей Эмли удалось бежать,— на мгновение в голосе его послышалась ярость,— из дома, где ее запер этот гнусный гад, которого видел мистер Дэви,— так оно и в самом деле было, как он рассказывал, да будет он проклят!..— Так вот... когда Эмли удалось бежать, была ночь... Ночь была темная, но на небе сияли звезды. Она была как безумная. Бежала по берегу, и ей казалось, что там стоит наш старый баркас, и она кричала нам, чтобы мы отвернулись, потому что это она пробегает мимо... Она слышала свой голос, словно кричал кто-то другой. И она поранила себе ноги об острые камни, но ничего не чувствовала, как будто сама была каменная. Она бежала, и перед глазами у нее все пылало, а в ушах был грохот. И вдруг, понимаете, так ей показалось, наступил день, сырой, ветреный день... Она лежала на берегу, на куче камней, и слышала, как неизвестная женщина говорит с ней на тамошнем языке и спрашивает, какая беда с ней стряслась.

Он видел воочию все, о чем рассказывал. Перед ним проходили эти картины так живо, что в страстном волнении он описывал мельчайшие детали с поразительной точностью. И теперь, спустя долгое время, вспоминая об этом, я лишь с трудом могу поверить, что не видел все эти сцены воочию. Они произвели на меня удивительное впечатление своим правдоподобием.

— Когда Эмли разглядела эту женщину,— а сперва все было перед ней как в тумане,— продолжал мистер Пегготи,— оказалось, что это была ее знакомая; с ней Эмли часто разговаривала на берегу. Хотя, как я вам уже сказал, Эмли убежала в ту ночь очень далеко, но прежде она много путешествовала, и пешком и в лодке,

и знала всю округу на много миль вдоль берега. Женщина недавно вышла замуж, детей у нее еще не было, но она ждала ребенка. И я молю бога, пусть этот ребенок будет ей утешением и гордостью ее жизни! Пусть он любит ее, пусть не изменяет своему долгу перед ней в старости ее, пусть будет помощью ей до последнего ее вздоха, ее ангелом в этой жизни и в жизни будущей!

— Аминь! — сказала бабушка.

— Поначалу, бывало, она смущалась и держалась в сторонке со своей прялкой или с какой другой работой, покуда Эмли разговаривала с детьми. Но Эмли заметила ее, подошла как-то к ней и сказала несколько слов. Молодая женщина тоже любила детей, и скоро они стали с Эмли друзьями. Как только Эмли появлялась там, женщина всегда дарила ей цветы. И вот теперь она-то и спросила, какая стряслась беда. Эмли рассказала ей, и та повела ее к себе домой. Да, она так и поступила... Она повела ее к себе домой,— сказал мистер Пегготи и закрыл руками лицо.

С того дня, как она бежала из дому, я никогда не видел, чтобы его что-нибудь потрясло так, как потряс этот добрый поступок. Мы с бабушкой не нарушали его молчания.

— Домик был маленький, как вы сами понимаете,— наконец продолжал он.— Но там нашлось местечко для Эмли — муж этой женщины ушел в море,— и она спрятала Эмли и уговорила соседей (их было мало поблизости) помалкивать об этом. С Эмли сделалась горячка, и тут уж я ничего не понимаю — может быть, поймут люди ученые,— но Эмли позабыла тамошний язык и могла говорить только на своем, который никто не знал. Помнится ей, словно это привиделось ей когда-то: она там лежит и говорит на своем языке, а старый баркас находится за ближайшим мысом, в заливе, и она умоляет их послать кого-нибудь туда и сказать, что она умирает, и принести назад слово прощения, только одно-единственное слово... И почти все время, ей казалось, она видит, что за окном прячется человек, о котором я говорил, или в комнате находится тот, кто довел ее до всего этого... И она кричит этой доброй молодой женщине, чтобы та ее не выдавала, но вместе с этим помнит, что

никто не понимает ее, и дрожит от ужаса, что ее увезут. И все время перед глазами у нее пылает огонь, а в ушах стоит грохот, и для нее нет ни вчера, ни сегодня, ни завтра, а в голове толпится все, что было в ее жизни или могло быть, и все, чего не было в жизни и не могло быть... Все кругом мрачно и неприветливо, а она поет и смеется! Не знаю, долго ли это продолжалось, но в конце концов наступил сон, куда более глубокий, чем обычно, и она стала совсем слабой, как дитя малое.

Он умолк, словно для того, чтобы немного опомниться от тех ужасов, которые описывал. Некоторое время он молчал, а затем продолжал:

— Когда она пробудилась, было прекрасное утро, и до нее доносился только тихий шум морского прибоя. Сначала ей показалось, что она дома, а теперь воскресное утро. Но за окном она увидела виноградные листья, а подальше — холмы, и было непохоже, что она дома. Тут вошла ее приятельница, чтобы посидеть у ее постели, и тогда-то она узнала, что старого баркаса нет у ближайшего мыса в заливе и лежит он далеко-далеко. Тогда-то она узнала, где находится и почему. И стала рыдать на груди этой доброй женщины — там, где, я надеюсь, лежит теперь ребеночек и глядит на эту женщину своими хорошенькими глазками!

Без слез он не мог говорить об этой доброй женщине, приятельнице Эмили. Он даже и не пытался. Призвав на нее благословение свыше, он снова продолжал:

— От этого моей Эмли стало легче,— сказал он с таким чувством, что оно и меня взволновало, а бабушка — так та плакала от всего сердца.— От этого моей Эмли стало легче, и она начала успокаиваться. Но тамошний язык она начисто забыла и должна была объясняться знаками. Так-то она и стала жить; понемногу, день ото дня ей становилось лучше, она поправлялась медленно и мало-помалу училась самым простым словам на тамошнем языке — ей казалось, будто никогда в жизни она их не знала. И вот как-то вечерком она сидела у своего окна и глядела на маленькую девочку, которая играла на берегу. Вдруг эта девочка протягивает к ней ручку и говорит... Если сказать по-нашему, она говорит: «А у меня ракушка, дочка рыбака!» Дело в том, видите ли, что

раньше, по обычаю той страны, Эмли называли «прекрасная леди», но она просила называть ее «дочка рыбака». Так, значит, девочка и говорит: «А у меня ракушка, дочка рыбака!» И вдруг Эмли поняла эти слова! Залилась слезами и ответила на тамошнем языке. И сразу все вспомнила!

Когда у Эмли сил прибавилось,— продолжал мистер Пегготи после короткой паузы,— она задумала покинуть эту добрую женщину и вернуться на родину. К тому времени муж этой женщины возвратился, и вдвоем они усадили ее на небольшое торговое судно, шедшее в Ливорно, а оттуда во Францию. У Эмли были кое-какие деньги, но эти люди согласились взять у нее лишь сущие пустяки за все, что сделали. И я почти этому рад, хотя они были бедняки! То, что они сделали, хранится там, где нет ни ржавчины, ни червей и куда не проберется никакой вор. Это дороже всех сокровищ в мире, мистер Дэви.

Эмли прибыла во Францию,— продолжал мистер Пегготи,— и в порту поступила в гостиницу прислуживать путешествующим леди. И вдруг неожиданно появился там этот гад. Лучше бы ему не попадаться мне на глаза... Не знаю, что́ я с ним сделаю! Он-то ее не видел, но когда она его увидела, у нее словно в голове помутилось от ужаса, и она сейчас же оттуда исчезла. Направилась она в Англию и высадилась в Дувре.

Хорошенько не знаю,— продолжал мистер Пегготи,— когда стала ей изменять храбрость, но всю дорогу, пока она ехала в Англию, она думала только о том, чтобы вернуться в родной дом. Как только она сошла на берег, она отправилась в путь. Но страх, что ее не простят, страх, что на нее будут показывать пальцами, страх, что она свела в могилу кого-то из нас,— словом, разные страхи мешали ей идти дальше. «Дядя, мой дорогой дядя,— сказала она мне,— больше всего я боялась, что недостойна совершить то, чего так страстно желало мое истерзанное сердце! Я повернула назад, а мое сердце молило о том, чтобы я прокралась ночью к родному порогу, поцеловала его, приклонила здесь свою скверную голову, а утром нашли бы меня мертвой».

Она пришла в Лондон,— от волнения голос мистера Пегготи понизился до шепота.— Одинокая... никогда не

бывала там... без гроша... молодая.... такая красивая... очутилась в Лондоне. И сразу ей удалось (так она думала) найти друга. Какая-то скромная на вид женщина заговорила с ней и сказала, что может достать ей сколько угодно портняжной работы, которая хорошо была ей знакома, да кроме того, может приютить ее на ночь, а утром-де разузнает обо мне и о том, как обстоят дела у нее дома. И вот... когда мое дитя,— продолжал он громко, и чувство благодарности, охватившее его, так было глубоко, что он задрожал,— стояла на самом краю пропасти, о чем я и думать не могу спокойно,— в этот самый миг Марта — да благословит ее господь! — спасла ее!

У меня вырвался радостный возглас.

— Мистер Дэви! — сказал он, схватив мою руку своей большой рукой.— Это вы первый напомнили мне о ней. Благодарю вас, сэр! Она не отступилась. У нее был горький опыт, и она знала, где искать и что делать. И она сделала все. Господь ей помог. Бледная, запыхавшаяся, она пришла к Эмли, когда та спала. И она сказала ей: «Вставай! То, что может случиться, хуже смерти. Идем со мной!» Те, кто был в доме, пытались ее остановить, но с таким же успехом они могли бы остановить море. «Прочь! Я — призрак! Я отвожу ее от края разверстой могилы!» Она рассказала Эмли о встречах со мной и о том, что я люблю ее и простил ее. Она помогла ей поскорей одеться. Она взяла ее под руку, дрожащую, почти лишившуюся чувств. Она не обращала внимания на все, что ей говорили, словно была глуха. Она прошла среди них вместе с моим ребенком и думала только о ней и благополучно вывела ее поздней ночью оттуда, со дна этой страшной, погибельной пропасти!

Она ухаживала за Эмли...— продолжал мистер Пегготи, отпустив мою руку и берясь рукой за грудь, которая высоко вздымалась.— Она ухаживала за моей Эмли до вечера следующего дня, а та была без сознания и бредила. Потом она пошла разыскивать меня, потом пошла разыскивать вас, мистер Дэви. Она не сказала Эмли, куда идет, боясь, что мужество может ей изменить и она попытается скрыться от нас. Не знаю, откуда стало известно этой жестокой леди, где она находится. Может быть, человек, о котором я столько говорил, случайно увидел,

куда Марта привела Эмли, а может (верно так оно и было) он сам узнал от той женщины,— об этом я не задумывался. Но племянницу я нашел!

Всю ночь мы провели вместе — Эмли и я,— продолжал мистер Пегготи.— Мало она говорила, хотя времени прошло много, и слезы ее надрывали мне сердце, а я не мог наглядеться на дорогое мне лицо, лицо той, которая выросла под моим кровом. Но всю ночь ее руки обвивали мою шею, а ее голова покоилась вот здесь... И мы оба знали, что можем верить друг в друга до конца жизни.

Он замолк, а его рука застыла на столе в полной неподвижности, но была в ней такая сила, которая укрощает львов.

— Я так радовалась, Трот,— сказала бабушка, вытирая слезы,— когда решила стать крестной матерью твоей сестры Бетси Тротвуд, которая меня обманула... Но теперь я была бы рада больше всего, если бы стала крестной матерью ребенка этой славной молодой женщины!

Мистер Пегготи кивнул, давая этим знать, что вполне понимает чувства бабушки, но сам ничего не сказал о той, кого бабушка восхваляла. Мы все сидели молча, погрузившись в размышления (бабушка вытирала глаза, и всхлипывала, и смеялась, и называла себя дурой), пока я не прервал молчания.

— Вы что-нибудь решили насчет будущего, мой добрый друг? — спросил я мистера Пегготи.— Впрочем, едва ли об этом нужно спрашивать.

— Решил, мистер Дэви,— ответил он.— И сказал Эмли. Есть огромные страны далеко отсюда. Мы будем жить за океаном.

— Бабушка, они эмигрируют вместе! — сказал я.

— Да! — подтвердил, улыбаясь, мистер Пегготи, и надежда осветила его лицо.— В Австралии никто не бросит упрека моей любимой девочке. Там мы начнем новую жизнь.

Я спросил, когда он предполагает ехать.

— Сегодня рано утром, сэр, я был в Доках,— ответил он,— чтобы узнать о кораблях. Месяца через полтора или два отойдет парусное судно,— утром я его видел и был на борту,— мы отправимся на нем.

— Совсем одни? — спросил я.

— Одни, мистер Дэви,— ответил он.— Моя сестра слишком любит вас и всех ваших и так привязана к своей родине, что было бы нехорошо брать ее с собой. А кроме того, остается человек на ее попечении, и этого нельзя забывать.

— Бедный Хэм! — сказал я.

— Моя добрая сестра заботится о нем, а он очень к ней привязан, сударыня,— обратился мистер Пегготи к бабушке, желая ей получше все объяснить.— С ней ему легко и покойно, с ней он разговаривает охотно, а с кем другим и рта не раскроет. У него так мало на свете осталось, нельзя его лишать того, что еще есть...

— А миссис Гаммидж? — спросил я.

— Я много думал о миссис Гаммидж, скажу вам прямо,— ответил мистер Пегготи с озабоченным видом, но, по мере того как он говорил, лицо его постепенно прояснялось.— Видите ли, когда миссис Гаммидж приходит на ум вспоминать о старике, она не очень-то годится для компании. Между нами говоря, мистер Дэви, и вы, сударыня, когда миссис Гаммидж начинает пускать слезу,— это по-нашему, по-простому, значит плакать,— ее могут назвать брюзгой те, кто не знал старика. Но я-то ведь его знал, я-то знал, какой он был хороший человек, и потому я ее понимаю, а с другими, видите ли, это не так.

Мы с бабушкой кивнули в знак согласия.

— Может случиться, моя сестра найдет, что миссис Гаммидж — я не говорю наверняка, но так может случиться,— немного... как бы сказать... ей надоедает. Потому-то я не хочу, чтобы миссис Гаммидж жила с ними, ей следовало бы найти «покрышку над головой», чтобы она уж там рыбачила сама для себя («покрышка над головой» означало на местном диалекте «дом», а «рыбачить» — «заботиться»), а для этого я перед отъездом оставлю ей маленькую пенсию, чтобы она ни в чем не нуждалась. Какой это преданный человек — славная старушка, да к тому же совсем одинокая! В ее годы ей уже не под силу выносить качку на корабле и скитаться по дремучим лесам в далекой, необжитой стране. Вот как я собираюсь поступить с *ней*.

Он ни о чем не забыл. Он думал о нуждах и тяготах каждого, только не о себе самом.

— Эмли будет жить у меня,— бедное дитя, как она нуждается в отдыхе и покое! — покуда мы не уедем,— продолжал он.— Ей ведь надо что-нибудь сшить себе на дорогу. И я надеюсь, что она позабудет перенесенные мучения, если снова очутится у своего дяди, который, хоть и грубоват, но так любит ее...

Бабушка, к вящей радости мистера Пегготи, кивком головы дала понять, что разделяет эту надежду.

— Есть еще одно дело, мистер Дэви,— продолжал он, сунул руку в нагрудный карман, вытащил оттуда знакомый мне бумажный пакетик и разложил на столе его содержимое.— Вот эти банковые билеты — в пятьдесят фунтов и в десять. К ним я хочу приложить деньги, которые были у нее, когда она оттуда ушла. Я ее спросил, сколько она с собою взяла (но не сказал, зачем спрашиваю), и эти деньги добавил. Я не больно учен. Будьте добры, взгляните, все ли правильно.

Он протянул мне, в оправдание своей «учености», листок бумаги и внимательно следил за мной, пока я просматривал запись. Все было совершенно правильно.

— Благодарю вас, сэр,— сказал он, получая назад листок.— Если вы не возражаете, мистер Дэви, эти деньги я вложу перед отъездом в конверт и надпишу его имя, а потом вложу этот конверт в другой, с адресом его матери. Ей я напишу так же коротко, как сейчас говорю вам, что́ это за деньги, а также о своем отъезде, так что вернуть их мне ей не придется.

Я сказал ему, что, по-моему, так и надо сделать, да, я совершенно уверен, что так надо сделать, раз он считает это правильным.

— Я только что сказал, что еще есть одно дело,— продолжал он, с грустной улыбкой пряча пакетик в карман,— а их не одно, а два. Когда я уходил из своей комнаты сегодня утром, я не очень-то был уверен, смогу ли я отправиться к Хэму сам и сообщить ему о том, что́, слава богу, произошло. Вот я и написал ему письмецо и послал по почте и рассказал, как все было. И написал, что завтра приеду, чтобы уладить там свои маленькие дела,— тогда легче станет на сердце,— и, верней всего, попрощаюсь с Ярмутом.

— И вы хотите, чтобы я с вами поехал? — спросил я, чувствуя, что он чего-то не договаривает.

— Если бы вы были так добры, это их очень порадовало бы, я знаю, мистер Дэви,— сказал он.

Моя маленькая Дора была в хорошем расположении духа и очень хотела, чтобы я поехал,— я поднялся наверх и рассказал ей об этом,— а потому я охотно обещал сопровождать мистера Пегготи. На следующее утро, заняв места в ярмутской карете, мы отправились в хорошо известные мне края.

Вечером, когда мы шли по знакомой улице,— невзирая на мои протесты, мистер Пегготи нес мою дорожную сумку,— я заглянул в лавку «Омер и Джорем» и увидел там старого моего друга мистера Омера, курившего трубку. Мне не хотелось присутствовать при встрече мистера Пегготи с сестрой и Хэмом, и мистер Омер явился предлогом, чтобы задержаться.

— Как поживает мистер Омер после такой долгой разлуки? — спросил я, входя в лавку.

Чтобы лучше меня разглядеть, он разогнал рукою облако табачного дыма и, к большой своей радости, тотчас же меня узнал,

— Мне следовало бы, сэр, встать, чтобы поблагодарить вас за честь, которую вы мне оказываете своим посещением, но ноги мои вышли из строя, и теперь меня возят в кресле. Впрочем, если не считать ног и одышки, я, слава богу, здоров.

Я поздравил его с тем, что у него бодрый вид и хорошее расположение духа, и тут увидел, что кресло его на колесиках.

— Хитрая штука, правда? — спросил он, проследив за моим взглядом и поглаживая рукой подлокотник кресла.— Легко на ходу, как перышко, а надежно, как почтовая карета. Крошка Минни, да благословит ее бог! — это моя внучка, дочка Минни, вы ведь знаете,— подтолкнет его изо всех своих силенок, и мы катимся, веселы и довольны! И вот что еще скажу — не сыскать другого кресла, в котором удобнее было бы сидеть да покуривать трубку!

Я никогда не встречал второго такого славного старика, как мистер Омер, который способен был видеть

вещи только с хорошей стороны и радоваться этому. Он так сиял, будто и кресло, и его астма, и неподвижность ног были только различными деталями великого изобретения, сделанного ради того, чтобы он мог полнее наслаждаться своей трубкой.

— Уверяю вас, что, сидя в этом кресле, я узнаю мир лучше, чем когда бы то ни было раньше,— продолжал мистер Омер.— Вы бы удивились, если бы я рассказал, сколько людей заходит сюда в течение дня поболтать. Ей-ей! Да и в газетах, с той поры как я уселся в это кресло, новостей раза в два больше, чем раньше. Ну, и читаю же я, прямо бог знает сколько! Вот почему я и чувствую себя таким здоровым. Ослепни я, что бы я стал делать? Стань я глухим, что бы я стал делать? А ноги, какое это имеет значение? Да ведь из-за ног, когда я мог ходить, я только больше задыхался. Теперь же, когда я захочу выйти на улицу или подальше, на берег, мне стоит только позвать Дика, младшего ученика Джорема, и я качу в собственной карете, как лондонский лорд-мэр!

Тут он чуть не задохся от смеха.

— Да благословит вас бог! — продолжал он, снова принимаясь за трубку.— Человек должен принимать и хорошее и плохое. Вот к чему в этой жизни он должен приучаться. У Джорема дела идут прекрасно. Прекрасно!

— Очень рад,— вставил я.

— Я знал, что вы будете рады,— заметил мистер Омер.— Джорем и Минни — как два голубка. Чтó еще человеку нужно? Какое значение имеют ноги по сравнению с *этим!*

Он сидел и попыхивал трубкой и с таким великим пренебрежением говорил о собственных ногах, что показался мне милейшим чудаком.

— А с тех пор, как я взялся за чтение, вы взялись за сочинительство, хе-хе, не правда ли, сэр? — смотря на меня с восхищением, сказал мистер Омер.— Какую прекрасную книжку вы написали! Какую интересную! Я прочитал ее от слова до слова. А сказать, чтобы она меня усыпляла,— ни-ни!

Я засмеялся, выражая этим свое удовлетворение, но, признаюсь, такая ассоциация показалась мне многозначительной.

— Даю вам честное слово, сэр,— продолжал мистер Омер,— что, когда я положил это произведение на стол, эти три увесистых томика,— раз, два, три,— я был горд, как Панч, при мысли о том, как я когда-то имел честь познакомиться с вашим семейством. О боже мой, сколько времени с тех пор прошло! Это было в Бландерстоне. Познакомился я с одним хорошеньким малышом, а он лежал рядом с леди... И вы сами были тогда еще совсем юный. Боже мой, боже мой!

Я перевел разговор на Эмили. Сказал, что не забыл, как он всегда ею интересовался и хорошо к ней относился; потом я сообщил, как помогла ей Марта вернуться к дяде. Я знал, что это будет ему приятно. Он слушал очень внимательно и, когда я кончил, с чувством сказал:

— Я страшно рад, сэр! Давно я не слышал таких приятных новостей. Боже мой! А что делать с этой несчастной молодой женщиной — с Мартой?

— Вы затронули вопрос, о котором я все время думал со вчерашнего дня,— ответил я,— но пока, мистер Омер, ничего не могу сказать. Мистер Пегготи об этом ничего не говорил, а я заговорить постеснялся. Уверен, что он об этом помнит. Он не забывает о тех, кто добр и бескорыстен.

— Видите ли, если для нее что-нибудь делают, то я тоже хочу принять участие,— продолжал мистер Омер.— Подпишите меня на сумму по вашему усмотрению и сообщите мне. Я никогда не считал эту девушку безнадежно дурной и рад, что она не такая. Минни тоже будет рада. Молодые женщины иногда любят поспорить — ее мать тоже была спорщица! — но сердце у них доброе. Все это одна видимость — ее злые слова о Марте. Почему Минни считала необходимым делать вид, будто она совсем не такая, как есть, понятия не имею. Уверяю вас, это одна видимость. А тайком от всех она стала бы ей помогать. Стало быть, подпишите меня по вашему усмотрению, будьте добры. И черкните мне несколько слов, куда послать деньги. Эх! Когда человек подходит к той поре жизни, где начало с концом сходятся, когда его опять приходится возить в колясочке, хоть он еще достаточно бодр, тут ему в самый раз и радоваться, если он может для кого-нибудь сделать доброе дело. Ведь сам он доставляет другим столько хлопот! Говорю я это не только о себе,

сэр, потому я вижу, что все мы, сколько бы нам ни было лет, спускаемся к подножию холма. Ведь время-то ни на миг не останавливается! Стало быть, надо нам всегда делать добрые дела и этому радоваться. Так-то!

Он выбил пепел из трубки и положил ее на выступ, сделанный специально для нее в спинке кресла.

— У Эмли есть кузен, тот самый, за которого она должна была выйти замуж,— продолжал мистер Омер, медленно потирая руки.— Хороший парень, таких нет во всем Ярмуте. Иногда он приходит вечерком на часок поболтать со мной или почитать вслух. Вот это, я бы сказал, доброе дело. Вся его жизнь — добрые дела.

— Я его скоро увижу,— сказал я.

— Правда? Кланяйтесь от меня и передайте, что я чувствую себя хорошо,— сказал мистер Омер.— Минни и Джорем на балу. Как бы они гордились встречей с вами, если бы были дома! Минни, видите ли, совсем нигде не бывает, «ради отца», как она говорит. Но сегодня я поклялся, что, если она не пойдет, я улягусь спать в шесть часов. Поэтому,— тут мистер Омер затрясся от смеха, восхищенный своей хитростью,— она и пошла с Джоремом на бал.

Я пожал ему руку и пожелал доброй ночи.

— Одну минутку, сэр! — сказал мистер Омер.— Если вы уйдете, не повидав моего хорошенького слоненка, вы лишитесь самого занятного зрелища. Вы никогда не видели такого представления! Минни!

Откуда-то сверху донесся тонкий, мелодичный голосок: «Я иду, дедушка!» — и вслед за этим очаровательная крошка с длинными белокурыми вьющимися волосами вбежала в лавку.

— Это мой слоненок, сэр! — приласкав девочку, сказал мистер Омер.— Сиамской породы, сэр. А ну, слоненок!

Слоненок открыл дверь гостиной, и я увидел, что теперь эта комната обращена в спальню мистера Омера, которого неудобно было переносить наверх; потом слоненок, тряхнув длинными кудрями, уперся лобиком в спинку кресла мистера Омера.

— Когда слон бросается на врага, он, знаете ли, бьет головой,— подмигнул мистер Омер.— Ну, слоненок, раз! два! три!

По этому сигналу слоненок с непостижимой для такого крошечного зверька ловкостью круто повернул кресло с мистером Омером и стремительно вкатил его в гостиную, не задев косяка двери. Мистер Омер несказанно наслаждался этим представлением и, повернувшись в своем кресле ко мне, смотрел на меня так, словно видел торжественное завершение всех своих жизненных трудов.

Побродив по городу, я направился к дому, где жил Хэм. Пегготи перебралась к нему совсем, а свой домик сдала внаем преемнику мистера Баркиса в извозном деле, который хорошо заплатил ей за ее повозку, лошадь и доброжелательство. Мне кажется, это была та же самая ленивая лошадка, которой правил мистер Баркис.

Пегготи находилась в кухне, а с ней был мистер Пегготи, который привел с собой миссис Гаммидж. Не думаю, чтобы кто-нибудь другой мог заставить ее уйти из старого баркаса и покинуть свой пост. Было ясно, что мистер Пегготи рассказал им все. Пегготи и миссис Гаммидж вытирали глаза передниками, а Хэм только что вышел пройтись по берегу. Скоро он вернулся и, увидев меня, очень обрадовался; мне кажется, им всем стало легче, когда я появился. Мы поговорили — даже с некоторым оживлением, насколько это было возможно,— о том, как разбогатеет мистер Пегготи в новой стране, и о чудесах, которые он станет описывать в своих письмах. Мы не упоминали имени Эмили, но не раз касались ее в разговоре. Самым спокойным из нас казался Хэм.

Но Пегготи, провожая меня со свечой в комнатку, где уже меня ждала книжка о крокодилах, сказала мне, что он всегда такой. Ей кажется (со слезами сказала она), что сердце у него разбито, хотя он и храбр и кроток, а работает больше и лучше, чем любой мастер-судостроитель во всей округе. Бывает,— сказала она,— что вечерком он вспоминает о прежней жизни в старом баркасе и тогда говорит о той Эмли, какой она была в детстве. И никогда не говорит о ней как о взрослой.

По выражению его лица я понял, что он хочет потолковать со мной наедине. Поэтому я решил встретиться с ним на следующий вечер, когда он вернется с работы, и, приняв это решение, я заснул. Впервые за много-много

ночей свеча не горела в эту ночь на окне, и мистер Пегготи спал на своей койке в старом баркасе под шум ветра, который, как и в былые времена, сетуя, проносился мимо.

Весь следующий день он возился со своими снастями и с рыбачьей лодкой, потом запаковал и отправил на повозке в Лондон кое-какие домашние вещи, которые могли ему еще пригодиться, а остальные подарил миссис Гаммидж. Она была с ним в течение всего дня. С каким-то щемящим чувством я решил еще раз посетить старый баркас, прежде чем его дверь заколотят, и сказал, что вечером туда приду. Но я собирался прийти уже после того, как повидаю Хэма.

Встретиться с ним было легко, так как я знал, где он работает. Я подождал его на безлюдной отмели, по которой он должен был идти, и повернул с ним назад, чтобы у него было достаточно времени со мной поговорить, если бы он в самом деле этого хотел. Выражение его лица меня не обмануло. Сначала мы молча шли рядом, и вдруг он спросил меня:

— Вы видели ее, мистер Дэви?

— Только минутку, когда она была в обмороке,— мягко ответил я.

Мы прошли еще немного, и он сказал:

— А как вы думаете, вы ее увидите?

— Мне кажется, это будет ей слишком тяжело,— ответил я.

— Я об этом думал... Пожалуй, сэр... Пожалуй,— проговорил он.

— Но, может быть, Хэм, вам хочется, чтобы я ей что-то написал от вашего имени, если я не смогу сказать ей это сам. Быть может, вы захотите через меня что-нибудь ей передать. Ваше доверие будет для меня священным,— мягко сказал я.

— Я в этом уверен. Благодарю вас, сэр, от всей души! Да, я хотел бы, чтобы ей кой о чем сказали или написали.

— Что именно?

Молча мы шли еще некоторое время. Он снова заговорил:

— Не о том, что я ей прощаю. Это не так важно. Важнее другое — я прошу ее простить мне, что я навя-

зывал ей свою любовь. Иногда я думал, сэр, что, если бы не ее обещание выйти за меня замуж, она доверилась бы мне, как другу, и могла рассказать о той борьбе, какая у нее в душе, а я мог помочь ей советом и, пожалуй, спас бы ее...

Я сжал ему руку.

— Это все?

— Есть еще кое-что, мистер Дэви... Как бы это сказать...

Мы долго шли, прежде чем он заговорил снова. Он не плакал в тех паузах, которые я отметил многоточиями, он только пытался собой овладеть, чтобы говорить как можно яснее.

— Я любил ее... И до сих пор люблю память о ней... Но слишком глубоко, чтобы... чтобы я мог ее уверить, будто я счастлив. Я был бы счастлив только тогда, когда мне удалось бы забыть ее... но, боюсь, я не смог бы вынести, если бы она узнала, что я ее забыл... Но вот если бы вы, человек ученый, мистер Дэви, могли бы как-нибудь ее убедить, что она меня не оскорбила, что... я все еще ее люблю и жалею ее... как-нибудь убедить, что жизнь мне не надоела и я надеюсь увидеть ее там, где никто ее не осудит, где злые уже никого не мучают, а усталые находят, наконец, покой... как-нибудь облегчить ее печаль, и чтобы она не думала, что я когда-нибудь женюсь и кто-нибудь заменит мне ее... Если бы я мог попросить вас, чтобы вы это ей сказали... и что я молюсь за нее... которая так мне дорога́...

Снова я сжал его сильную руку и ответил, что постараюсь это сделать.

— Благодарю вас, сэр,— сказал он.— Вы были так добры, что встретились со мной. Вы были так добры, что приехали сюда вместе с дядей. Мистер Дэви! Я хорошо знаю, что моя тетка побывает в Лондоне до их отъезда и все они снова встретятся, но мне лучше не видаться с ним больше. Я это чувствую. Об этом мы не говорили, но так и будет, и оно к лучшему. Когда вы увидите его в последний раз... в самый последний раз... вам нетрудно будет сказать, что сирота, для которого он был больше, чем отец, благодарен ему на всю жизнь и вечно будет его любить?

Я обещал ему также и это.

— Еще раз благодарю вас, сэр,— от всей души пожимая мне руку, сказал он.— Я знаю, куда вы идете. До свиданья.

Помахав мне рукой, словно желая сказать, что он не в силах войти в старый баркас, он повернул назад. Я видел, как он, идя в лунном свете по пустоши, повернул голову к серебряной полоске света над морем; он шел и, не отрываясь, смотрел на нее, пока, наконец, не превратился в неясную тень.

Когда я подошел к баркасу, дверь была открыта, и там уже не было никакой обстановки, кроме старого сундучка, на котором сидела, с корзиной на коленях, миссис Гаммидж и глядела на мистера Пегготи. Опершись на грубую каминную доску, он пристально смотрел на тускневшую золу за решеткой. Но когда я вошел, он поднял глаза и приветливо заговорил:

— Пришли, мистер Дэви, как обещали, попрощаться со всем этим? — спросил он, беря свечку.— Пустовато теперь?

— Да, вы времени не теряли,— сказал я.

— Мы не лентяи, сэр! Миссис Гаммидж работала, как... Не знаю, что и сказать, как работала миссис Гаммидж,— продолжал мистер Пегготи, глядя на нее и затрудняясь найти подходящее сравнение.

Миссис Гаммидж, все еще склоненная над своей корзинкой, молчала.

— Это тот самый сундучок, на котором вы всегда сидели рядом с Эмли,— прошептал мистер Пегготи.— Его я хочу взять с собою и увезу под самый конец. А вот ваша прежняя маленькая спальня, поглядите, мистер Дэви! Теперь в ней гуляет ветер как ему вздумается.

И в самом деле, ветер, хоть и слабый, словно торжествовал, и рыскал вокруг покинутого дома с тихими жалобами, такими печальными-печальными... Исчезло все вплоть до зеркальца в рамке из устричных раковин. Я думал о том, как я лежал здесь, когда у меня дома произошла первая великая перемена. Я думал о голубоглазой девочке, очаровавшей меня. Я думал о Стирфорте, и внезапно меня охватил глупый страх: а вдруг он здесь, совсем близко, и вот-вот я его увижу...

— Похоже на то, что в баркасе еще не скоро будут новые жильцы,— тихо сказал мистер Пегготи.— Здесь считают теперь, что это несчастливый дом.

— Он принадлежит кому-нибудь из местных жителей? — спросил я.

— Мачтовому мастеру, он живет в городе. Сегодня вечером я отдам ему ключ,— сказал мистер Пегготи.

Мы заглянули в другую комнатку, потом вернулись к сидевшей на сундучке миссис Гаммидж; поставив свечу на каминную доску, мистер Пегготи попросил миссис Гаммидж встать, чтобы дать ему возможность вынести сундучок, покуда свеча не погасла.

— Дэниел! Мой дорогой Дэниел! — воскликнула миссис Гаммидж, внезапно оставляя в покое корзинку и цепляясь за руку мистера Пегготи.— Вот что я скажу напоследок: не бросай меня! Не бросай меня, Дэниел! Не делай этого!

Пораженный мистер Пегготи переводил взгляд с миссис Гаммидж на меня, а с меня на миссис Гаммидж, как будто его только что разбудили.

— Не делай этого, дорогой Дэниел, не делай! — горько плакала миссис Гаммидж.— Возьми меня с собой, возьми меня вместе с Эмли! Я буду вам служить верой и правдой. Если там, куда вы едете, есть рабы, я заменю вам одного из них и буду счастлива, но только не бросай меня, Дэниел, умоляю тебя!

— Добрая моя душа, ты понятия не имеешь, как долго туда ехать и какая там трудная жизнь! — сказал, покачивая головой, мистер Пегготи.

— Имею понятие, Дэниел! Догадываюсь! Но вот что я скажу напоследок: если ты не возьмешь меня, я вернусь в этот дом и здесь умру. Я могу копать землю, Дэниел. Я могу работать. Я согласна выносить решительно все. Теперь я хорошая, терпеливая, ты даже не знаешь, какая я теперь, Дэниел! Испытай меня. Я не прикоснусь к пенсии, Дэниел Пегготи, даже если буду помирать с голоду! Позволь мне только идти с тобой — и я пойду хоть на край света! Я знаю, в чем дело. Я знаю, ты думаешь, будто я одинокая, покинутая, но, мой дорогой, теперь это не так! Не зря я сидела здесь и ждала, ждала и думала без конца о твоей беде, это пошло мне на пользу. Мистер

Дэви! Замолвите за меня слово! Я знаю ихние привычки — и его и Эмли, я знаю об их несчастье, и я смогу иной раз их утешить и буду на них работать. Дэниел, дорогой мой Дэниел, позволь мне ехать с тобой!

И миссис Гаммидж схватила его руку и поцеловала, поцеловала, охваченная нежностью и любовью, которых он так заслуживал.

Мы вынесли сундучок, потушили свечу, затворили дверь, крепко заперли ее, и остался старый баркас темным пятном на фоне вечерних облаков. А на следующий день, когда мы возвращались в Лондон на крыше кареты, на задней скамье сидела со своей корзинкой миссис Гаммидж, счастливая миссис Гаммидж.

ГЛАВА LII

Я присутствую при взрыве

Когда до срока, столь таинственно назначенного мистером Микобером, осталось менее суток, мы с бабушкой посоветовались о том, что ей делать, так как она очень не хотела надолго покидать Дору. Ах! Какая легкая была теперь Дора, когда я нес ее по лестнице!

Несмотря на желание мистера Микобера, чтобы бабушка присутствовала при встрече, мы решили, что она останется дома, а ее представителем буду я с мистером Диком. Но Дора все расстроила, сказав, что никогда не простит себе и никогда не простит своему скверному мальчику, если бабушка, под каким бы то ни было предлогом, останется с ней.

— Я не произнесу ни слова. Я буду ужасно неприветлива! — сказала Дора бабушке, тряхнув локонами.— Я заставлю Джипа целый день лаять на вас. Если вы не поедете с ними, значит вы старая ворчунья!

— Вот те на, Цветочек! — засмеялась бабушка.— Ты же знаешь, что без меня тебе не обойтись.

— Нет, обойдусь! — сказала Дора.— Ваше присутствие мне совсем не нужно. Ради меня вы ведь не бегаете целый день по лестнице вверх и вниз. Вы ведь не

сидите около меня и не рассказываете мне о том времени, когда у Доди были рваные башмаки и он был весь в пыли, с ног до головы, бедный, милый мальчуган! Вы никогда не делаете то, что мне нравится, не правда ли, дорогая? — Дора быстро поцеловала бабушку и воскликнула: «Я пошутила!» — чтобы бабушка не подумала, что она говорит серьезно.

— Нет, бабушка, вы должны идти,— ласково продолжала Дора,— я от вас не отстану, пока этого не добьюсь. Моему негодному мальчику не поздоровится, если он не возьмет вас с собой! И я буду невыносима, и Джип тоже! Если вы не поедете, вы будете жалеть об этом до конца жизни. Почему, собственно говоря, вам обоим не поехать? — Тут Дора откинула назад кудри и испытующе посмотрела на бабушку и на меня.— Разве я так больна?

— Что это тебе пришло в голову? — воскликнула бабушка.

— Какой вздор! — сказал я.

— Вот видите! Я глупенькая, я это знаю,— сказала Дора, медленно переводя взгляд с бабушки на меня, а затем, не поднимаясь, вытянула губки, чтобы нас поцеловать.— Прекрасно! Значит, вы оба и должны идти, а не то я вам не поверю и буду плакать!

По лицу бабушки я увидел, что она готова уступить. Увидела это и Дора и просияла.

— Когда вы вернетесь, у вас столько будет всяких рассказов, что мне потребуется по крайней мере неделя, чтобы все понять,— сказала Дора.— Ведь я знаю — я долго не могу понять, если рассказывают что-нибудь деловое! А тут, конечно, какое-нибудь дело. И если что-нибудь насчет арифметики,— прямо не знаю, когда я с этим справлюсь, а мой скверный мальчик будет так огорчаться! Ну вот, вы должны ехать. Вас не будет дома только одну ночь, а это время обо мне позаботится Джип. Перед отъездом Доди отнесет меня наверх, и, пока вы не вернетесь, я не буду спускаться. И вы передайте от меня Агнес письмо, уж я ее побраню за то, что она к нам не приезжает.

Больше мы этого вопроса не обсуждали и решили ехать; решили мы также, что Дора — маленькая плутовка, которой приятно болеть, так как ей нравится, чтобы

за ней ухаживали. Дора пришла от этого в восторг, очень развеселилась, и мы вчетвером — бабушка, мистер Дик, Трэдлс и я — в тот же вечер отправились в Кентербери с дуврской каретой.

В гостинице, где мистер Микобер назначил нам свидание и куда мы добрались, не без труда, лишь поздно ночью, я нашел письмо с извещением, что мистер Микобер прибудет утром, ровно в половине десятого. Потом, содрогаясь от холода, мы отправились в отведенные нам номера, причем должны были проходить по каким-то узким коридорам, пахнувшим так, словно их долгое время вымачивали в растворе, пропитанном запахами супа и конюшни.

Рано утром я побродил по милым моему сердцу, знакомым, тихим уличкам, снова погружаясь в тень, отбрасываемую старинными арками и церквами. Вокруг башен собора летали грачи, а эти башни, возвышаясь над многомильными просторами плодородных полей и прелестными речушками, как и раньше, рассекали прозрачный утренний воздух, словно все остается неизменным на этой земле. Но гудевшие колокола грустно напоминали, что ничто не остается неизменным; напоминали они и о собственной своей старости, и о молодости Доры, и о тех бесчисленных людях, которые жили, любили и умирали молодыми и терялись в воздухе,— песчинки в бездне Времени,— словно круги, что расходятся на воде, а этот колокольный звон все гудел и гудел, отдаваясь в ржавых доспехах Черного принца *, висевших в соборе.

Остановившись на углу улицы, я взглянул на знакомый старый дом, но не подошел к нему поближе, так как меня могли заметить и я невольно расстроил бы все дело, ради которого приехал. Утреннее солнце позлащало коньки крыши и окна с частым переплетом, и знакомый мне мир и покой словно коснулись своими лучами моего сердца.

Я вышел за город и побродил около часа, а потом вернулся в гостиницу по главной улице, которая уже пробудилась от ночного сна. В лавках копошились люди, и среди них я узнал старого своего врага — мясника, который преуспел в жизни: носил сапоги с отворотами, имел младенца и собственную лавку. Он нянчил своего младенца и, по-видимому, стал примерным членом общества.

Приступая к завтраку, мы были в беспокойном, нервическом состоянии. По мере того как приближалась половина десятого, наше желание увидеть мистера Микобера все возрастало. В конце концов, за исключением мистера Дика, мы махнули рукой на завтрак, который заказали только для виду. Бабушка ходила взад и вперед по комнате. Трэдлс сел на диван и притворился, будто читает газету, а сам устремил глаза в потолок, я же глядел в окно, чтобы дать знак, как только увижу мистера Микобера. Ждать пришлось недолго — пробило половина десятого, и он показался на улице.

— Он идет! — воскликнул я.— И на нем неслужебный костюм.

Бабушка завязала ленты чепца (она явилась к завтраку в чепце) и набросила на плечи шаль, словно готовясь призвать на помощь всю свою твердость и непреклонность. Трэдлс с решительным видом застегнул сюртук. Мистер Дик, сбитый с толку этими грозными приготовлениями, все же счел необходимым подражать им и, надев шляпу, нахлобучил ее на самые уши. Но тут же ее сдернул, чтобы приветствовать мистера Микобера.

— С добрым утром, джентльмены и сударыня! — произнес мистер Микобер.— Дорогой сэр, как вы любезны! (Это относилось к мистеру Дику, который с жаром пожимал ему руку.)

— Вы завтракали? Хотите котлетку? — спросил мистер Дик.

— Ни за что на свете, сэр! — воскликнул мистер Микобер, удерживая его руку, которая уже протянулась к колокольчику.— Я и аппетит — мы уже давно друг с другом незнакомы, мистер Диксон!

Эта фамилия очень понравилась новоявленному мистеру Диксону, и, кажется, он был так признателен мистеру Микоберу за это пожалование, что снова потряс ему руку и захохотал, как ребенок.

— Дик, тише! — вмешалась бабушка.

Мистер Дик опомнился и покраснел.

— А теперь, сэр,— надевая перчатки, продолжала бабушка,— мы готовы к извержению Везувия, а если вы предпочтете что-нибудь другое — милости просим!

— Сударыня! Я уверен, вы скоро будете свидетельни-

цей извержения,— сказал мистер Микобер.— Простите, мистер Трэдлс, могу ли я сообщить присутствующим, что мы с вами уже беседовали?

— Совершенно верно, Копперфилд,— сказал мне Трэдлс в ответ на мой удивленный взгляд.— Мистер Микобер советовался со мной о своем намерении, и, поскольку это было в моих силах, я дал ему совет.

— Значит, я не обманываюсь, мистер Трэдлс, что разоблачение, которое я намерен сделать, крайне важно? — спросил мистер Микобер.

— Чрезвычайно! — сказал Трэдлс.

— В таком случае, сударыня и джентльмены,— продолжал мистер Микобер,— может быть, вы окажете мне честь и предоставите себе в распоряжение человека, который заслужил, чтобы его считали заблудшим на стезе жизни, но все же является вашим ближним, хоть и потерявшим первоначальный свой образ по своей вине, а также в силу злосчастного стечения обстоятельств?

— Мы вам вполне доверяем, мистер Микобер, и выполним вашу просьбу,— ответил я.

— Вам не придется, мистер Копперфилд, пожалеть в данном случае о доверии, которое вы мне милостиво оказываете,— отозвался мистер Микобер.— Разрешите мне удалиться ровно на пять минут и, навестив мисс Уикфилд, принять вас всех в конторе «Уикфилд и Хип», где я числюсь служащим.

Мы с бабушкой поглядели на Трэдлса, а тот кивнул головой.

— В настоящее время я не имею больше ничего добавить,— заявил мистер Микобер.

С этими словами, к моему величайшему удивлению, он отвесил нам общий поклон и исчез. Держал он себя чрезвычайно церемонно и был чрезвычайно бледен.

Когда я взглядом попросил Трэдлса объяснений, тот только улыбнулся и кивнул головой (волосы стояли у него торчком). Мне ничего не оставалось делать, как вытащить из кармана часы и следить за стрелкой, отсчитывая пять минут. Бабушка следила по своим часам. Когда время истекло, Трэдлс предложил ей руку, и все вместе мы отправились в старый знакомый дом, а по дороге не произнесли ни звука.

Мистер Микобер был за своей конторкой в нижнем этаже конторы, помещавшейся в башенке; он с усердием писал или делал вид, будто пишет. Большая канцелярская линейка засунута была под жилетку, но он так плохо ее припрятал, что она выступала примерно на фут, словно какое-нибудь новомодное украшение для сорочки.

Мне показалось, что я должен что-то сказать, и я сказал:

— Как поживаете, мистер Микобер?

— Превосходно. Надеюсь, и вы в полном здравии? — мрачно ответил мистер Микобер.

— Мисс Уикфилд дома? — спросил я.

— Мистер Уикфилд лежит, у него приступ ревматизма,— ответил он,— но мисс Уикфилд, не сомневаюсь, будет очень рада повидаться со старыми друзьями. Может быть, пожалуете, сэр?

Он ввел нас в столовую,— это была первая комната, куда я вошел, когда много лет назад появился в этом доме,— и, распахнув дверь прежнего кабинета мистера Уикфилда, звучно провозгласил:

— Мисс Тротвуд, мистер Дэвид Копперфилд, мистер Томас Трэдлс и мистер Диксон!

Я не видел Урию Хипа с того дня, когда ударил его. Наш визит был для него неожиданностью — не меньшей, смею думать, неожиданностью, нежели для нас самих. Бровей он не поднял, ибо поднимать было нечего, но нахмурился так, что почти закрыл глаза, а его ужасная рука, стремительно поднятая им к подбородку, свидетельствовала о его изумлении или беспокойстве. Но это произошло в тот момент, когда мы входили в комнату и я бросил на него взгляд из-за спины бабушки. В следующий момент вид у него был, как всегда, раболепный и смиренный.

— Вот неожиданная радость! — воскликнул он.— Прямо скажу, не ждал — сразу столько друзей! Надеюсь, вы в добром здравии, мистер Копперфилд? И смею выразить смиренную надежду — благосклонны к старым своим друзьям? Надеюсь, миссис Копперфилд поправляется? Поверьте, мы очень беспокоились, когда узнали о ее нездоровье!

Мне стало стыдно, когда я позволил ему завладеть моей рукой, но что было делать!

— С той поры, как я был здесь жалким клерком и сторожил вашего пони, мисс Тротвуд, многое изменилось в этой конторе,— сказал Урия с тошнотворной улыбкой.— Но сам я не изменился, мисс Тротвуд.

— Могу сказать, сэр,— если это вам по вкусу,— вы целиком оправдали надежды, которые возлагались на вас в юности.

— Благодарю вас, мисс Тротвуд! — как всегда, неуклюже извиваясь, поблагодарил Урия.— Микобер, сообщите мисс Агнес и матушке... Матушка сумеет принять таких гостей, как подобает,— сказал Урия, приглашая нас сесть.

— У вас много дел, мистер Хип? — спросил Трэдлс, поймав случайно взгляд Урии, который одновременно и ощупывал нас хитрыми красными глазками, и старательно избегал на нас смотреть.

— Нет, мистер Трэдлс,— ответил Урия, усаживаясь за свою конторку и стискивая костлявые руки между костлявых колен.— Не так много, как бы хотелось. Но юристы, знаете ли, подобны акулам и лекарям — они никогда не бывают довольны. Впрочем, что касается меня и Микобера, сэр, мы-то заняты по горло, потому что мистер Уикфилд не совсем пригоден для работы. Но какое это удовольствие,— я сказал бы — какой священный долг,— работать *для него!* Вы, кажется, мистер Трэдлс, не очень близко знакомы с мистером Уикфилдом? Если не ошибаюсь, я имел честь вас видеть только один раз?

— Да, я не очень близко знаком с мистером Уикфилдом, мистер Хип. Если бы не это обстоятельство, я, возможно, давно бы вас посетил,— ответил Трэдлс.

В тоне ответа было нечто такое, что заставило Урию поглядеть на Трэдлса мрачно и подозрительно. Но лицо Трэдлса было такое добродушное, волосы его так топорщились, а манеры были так бесхитростны, что Урия решил не обращать внимания и, дернувшись всем телом и как-то особенно изогнув шею, ответил:

— Жалею, мистер Трэдлс. Вы восхищались бы им так же, как и все мы. Благодаря своим маленьким недостаткам он был бы вам еще дороже. Но если вам вздумается послушать, с каким красноречием можно говорить о моем компаньоне, советую вам обратиться к Копперфилду. Если

вы никогда его не слышали — послушайте. Вот кто стоит горой за эту семью.

Отклонить этот комплимент (даже если бы я хотел) у меня не было времени, так как в сопровождении мистера Микобера появилась Агнес. Мне показалось, что на этот раз она не владеет собой так безукоризненно, как обычно, вид у нее был утомленный, и, должно быть, она перенесла немало волнений. Но ее серьезность и сердечность, ее умиротворяющая красота излучали благодаря этому еще более мягкий свет.

Я видел, как следил за ней Урия, пока она с нами здоровалась, и он напомнил мне уродливого злого духа, подстерегающего доброго ангела. В этот момент я уловил, что мистер Микобер и Трэдлс переглянулись, после чего Трэдлс, никем не замеченный, вышел из комнаты.

— Можете идти, Микобер,— сказал Урия.

Но тут мистер Микобер, положив руку на линейку, торчавшую из-за жилета, застыл перед дверью; ошибиться было нельзя: он смотрел в упор на одного из своих ближних, и этим ближним был его хозяин.

— Вы чего ждете? — спросил Урия.— Микобер! Разве вы не слышали, что вы можете идти?

— Слышал,— был ответ.

— Так почему же вы не идете?

— Потому что... потому что мне так хочется! — взорвался мистер Микобер.

Краска схлынула с лица Урии. Оно покрылось нездоровой бледностью, резко оттенявшейся рыжим цветом волос. Он впился взглядом в мистера Микобера, и, казалось, каждая складка на его лице вздрагивала.

— Вы — развязный субъект, это всем известно, и мне придется от вас отделаться! — выдавливая улыбку, сказал Урия.— Уходите! Я сейчас с вами поговорю.

— Если на земле есть негодяй, с которым я говорил больше чем достаточно, то этот негодяй — Хип! — снова взорвался мистер Микобер, на этот раз с невероятной силой.

Урия подался назад, словно кто-то его ударил или ужалил. Лицо его выражало неописуемую злобу, он медленно обвел всех нас взглядом и приглушенно сказал:

— Ого! Да это заговор! Вы сговорились здесь сойтись. Это вы, Копперфилд, одурачили моего клерка? Берегитесь! Ничего вы этим не добьетесь. Мы-то хорошо понимаем друг друга, вы и я. С того дня, как вы здесь появились, вы всегда были заносчивым щенком. И вы завидовали моему возвышению. Но предупреждаю: никаких заговоров против меня! Я сумею с вами справиться. Убирайтесь вон, Микобер! Я сейчас с вами поговорю.

— Мистер Микобер,— сказал я,— с этим субъектом произошла внезапная перемена, и перемена удивительная; тут дело не только в том, что он один раз сказал правду. Я уверен — он приперт к стене. Воздайте ему по заслугам!

— Недурная компания, нечего сказать! — так же приглушенно выговорил Урия, вытирая длинной тощей рукой липкий пот со лба.— Подкупить моего клерка, чтобы он меня оболгал! А ведь он из тех же подонков общества, что и вы, Копперфилд,— вы тоже были подонком, пока кой-кого не разжалобили. Вам, мисс Тротвуд, лучше уйти, или я так ухожу вашего муженька, что вам от этого не поздоровится. Не понапрасну я интересовался, как юрист, вашей биографией, старушка! А вам, мисс Уикфилд, я советую не присоединяться к этой шайке, если вы любите отца. Если вы не послушаетесь меня, я его прикончу. Ну что ж, валяйте! Кой-кому из вас угрожает беда. Подумайте хорошенько, прежде чем навлекать ее на себя. И вы, Микобер, подумайте хорошенько, если не хотите погибнуть. Советую вам убраться, я с вами, дурак вы этакий, сейчас поговорю! Убирайтесь, пока еще есть время! А где моя мать? — Тут он с тревогой заметил, что Трэдлса нет в комнате, и дернул шнурок колокольчика.— Хорошие дела делаются в доме!

— Миссис Хип здесь, сэр,— ответил Трэдлс, возвращаясь с достойной матерью достойного сына.— Я взял на себя смелость с ней познакомиться.

— А вы кто такой, чтобы с ней знакомиться? И что вам здесь нужно? — грубо спросил Урия.

— Я — друг мистера Уикфилда и его представитель,— спокойно, официальным тоном сообщил Трэдлс.— У меня есть его доверенность на ведение всех его дел.

— Старый осел допился до белой горячки, и вы получили доверенность обманом! — отозвался Урия, который становился все омерзительней.

— Да, у него немало было получено обманом, но все получали вы, мистер Хип,— спокойно ответил Трэдлс.— Об этом нам расскажет, если позволите, мистер Микобер.

— Ури...— с тревогой начала миссис Хип.

— Придержите язык, мать! Сказанное слово — воробей, вылетит — не поймаешь,— оборвал ее Урия.

— Но как же так? Ури...

— Придержите язык, мать, и предоставьте говорить мне!

Я знал, что раболепие его фальшиво, а все его поведение — гнусное притворство, но все же до того момента, когда с него слетела маска, я не представлял себе в полной мере, насколько он лицемерен. Быстрота, с которой он сбросил ее, почувствовав, что она для него бесполезна, злоба, наглость и ненависть, которые в нем обнаружились, скрытая радость от сознания содеянного им зла — даже теперь, когда он метался в поисках выхода из тупика, не зная, как от нас отделаться,— все это, правда, соответствовало моему мнению о нем, но в первый момент поразило даже меня, который так давно его знал и питал к нему искреннее отвращение.

О его взгляде, которым он меня наградил, озирая по очереди всех нас, я не скажу ничего; я всегда знал, что он меня ненавидит, да и к тому же помнит след на щеке от моей пощечины. Но когда он перевел взгляд на Агнес и бешенство сверкнуло в его глазах от сознания, что власть над нею ускользает от него, когда я увидел во всей наготе гнусную страсть, толкнувшую его добиваться той, чьи драгоценные качества он не мог ни оценить, ни оберечь,— я пришел в ужас от одной только мысли, что ей пришлось жить в обществе такого человека.

Почесав рукой подбородок и бросив на нас несколько злобных взоров поверх своих ужасных пальцев, он обратился ко мне грубым и вместе с тем каким-то хнычущим тоном:

— А вы-то, Копперфилд, вы, который столь заботитесь о своей чести и обо всем таком прочем, неужто вы считаете позволительным прокрадываться сюда и шпио-

нить через моего клерка? Я — это другое дело, в этом ничего нет удивительного... Ведь я не корчу из себя джентльмена, хоть и не был уличным мальчишкой, как вы, о чем мне рассказал Микобер. Но вы-то! И вы не боитесь этак поступать? Не боитесь попасть в беду, участвуя в заговоре? Ну что ж, прекрасно! Мы еще посмотрим! А вы, мистер... не знаю, как вас звать, вы предложили Микоберу говорить. Он, так сказать, ваше орудие! Ну что ж, почему же он не говорит? Он, кажется, выучил свой урок.

Увидев, что его слова не произвели никакого впечатления ни на меня, ни на остальных, он сунул руки в карманы; усевшись на край своего стола, он заложил одну длинную ногу за другую, переплел их и мрачно стал ждать.

Мне стоило большого труда удерживать мистера Микобера, который то и дело повторял: «Под...», но так и не договаривал второго слога: «лец». Тут он рванулся вперед, выхватил из-за жилета линейку (по-видимому, орудие оборонительное) и вытащил из кармана исписанный лист большого формата, сложенный в виде письма. С хорошо мне знакомым напыщенным видом он развернул лист, бросил на него довольный взгляд, свидетельствовавший о его восхищении собственным стилем, и начал читать:

— «Дорогая мисс Тротвуд и джентльмены...»

— Господи помилуй! Если кто совершит тяжелое преступление, этому человеку для его писем нужна будет целая стопа бумаги! — прошептала бабушка.

Но мистер Микобер не слышал ее и читал:

— «Представ перед вами, дабы разоблачить самого законченного Негодяя, который когда-либо существовал...»

Тут мистер Микобер, не отрывая глаз от послания, указал линейкой, словно привидение — жезлом, на Урию Хипа

— «...я не прошу для себя награды. С колыбели жертва денежных обязательств, которые мне было не по силам удовлетворять, я был игралищем унизительных случайностей. Бесчестье, Нищета, Отчаяние и Безумие — совместно или последовательно — сопутствовали моей карьере».

Упоминая о себе как о жертве сих страшных бедствий, мистер Микобер делал это с таким смаком, который

можно было сравнить только с выразительностью его чтения и восхищением самим собой, проявлявшимся в том, что он крутил головой всякий раз, когда, по его мнению, попадалось особенно сильное выражение.

— «Вынуждаемый Бесчестьем, Нищетой, Отчаянием и Безумием, я поступил в контору — или бюро, как сказали бы наши любезные соседи, французы — фирмы, номинально возглавляемой Уикфилдом и Хипом, но коей фактически управляет один *Хип*. *Хип* и только *Хип* — пружина этого механизма. *Хип* и только *Хип* — плут и мошенник».

При этих словах Урия, скорее посиневший, чем побелевший, бросился к письму, чтобы разорвать его. Но мистер Микобер с чудесной ловкостью так удачно хлопнул его линейкой по суставам пальцев, что правая рука Урии вышла из строя. Кисть руки повисла, словно ее сломали. Удар прозвучал так, будто хлопнули по куску дерева.

— Черт возьми! Я вам это попомню! — воскликнул Урия, извиваясь на этот раз от боли.

— Только приблизьтесь еще раз, и я проломлю вам голову, гнусный Хип! — задыхаясь, вскричал мистер Микобер.— А ну, суньтесь!

Я никогда не видел, мне кажется, такой смешной сцены — даже в те минуты я подмечал смешное. Мистер Микобер фехтует своей линейкой, как саблей, и вопит: «А ну, суньтесь!» — а мы с Трэдлсом оттаскиваем его в угол, откуда он отчаянно пытается вырваться.

Его враг повертел пострадавшей рукой и, бормоча что-то себе под нос, вытащил из кармана платок, которым и замотал руку; потом, поддерживая ее другой рукой, он уселся на стол и с мрачным видом полузакрыл глаза.

Немного успокоившись, мистер Микобер продолжал чтение своего послания:

— «Жалованье, ради коего я поступил на службу к... *Хипу* (перед этим словом мистер Микобер запинался, а затем произносил его с удивительной выразительностью), было ничтожным и не превышало двадцати двух шиллингов шести пенсов в неделю. Остальной заработок зависел от моей служебной расторопности, или, говоря более ясно, от собственной моей низости и корыстолюбия, от нищеты моего семейства, от нравственного (вернее,

безнравственного) сходства между мной и... *Хипом*. Нужно ли говорить, что скоро я вынужден был домогаться у... *Хипа*... денежного вспомоществования для пропитания миссис Микобер и нашего злосчастного, но подрастающего семейства. Нужно ли говорить, что эти домогательства с моей стороны входили в расчеты... *Хипа?* И что такие вспомоществования были даны под долговые расписки и другие денежные обязательства, известные нашему законодательству? И что посему я попал в паутину, которую он соткал, чтобы меня туда заманить?»

Восхищение мистера Микобера своим эпистолярным мастерством при описании собственных невзгод, несомненно, перевешивало тревогу или тяготы, которые могли угрожать ему в действительности. Он читал дальше:

— «А засим... *Хип* начал покровительствовать мне, оказывая доверие в той мере, в какой это было необходимо для успеха его адских дел. А засим я стал чахнуть, бледнеть и увядать, если я осмелюсь выразиться о себе словами Шекспира *. Мне было предъявлено требование принимать участие в подделке документов и в надувательстве одного лица, которого я обозначу как мистер У. Этого мистера У. одурачивали, его держали в полном неведении и всеми возможными способами обманывали, хотя этот негодяй... *Хип* все время прикидывался первейшим его другом, питающим к нему великую благодарность. Это само по себе было низко, но, как сказал философический принц Датский,— знаменитейшее украшение елизаветинской эры, слова которого могут быть применены решительно ко всему,— «остальное еще хуже».

Мистер Микобер так был потрясен удачно приведенной цитатой, что побаловал себя, а заодно и нас, вторично прочитав сентенцию под тем предлогом, будто ищет место, на котором остановился.

— «В мои намерения не входит,— продолжал он читать,— в рамках этого послания подробно перечислять более мелкие преступления (список их у меня имеется), направленные против упомянутого лица, обозначенного мною как мистер У.,— преступления, в которых я был безгласным соучастником. Когда, после внутренней борьбы, я решил вопрос о выборе между получением жа-

лованья и отказом от него, между уплатой булочнику и неуплатой, между бытием и небытием, я положил своей задачей употребить все свои способности на раскрытие и обнаружение великих преступлений, совершенных во зло сему джентльмену и в его поношение... *Хипом.* Подвигнутый на это дело безгласным советчиком внутри себя, а равно тронутый призывами советчика вовне,— я обозначу его как мисс У.,— я произвел, не без труда, тайное расследование, продолжавшееся, по моим данным и насколько мне известно, свыше двенадцати календарных месяцев».

Он прочитал этот отрывок, словно то была выписка из парламентского акта, и, казалось, звуки этих торжественных слов придали ему новые силы.

— «Я обвиняю... *Хипа,*— читал он, глядя на Урию и подхватывая линейку поудобней под левую руку, чтобы, в случае нужды, она была наготове,— в следующем...»

Кажется, мы затаили дыхание. И Урия также — в этом я уверен.

— «Первое. Когда деловые способности мистера У. и его память, по причинам, коих я не считаю возможным касаться, ослабели и пришли в расстройство... *Хип...* умышленно перемешал и перепутал все официальные бумаги. Когда мистер У. приходил в такое состояние, что не мог заниматься делами... *Хип* всегда был тут как тут и заставлял его ими заниматься. Он вынуждал мистера У. подписывать важные документы именно в этих условиях, выдавая их за документы, не имеющие никакого значения. Таким порядком он вынудил мистера У. дать ему полномочия на получение из доверенного им имущества суммы в двенадцать тысяч шестьсот четырнадцать фунтов два шиллинга девять пенсов, а также право употребить эту сумму якобы для возмещения деловых издержек и недостач, которые либо уже были возмещены, либо совсем не имели места. Это деяние он приписал преступному замыслу самого мистера У., совершившего якобы сей бесчестный поступок, и с той поры стал мучить его и приневоливать».

— Вы это должны будете доказать,— вы, Копперфилд! — угрожающе тряхнул головой Урия.— Мы еще посмотрим!

— Мистер Трэдлс, спросите... *Хипа,* кто жил в его доме после него? — воскликнул мистер Микобер, отрываясь от послания.

— Жил болван и живет сейчас,— презрительно отозвался Урия.

— Спросите... *Хипа,* была ли у него дома записная книжка? — задал еще вопрос мистер Микобер.

Тощая рука Урии, которой он поскребывал подбородок, застыла.

— Или спросите так: не сжег ли он ее? — продолжал мистер Микобер.— Если он ответит утвердительно и спросит вас, где пепел, направьте его к мистеру Микоберу, который сообщит ему нечто для него неприятное!

Торжествующий тон мистера Микобера до крайности встревожил мать Урии; с большим волнением она вскричала:

— Ури, Ури! Будь смиренным! Лучше поладить с ними, мой дорогой!

— Замолчите, матушка! — отозвался тот.— Вы напуганы и сами не знаете, что говорите. Смиренным! — злобно глядя на меня, повторил он.— В прошлом я был смиренным с некоторыми из них, слишком смиренным!

Погрузив подбородок в воротник сорочки, мистер Микобер обратился снова к своему сочинению.

— «Второе. В ряде случаев... *Хип,* по имеющимся у меня данным, насколько мне известно...»

— Как это убедительно! — с облегчением пробормотал Урия.— Матушка, спокойней!

— Мы постараемся сообщить вкратце нечто такое, что будет, сэр, даже и для вас убедительно! — откликнулся мистер Микобер.

— «Второе. В ряде случаев... *Хип,* по имеющимся у меня данным, насколько мне известно, систематически подделывал на исходящих бумагах, в книгах и в документах подпись мистера У.; в частности, в одном случае, я могу это доказать. А именно, например, следующим образом...»

И снова мистер Микобер, нагромождая эти слова, испытывал несомненное удовольствие, что́, должен сказать, свойственно не только ему. В течение своей жизни я проверил это наблюдение на многих людях. Мне ка-

жется, это общее правило. Принимая, скажем, присягу, свидетели получают большое наслаждение, дойдя до произнесения нескольких слов, следующих одно за другим, но выражающих одну и ту же мысль, и провозглашая, что они гнушаются, презирают, ненавидят и т. д.; на том же основании люди смакуют старинные проклятья. Мы говорим о тирании слов, но нам нравится также тиранствовать над ними; мы любим, чтобы, по важным поводам, нам служил слишком большой штат слов, мы считаем, что это придает нам значительность и звучит прекрасно. И подобно тому, как нас не занимает в торжественных случаях качество ливрей на наших лакеях,— лишь бы они были красивы и было их много,— так и качество, а равно и уместность наших слов — дело второстепенное, лишь бы парад их был внушителен. Подобно тому также, как большое количество ливрейной прислуги приносит человеку много хлопот, а большое количество рабов восстает против своего хозяина, так, мне думается, некий народ испытывает великие затруднения, а испытает еще больше, сохраняя слишком многочисленную свиту слов.

С каким-то причмокиванием мистер Микобер продолжал читать:

— «А именно, например, следующим образом: когда мистер У. заболел и не исключена была возможность, что его смерть приведет к некоторым разоблачениям и власть... *Хипа* над семейством упомянутого У. рухнет (что я, нижеподписавшийся, Уилкинс Микобер, удостоверяю), если только, взывая к дочерней любви, не удастся воспрепятствовать расследованию деятельности фирмы, упомянутый... *Хип* почел целесообразным заготовить от имени мистера У. обязательство на вышеупомянутую сумму в двенадцать тысяч шестьсот четырнадцать фунтов два шиллинга девять пенсов, совокупно с процентами, каковой суммой... *Хип* якобы кредитовал мистера У., чтобы спасти мистера У. от бесчестья, тогда как в действительности сей суммой он никогда не кредитовал мистера У. и она давно была возмещена последним. Подписи на этом документе — мистера У. как лица, учинившего оный, и Уилкинса Микобера как лица, засвидетельствовавшего,— были подделаны... *Хипом*. В моем распоряжении находится его записная книжка с собственноручными

его имитациями подписи мистера У., хотя эти имитации и попорчены огнем, но удобочитаемы. Никогда я не свидетельствовал этого документа! А самый этот документ находится в моем распоряжении».

Вздрогнув, Урия выхватил из кармана связку ключей и отпер один из ящиков, потом вдруг опомнился и снова повернулся к нам, но на нас не взглянул.

— «А самый этот документ находится в моем распоряжении,— читал мистер Микобер, взирая на нас так, будто читает проповедь,— вернее сказать, находился рано утром, когда я это писал, но засим был вручен мною мистеру Трэдлсу».

— Совершенно правильно,— подтвердил Трэдлс.

— Ури! Ури! — вскричала мать Урии.— Будь смиренным, надо с ними поладить! О, я знаю, джентльмены, мой сын будет смиренным, если вы дадите ему время подумать. Мистер Копперфилд! Вы ведь знаете, что он всегда был смиренным, сэр!

Странно было видеть, что мать все еще не хочет расстаться со своими старыми плутнями, тогда как сын уже счел их бесполезными.

— Лучше возьмите, матушка, ружье и застрелите меня! — сказал он, раздраженно покусывая платок, которым обвязана была его рука.

— Но я люблю тебя, Ури! — вскричала миссис Хип. (Думаю, так оно и было, да и он любил ее, как это ни покажется странным; это была достойная друг друга парочка.) — Я не могу слышать, как ты злишь этих джентльменов и этим еще больше себе вредишь. Когда этот джентльмен сказал мне наверху, что все открылось, я ему сразу сказала, что могу за тебя поручиться,— ты будешь смиренным и исправишься. О, взгляните, джентльмены, какая я смиренная, а на него не обращайте внимания!

— А вы, матушка, лучше посмотрите на Копперфилда! Копперфилд дал бы вам сотню фунтов за такую болтовню! — яростно воскликнул Урия, показывая тощим пальцем на меня, которого он ненавидел больше всех, считая меня главным виновником разоблачения, в чем я его не разубеждал.

— Урия, я не могу этого выносить, я не могу видеть,

как ты задираешь голову и губишь себя. О, лучше будь таким же смиренным, как был всегда!

Некоторое время он молчал и кусал платок, потом мрачно мне сказал:

— Ну, что еще у вас там есть? Если есть, валяйте! Чего вы ждете?

Мистер Микобер снова принялся читать, весьма довольный тем, что снова может играть роль, которая ему очень нравилась:

— «Третье и последнее. Я теперь в силах доказать на основании поддельных записей в книгах и подлинных заметок... Хипа начиная с обгоревшей записной книжки (в которой я сперва не смог разобраться, когда, переехав в наше теперешнее жилище, миссис Микобер случайно нашла ее в ящике или в ларе, куда ссыпалась зола из нашего домашнего очага), что в течение многих лет... *Хип* использовал для своих гнусных замыслов слабости, ошибки, даже добродетели несчастного мистера У., его родительскую любовь и чувство чести. Могу доказать, что в течение многих лет жадный и лживый... *Хип* в корыстных целях обманывал и грабил мистера У.; что... *Хип* ставил своей главной целью, которой почти достиг, целиком подчинить себе мистера и мисс У. (о его низменных видах на последнюю я умолчу); что последним его деянием, совершенным только несколько месяцев назад, было принуждение мистера У. к отказу от своей доли участия в фирме и к продаже всей обстановки своего дома в обмен на ренту, уплачиваемую ему... *Хипом* каждые три месяца. Могу доказать, что сети, которые он сплетал, становились крепче и крепче, покуда несчастный мистер У. невзвидел света; могу доказать наличие подозрительных и поддельных отчетов по имуществу, сданному мистеру У. в тот период, когда он, будучи вовлечен в рискованные и неуместные спекуляции, мог не иметь в наличности денег, за которые нес моральную и законную ответственность; следует также упомянуть о фальшивых ссудах, полученных мистером У. под неслыханные проценты, а на самом деле данных ему... *Хипом* или полученных через... *Хипа* из денег, мошенническим образом вытянутых им у мистера У. на предмет упомянутых спекуляций либо иным путем; этот перечень можно было бы увенчать спи-

ском самых бессовестных злоупотреблений. Мистер У. считал, что он лишился имущества, чести и всякой надежды, и свои упования возлагал только на это чудовище в человеческом обличье,— любуясь удачным выражением, мистер Микобер подчеркнул эти слова,— которое, добившись того, что стало незаменимым, привело мистера У. к гибели. Все это я могу доказать. Быть может, и многое другое».

Я шепнул несколько слов сидевшей рядом со мной Агнес, которая и плакала и улыбалась; все мы зашевелились, как будто мистер Микобер уже закончил чтение. Но он важно сказал: «Прошу прощения!» — и продолжал читать заключительную часть послания, удрученный и вместе с тем восхищенный своим произведением:

— «Я кончаю. Теперь мне остается только привести доказательства этих преступлений, а потом вместе с моим злополучным семейством исчезнуть из тех мест, для коих мы являемся тяжким бременем. Скоро это и произойдет. С большой долей вероятности можно предвидеть, что наше младшее дитя, самый хрупкий член нашего семейства, первым испустит дух, а за ним последуют, в порядке очереди, наши близнецы. Но будь что будет! Лично мне мое кентерберийское паломничество * дорого стоило; заключение в тюрьму по постановлению гражданского суда и нужда скоро довершат дело. Я верю, что усердие и риск, с которым велось расследование, мельчайшие результаты коего терпеливо сводились воедино, в тяжких трудах и среди постоянных гнетущих опасений, на заре, росистым вечером и во тьме ночи, под бдительным оком того, кого мало назвать Демоном, в самый разгар борьбы с Нищетой, ради того, чтобы довершить начатое дело,— я верю, что такое усердие окропит сладостными каплями слез мой погребальный костер. Большего я не прошу. Но да воздадут мне по справедливости и да помянут меня так, как поминают смелого знаменитого морского Героя,— с которым я и не помышляю равняться,— ибо содеянное мной я совершил, пренебрегая корыстными и личными мотивами,

«ради Англии, домашнего очага и Красоты» *.

Остаюсь и пр. и пр.

Уилкинс Микобер».

Сильно взволнованный, но весьма довольный собой, мистер Микобер сложил послание и с поклоном вручил его бабушке в полном убеждении, что она с удовольствием будет его хранить.

Как я заметил еще в первое свое появление, в этой комнате находился железный несгораемый шкаф. В нем торчал ключ. Вдруг Урию осенило подозрение; скользнув взглядом по мистеру Микоберу, он подошел к шкафу и с резким металлическим звоном открыл его.

Шкаф был пуст.

— Где книги? — вскричал он, изменившись в лице.— Какой-то вор украл книги!

Мистер Микобер хлопнул себя линейкой.

— Это сделал я! Сегодня утром я получил от вас ключ раньше, чем обычно, и открыл шкаф.

— Не беспокойтесь. Книги у меня. Я их поберегу на основании тех полномочий, о которых говорил,— вмешался Трэдлс.

— Вы укрыватель краденого! — вскричал Урия.

— В данных условиях это так,— согласился Трэдлс.

Каково же было мое изумление, когда бабушка, дотоле совершенно спокойная, подскочила к Урии Хипу и обеими руками схватила его за ворот.

— А знаете ли, что нужно *мне?!* — крикнула она.

— Смирительную рубашку,— отозвался Урия.

— Нет. Мои деньги! Агнес, дорогая моя, пока я думала, что они потеряны по вине твоего отца, я никому не говорила ни слова, что поместила их сюда. Даже Трот об этом не знал! Но теперь я знаю, что виновник — вот этот субъект. Трот, отними их у него!

Не знаю, думала ли она в самом деле, что Урия хранит деньги в своем шейном платке, но она тянула его за ворот, словно была в этом уверена. Я бросился между ними и стал ее уверять, что мы позаботимся, чтобы он вернул все мошеннически присвоенное. Это мое заявление подействовало; после короткого раздумья она утихомирилась и спокойно уселась, обретя свой прежний вид, чего нельзя было сказать о ее шляпке.

В течение нескольких минут миссис Хип то призывала сына «быть смиренным», то падала на колени перед каждым из нас и давала какие-то нелепые обещания. Сын

усадил ее в свое кресло и, удерживая за руку, но не грубо, бросил на меня яростный взгляд и спросил:

— Что вам от меня нужно?

— Я вам скажу, что нам от вас нужно,— ответил за меня Трэдлс.

— А разве у Копперфилда отвалился язык? — пробормотал Урия.— Много бы я дал, чтобы вы сказали, что ему отрезали язык, и при этом не солгали.

— Мой Урия хочет быть смиренным! — вскричала его мать.— Джентльмены, не обращайте внимания на его слова!

— Вот что нам от вас нужно,— сказал Трэдлс.— Во-первых, вы немедленно, на этом самом месте, передаете нам упомянутый акт об отказе мистера Уикфилда от своего имущества.

— А если я на это не пойду? — перебил Урия.

— Вы на это пойдете,— сказал Трэдлс.— Мы твердо уверены.— Признаюсь, впервые я воздал должное ясному уму моего старого школьного товарища и его бесспорному здравому смыслу.— Затем,— продолжал Трэдлс,— вы должны быть готовы вернуть все награбленное вами и возместить все убытки до последнего фартинга. Все книги фирмы и все документы останутся у нас, так же как ваши личные деловые книги и бумаги, а равно все счета и все закладные. Короче говоря, все, что здесь находится.

— В самом деле? Ну, это я еще не решил. Дайте мне время подумать,— сказал Урия.

— Извольте. Но до тех пор и пока вы нас полностью не удовлетворите, все, о чем я говорил, переходит в наше распоряжение, а вас мы просим — вернее, требуем — уйти к себе в комнату и ни с кем не общаться,— заявил Трэдлс.

— Этого не будет! — воскликнул Урия, изрыгая проклятие.

— Мейдстонская тюрьма куда более надежное место предварительного заключения,— продолжал Трэдлс.— Может быть, закон окажет нам правосудие не так скоро и удовлетворит наши справедливые требования не так полно, как можете удовлетворить вы, но *вам*-то он найдет меру наказания. Да вы это знаете, черт возьми, не хуже меня! Копперфилд, поезжайте в Гилдхолл * и привезите представителей власти.

Тут миссис Хип снова прорвало. С плачем она бросилась на колени перед Агнес, умоляя ее заступиться за них, восклицала, что он в самом деле очень смиренен, а если он не сделает всего, что нам нужно, то она его заставит сделать; словом, она потеряла голову от страха за своего сынка. Задавать вопрос, как бы он поступил, будь он похрабрее, не менее бессмысленно, чем спрашивать, как бы стал действовать собачий ублюдок, наделенный смелостью тигра. С головы до ног он был трус, и его низкая натура проявилась в злобе и угрюмости, как обнаруживалась она на всем протяжении его презренной жизни.

— Не ходите! — буркнул он в мою сторону и вытер рукой потное лицо.— Да замолчите, мать! Ладно! Пусть получают этот акт. Принесите его!

— Пожалуйста, проводите ее, мистер Дик,— сказал Трэдлс.

Гордый этим поручением, сознавая всю его важность, мистер Дик, сопровождая миссис Хип, напоминал овчарку, стерегущую овцу. Но миссис Хип доставила ему мало хлопот; она принесла не только акт, но и ящик, в котором он лежал, а в этом ящике находились и банковская книга и другие документы, которые очень нам потом пригодились.

— Прекрасно! — сказал Трэдлс, когда все это было принесено.— А теперь, мистер Хип, вы можете удалиться и подумать. Но прошу помнить: вам остается только пойти на то, о чем я говорил, и сделать это без проволочек.

Не поднимая глаз и поскребывая рукой подбородок, Урия дошел до двери; здесь он остановился и сказал:

— Я вас всегда ненавидел, Копперфилд! Вы всегда были выскочка и всегда были против меня.

— Нет, не я, а вы с вашей жадностью и плутнями были всегда против всего остального мира,— ответил я.— Об этом я вам как-то говорил. Вспомните, что еще ни один алчный плут не останавливался вовремя, и это неизменно приводило его к гибели. Это так же непреложно, как и то, что все мы умрем.

— Столь же непреложно, как и то, чему учат в школах — в той самой школе, где я подцепил столько смирения,— криво усмехаясь, сказал Урия.— С девяти часов до

одиннадцати там учат, что труд — это проклятье, а с одиннадцати до часу, что это благословение и радость и прочее и прочее... Ваша проповедь смахивает на их. Значит, смирение никуда не годится? Э, нет, без смирения я не обошел бы моего благородного компаньона! А с вами, Микобер, я еще посчитаюсь, старый хвастун!

Мистер Микобер, нисколько не испугавшись ни его самого, ни протянутого им пальца, выпятил грудь и оставался в такой позе, пока Урия не скрылся за дверью. Потом он обратился ко мне и предложил насладиться «лицезрением того, как восстановится взаимное доверие между ним и миссис Микобер». А затем пригласил и остальных быть свидетелями этого чувствительного зрелища.

— Пала завеса, давно отделившая миссис Микобер от меня, а дети мои и Виновник их Бытия могут теперь войти в сношения как равные! — сказал мистер Микобер.

Мы отправились бы все вместе, так как были очень ему благодарны, что̀ и хотели засвидетельствовать, невзирая на смятение наших чувств; но Агнес необходимо было вернуться к отцу, которого следовало осторожно подготовить к радостной вести, и кто-то должен был сторожить Урию. С этой целью остался Трэдлс,— его должен был скоро сменить мистер Дик,— а мистер Дик, бабушка и я пошли с мистером Микобером к нему домой. Наскоро попрощавшись с дорогой мне девушкой, которой я стольким был обязан, и думая о том, какая ей грозила опасность, несмотря на твердое ее решение, и чего она в это утро избежала, я от всего сердца был благодарен невзгодам моего детства, которые привели к знакомству с мистером Микобером.

Он жил недалеко. Дверь из гостиной открывалась прямо на улицу, и когда с обычной своей стремительностью он вбежал в комнату, мы сразу очутились в лоне его семейства. Воскликнув: «Эмма, жизнь моя!» — мистер Микобер бросился в объятия миссис Микобер. Миссис Микобер вскрикнула и заключила его в объятия. Мисс Микобер, нянчившая невинного незнакомца, упомянутого в письме миссис Микобер, пришла в умиление. Незнакомец подскочил на ее руках. Близнецы выразили свой восторг несколько неуклюже, но зато простодушно. Юный мистер Микобер, чей характер был отравлен ранним разо-

чарованием и взгляд стал мрачен, уступил своим лучшим чувствам и разревелся.

— Эмма! — воскликнул мистер Микобер.— Облако, заволакивавшее мою душу, рассеялось! Взаимное доверие, которое всегда существовало между нами, восстановлено и более не нарушится. Да здравствует бедность! — прослезясь, воскликнул мистер Микобер.— Да здравствуют напасти, да здравствует бездомность, да здравствуют голод, лохмотья, непогода и нищета! Взаимное доверие поможет нам вынести все до конца!

С этими словами мистер Микобер усадил миссис Микобер в кресло и обнял по очереди всех членов семейства, приветствуя весьма мрачные перспективы (которые, на мой взгляд, едва ли стоило приветствовать) и призывая всех членов семейства выйти на улицы Кентербери и петь хором, снискивая пропитание, ибо ничего другого им делать не остается.

Но от сильного потрясения миссис Микобер лишилась чувств, и, прежде чем приступать к хоровому пению, надо было привести ее в чувство. Совместными усилиями мистера Микобера и бабушки это было достигнуто, после чего миссис Микобер познакомилась с бабушкой и узнала меня.

— Простите, дорогой Копперфилд,— сказала бедная леди, протягивая мне руку,— но у меня не очень крепкое здоровье, и когда размолвка между мистером Микобером и мной прекратилась, это оказалось не по моим силам.

— Это все ваши дети, сударыня? — спросила бабушка.

— Пока других нет,— ответила миссис Микобер.

— Господи помилуй! Я совсем не то думала, сударыня! — воскликнула бабушка.— Я хотела спросить: это все *ваши* дети?

— Совершенно неоспоримо, сударыня,— ответил мистер Микобер.

— А что вы намерены делать с этим старшим молодым джентльменом? — размышляя о чем-то, спросила бабушка.

— Когда я сюда переехал, я надеялся посвятить Уилкинса служению церкви. Если говорить точнее, я имею в виду церковный хор. Но в достославном здании, которое

является гордостью этого города, не было вакансии для тенора, и Уилкинс... короче говоря, он поет больше по трактирам, чем в священных местах.

— Но намерения у него самые лучшие,— ласково вставила миссис Микобер.

— Слов нет, моя дорогая, намерения у него превосходные,— отозвался мистер Микобер,— но пока что он никак не мог их осуществить.

К юному мистеру Микоберу вернулась прежняя его мрачность, и с некоторым раздражением он спросил, чего от него хотят. Чтобы он родился плотником, каретным мастером или, может быть, птичкой? Чтобы он открыл по соседству аптеку? Выступал бы на ближайших ассизах * как адвокат? Заставил бы себя слушать в опере и силой добился бы успеха? Делал бы решительно все, хотя его ничему не учили?

Некоторое время бабушка размышляла, потом сказала:

— А вы никогда не думали, мистер Микобер, о том, чтобы эмигрировать?

— О сударыня! — воскликнул мистер Микобер.— Это мечта моей юности и несбывшаяся надежда зрелых лет!

Бьюсь об заклад, кстати сказать, что никогда в жизни он об этом не помышлял.

— Да ну! — Тут бабушка бросила на меня взгляд.— А ведь для вас, миссис и мистер Микобер, эмиграция была бы самым подходящим делом.

— А деньги, сударыня, деньги?! — с мрачным видом поспешил вставить мистер Микобер.

— Это главное, я бы сказала — единственное, препятствие, мистер Копперфилд,— согласилась жена.

— Деньги! — воскликнула бабушка.— Но вы оказываете нам большую услугу, могу сказать — уже оказали большую услугу, так как последствия вашего вмешательства будут благотворны, и разве мы не вправе вас за это хоть отчасти отблагодарить и дать вам денег?

— Принять их как дар я не могу! — с жаром воскликнул мистер Микобер.— Но если бы я мог получить взаймы некоторую сумму, скажем из пяти процентов годовых, под личную мою ответственность, иными словами под расписку с уплатой в три срока — через двенадцать,

восемнадцать и двадцать четыре месяца,— дабы я мог дождаться, когда счастье улыбнется...

— Могли бы? Не только могли бы, но и получите на любых условиях, стоит вам сказать слово,— заявила бабушка.— Подумайте об этом вдвоем. Скоро отсюда кое-кто едет в Австралию, Дэвид об этом знает. Если вы решите ехать, почему вам не отправиться на том же корабле? В пути вы будете друг другу помогать. Подумайте об этом, миссис и мистер Микобер. Не торопитесь, всё хорошо взвесьте.

— У меня только один вопрос, сударыня: климат там здоровый? — осведомилась миссис Микобер.

— Самый лучший в мире,— ответила бабушка.

— Прекрасно. Еще один вопрос: подходящие ли в этой стране условия для того, чтобы человек, обладающий способностями мистера Микобера, мог рассчитывать на удачу при восхождении по социальной лестнице? В данный момент я не хочу сказать, что он станет добиваться губернаторского поста или чего-нибудь подобного, но возможно ли ему будет всесторонне раскрыть свои таланты и найти им применение?

— Лучшего места не найти для человека, который отличается примерным поведением и трудолюбием,— ответила бабушка.

— Для человека, который отличается примерным поведением и трудолюбием! — деловым тоном повторила миссис Микобер.— Вот именно! Теперь для меня ясно, что Австралия — подходящее поле деятельности для мистера Микобера!

— И я, сударыня, уверен, что при данных обстоятельствах эта страна — единственная, где я мог бы устроиться со своим семейством,— произнес мистер Микобер.— На ее берегах счастье улыбнется нам, как никогда! Расстояние, кстати сказать, не имеет никакого значения. Вы любезно дали нам возможность обдумать ваше великодушное предложение, но могу вас уверить,— думать тут нечего.

Забыть ли мне, как в один момент он превратился в самого жизнерадостного человека, возлагающего надежду на фортуну, или как миссис Микобер разглагольствовала о привычках кенгуру? Могу ли я представить себе уличку

Кентербери в рыночный день и не увидеть мистера Микобера, который идет вместе с нами и, обретя уже грубые повадки, всем своим видом заявляет, что здесь он временный жилец, и при этом смотрит на телят взглядом австралийского фермера?

ГЛАВА LIII

Еще один взгляд в прошлое

Снова я должен прервать свое повествование. О моя девочка-жена! В толпе образов, встающих теперь в моей памяти, возникает одна фигура, тихая, спокойная; она говорит нежно, с детской любовью: остановись, подумай обо мне, посмотри на Маленький Цветочек, приникший к земле!

И вот все тускнеет и расплывается перед моими глазами. Снова я с Дорой в нашем коттедже. Не знаю, давно ли она больна. Я так привык к ее болезни, что уже времени для меня нет. Право же, не так много прошло недель и месяцев, но тянется это долго-долго, и тяжелое это время — таким кажется оно мне.

Мне уже перестали говорить: «Подождите еще несколько дней». Я начал смутно опасаться, что, быть может, так и не засияет тот день, когда моя девочка-жена, озаренная солнечным светом, снова будет бегать со своим старым другом Джипом.

Сам Джип как будто внезапно очень постарел. Может быть, он утратил, как и его хозяйка, то, что̀ его оживляло и делало моложе. Как бы там ни было, но он хандрит, зрение ему изменяет, и лапки его слабеют, а бабушка моя горюет, что он больше не сердится на нее, но, напротив, подползает к ней, лежа на постели Доры (когда бабушка сидит у ее изголовья), и кротко лижет ей руку.

Дора лежит и улыбается нам, такая тихая, прекрасная, и с ее уст не срывается ни одного строптивого или жалобного слова. Она говорит: мы очень к ней добры, ее любимый, заботливый мальчик выбивается из сил — о, она это знает! — и бабушка не спит, и все время бодрствует у ее постели, и всегда хлопочет, и всегда так ласкова. Иной раз приходят повидать ее маленькие птички-леди, и тогда

мы болтаем о дне нашей свадьбы и о тех счастливых временах.

Какой это странный покой в моей жизни и во всем мире,— и в нашем домике, и за его стенами,— когда я сижу в тихой, затененной комнате и голубые глаза моей девочки-жены обращены на меня и маленькие ее пальчики переплетаются с моими! Много-много часов сижу я так, но ярче всего запомнились мне три момента.

Утро. Дора, принаряженная руками бабушки, просит меня поглядеть, как *все еще* красиво вьются на подушке ее прелестные волосы, какие они длинные и блестящие; ей так нравится, когда они свободно лежат в своей сетке.

— Нет, я совсем не горжусь ими, мой мальчик! — говорит она в ответ на мою улыбку.— Но ты, бывало, говорил, что они красивые, и когда я впервые стала о тебе думать, я гляделась в зеркало, и у меня мелькала мысль, не хочется ли тебе получить один из этих локонов. О, какой же ты был глупенький, Доди, когда я дала тебе мой локон!

— Это было в тот день, когда ты рисовала цветы, которые я преподнес тебе, Дора, и когда я сказал, как я в тебя влюблен.

— Ах! Но тогда мне не хотелось рассказывать тебе, как я над ними плакала, когда поверила, что ты в самом деле меня любишь! Знаешь, Доди, когда я снова смогу бегать, как раньше, давай пойдем поглядим те места, где мы были такими глупышками. Хорошо? И пройдемся по старым тропинкам. И будем вспоминать о бедном папе, правда?

— Непременно! Так и сделаем, и будут у нас еще счастливые дни. Поэтому, дорогая моя, выздоравливай поскорей.

— Ох! Это будет очень скоро. Мне уже сейчас гораздо лучше.

Вечер. Я сижу в том же кресле, у той же постели, то же лицо обращено ко мне. Мы долго молчим, но вот на ее лице появляется улыбка. Теперь я уже не ношу мою легкую ношу вверх и вниз по лестнице. Дора лежит здесь целый день.

— Доди!

— Дорогая моя Дора!

— Ты мне на днях говорил, что мистер Уикфилд не совсем здоров. Тебе не покажется глупым то, что я хочу сказать? Мне нужно повидать Агнес, мне очень нужно ее повидать.

— Я напишу ей, моя дорогая.

— Напишешь?

— Немедленно.

— Какой добрый, славный мальчик! Доди, обними меня. Нет, это не фантазия, дорогой мой. И не глупый каприз. Право же, мне очень нужно ее видеть.

— Я в этом не сомневаюсь. Достаточно будет ей об этом написать, и она непременно приедет.

— Когда ты теперь уходишь вниз, ты чувствуешь себя очень одиноким, да? — шепчет Дора, обвивая рукой мою шею.

— Может ли быть иначе, любимая, когда я не вижу тебя в твоем кресле?

— В моем кресле! — На миг она молча приникает ко мне.— И тебе в самом деле меня не хватает, Доди? — Тут она смотрит на меня со светлой улыбкой.— Меня! Бедной, легкомысленной глупышки!

— Кого же во всем мире мне может не хватать так, как не хватает тебя, моя любимая?

— О мой муж! Я так рада, и все-таки мне так грустно!

Она приникает ко мне еще ближе и обнимает обеими руками. Она смеется, всхлипывает, потом успокаивается — и вот она уже счастлива.

— Я совсем счастлива! — говорит она.— Но только напиши Агнес, как я ее люблю, и скажи, что мне очень, очень нужно ее видеть. И больше мне нечего желать.

— Кроме того, чтобы выздороветь, Дора.

— Ах, Доди! Иногда я думаю... Ты знаешь, какая я глупышка... Иногда я думаю, что этого никогда не будет.

— Не говори так, Дора. Любовь моя, не думай этого!

— Постараюсь не думать, если только смогу, Доди. Но я очень счастлива, хотя мой дорогой мальчик и чувствует себя таким одиноким перед пустым креслом своей девочки-жены.

Ночь. И снова я с ней. Приехала Агнес, провела с нами весь день и вечер. С самого утра мы все — она, бабушка и я — сидели у постели Доры. Говорили мы мало, но Дора была очень довольна и весела. Сейчас мы одни.

Знаю ли я теперь, что моя девочка-жена скоро меня покинет? Об этом мне сказали. Не сказали ничего нового, но я не уверен, что эти слова дошли до моего сознания. Принять эти слова я не могу. Не раз я уходил к себе и плакал. Я вспоминал Того, кто оплакивал расставание живых с мертвыми. Вспоминал эту благостную и трогательную историю. Пытался я смириться, найти утешение, но, надеюсь, это мне не совсем удавалось. Мысль, что конец неизбежен, просто не укладывалась в моем сознании. Я держу ее руку в своей, наши сердца слиты, я чувствую ее любовь ко мне, живую любовь. Я не могу проститься с тенью смутной надежды, что смерть ее пощадит.

— Я хочу поговорить с тобой, Доди. Я хочу тебе сказать то, о чем часто думала последнее время. Можно? — спрашивает она, ласково взглянув на меня.

— Конечно, можно, моя дорогая.

— Видишь ли, я не знаю, что́ ты об этом подумаешь или думал прежде. Может быть, ты часто об этом думал. Доди, дорогой, я была слишком молода.

Я склоняю голову к ее подушке, а она глядит мне в глаза и говорит очень нежно. И вот я начинаю понимать,— и сердце у меня сжимается,— что она говорит о себе, как об умершей.

— Боюсь, дорогой мой, я была слишком молода. Я имею в виду не только возраст, но и мой опыт, мысли и все остальное. Я была такой маленькой и глупой. Боюсь, было бы лучше, если бы мы любили друг друга только как дети, а потом забыли бы об этом. Я начинала подумывать, что не гожусь быть женой.

Я стараюсь удержаться от слез и отвечаю:

— О Дора, любимая моя! Ведь я тоже не гожусь быть мужем.

— Не знаю.— Как и в былые времена, она тряхнула локонами.— Может быть. Но если бы я годилась быть женой, я помогла бы тебе стать мужем. К тому же ты очень умный, а я всегда была глупенькой.

— Мы очень счастливы, милая моя Дора.

— Я была очень счастлива, очень. Но вот прошли бы годы, и моему дорогому мальчику наскучила бы его девочка-жена. Все меньше и меньше могла бы она быть ему спутницей. А он все больше и больше чувствовал бы, чего не хватает ему в доме. Она не могла бы измениться. Пусть лучше будет так, как оно есть.

— О Дора, любимая моя, не говори мне этого! Каждое твое слово — упрек мне.

— Ни единое словечко! — отвечает она, целуя меня.— О родной мой, разве ты его заслужил! Я слишком тебя любила, чтобы упрекать тебя. Это единственная моя заслуга, да еще то, что я была хорошенькой... как ты думал. Одиноко там внизу, Доди?

— Очень! Очень!

— Не плачь. Кресло мое там?

— На своем старом месте.

— Ох, как плачет мой бедный мальчик! Полно, полно! А теперь обещай мне вот что. Я хочу поговорить с Агнес. Когда ты спустишься вниз, передай это Агнес и пришли ее ко мне. А пока я буду говорить с ней, пусть никто сюда не приходит, даже бабушка. Мне нужно поговорить только с Агнес. Мне нужно поговорить с Агнес наедине.

Я обещаю, что Агнес немедленно придет; но я не могу покинуть ее, мне слишком тяжело.

— Я ведь сказала: пусть лучше будет так, как оно есть! — шепчет она, держа меня в своих объятьях.— О Доди! Прошло бы несколько лет, и ты не мог бы любить свою девочку-жену сильнее, чем любишь теперь. А еще через несколько лет она так надоела бы тебе и так разочаровала бы тебя, что ты стал бы ее любить все меньше и меньше. Я знаю, что была слишком молода и глупа. Нет, гораздо лучше так, как оно есть.

Я спускаюсь вниз. Агнес — в гостиной, я передаю ей просьбу Доры. Она уходит, а я остаюсь один с Джипом.

Его китайский домик стоит у камина. Он лежит в нем на фланелевой подстилке и кряхтит, пытаясь заснуть. Высоко в небе яркая, ясная луна. Я смотрю в ночь и плачу, плачу... И мое непокорное сердце очищается страданием.

Я сижу у камина и с немым раскаянием думаю о том, что втайне перечувствовал со дня нашего брака. Думаю о пустячных размолвках между мной и Дорой и ясно чувствую, что жизнь слагается из пустяков. Снова и снова из глубины памяти возникает образ прелестной девочки, какой я увидел ее впервые, озаренный нашей юной любовью, во всем очаровании, каким наделяет такая любовь. Неужели было бы лучше, если бы мы любили друг друга, как дети? Ответь, непокорное сердце!

Не знаю, долго ли тянется время. Но вот старый друг моей девочки-жены заставляет меня очнуться. Он не находит себе места, он выползает из своей пáгоды, смотрит на меня, тащится к двери, повизгивает — он хочет подняться наверх.

— Не сегодня, Джип. Не сегодня!

Очень медленно он возвращается ко мне, лижет мою руку и смотрит на меня тусклыми глазами.

— О Джип! Может быть, больше никогда!

Он ложится у моих ног, вытягивается, как будто собираясь заснуть, и, жалобно взвизгнув, умирает.

— О Агнес! Смотрите, смотрите!

...Это лицо, исполненное такой жалости и такой скорби, этот неудержимый поток слез, этот страшный немой призыв ко мне, эта рука, торжественно воздетая к небу!

— Агнес?!

Все кончено. Туман застилает мне глаза, и на время все выпадает из моей памяти.

ГЛАВА LIV

Мистер Микобер действует

Не стоит описывать мое душевное состояние под тяжестью такого горя. Мне казалось, что будущее мое наглухо замуровано, что моя жизненная энергия и силы иссякли и у меня остается только один выход — могила. Повторяю, так мне казалось, но отнюдь не в момент потрясения. К такому выводу я пришел не сразу. Если бы события, о которых я расскажу, не сгрудились вокруг и



не отвлекли меня в самом начале, а в конце не усугубили мое горе, вполне возможно (хотя мне и не верится), что я сразу впал бы в такое состояние. Но прошло какое-то время, прежде чем я сознал во всей глубине тяжесть моей потери, и пока это время длилось, мне даже чудилось, что самые острые мучения — уже позади, и я находил какое-то утешение, думая о том прекрасном и чистом, что было в этой трогательной истории, оборвавшейся навеки.

Я не могу точно припомнить, когда возникла мысль о том, чтобы я уехал за границу и восстановил бы свой душевный покой путешествием и переменой обстановки. Агнес имела такое влияние на все, что мы думали, говорили и делали в эти дни скорби, что, мне кажется, это был ее проект. Но это влияние было слишком тонким и неосязаемым, и точно я не могу ничего сказать.

Теперь мне кажется, что, когда впервые я связал ее образ с витражом в церкви, я пророчески предвидел, какую роль она сыграет в моей жизни, если в будущем меня постигнет несчастье. С того незабвенного момента, когда она предстала передо мной с воздетой к небу рукой, ее присутствие стало для меня священным в моем опустевшем доме. Когда появился ангел смерти, это на ее груди заснула с улыбкой на устах моя девочка-жена — мне об этом сказали уже потом, как только я очнулся и мог это выслушать. А когда я пришел в сознание после обморока, это она рядом со мной проливала слезы сочувствия, это ее голос шептал мне умиротворяющие слова, исполненные надежды, это ее лицо, появившееся, казалось, оттуда, с горних высот, склонилось над моим непокорным сердцем, чтобы успокоить его боль.

Но буду продолжать.

Я собрался ехать за границу. Должно быть, это было решено между нами с самого начала. Земля уже сокрыла в своих недрах все, что́ осталось от моей усопшей жены, и я ждал только, чтобы «Хипа окончательно стерли в порошок», как выражался мистер Микобер, а также отъезда эмигрантов.

По вызову Трэдлса, который был мне в моем горе самым чутким, самым верным другом, мы, то есть бабушка, Агнес и я, вернулись в Кентербери. Как было условлено, мы отправились прямо к мистеру Микоберу;

там, а также в доме мистера Уикфилда мой друг Трэдлс, с того дня как произошел «взрыв», работал не покладая рук. Когда миссис Микобер, бедняжка, увидела меня в трауре, она очень огорчилась. Сердце у миссис Микобер было очень доброе, и за все эти годы доброта его не иссякла.

— Ну что ж, миссис и мистер Микобер, скажите, вы обдумали мое предложение эмигрировать? — таково было приветствие бабушки, как только мы уселись.

— Дорогая сударыня! — отозвался мистер Микобер.— Да будет мне позволено выразить наше решение,— к которому мы, то есть миссис Микобер, ваш покорный слуга и наши дети, пришли,— прибегнув к выражению знаменитого поэта: наша лодка у причала, скоро в море кораблю! *

— Вот это хорошо! Помяните мои слова: ваше умное решение принесет вам немало добра,— сказала бабушка.

— Вы оказываете нам большую честь, сударыня,— сказал мистер Микобер, заглянув в свою записную книжку, и продолжал: — Что касается до денежного вспомоществования, которое позволило бы нашему утлому челну пуститься в океан приключений, я снова обдумал этот важный деловой вопрос и осмелился бы предложить мои собственноручные расписки, начертанные,— едва ли необходимо об этом упоминать,— на гербовой бумаге, узаконенной для подобного рода гарантий соответствующими актами парламента, на сроки в восемнадцать, двадцать четыре и тридцать месяцев. Раньше я предлагал сроки в двенадцать, восемнадцать и двадцать четыре месяца, но мне пришло в голову, что в эти сроки, необходимые для уплаты взятой нами суммы, счастье нам может еще не улыбнуться. При наступлении срока первого платежа наш урожай может быть недостаточен, или может случиться, что мы его совсем не соберем,— тут мистер Микобер обвел взглядом комнату, словно она представляла собой участок хорошо возделанной земли размером в несколько сот акров.— Не всегда можно найти рабочие руки в той части наших колониальных владений, где нам придется вести борьбу с плодороднейшей почвой.

— Пишите какие угодно условия, сэр,— сказала бабушка.

— Мы с миссис Микобер глубоко тронуты, сударыня, великой добротой наших друзей и благодетелей. Но я хочу, чтобы все было по-деловому, вполне точно. Мы открываем совершенно новую страницу нашей жизни, мы припадаем к Роднику необычайного значения, и я хочу, ради самоуважения и для назидания сыну, чтобы это соглашение было заключено, как подобает мужчинам.

Не знаю, что разумел мистер Микобер, произнося последние слова, и вообще не знаю, способен ли их понять кто бы то ни было, но, несомненно, мистер Микобер их смаковал, ибо внушительно откашлялся и повторил: «Как подобает мужчинам!»

— Я предлагаю вексель,— продолжал мистер Микобер,— весьма удобное орудие в торговом мире, каковым орудием мы обязаны первоначально евреям, которые, мне кажется, дьявольски часто пользуются и пользовались им во все времена,— предлагаю потому, что его можно передать другому лицу. Но если предпочтение отдано будет закладной или другому виду обеспечения, что ж, я буду счастлив пойти на любые подобного рода условия. Как подобает мужчинам!

Бабушка заметила, что, поскольку обе стороны не спорят об условиях, сговориться можно будет легко. Мистер Микобер был такого же мнения.

— Что касается до наших семейных приготовлений, сударыня, к встрече с судьбой, которой отныне мы себя обрекаем, прошу разрешения сообщить о них,— с гордостью сказал мистер Микобер.— Старшая моя дочь ежедневно, в пять часов утра, отправляется в соседний дом для изучения процесса, если можно так выразиться, доения коров. Моим младшим детям вменено в обязанность, насколько позволяют обстоятельства, близко наблюдать нравы свиней и кур, разводимых в беднейших кварталах этого города; выполняя это поручение, они дважды чуть-чуть не были раздавлены колесами и после таковых инцидентов их доставляли домой. Что до меня, то в течение последней недели я изучал искусство хлебопечения, а мой сын Уилкинс, вооружившись палкой, отправлялся пасти скот, когда грубые наемники, которым это было поручено, разрешали ему оказывать безвозмездно эту услугу; к сожалению, скорбя о низости нашей природы, должен ска-

зать, так бывало нечасто — обычно они с ругательствами гнали его прочь.

— Чудесно! — приободрила его бабушка.— Не сомневаюсь, миссис Микобер также очень занята.

— Дорогая сударыня! — отозвалась миссис Микобер с самым деловым видом.— Должна сознаться, что пока я не принимаю участия в занятиях, непосредственно связанных с возделыванием земли или со скотоводством, но уверена, что отдам им все свое внимание, когда мы достигнем чужих берегов. Время, которое я могу урвать от своих обязанностей по дому, я посвящаю обширной переписке с моим семейством. Потому что, мне кажется, мистер Копперфилд,— миссис Микобер назвала мое имя по старой привычке, ибо в прежнее время обращалась со своими речами ко мне,— настал час, когда прошлое надо предать забвению, а мое семейство должно протянуть руку мистеру Микоберу, и мистер Микобер должен протянуть руку моему семейству, и лев должен возлечь рядом с ягненком, и мое семейство не должно обижать мистера Микобера.

Я сказал, что вполне с этим согласен.

— По крайней мере именно так смотрю на вещи я,— продолжала миссис Микобер.— Когда я жила дома, у папы и мамы, папа обычно спрашивал при обсуждении какого-нибудь вопроса в нашем семейном кругу: «А как смотрит на вещи Эмма?» Конечно, папа был ко мне пристрастен, но все же, когда между мистером Микобером и моим семейством возникали ледяные отношения, я всегда оставалась при своем мнении. Может быть, я ошибалась, но так оно было.

— Ну, конечно, сударыня. Это вполне понятно,— сказала бабушка.

— Вот именно,— согласилась миссис Микобер.— Возможно, я теперь ошибаюсь, я вполне это допускаю, но у меня такое впечатление, что пропасть между моим семейством и мистером Микобером разверзлась потому, что мое семейство боялось, как бы мистер Микобер не попросил денежной ссуды. Мне кажется,— продолжала миссис Микобер с видом особенно проницательным,— что некоторые члены моего семейства боялись, как бы мистер Микобер не воспользовался их именами... нет, не для того, чтобы

нарекать нашим детям при крещении, а для подписания векселей, которые можно было бы учесть на бирже.

Когда миссис Микобер возвестила о своем этом открытии, вид у нее был такой прозорливый, словно никто об этом раньше и не подозревал; этот вид удивил бабушку, и она коротко заметила:

— В общем, сударыня, должно быть, вы правы.

— Теперь мистер Микобер вот-вот сбросит с себя оковы денежных затруднений, которые так долго его отягощали,— продолжала миссис Микобер,— и начнет заново свою карьеру в стране, где есть простор для развития его способностей, на мой взгляд исключительных. Способности мистера Микобера таковы, что они как раз нуждаются в просторе, и, по моему мнению, мое семейство должно взять на себя почин и отметить это событие. Мне хотелось бы, чтобы мистер Микобер и мое семейство встретилось на каком-нибудь торжественном обеде, который можно было бы устроить на средства моего семейства. Кто-нибудь из солидных членов моего семейства мог бы поднять тост за здоровье и процветание мистера Микобера, а мистер Микобер воспользовался бы удобным случаем и изложил свои взгляды.

— Позвольте мне, моя дорогая, заявить сразу, что, если я изложу свои взгляды перед таким собранием,— с горячностью сказал мистер Микобер,— это будет, возможно, им неприятно. У меня такое впечатление, что члены вашего семейства в целом — нахальные снобы, а по одиночке — отъявленные плуты.

— О нет, Микобер! — потрясая головой, сказала миссис Микобер.— Вы никогда их не понимали, а они не понимали вас.

Мистер Микобер легонько кашлянул.

— Они никогда не понимали вас, Микобер,— повторила его супруга.— Возможно, они на это не способны. В таком случае это их несчастье. Я им сочувствую в их несчастье.

— Мне очень жаль, дорогая моя Эмма,— смягчившись, сказал мистер Микобер,— что я употребил выражения, которые могут быть сочтены грубыми. Я хотел только сказать, что, уезжая за границу, я обойдусь как-нибудь и без того, чтобы ваше семейство брало на себя почин и

чествовало меня... хладнокровно выталкивая на прощанье. Я предпочел бы покинуть Англию с такой быстротой, которую сам сочту нужной, и не получать пинка от этих людей. Однако, моя дорогая, если они отзовутся на ваше сообщение, что мне кажется невероятным, судя по нашему с вами опыту, я совсем не хочу быть помехой вашему желанию.

Уладив таким образом вопрос, мистер Микобер предложил миссис Микобер руку, взглянул на книги и бумаги, нагроможденные на столе перед Трэдлсом, заявил, что они больше не станут нам мешать, и вместе с миссис Микобер церемонно покинул комнату.

— Дорогой мой Копперфилд,— сказал Трэдлс, откидываясь на спинку кресла и поглядывая на меня с таким сочувствием, что глаза его покраснели, а прическа показалась еще более нелепой,— я не прошу прощенья за то, что заведу деловой разговор. Я знаю, вас это очень интересует и, может быть, хоть немного отвлечет. Вы не слишком утомлены, мой милый?

— Я в полном порядке,— ответил я после паузы.— Но нам надо прежде всего подумать о бабушке. Вы ведь знаете, что́ она вынесла.

— Да, да... Разве это можно забыть,— поспешно согласился Трэдлс.

— Но это еще не все,— продолжал я.— В течение последних двух недель у нее были какие-то новые тревоги, и она ежедневно бывала в Лондоне. Часто она уходила рано утром, а приходила вечером. Перед этой нашей поездкой она пришла домой только в полночь. Вы знаете, как она печется о других. Она мне не говорила ни слова о том, что́ ее сокрушает.

Лицо бабушки, изборожденное глубокими морщинами, было бледно. Она сидела, не шевелясь, пока я не кончил, и тут по щекам ее потекли слезинки, и она мягко положила свою руку на мою.

— Это пустяки, Трот, пустяки. Все уже позади. Как-нибудь ты все узнаешь. А теперь, Агнес, моя дорогая, займемся нашими делами.

— Я должен воздать должное мистеру Микоберу,— начал Трэдлс.— Для собственной своей выгоды он не привык трудиться, но когда речь идет о других, он поистине

неутомим. Мне никогда не приходилось встречать подобного человека. Той работы, которую он проделал теперь, хватило бы лет на двести. Прямо поразительно, с каким жаром он трудился, как стремительно, не жалея себя, днем и ночью нырял в груды бумаг и книг! Я уже не говорю о бесчисленных письмах на мое имя, которые курсировали между этим домом и домом мистера Уикфилда, не говорю о письмах, которые он мне писал, сидя напротив меня за столом, хотя так легко было сказать устно...

— Письма! — воскликнула бабушка.— Готова поручиться, что он и во сне пишет письма!

— А какие чудеса творил мистер Дик! — продолжал Трэдлс.— Когда его освободили от наблюдения над Урией Хипом, которого он сторожил так, как я и не предполагал, он посвятил себя всего делу мистера Уикфилда. Он оказал нам огромную услугу в нашем расследовании — делал извлечения из документов, переписывал, получал все, что нам было нужно.

— Дик — человек замечательный! — воскликнула бабушка.— Я это всегда говорила. Тебе это известно, Трот.

— Я рад сообщить вам, мисс Уикфилд,— продолжал Трэдлс мягко и вместе с тем очень серьезно,— что за время вашего отсутствия состояние мистера Уикфилда значительно улучшилось. Когда он освободился от кошмара, который так долго его угнетал, и от страха, в котором жил, он стал совсем другим человеком. По временам к нему даже возвращается его прежняя исключительная способность сосредоточивать внимание и память на деловых вопросах: он помогает нам выяснить то или иное обстоятельство, и, надо прямо сказать, без него мы не раз стали бы в тупик. Но мне нужно познакомить вас поскорей с выводами; это можно сделать быстро, а то я никогда не кончу, если стану болтать обо всем, что сулит нам удачу.

Он был очаровательно простодушен, и было ясно, что говорит он все это для того, чтобы внушить нам бодрость и чтобы Агнес поверила его обнадеживающему сообщению об отце; и все же нам было очень приятно его слушать.

— Итак, поглядим! — сказал Трэдлс, взглянув на бу-

маги, разложенные на столе.— Мы подсчитали наши ресурсы и привели в порядок счета — сперва те, которые были запутаны неумышленно, а затем запутанные преднамеренно или просто фальшивые. И мы выяснили, что мистер Уикфилд может ликвидировать свою фирму, отнюдь не объявляя себя несостоятельным.

— Благодаренье богу! — взволнованно воскликнула Агнес.

— Но средства, которые ему удастся сохранить,— продолжал Трэдлс,— так незначительны — несколько сот фунтов, не больше, даже если продать дом, а его, конечно, продать необходимо,— что, мне думается, мисс Уикфилд, будет лучше, если он оставит за собой управление имуществом, которое принял на себя так давно. Теперь он избавился от затруднений, и его друзья могли бы помогать ему советами. Вы сами, мисс Уикфилд... Копперфилд... я...

— Я думала об этом, Тротвуд,— глядя на меня, сказала Агнес,— и чувствую, что делать это не нужно... Даже в том случае, если такова рекомендация друга, которому я стольким обязана...

— Я не хотел сказать, что я это рекомендую,— заметил Трэдлс.— Я просто считал правильным упомянуть об этом. Не больше.

— Я рада это слышать,— твердо сказала Агнес.— Потому что я надеюсь,— даже уверена,— что у нас нет разногласий. Дорогой мистер Трэдлс, дорогой Тротвуд, чего мне еще желать, раз мой отец спасен от такой опасности и сохранил свое доброе имя? Я всегда мечтала о том, что когда-нибудь освобожу его от работы и посвящу ему всю мою жизнь, чтобы хоть как-нибудь отплатить за любовь и заботы. В течение многих лет я только об этом и думала. Какое это будет для меня счастье освободить его от лежащих на нем обязанностей, а затем взять на себя заботу о нашем будущем!

— А вы думали, Агнес, как это сделать?

— Часто! Я не боюсь, Тротвуд. Я уверена в успехе. Уверена потому, что здесь многие меня знают и хорошо ко мне относятся. Не бойтесь за меня. Нам много не нужно. Если я смогу снять старый, милый дом и открыть школу, я принесу пользу и буду счастлива.

Ее нежный голос, взволнованный и вместе с тем спокойный, пробудил во мне воспоминание о старом, милом доме, а потом и о моем опустевшем доме, и на сердце у меня стало так тяжело, что я не мог произнести ни слова. Трэдлс сделал вид, будто роется в бумагах.

— А теперь перейдем к вашим деньгам, мисс Тротвуд,— сказал он.

— Ну, что ж! — вздохнула бабушка.— Я могу только одно сказать: если они пропали, ничего не поделаешь, я как-нибудь это вынесу, а если они не пропали, я была бы рада получить их обратно.

— Поначалу их было восемь тысяч фунтов в государственных облигациях? — спросил Трэдлс.

— Совершенно верно,— отозвалась бабушка.

— Я мог найти данные только о пяти,— смущенно сказал Трэдлс.

— ...тысячах или фунтах? — спросила бабушка с необычайным спокойствием.

— О пяти тысячах фунтов,— сказал Трэдлс.

— Да их там столько и было,— сказала бабушка.— На три тысячи фунтов я продала сама. Одну тысячу, дорогой мой Трот, я уплатила за твое обучение, а две тысячи оставила у себя. Когда я потеряла остальные деньги, я решила, что лучше об этой сумме не упоминать и хранить ее на черный день. Мне хотелось поглядеть, как ты, Трот, перенесешь это испытание. Ты его перенес достойно — стойко, самоотреченно, с верой в себя. Так же перенес его и Дик. Помолчи, а то нервы у меня немножко не в порядке!

Никто не мог бы этого предположить, видя, как она сидит совершенно прямо, скрестив руки; она удивительно владела собой.

— А теперь я счастлив вам сообщить, что мы получили назад все ваши деньги! — воскликнул Трэдлс, сияя от радости.

— Не поздравляйте, пусть никто не поздравляет! — вскричала бабушка.— Как же это произошло, сэр?

— Вы думали, что эти деньги присвоил мистер Уикфилд? — спросил Трэдлс.

— Конечно,— ответила бабушка.— И потому мне нетрудно было молчать. Агнес, не говори мне ни слова!

— А на самом деле облигации были проданы на основании полученной от вас общей доверенности. Едва ли стоит говорить, кем они были проданы и кто подписал документ. Затем этот негодяй заявил мистеру Уикфилду и сумел это доказать цифрами, что распорядился указанной суммой (получив общие указания мистера Уикфилда, как он говорил) для того, чтобы покрыть другие недостачи и скрыть затруднительное положение фирмы. А потом мистер Уикфилд, совершенно беспомощный в его руках, якобы уплачивая вам проценты на капитал, которого, как он знал, не существует, стал, несчастный, соучастником мошенничества.

— И в конце концов обвинил самого себя,— перебила бабушка,— и написал мне сумасшедшее письмо, признал себя виновным в грабеже и в неслыханных преступлениях! В ответ на это я как-то утром пришла к нему, потребовала свечу, сожгла письмо, а ему заявила, что если он когда-нибудь сможет загладить вину перед собой и передо мной, пусть это сделает, а если не сможет, пусть заботится о своих делах ради дочери... Если кто скажет мне хоть слово, я уйду!

Мы молчали. Агнес закрыла лицо руками.

— Значит, мой друг,— после паузы продолжала бабушка,— вы в самом деле заставили его вернуть деньги?

— Мистер Микобер так припер его к стене, и когда Хип опровергал одно доказательство, приводил столько новых, что тот не смог увильнуть. А самым замечательным мне кажется то, что эту сумму он украл не столько из жадности, которая, правда, у него непомерна, сколько из ненависти к Копперфилду. Он прямо так и сказал. Сказал, что готов заплатить столько же, лишь бы только навредить Копперфилду.

— Скажите пожалуйста! — Тут бабушка задумчиво нахмурила брови и взглянула на Агнес.— А что с ним сталось?

— Не знаю,— ответил Трэдлс.— Он уехал вместе с матерью, которая все время причитала, умоляла и винилась. Они уехали ночной лондонской каретой, и больше ничего я о нем не знаю. Разве только то, что, уезжая, он держал себя нагло и не скрывал свою ненависть ко мне.

Должно быть, он считал, что всем обязан мне не меньше, чем мистеру Микоберу. Это я считаю комплиментом — так я ему и объявил.

— А как вы думаете, Трэдлс, у него есть деньги? — спросил я.

— Ох, да! Думаю, что есть,— ответил Трэдлс, насупившись и покачивая головой.— Не тем, так другим способом он, конечно, прикарманил немалую толику. Но если вы проследите, Копперфилд, его путь, вы убедитесь, что деньги никогда не отвратят такого человека от зла. Он воплощенное лицемерие и к любой цели будет идти кривой дорогой. Это его единственное вознаграждение за то, что внешне он вынужден себя обуздывать. К любой цели он ползет, пресмыкаясь, и каждое препятствие кажется ему огромным. Потому он и ненавидит всякого, кто, без какого бы то ни было злого умысла, оказывается между ним и его целью. И в любой момент, даже без малейшего на то основания, может избрать еще более кривой путь. Чтобы это понять, следует только поразмыслить, как он себя здесь вел.

— Это какое-то чудовище подлости,— сказала бабушка.

— Право, не знаю,— задумчиво проговорил Трэдлс.— Многие могут стать подлецами, если только захотят.

— Ну, а теперь перейдем к мистеру Микоберу,— сказала бабушка.

— С удовольствием! — заулыбавшись, сказал Трэдлс.— Еще раз я должен сказать, что восхищаюсь мистером Микобером. Если бы не его терпение и настойчивость, нам не удалось бы сделать ничего заслуживающего внимания. А если мы представим себе, какую цену он мог бы потребовать от Урии Хипа за свое молчание, нам станет ясно, что мистер Микобер добивался только справедливости, одной справедливости.

— Совершенно верно,— сказал я.

— Сколько же мы ему предложим? — спросила бабушка.

— Ох! Прежде чем к этому перейти,— сказал Трэдлс, слегка смущенный,— должен вам сообщить, что я счел благоразумным в этой незаконной проверке сложных дел — а проверка эта совершенно незаконная с начала до

конца! — обойти два пункта, ибо не в силах был охватить всего разом, это долговые расписки, выданные Урии Хипу мистером Микобером по получении авансов...

— Ну что ж, их надо погасить,— сказала бабушка.

— Совершенно верно, но я не знаю, когда их могут подать ко взысканию, а также, где эти расписки,— вытаращив глаза, сказал Трэдлс,— и предчувствую, что мистера Микобера до его отъезда будут постоянно арестовывать или накладывать арест на его имущество.

— Тогда надо будет его каждый раз освобождать или снимать арест с имущества,— заметила бабушка.— На какую сумму они выданы?

— Мистер Микобер по всей форме заносил в книгу эти сделки — он называет это «сделками»,— смеясь, ответил Трэдлс,— и подвел общий итог: сто три фунта пять шиллингов.

— Сколько же мы ему дадим, включая эту сумму? — спросила бабушка.— Агнес, дорогая, мы поговорим с вами потом о вашей доле. Ну, сколько же мы дадим? Пятьсот фунтов?

На этот вопрос мы с Трэдлсом ответили вместе. Мы оба порекомендовали ограничиться небольшой суммой наличными и уплатой по исполнительным листам Урии Хипа, когда они поступят. Мы предложили также оплатить проезд всего семейства, экипировку и дать на дорогу сто фунтов, а с мистером Микобером заключить соглашение о возврате полученных им денег, ибо для него будет весьма полезно сознавать свою ответственность. К этому я добавил, что сообщу мистеру Пегготи, на которого можно полагаться, необходимые сведения о мистере Микобере, и что мистер Пегготи мог бы потом ему передать от нас еще сотню фунтов. Предложил я также заинтересовать мистера Микобера судьбой мистера Пегготи, сообщив ему историю последнего в тех пределах, в каких это будет сочтено разумным и целесообразным, и, таким образом, побудить их обоих помогать друг другу для их общей пользы. Все это мы обсудили, и, забегая вперед, я должен сказать, что вскоре после нашего обсуждения установились прекрасные отношения и полное согласие между теми, о ком мы говорили.

Трэдлс снова поглядел с беспокойством на бабушку,

и я напомнил ему, что он хотел коснуться еще второго, последнего, пункта.

— Прошу прощенья, Копперфилд, у вас и у вашей бабушки, если я затрону один, очень болезненный, вопрос, но, боюсь, я это должен сделать,— нерешительно сказал Трэдлс,— и о нем необходимо вам напомнить. В тот день, когда мистер Микобер выступил с памятным разоблачением, Урия Хип угрожающе намекнул на супруга вашей... бабушки.

Не изменяя позы,— она сидела все так же прямо, внешне спокойная,— бабушка кивнула головой.

— Это не просто наглость? — спросил Трэдлс.

— Нет,— сказала бабушка.

— Простите меня... Но в его власти действительно находится... подобное лицо? — спросил Трэдлс.

— Да, мой дорогой друг,— ответила бабушка.

У Трэдлса заметно вытянулось лицо, и он сказал, что не считает себя вправе касаться этой темы, что судьба этих долговых обязательств пока ему неизвестна, как и судьба расписок мистера Микобера, что Урия Хип нам неподвластен, и если он сможет причинить кому-нибудь из нас вред, то, разумеется, причинит.

Бабушка была по-прежнему спокойна; только по щекам ее текли слезинки.

— Вы совершенно правы,— сказала она.— Вы поступили разумно, упомянув об этом.

— Могу ли я или Копперфилд... что-нибудь сделать? — осторожно осведомился Трэдлс.

— Нет,— коротко ответила бабушка.— Благодарю. Это пустая угроза, дорогой Трот. Но пусть войдут мистер и миссис Микобер. А об этом со мной не говорите.

Она оправила платье и взглянула на дверь, продолжая сидеть все так же прямо.

— Простите, мистер и миссис Микобер,— сказала она, когда те появились,— что мы так долго вас задержали. Мы говорили о вашей эмиграции. И вот что мы вам предлагаем.

Она изложила им наши предложения к вящей радости всего семейства — дети также были налицо,— и немедленно в мистере Микобере с такой силой пробудилась его привычка к аккуратности на начальной стадии всех его денежных обязательств, что он с ликующим видом тотчас

побежал за гербовой бумагой для своих расписок. Но его радости суждено было тотчас же испариться, ибо минут через пять он появился в сопровождении агента шерифа и, заливаясь слезами, объявил, что все кончено. Мы были вполне подготовлены к этому событию, последовавшему в результате мер, принятых Урией Хипом, и уплатили требуемую сумму. А спустя еще минут пять мистер Микобер, сидя у стола, строчил по гербовой бумаге с таким восторгом, который появлялся на его сияющей физиономии только в подобных случаях либо во время приготовления пунша. Забавно было видеть, как он водит пером по гербовой бумаге, смакуя, точно художник, каждое прикосновение пера к бумаге, как поглядывает на нее сбоку, как заносит в записную книжку весьма для него важные даты и суммы и с каким задумчивым видом созерцает эти документы, глубоко уверенный в их огромной ценности.

— А теперь, сэр, позвольте мне вам дать совет,— сказала бабушка, молча наблюдавшая за ним.— Вам лучше навсегда бросить это занятие.

— Я бы хотел, сударыня, начертать этот торжественный обет на чистой странице будущего. Миссис Микобер да будет свидетельницей. Я верю,— продолжал торжественно мистер Микобер,— мой сын Уилкинс навсегда запомнит, что лучше ему сунуть кулак в огонь, чем прикоснуться к змеям, отравившим жизнь его несчастного родителя!

Во мгновение ока превратившись в воплощение отчаяния, глубоко потрясенный мистер Микобер поглядел на этих «змей» с мрачным отвращением (по правде сказать, недавнее восхищение ими еще не совсем погасло), сложил их пополам и сунул в карман.

На этом закончились события того вечера. Мы устали, нам было нелегко после всех душевных волнений, и мы решили вернуться в Лондон на следующий день. Было решено также, что Микоберы последуют за нами, как только продадут свои вещи старьевщику, что дела мистера Уикфилда как можно скорее будут приведены в порядок под руководством Трэдлса и что Агнес, покончив с этим, тоже приедет в Лондон. Эту ночь мы провели в старом, милом доме. Теперь, когда Урии Хипа не было, казалось,

он выздоровел после болезни. И я лежал в своей прежней комнате, словно путник, вернувшийся домой после кораблекрушения.

На следующий день мы возвратились домой — не ко мне, а к бабушке. И когда мы сидели с нею перед сном вдвоем, как в старину, она сказала:

— Трот, ты хочешь знать, что меня заботило в последнее время?

— Ну, конечно. Вы печальны, и вас гнетет какая-то тревога, причины которой я не знаю, и теперь это меня беспокоит больше чем когда-либо прежде.

— У тебя самого, мой мальчик, было достаточно горя, чтобы еще отягощать его моими маленькими невзгодами,— сказала она взволнованно.— Только потому я и скрывала их от тебя.

— Я это хорошо знаю. Но теперь расскажите мне все.

— Ты не хотел бы совершить со мной небольшую прогулку завтра утром? — спросила бабушка.

— Разумеется, хотел бы.

— Завтра в девять часов я тебе все расскажу, дорогой,— сказала она.

В девять часов утра мы уселись в маленькую карету и двинулись по направлению к Лондону. Мы долго колесили по улицам, пока не подъехали к большой больнице. Перед самым зданием стояли простые похоронные дроги. Возница узнал бабушку и, повинуясь знаку ее руки — бабушка помахала ему в окошко,— медленно двинулся. Мы последовали за ним.

— Теперь ты понял, Трот? — сказала бабушка.— Его уже нет.

— Он умер в больнице?

— Да.

Она сидела неподвижно рядом со мной; но я снова увидел на лице ее слезинки.

— Он уже был там однажды,— сказала бабушка.— Болел он долго — много лет это был совершенно разбитый человек. Когда во время последней болезни он понял, что его ожидает, он попросил послать за мной. Он был жалок. Очень жалок.

— Я знаю, бабушка, вы пошли,— сказал я.

— Да, я пошла. Я пробыла у него долго.

— Он умер вечером накануне нашей поездки в Кентербери? — спросил я.

Бабушка кивнула головой.

— Теперь ему никто не страшен. Это была пустая угроза,— сказала она.

Мы выехали за город; направлялись мы к кладбищу в Хорнси.

— Лучше ему лежать здесь, чем в городе. Он здесь родился,— сказала бабушка.

Мы вышли из кареты и пошли вслед за простым гробом в уголок кладбища, который мне хорошо запомнился; там прочитана была погребальная молитва, и тело было предано земле.

— Ровно тридцать шесть лет назад, в этот самый день, я вышла замуж. Господи, прости и помилуй нас! — сказала бабушка, когда мы шли назад к карете.

Молча мы заняли свои места, и она долго молчала, сидя рядом со мной и держа меня за руку. Но вдруг залилась слезами и воскликнула:

— Как он был красив, Трот, когда я выходила за него замуж, и как он изменился!

Но это продолжалось недолго. Слезы принесли ей облегчение, она скоро успокоилась, даже лицо ее прояснилось. Если бы не то, что нервы немного разошлись, сказала она, никогда она бы этого себе не позволила. Господи, прости и помилуй нас!

Мы вернулись в Хайгет, в ее домик, где нашли следующее письмецо мистера Микобера, прибывшее с утренней почтой:

«Кентербери, пятница.

Дорогая сударыня, а также и вы, Копперфилд!

Прекрасная страна обетованная, показавшаяся на горизонте, снова заволоклась непроницаемым туманом и исчезла навсегда из глаз несчастного, потерпевшего крушение существа, чья Судьба решена!

Другой приказ об аресте выдан (его величества верховным судом Королевской Скамьи в Вестминстере) по другому делу Хипа v.[1] Микобера, и ответчик по этому

---

[1] V. — versus *(лат.)* — против.

делу стал жертвой шерифа, обладающего законной юрисдикцией в этом судебном округе.

И день настал, и час настал.
И бой идет. Совсем близки
Эдварда гордого полки
и цепи рабства! *

Обреченный их влачить, я скоро закончу свое жизненное поприще (ибо душевные мучения выносимы до известного предела, а этого предела я достиг). Да благословит вас бог! Быть может, в будущем какой-нибудь путник из любопытства и искреннего — хочу надеяться — сочувствия посетит место заключения, отведенное для должников сего города, и задумается, увидев на стене нацарапанные ржавым гвоздем загадочные инициалы *У. М.*

P. S. Я распечатал это письмо, чтобы сообщить, что наш общий друг мистер Томас Трэдлс (он еще не покинул нас и пребывает в добром здравии) уплатил сполна всю сумму долга и издержки от имени великодушной мисс Тротвуд, и я вместе со своим семейством нахожусь на вершине земного блаженства».

ГЛАВА LV
Буря

Я подхожу к событию в моей жизни, столь неизгладимому, столь страшному, столь неразрывно связанному со всеми предшествующими событиями, что с первых страниц моего повествования, по мере приближения к нему, оно вырастает на моих глазах, становится все больше и больше, словно огромная башня на равнине, и бросает свою тень даже на дни моего детства.

Долгие годы после того, как оно произошло, я не переставал думать о нем. Впечатление было так сильно, что я вздрагивал по ночам, будто в мою тихую комнату врывались раскаты неистовой бури. До сей поры, хотя и с перерывами, я думаю о нем. Достаточно мне услышать вой штормового ветра или упоминание о морском береге —

и оно всплывает в моем сознании. Я расскажу о нем во всех подробностях, ибо отчетливо вижу его. Мне ничего не нужно вспоминать — оно и теперь повторяется перед моими глазами.

Быстро приближалось время отплытия корабля с эмигрантами, и моя старая няня (когда мы встретились, она была вне себя от горя, меня постигшего) приехала в Лондон. Я постоянно бывал с ней, с ее братом и с Микоберами (они часто проводили время вместе), но Эмили я ни разу не видел.

Однажды вечером, когда отъезд был совсем близок, я остался с Пегготи и ее братом. Говорили мы о Хэме. Она рассказывала, как нежно он с ней расстался и с каким мужественным самообладанием себя держал. В особенности в последнее время, когда, по ее словам, он перенес тяжелое испытание. Это была тема, на которую добрая женщина никогда не уставала говорить; она проводила с ним много времени, и ее рассказы о различных эпизодах их жизни мы слушали с таким же увлечением, с каким она говорила.

К тому времени мы с бабушкой уже покинули наши домики в Хайгете. Я решил уехать за границу, а она собралась возвратиться к себе домой в Дувр. Временно мы жили в районе Ковент-Гарден. И в этот вечер, когда я брел домой после нашего разговора, размышляя о своей встрече с Хэмом в мое последнее посещение Ярмута, я стал сомневаться, стоит ли откладывать передачу моего письма Эмили до прощания с ее дядей на борту корабля и не лучше ли написать ей теперь. У меня мелькнула мысль, не отправит ли она, получив мое письмецо, несколько прощальных слов своему бывшему жениху. Эту возможность я должен был ей предоставить.

И, прежде чем лечь спать, я написал ей у себя в комнате письмо. Я писал, что видел его и он поручил мне передать ей то, о чем я уже рассказал на этих страницах. Я в точности повторил его слова. Мне не было нужды ничего к ним добавлять, даже если бы я имел на это право. Ни я, ни кто-либо другой не могли бы ничем приукрасить благостные речи верности. Я распорядился послать его утром, прибавив несколько слов мистеру Пегготи и прося его передать письмецо Эмили. На заре я лег спать.

Я устал больше, чем думал, заснул только с появлением солнца на горизонте и проснулся поздно, ничуть не освеженный сном. Разбудило меня появление в моей комнате бабушки. Я почувствовал во сне, что кто-то вошел, как это нередко бывает с каждым.

— Трот, дорогой мой, я не решалась тебя будить,— сказала она, чуть только я открыл глаза.— Но пришел мистер Пегготи. Ему можно войти?

Я ответил утвердительно, и он вошел.

— Мистер Дэви,— сказал он, пожимая мне руку,— я отдал, сэр, ваше письмо Эмили; она написала вот это, просила вас прочесть, и, если вы не найдете в письме ничего дурного, поступайте, как вы считаете нужным.

— Вы читали? — спросил я.

Он печально кивнул головой. Я развернул письмо и прочел:

«Мне передали твое поручение. О, как мне тебя благодарить за твое доброе отношение ко мне!

Я спрятала письмо на груди. До самой моей смерти я буду его хранить. Твои слова — острые шипы, но вместе с тем отрада. Я молилась, читая их, о! как я молилась! Когда я вижу, какой ты человек и какой человек мой дядя, я понимаю, каким должен быть господь, и у меня хватает духу обращаться к нему со слезами.

Прощай навсегда. Прощай навсегда, мой дорогой друг, мы не увидимся на этом свете. А на том свете, если мне даровано будет прощение, я встану ото сна, может быть ребенком, и тогда приду к тебе. Благодарю тебя и благословляю. Прощай навсегда».

Таково было это письмо, закапанное слезами.

— Могу я ей сказать, что вы не находите в письме ничего дурного и поступите с ним, как считаете нужным? — сказал мистер Пегготи, когда я прочел письмо.

— Несомненно... но я подумывал...

— Что вы думали, мистер Дэви?

— Я подумывал еще раз поехать в Ярмут,— сказал я.— Еще есть время, и я смогу вернуться до отплытия корабля. У меня из головы не выходит Хэм, я не могу забыть, как он одинок. Для них обоих будет благодеянием,

если я передам ему письмо Эмили, а вы скажете ей, в момент отплытия, что он получил его. Я торжественно взял на себя это поручение и должен его выполнить до конца. Поездка меня не затруднит. Я не нахожу покоя, мне лучше поехать. Вечером я уже буду в пути.

Хотя он пытался меня отговорить, но я видел, что он со мной согласен, и согласие его могло бы еще более укрепить мое решение, если бы я в этом нуждался. По моей просьбе он отправился в контору пассажирских карет заказать для меня место на козлах. Вечером я отправился в карете той самой дорогой, которой столько раз ездил в моей, столь превратной, жизни.

— Какое странное небо... Не правда ли? — спросил я кучера на первой остановке.— Я никогда такого не видел.

— Да и я тоже,— ответил он.— Это ветер, сэр. Боюсь, не было бы беды на море.

Плывущие сумрачные облака, испещренные пятнами, похожими по цвету на дым от сырых дров, громоздились одно на другое, образуя гигантские кучи, и так высоко вздымались облака, что глубочайшие пропасти на земле не могли бы дать об этой высоте никакого представления, а обезумевшая луна ныряла в них отчаянно и стремительно, словно потеряла направление от такого попрания законов природы и была охвачена ужасом. Весь день дул ветер; усиливаясь, он выл все громче. Прошел час, он еще больше окреп, вой нарастал, а небо еще больше потемнело.

Приближалась ночь, облака сгустились, раскинувшись по всему небу, теперь уже совсем черному, а ветер все крепчал. Наши лошади еле-еле двигались против ветра. Не раз в ночной тьме (был конец сентября, и ночи были уже длинные) передняя пара сворачивала в сторону или останавливалась как вкопанная, а мы всерьез опасались, что карета опрокинется. Дождевые потоки, опередившие бурю, низвергались, как стальной ливень, и если встречалось какое-нибудь прикрытие, вроде деревьев или стены, мы останавливались, не имея никакой возможности продолжать борьбу.

На рассвете ветер бушевал еще яростней. Я бывал в Ярмуте, когда он, по словам тамошних рыбаков, «бил, как

пушка», но такого грохота я никогда не слышал. Мы добрались до Ипсвича с большим опозданием — почти от самого Лондона нам приходилось брать с боем каждый дюйм,— и на рыночной площади нашли массу людей, которые ночью покинули свои постели, испугавшись, как бы не обрушились печные трубы. Пока мы меняли лошадей, кое-кто из собравшихся на постоялом дворе рассказал нам, что с высокой колокольни ветер сорвал большие свинцовые листы, загородившие соседнюю улицу. Другие сообщили, что жители окрестных селений видели огромные деревья, вырванные с корнем, и целые скирды сена, развеянные по полям и дорогам. А буря нисколько не утихала, она бушевала все неистовей.

Мы еле-еле подвигались к морю, и сила ветра, дувшего оттуда, становилась все более чудовищной. Моря мы еще не видели, но брызги его ощущали на губах, и соленый дождь обрушивался на нас. На много миль вокруг вода залила равнину, примыкавшую к Ярмуту. Каждая лужа, каждый водоем выхлестнули из берегов и с яростью бурунов устремились навстречу нам. Когда вдали показалось море, валы на горизонте, внезапно вздымавшиеся над бурлящей пучиной, походили на другой берег с башнями и домами. А когда, наконец, мы въехали в город, жители выглядывали из домов простоволосые, с искаженными лицами, чтобы взглянуть на почтовую карету, которая прибыла в такую ночь.

Я остановился в знакомой гостинице и пошел поглядеть на море. Пошатываясь, я с трудом шел по улицам, усыпанным песком и устланным морской травой; в воздухе летали клочья пены; я все время ждал, что на мою голову вот-вот упадет с крыши черепица или шифер, и то и дело сталкивался на перекрестках с прохожими. У берега были не только рыбаки — половина населения Ярмута сгрудилась там, хоронясь за дома; то один, то другой житель, бросая вызов ярости бури, выходил из-за прикрытия, чтобы бросить взгляд на море, но его сносило ветром, и он с трудом, петляя, возвращался назад.

Я добрался до этих людей. Рыдали женщины, чьи мужья ушли в море за сельдью или за устрицами и, должно быть, погибли, прежде чем успели где-нибудь укрыться. Седые старые моряки, поглядывая то на море,

то на небо, качали головами и перешептывались; волновались судовладельцы; дети жались друг к другу, и даже отважные мореходы, охваченные сильнейшей тревогой, направляли из-за прикрытия подзорные трубы на море, словно обозревая врага.

Море меня потрясло, когда, улучив момент, я вгляделся в него,— оно бушевало, с громовыми раскатами вздымая тучи песку и камней. Катились и катились гигантские валы и, достигнув предельной высоты, рушились с такой силой, что казалось, прибой поглотит город. С чудовищным ревом отпрядывали волны, вырывая в береге глубокие пещеры, словно для того, чтобы взорвать сушу. Когда увенчанный белым гребнем вал, не дойдя до берега, с грохотом рассыпался, каждая волна, обуянная той же яростью, рвалась вперед, чтобы слиться с другими в новом чудовищном валу. Превращались в долины сотрясенные горы, сотрясенные долины вздымались на высоту гор, меж которых вдруг взмывала одинокая птица; с раскатистым воем били в берег огромные массы воды, поднимаясь и сникая, бурлили, крутились и вскипали все новые и новые гряды волн, меняя форму, меняя место, чтобы уйти снова и снова вернуться; вырастал и погибал призрачный город на горизонте с его домами и башнями, низко плыли непроницаемые облака, и казалось мне, я вижу перед собой возникновение и распад вселенной.

Я не нашел Хэма среди тех, кого собрал на берегу этот памятный ураган,— в том краю никогда не бывало урагана такой силы. И я пошел к дому Хэма. Дом был заперт, никто не откликнулся на мой стук, и переулками я прошел на верфь, где он работал. Там я узнал, что он был неожиданно вызван в Лоустофт для ремонта судов, в котором был очень искусен, и что вернется он завтра рано утром.

Я возвратился в гостиницу, умылся, переоделся и попытался заснуть, но это мне не удалось; было часов пять дня. Я сел у камина в зале; не прошло и пяти минут, как появился слуга, якобы для того, чтобы навести порядок, и сообщил, что в нескольких милях отсюда пошли ко дну со всей командой два угольщика, а несколько других судов видны в ярмутской гавани — они терпят бедствие и напрягают все силы, чтобы их не выбросило на берег.

— Да поможет им господь! — сказал он.— И всем бедным морякам. Что-то будет, если нас ожидает еще такая ночь, как прошлая!

Я был очень подавлен и опечален, и тревога моя, что Хэма нет, была не совсем мне понятна. Я не отдавал себе отчета в том, как сильно взволнован происшедшим, а длительное пребывание на бешеном ветру ошеломило меня. Необъяснимая сумятица была у меня в мыслях, я потерял ясное представление о времени и пространстве. Если бы, скажем, я вышел в город, меня не удивила бы встреча с человеком, который в это время должен был находиться в Лондоне. Я был как-то странно рассеян. Но вместе с тем весьма сосредоточен, и в моем сознании отчетливо и ясно возникали все связанные с этим местом воспоминания.

Когда в таком состоянии я услышал зловещее сообщение слуги о судах, терпящих бедствие, это сообщение, помимо моей воли, немедленно ассоциировалось с беспокойством о Хэме. Почему-то мне казалось, что он возвращается из Лоустофта морем и может погибнуть. Это опасение было столь сильно, что я тут же, не пообедав, решил отправиться на верфь и узнать у мастера, не собирался ли Хэм вернуться назад морем. Если у мастера будет на этот счет хотя бы малейшая неуверенность, я решил тотчас же ехать в Лоустофт и привезти Хэма.

Быстро заказав обед, я пошел на верфь. Я не опоздал — мастер с фонарем в руке запирал ворота. Когда я задал ему мой вопрос, он рассмеялся и сказал, что бояться нет ни малейших оснований: не только человек в здравом уме, но и безумец не отправится морем в такую бурю, а тем более Хэм Пегготи, который рыбачил с детства.

В сущности, я и сам так думал, хотя и не мог удержаться, чтобы не пойти на верфь; смущенный, я вернулся в гостиницу. Казалось, ветер еще усилился, если только это было возможно! Еще страшнее, чем утром, ревел он и выл, еще страшнее, чем утром, хлопали двери и окна домов, гудели печные трубы, сотрясался дом и грохотало море. Но теперь вокруг была тьма, и от этого буря стала еще ужаснее.

Я не мог есть, не мог даже сидеть спокойно, не мог ни на чем сосредоточиться. Что-то в моем сознании, созвучное буре, проникло до самых глубин воспоминаний и их потрясло. И все же в этой сумятице мыслей, взбаламученных, как грозное море, на первом плане были буря и тревога о Хэме.

К обеду я почти не притронулся и попытался подбодрить себя рюмкой вина. Но это не помогло. Сидя перед камином, я впал в дремотное состояние, но по-прежнему отчетливо слышал грохот и сознавал, где я нахожусь. Затем какой-то смутный ужас заслонил от меня решительно все, а когда я пришел в себя — вернее, когда я очнулся от летаргии, приковавшей меня к креслу,— я весь дрожал от беспредметного, необъяснимого страха.

Я ходил по комнате, пытался читать старую газету, прислушивался к звукам, которые рвались снаружи, вглядывался в лица, фигуры и целые сцены, возникавшие в огне камина. Наконец тиканье стенных часов так меня измучило, что я решил идти спать.

Мне сообщили,— и это меня как-то успокоило,— что несколько слуг в гостинице вызвались бодрствовать до утра. Разбитый, с тяжелой головой, я лег в постель. Но едва я улегся, это состояние исчезло, как по волшебству: я словно очнулся, все чувства мои были обострены.

В течение нескольких часов я слушал рев ветра и моря. Казалось мне, с моря доносятся голоса, бухает сигнальная пушка, рушатся в городке дома. Не раз я вставал и подходил к окну, но видел в стекле только слабое отражение зажженной мною свечи да свое собственное мрачное лицо, выступавшее из мрака.

В конце концов моя тревога стала до того невыносимой, что я быстро оделся и спустился вниз. В просторной кухне, где я смутно разглядел свисающие с балок связки лука и свиную грудинку, оставшиеся дежурить слуги сидели в разных позах вокруг стола, отодвинутого от большого очага поближе к двери. Хорошенькая служанка, закутавшая передником уши, не отрывала взгляда от двери и вдруг завизжала, должно быть приняв меня за привидение; но другие не потеряли присутствия духа и с удовольствием приняли меня в свою компанию. Один из них, возвращаясь к теме их беседы, спросил меня, не кажется ли

мне, что души матросов с затонувшего угольщика еще носятся здесь вместе с ветром.

Я просидел в кухне часа два. Один раз я открыл ворота и взглянул на опустевшую улицу. Мгновенно в отверстие проникло столько песку и водорослей, что мне пришлось позвать на помощь, чтобы снова прикрыть ворота и наглухо их укрепить.

Мрачно было в моей пустой комнате, когда я вернулся назад, но теперь я был утомлен и, снова улегшись в постель, погрузился в глубокий сон, словно упал с башни в какую-то пропасть. Помнится, и во сне я слышал вой ветра, хотя снились мне совсем другие сны и находился я невесть где. Однако в конце концов чувство реальности исчезло, и с двумя близкими друзьями,— но кто они, я не имел никакого понятия,— я участвовал в осаде какого-то города под гул канонады.

Канонада была так сильна, что я никак не мог расслышать какие-то звуки, которые мне очень хотелось разобрать, пока я не сделал отчаянного усилия и не проснулся. Был уже день — часов восемь-девять утра. Это грохотала буря, а не пушки. И кто-то стучал в мою дверь и окликал меня.

— В чем дело? — крикнул я.

— Судно несет на берег!

Я соскочил с постели и спросил, какое судно.

— Шхуна из Испании или Португалии с грузом фруктов и вина. Поторопитесь, сэр, если хотите на него взглянуть. Каждую минуту его может разбить о берег.

Взволнованный голос слышался уже с лестницы. Я мигом оделся и выбежал на улицу.

Немало людей опередили меня, все они бежали к берегу. Я побежал в том же направлении и, обогнав многих, скоро достиг разъяренного моря.

Быть может, ураган чуть-чуть утих, хотя это было заметно не больше, чем если бы из сотен пушек, грохот которых мне снился, замолчали один-два десятка. Но море, бушевавшее еще одну ночь, было неизмеримо страшнее, чем тогда, когда я видел его в прошлый раз. Казалось, будто оно чудовищно *разбухло,* неимоверной высоты валы вскидывались, перекатывались друг через друга без конца

и без края, как неисчислимая рать, наступали на берег и рушились со страшной силой.

Я бежал против ветра и чуть не задохся, пытаясь удержаться на ногах, а тут еще неописуемое возбуждение толпы так меня ошеломило, что я ничего не мог расслышать, кроме воя ветра и рева волн, и ничего не мог разглядеть, кроме пенящихся валов. Полуодетый рыбак, оказавшийся рядом со мной, вытянул влево голую руку (татуированная на ней стрела также указывала влево). И тут, боже милосердный, я увидел шхуну совсем близко от нас!

Одна мачта, переломившись футах в шести—восьми от палубы, свисала за борт, опутанная снастями и парусами, и неустанно, с невероятной силой долбила в борт, словно пытаясь его расколоть. Но и теперь команда делала отчаянные усилия, чтобы сбросить ее в воду. Подхваченное водоворотом судно повернулось палубой к нам, и я увидел матросов с топорами; особенно ясно выделялся среди них какой-то длинноволосый человек. Но в этот миг стон пронесся по берегу — вопль, покрывший даже рев ветра и моря. Водяной вал обрушился на крутящуюся шхуну, пробил ее, и вспененные волны подхватили, как игрушку, людей, брусья, бочки, доски, фальшборт...

Вторая мачта, запутавшись в лохмотьях парусов и в рваных снастях, еще держалась. Шхуна треснула — об этом крикнул мне в ухо все тот же рыбак. Ее подняло, и снова раздался треск. И тот же голос мне возвестил, что она разломилась пополам,— я этого ждал, ибо ни одно творение рук человеческих не могло выдержать таких ударов. И снова пронесся по берегу вопль — вопль сострадания. Еще раз взметнулась из пучины шхуна, а на ней, вцепившись в снасти еще державшейся мачты, взметнулись четверо людей, и среди них — и над ними — тот, длинноволосый.

На борту был колокол. Судно сотрясалось и вертелось, как объятое безумием живое существо; то открывалась нам палуба, когда судно ложилось на бок, наклоняясь к берегу, то открывался киль, когда оно подскакивало и наклонялось в противоположную сторону,— а колокол все звонил. Ветер доносил к нам этот звон, похоронный звон по несчастным. Вдруг оно исчезло. И снова

вынырнуло. Двух моряков уже не было. Те, кто это видел с берега, страдали несказанно. Вздыхали и сжимали руки мужчины, вопили и отворачивали лица женщины. Кое-кто метался по берегу и взывал о помощи, но чем можно было помочь! Метался по берегу и я сам, умоляя знакомых рыбаков прийти на помощь двум несчастным, не дать им погибнуть у нас на глазах.

С час назад был снаряжен спасательный бот, но попытка подойти к судну не удалась, волнуясь, ответили рыбаки, и это дошло до моего сознания, хотя я плохо понимал даже то, что мог услышать. И нет на свете такого отчаянного смельчака, говорили они, который бы вызвался, обвязавшись веревкой, броситься вплавь. Значит, ничего нельзя поделать. Вдруг я заметил какое-то новое движение среди людей, толпившихся на берегу. Я увидел, как они расступились, и показался Хэм.

Я рванулся к нему — кажется, для того, чтобы и его умолять о помощи. Но хотя я и потерял голову от страшного, незнакомого мне доселе зрелища, выражение его лица и его взгляд, устремленный на море,— удивительно похожий на тот взгляд, каким он смотрел на море в первое утро после бегства Эмили! — мгновенно заставили меня вспомнить об опасности, которая ему угрожает. Я вцепился в него обеими руками, я умолял мужчин, с которыми только что говорил, не слушать его, я закричал, что это будет самоубийство, что они должны помешать ему, что он не смеет покидать отмель...

И снова раздался вопль на берегу. На обломке судна парус, нанося удар за ударом, сбил, наконец, того несчастного, который находился ниже. И, торжествуя, взвился к последнему, который остался один на мачте.

Это зрелище, а также спокойное бесстрашие Хэма, привыкшего вести за собой большую часть присутствовавших здесь людей, убедили меня, что я с таким же успехом могу умолять бурю.

— Мистер Дэви,— сказал он, ласково отодвигая меня,— если мой час пробил — ну, что ж, пусть будет так, а если нет — я не погибну. Да поможет вам бог! И вам, друзья! Приготовьте всё. Я иду!

Меня осторожно оттеснили; ошеломленный, я смутно сознавал, что все равно он бросится на помощь, а я лишь

усугублю грозящую ему опасность, если буду тревожить тех, кто занимается необходимыми приготовлениями. Не помню, что отвечал я и что говорили они. Помню только, как люди засуетились на берегу, как бежали они с веревками от находившегося неподалеку кабестана, как заслонили от меня Хэма... Потом я увидел его — он стоял один, отдельно от всех, на нем была куртка и штаны рыбака, одна веревка обвивалась вокруг кисти руки, другая вокруг пояса; эту веревку держали самые сильные рыбаки, она тянулась по песку у его ног.

А разбитое судно распадалось на части; чтобы это понять, не надо было быть моряком. Оно раскололось посредине, и я видел, что жизнь несчастного, прильнувшего к мачте, висит на волоске. Но он еще держался. На нем была красная шапка, более яркая, чем у моряков; у его ног трещали и ломались доски, отделявшие его от гибели; предвещая ее, звучал похоронный звон, и вот тут — мы все это видели — он сорвал с головы шапку и помахал нам... Мне показалось, что я схожу с ума: этот жест мгновенно вызвал в моей памяти образ друга, которого когда-то я так сильно любил.

А Хэм пристально смотрел на море, он стоял отдельно от всех, за его спиной люди затаили дыхание, перед ним бушевала буря... И в тот самый миг, когда откатился от берега огромный вал, он сделал знак тем, кто держал конец веревки, обвязанной вокруг его пояса, ринулся вперед и был подхвачен волной... Он взлетал на горы, падал в долины, исчезал в пенистых гребнях, его отшвырнуло назад. Мгновенно его подтянули к берегу.

Он был ранен. Оттуда, где я стоял, мне видна была кровь на его лице, но он не обращал на это внимания. По его торопливому жесту я понял, что он дает указание отпустить веревку побольше. И снова бросился в пучину.

Он приближался к разбитому судну, снова взлетая на горы, падая в долины, исчезая в бурлящей пене; он отчаянно боролся, пробиваясь вперед. Расстояние было невелико, но так страшны были удары волн и ветра, что борьба была смертельна. Все-таки он почти достиг цели. Еще один могучий рывок — и он мог бы уцепиться за мачту, и вдруг... вдруг из-за судна поднялась гигантская

зеленая стена воды... Казалось, он с размаху ударился об нее. И в этот момент судна не стало.

Только жалкие обломки,— словно это была не шхуна, а бочка,— кружились, исчезая в водовороте. От ужаса все оцепенели. Его подтянули к самым моим ногам. Он был недвижим... Он был мертв. Отнесли его в ближайший домик. Там я вместе с другими делал все, чтобы вернуть его к жизни. Но он был убит наповал ударом гигантской волны, и благородное его сердце остановилось навсегда.

Когда мы потеряли всякую надежду и все было кончено, я остался сидеть у кровати, где он лежал. Вдруг меня кто-то тихо окликнул у двери. Это был рыбак, он знал меня и Эмили в пору нашего детства.

— Сэр, вы можете выйти на минутку? — спросил он, и слезы текли по его обветренному лицу, а пепельно-бледные губы дрожали.

Его взгляд снова пробудил во мне те же старые воспоминания. Пораженный ужасом, я оперся на его руку, которую он протянул, чтобы поддержать меня, и спросил:

— Тело на берегу?

— Да,— ответил он.

— Я знаю этого человека?

Он ничего не ответил.

И повел меня к берегу.

Там, где мы детьми искали ракушки, там, где ветер разметал обломки разбитого этой ночью старого баркаса, среди руин дома, им оскорбленного, лежал на берегу он, в той позе, какую я часто видел когда-то в школе,— подложив руку под голову.

ГЛАВА LVI

Новая рана и старая

Вы могли мне не говорить, Стирфорт, во время последней нашей встречи, в тот час, когда я не подозревал, что это час нашего расставанья, вы могли мне не говорить: «Вспоминайте только самое хорошее, что есть во мне». Так я поступал всегда. И мне ли меняться теперь, когда я снова вас увидел?

Принесли носилки, уложили его на них, покрыли флагом, подняли и понесли к поселку. Все те, кто нес его, хорошо его знали, бывали с ним в море, видели его веселым и отважным. Они несли его в безмолвии сквозь грохот и рев до того домика, где уже воцарилась Смерть.

Но, опустив носилки на порог, они переглянулись, посмотрели на меня и зашептались. Я понял. Они чувствовали, что его не следует класть в той же тихой комнате.

Мы двинулись в город и отнесли ношу в гостиницу. Как только я пришел в себя, я послал за Джоремом и попросил достать какой-нибудь экипаж, чтобы перевезти в ту же ночь тело в Лондон. Забота о нем и тяжелая обязанность приготовить мать к встрече лежали только на мне. И я хотел честно исполнить свой долг.

Я выбрал ночь, полагая, что в поздний час мой отъезд привлечет меньше любопытных. Но хотя было уже около полуночи, когда я выехал из гостиницы в карете, за которой следовал тот, кто находился на моем попечении, собралось много народу. Люди были и на улицах и даже на дороге за городом, но вот, наконец, лишь пустынная местность простирается вокруг и холодная ночь окутывает меня и останки моей юношеской дружбы.

Около полудня, в ясный осенний день, когда земля была усыпана сухими листьями, а на деревьях их было еще больше,— желтых, коричневых и красных,— я прибыл в Хайгет. Последнюю милю я шел пешком, обдумывая, как быть, а вознице, который всю ночь следовал за мной с повозкой, приказал ждать, пока я не дам распоряжения подъехать.

Дом, куда я направлялся, был все тот же; он нисколько не изменился. Так же опущены были в окнах шторы, так же не было признаков жизни во дворе, и та же галерея вела ко входу, которым никто не пользовался. День был безветренный, все замерло.

У меня не хватило самообладания позвонить у калитки сразу; когда же я все-таки позвонил, мне показалось, что колокольчик возвещает о том, какую я принес весть. Появилась с ключом в руке маленькая горничная и, открыв калитку, пристально на меня посмотрела и сказала:

— Простите, сэр. Вы больны?

— У меня было много тревог, и я очень утомлен.

— Что-нибудь случилось, сэр?.. Мистер Джеймс?..

— Тсс!.. Да, случилось. Я скажу об этом миссис Стирфорт. Она дома?

Встревоженная девушка ответила, что теперь ее хозяйка очень редко выезжает из дому, почти не выходит из своей комнаты, никого не принимает, но меня примет. Сейчас она наверху вместе с мисс Дартл. Что им передать?

Я попросил ее сохранять полное спокойствие, отнести мою карточку и сказать, что я ожидаю внизу; мы были уже в гостиной, и там я остался ждать ее возвращения. Комната казалась нежилой, ставни были полузакрыты. Очень давно никто не прикасался к арфе. На стене висел портрет Стирфорта, когда он был ребенком. Стоял шкафчик, в котором мать хранила его письма. Перечитывала ли она их? И будет ли она их перечитывать?

В доме было так тихо, что я услышал легкие шаги девушки, спускавшейся вниз по лестнице. Она появилась и сообщила, что миссис Стирфорт больна и просит меня извинить ее, так как сойти вниз не может, но, если я пожалую в ее комнату, она будет рада меня видеть. Через несколько мгновений я стоял перед ней.

Находилась она не у себя в комнате, а в той, где раньше жил он. Я понял, что она заняла эту комнату в память о нем, и потому-то оставила на прежних местах все вещи, которые в былые времена нужны ему были в его занятиях и забавах. Однако, здороваясь со мной, она пробормотала, что покинула свою комнату, так как та была ей неудобна в ее болезненном состоянии.

Подле нее, как обычно, была Роза Дартл. По ее темным глазам, остановившимся на мне, я сразу понял — она догадалась, что я принес дурные вести. Мгновенно на ее лице выделился шрам. Она отступила за спинку кресла, чтобы миссис Стирфорт не видела ее лица, и впилась в меня пронизывающим взглядом, который потом уже не отводила.

— Мне грустно, сэр, видеть вас в трауре,— сказала миссис Стирфорт.

— Я имел несчастье потерять жену.

— Вы слишком молоды и уже понесли такую утрату,— отозвалась она.— Я очень огорчена, очень огорчена. Будем надеяться, Время вас исцелит.

— Будем надеяться, Время исцелит всех нас,— сказал я, глядя на нее.— Все мы должны в это верить, дорогая миссис Стирфорт, даже тогда, когда на нас обрушивается тяжелое горе.

Серьезный мой тон и навернувшиеся на глаза слезы встревожили ее. Мне кажется, ее мысли вдруг переменили направление.

Тихо произнося имя Стирфорта, я пытался управлять своим голосом, но он дрогнул. Она повторила это имя шепотом раза два, потом с деланным спокойствием спросила:

— Мой сын болен?

— Очень болен.

— Вы его видели?

— Видел.

— Вы помирились?

Я не мог сказать ни да, ни нет. Она медленно повернула голову туда, где раньше, сбоку от нее, стояла Роза Дартл, и в этот самый миг я беззвучно, только движением губ, сказал Розе: «Умер».

Боясь, что миссис Стирфорт обернется назад и на лице Розы прочтет известие, к которому не была подготовлена, я перехватил взгляд Розы, но та, в отчаянии и ужасе, вскинула руки, а потом закрыла ими лицо.

Мать — как она была красива и как похожа на него! — пристально на меня посмотрела и провела рукой по лбу. Я сказал умоляюще, что прошу ее мужественно встретить известие, которое я принес. Пожалуй, мне следовало бы ее просить, чтобы она заплакала, ибо она застыла как каменная.

— Когда я был здесь в последний раз,— запинаясь, сказал я,— мисс Дартл сказала, что он плавает под парусами. Прошлая ночь на море была ужасна. Если правда, что он в эту ночь был в море вблизи от опасного берега и если корабль, который видели, был тем самым...

— Роза, подойдите,— прошептала миссис Стирфорт.

Та подошла, но не было в ней ни кротости, ни сочувствия. Глаза ее сверкали, когда она, стоя лицом к лицу с его матерью, вдруг разразилась ужасным смехом.

— Ну что ж, теперь вы утолили вашу гордость, безумная женщина? — сказала она.— Теперь, когда он искупил... своей жизнью? Вы слышите?.. Своей жизнью!

Миссис Стирфорт тяжело откинулась на спинку кресла, застонала и уставилась на нее каким-то диким взглядом.

— Поглядите на меня! — вскричала Роза, ударив себя в грудь.— Можете стонать и вздыхать, но глядите на меня! Поглядите вот на это! — Она ткнула пальцем в шрам.— Смотрите на дело рук вашего умершего сына!

Прерывистые стоны матери проникли в глубину моего сердца. Они были все те же — придушенные, нечленораздельные. Все так же медленно качалась голова и недвижно было лицо. Все так же был сжат рот и стиснуты зубы, словно челюсти были заперты на замок, а лицо застыло от боли.

— Вы помните, когда он это сделал? — продолжала Роза.— Он получил в наследство вашу натуру, вы лелеяли его гордость и страстность, и вы помните день, когда он меня обезобразил на всю жизнь? Смотрите на меня, я унесу с собой в могилу знаки его высокомерия и немилости! А вы стенайте о том, что́ вы из него сотворили!

— Мисс Дартл! — перебил я.— Ради бога...

— Нет! Я хочу говорить! — Глаза ее сверкнули.— Молчите, вы! А вы, гордая мать гордого, коварного сына, смотрите на меня! Стенайте о том, как вы его воспитали, стенайте о том, как вы испортили его, стенайте о своей утрате, стенайте обо мне!

Она судорожно сжала руки, дрожа всем своим хрупким телом, словно страсть медленно ее убивала.

— Это *вы*-то боролись с его своеволием! — воскликнула она.— Это *вас* оскорбляло его высокомерие! *Вы,* поседев, восстали против этих качеств, хотя сами привили ему их с детских его лет! *Вы* растили его с колыбели таким, каким он стал, и задушили в нем того, каким он мог бы стать. Ну, что ж! *Теперь* вы вознаграждены за свой труд в течение стольких лет?

— Как вам не стыдно! Какая жестокость, мисс Дартл!

— Я вам уже сказала, что *хочу* говорить с ней! — вскричала она.— Никакая сила не заставит меня молчать, пока я здесь! Все эти годы я молчала — так неужели я не выскажусь хотя бы теперь?! Я любила его больше, чем вы! — Она с яростью посмотрела на мать.— Я могла бы его любить, не требуя ничего взамен. Если бы я стала его женой, я была бы рабой всех его капризов за одно

только слово любви в год! Я знаю, это было бы так. Кому же знать, как не мне? Вы были требовательны, горды, мелочны, эгоистичны! А моя любовь была бы самоотречением... Я растоптала бы ваше жалкое хныканье!

Глаза ее сверкали, она топнула ногой, словно приводила свои слова в исполнение.

— Смотрите! — Тут она снова ткнула пальцем в свой шрам.— Когда он вырос и понял, что сделал, он раскаялся! Я могла петь для него, говорить с ним, проявлять горячий интерес к тому, что он делает, я добилась того, что узнала, как ему можно понравиться... И я понравилась ему. Когда он был еще юным и правдивым, он меня полюбил. Да, полюбил! Сколько раз, когда вы отталкивали его каким-нибудь пренебрежительным словом, он прижимал *меня* к своему сердцу!

В припадке умоисступления,— а это был настоящий припадок,— она говорила с вызывающей гордостью, но на миг воспоминания раздули тлеющую искру теплого чувства.

— А потом я унизилась... Я должна была это предвидеть, если бы меня не ослепил его мальчишеский пыл... Я унизилась до того, что стала забавой для него в часы досуга, его куклой, которую он мог взять или отшвырнуть, когда ему вздумается. Когда я ему наскучила, он тоже наскучил мне. Увлечение его прошло, но я не пыталась восстановить свою власть над ним, как не пыталась бы выйти за него замуж, если бы его к этому принуждали. Мы разошлись без объяснений. Может быть, вы это видели, но не очень огорчились. А с той поры я была для вас обоих только предметом домашней обстановки, у которого нет ни глаз, ни ушей, ни чувств, ни воспоминаний. Стенайте! Стенайте о том, что́ вы сотворили из него! Но не о вашей любви. Я говорю вам: было время, когда я любила его так, как вы никогда не любили!

Она с бешенством впилась взглядом в застывшее лицо и в неподвижные глаза. И стон, который послышался снова, нимало ее не тронул, словно перед ней был не живой человек, а изваяние.

— Мисс Дартл! — вмешался я.— Разве можно быть такой жестокой! Пожалейте несчастную мать...

— А кто пожалел меня? — перебила она.— Она это посеяла. Пусть стонет — пришла пора жатвы.

— И если недостатки ее сына...— начал было я.

— Недостатки? — вскричала она, разражаясь рыданиями.— Кто смеет хулить его? Он в миллион раз достойней своих друзей, до которых снисходил!

— Никто не любил его больше, чем я, никто не сохранил о нем таких дорогих воспоминаний! — воскликнул я.— Но я хотел только сказать: если у вас нет сострадания к его матери и если его недостатки... а вы говорили о них со злобой...

— Ложь! — вскричала она и начала рвать на себе волосы.— Я его любила!

— ...если его недостатки вы не можете забыть в такой час, взгляните хотя бы на эту женщину так, словно вы ее видите впервые, и помогите ей!

Все это время лицо матери было недвижимо. Оно застыло, замерло, глаза были широко раскрыты и устремлены в одну точку, время от времени раздавался стон, и голова беспомощно дергалась, но других признаков жизни не было.

Вдруг мисс Дартл упала перед ней на колени и начала расстегивать на ней платье.

— Будьте вы прокляты! — крикнула она, взглянув на меня — в этом взгляде были бешенство и мука.— В недобрый час вы когда-то пришли сюда! Будьте вы прокляты! Уходите!

Я вышел из комнаты, но тотчас же вернулся, чтобы позвонить слугам. Роза Дартл, стоя на коленях, обняла окаменевшую женщину, она целовала и окликала ее, рыдала, наконец притянула к себе и прижала, как ребенка, к своей груди... Всю свою нежность она вкладывала в усилия вызвать к жизни ее погасшие чувства. Теперь я не боялся оставить их одних и снова вышел из комнаты. Спустившись, я поднял на ноги весь дом.

Вернулся я позже, в середине дня. Мы положили его в комнате матери. Мне сказали, что она все в том же состоянии. Мисс Дартл не отходит от нее, не отходят и врачи, приняты все меры, но она лежит как статуя и только изредка стонет.

Я обошел весь этот печальный дом и опустил шторы. Затем я опустил шторы в той комнате, где он лежал.

Я поднял тяжелую, как свинец, его руку и прижал к своему сердцу, и весь мир был для меня смерть и тишина, и только стоны его матери врывались в эту тишину.

ГЛАВА LVII
Эмигранты

Но мне предстояло еще одно дело, прежде чем я мог отдаться своим чувствам, вызванным этим потрясением. Необходимо было скрыть все, что случилось, от уезжавших, они должны были уехать в счастливом неведении. С этим нельзя было мешкать.

В тот же вечер я отвел мистера Микобера в сторону и поручил ему позаботиться о том, чтобы мистер Пегготи ничего не узнал о катастрофе. Мистер Микобер с большой готовностью согласился и обещал перехватывать все газеты, в которых мистер Пегготи мог бы о ней прочесть.

— Если эти сведения до него дойдут, то только преступив через это тело! — хлопнул себя по груди мистер Микобер.

Следует заметить, что у мистера Микобера, который приноравливался к своему новому общественному положению, был теперь вид залихватского пирата, еще, правда, не вошедшего в столкновение с законом, но, во всяком случае, весьма деятельного и готового на все. Можно было принять его также за дитя лесных дебрей, привыкшего жить вне границ цивилизации и возвращающегося назад в свои родные дебри.

Среди прочих вещей он раздобыл себе клеенчатый костюм и соломенную просмоленную шляпу с очень низкой тульей. Под мышкой у него теперь торчала подзорная труба, он то и дело поглядывал на небо, словно ожидая непогоды, и в своем грубом наряде куда больше походил на моряка, чем мистер Пегготи. Приготовилось к бою, если можно так выразиться, и все его семейство. Голову миссис Микобер венчала плотно прилегающая, очень простая шляпка, старательно подвязанная лентой под подбородком, а сама она туго замотана была в шаль, концы

которой крепко завязывались на пояснице, и напоминала узел, точь-в-точь как я, когда впервые предстал перед бабушкой. Насколько я мог видеть, так же замотана была, на случай бури, и мисс Микобер, на которой тоже не было ничего лишнего. Юного мистера Микобера почти невозможно было разглядеть невооруженным глазом — на нем была гернсейская блуза * и матросский костюм из такой жесткой материи, какой я никогда раньше не видывал. Что же касается других детей, они были закупорены, как консервы, в непроницаемые футляры. У мистера Микобера и его старшего сына рукава были слегка засучены, по-видимому для того, чтобы, по первой команде, отец и сын могли прийти кому угодно на помощь, «выбежать наверх» или затянуть вместе со всеми «Эх, налегай!»

В таком виде мы вместе с Трэдлсом нашли всех их вечером на деревянных ступенях лестницы, которая в ту пору называлась Хангерфордской. Они ждали отхода лодки, увозившей часть их багажа. Трэдлсу я рассказал о происшедшей катастрофе, и эта весть его потрясла; в его доброте и умении хранить тайну я мог не сомневаться, и теперь он явился для того, чтобы помочь мне оказать мистеру Пегготи и Эмили последнюю услугу. Здесь-то я и отвел в сторону мистера Микобера и взял с него упомянутое обещание.

Семейство Микоберов обитало в маленьком грязном, ветхом трактире, почти у самой лестницы; комнаты этого деревянного строения нависали над рекой. Семейство эмигрантов привлекало такое внимание жителей Хангерфорда, что мы рады были спастись в их комнату. Находилась она в верхнем этаже и выступала над водой. Бабушка вместе с Агнес уже была там: обе они шили еще какие-то вещи для детей. Им помогала Пегготи, а перед ней находилась знакомая рабочая шкатулка, сантиметр и кусочек воска, которым суждено было столько пережить.

Нелегко было отвечать на ее вопросы. А еще было труднее шепнуть мистеру Пегготи, когда его привел мистер Микобер, что я передал письмо и все обстоит прекрасно. Однако я справился с этими двумя задачами, и они были очень довольны. Если я и обнаруживал свое душевное смятение, то причиной его могла быть моя собственная утрата.

— А когда отплывает корабль, мистер Микобер? — спросила бабушка.

Мистер Микобер, считавший необходимым подготовлять постепенно свою супругу, а также и бабушку, ответил, что корабль отходит раньше, чем предполагалось накануне.

— Разве с последней лодкой вам не сообщили, когда он отплывает? — спросила бабушка.

— Сообщили, сударыня,— отозвался он.

— Ну? Так когда же он отплывает?

— Нам сообщили, сударыня, что мы должны быть на борту завтра утром, к семи часам,— сказал он.

— Так скоро! И это точно, мистер Пегготи?

— Точно, сударыня. Корабль спустится вниз по реке с отливом,— подтвердил мистер Пегготи.— Если мистер Дэви и моя сестра на следующий день, после полудня, поднимутся на борт в Грейвзенде, они смогут с нами попрощаться.

— Так мы и сделаем,— сказал я.

— А до этого момента, пока мы не выйдем в море, мистер Пегготи и я будем тщательно наблюдать за сохранностью нашего багажа,— сказал мистер Микобер, многозначительно на меня поглядев.— Эмма, дорогая моя,— тут мистер Микобер со своим обычным торжественным видом откашлялся,— мой друг мистер Томас Трэдлс любезно сообщил мне на ухо, что он хотел бы заказать ингредиенты, необходимые для приготовления умеренной порции напитка, который всегда в наших умах связан с ростбифом Старой Англии. Я хочу сказать... пунша. При других обстоятельствах я не осмелился бы просить мисс Тротвуд и мисс Уикфилд, но...

— Что касается меня, то я с удовольствием выпью за ваше здоровье и успех, мистер Микобер,— заявила бабушка.

— И я также,— улыбаясь, сказала Агнес.

Мистер Микобер незамедлительно спустился вниз, в трактир, и скоро вернулся с кувшином, над которым вился пар. Нельзя было не обратить внимания на то, что он резал лимоны своим складным ножом, который, как и полагалось ножу опытного колониста, был не меньше фута длиной, а потом не без хвастовства вытирал этот

нож о рукав куртки. Миссис Микобер и два старших члена семейства были снабжены таким же грозным оружием, а у младших детей были подвязаны к поясу крепкой веревкой деревянные ложки. Предвкушая жизнь на корабле и в лесных дебрях, мистер Микобер, вместо того чтобы разлить пунш для миссис Микобер и двух старших детей по винным рюмкам, стоявшим в комнате на полке, налил его в дрянные оловянные кружки. И, поистине, никогда он не пил пунш с бо́льшим наслаждением, чем теперь, наполнив свою собственную кружку вместимостью в пинту; эту кружку в конце вечера он спрятал в карман.

— Нам придется отречься от роскоши нашей отчизны,— сказал мистер Микобер, очень довольный этим отречением.— Обитатели лесов, разумеется, не могут рассчитывать на то, что найдут там такую же утонченность, как здесь, у нас, в стране свободы.

В этот момент появился мальчуган, сообщивший, что внизу кто-то спрашивает мистера Микобера.

— У меня такое предчувствие,— сказала миссис Микобер, поставив на стол оловянную кружку,— что это кто-нибудь из членов моего семейства.

— Члены вашего семейства, моя дорогая,— откликнулся мистер Микобер с тем жаром, который был ему свойствен, когда речь заходила на эту тему,— члены вашего семейства, и мужского и женского пола, заставляли *нас* ожидать слишком долго, но теперь этот член вашего семейства, может быть, посчитается с *моими* удобствами и подождет *меня?*

— Микобер! — тихо сказала его жена.— В такое время...

— «Не должно вниманье обращать на малые обиды» *,— произнес, вставая, мистер Микобер.— Эмма, ваш упрек справедлив.

— В убытке не вы, Микобер, а мое семейство,— заметила она.— Если мое семейство, наконец, поняло, чего оно лишается из-за своего поведения в прошлом, и протягивает дружескую руку, не отталкивайте ее!

— Пусть будет так, дорогая моя,— отозвался мистер Микобер.

— Если не ради них, то хотя бы ради меня,— прибавила миссис Микобер.

— Не все можно преодолеть, Эмма, даже в такой момент,— продолжал мистер Микобер.— И сейчас я не могу обещать, что упаду в объятия вашего семейства. Но член вашего семейства, который ждет внизу, может быть спокоен — его пылкие чувства не встретят ледяного приема.

С этими словами мистер Микобер исчез, и отсутствие его несколько затянулось, так что миссис Микобер стала выражать опасения, не возникли ли между ним и членом ее семейства пререкания. Наконец появился тот же мальчуган и вручил мне написанную карандашом записку. Наверху было начертано, как полагается в судебных документах: «Хип v. Микобера». В записке мистер Микобер сообщал, что снова арестован и пребывает в страшном отчаянии, а также просил прислать с подателем сего нож и кружку вместимостью в пинту, дабы он мог ими воспользоваться в тюрьме в течение того краткого срока, какой ему еще остается жить. Просил он меня также оказать ему последнюю дружескую услугу — поместить его семейство в приходский работный дом и забыть, что на свете жил такой человек, как он.

Разумеется, я спустился с мальчуганом вниз, чтобы уплатить деньги: мистер Микобер сидел в углу и мрачно взирал на агента шерифа, который его арестовал. Спасенный и на этот раз, он пылко обнял меня и немедленно сделал пометки в своей записной книжке; помнится, он был так аккуратен, что записал даже полпенни, которые я не принял во внимание при подсчете.

Эта важная записная книжка напомнила ему, кстати, о другом деле. Когда мы вернулись наверх в комнату (где он сообщил, что задержался по непредвиденным обстоятельствам), он вытащил из записной книжки большой, сложенный в несколько раз лист бумаги, покрытый старательно написанными колонками цифр. Только в школьном учебнике по арифметике я видел такие колонки — в этом я убедился, бросив на них взгляд. Это были подсчеты (на разные сроки) сложных процентов на ту сумму, которую он называл: «Основная сумма в сорок один фунт десять шиллингов одиннадцать с половиной пенсов». После тщательной их проверки и старательной оценки собственных ресурсов он решил подвести общий итог, включая основную сумму и проценты за два года пятнадцать календар-

ных месяцев четырнадцать дней начиная с сего числа. Потом он написал на всю сумму долга аккуратнейшую расписку, которую тут же вручил Трэдлсу (как подобает мужчинам), выражая при этом горячую признательность.

— У меня такое предчувствие, что мое семейство посетит нас на корабле перед отплытием,— задумчиво качая головой, сказала миссис Микобер.

По-видимому, и мистер Микобер имел на этот счет предчувствие, но спрятал его в оловянную кружку и проглотил.

— Если у вас, миссис Микобер, будет возможность послать письмо с дороги, дайте нам о себе знать,— сказала бабушка.

— Мне будет приятно думать, дорогая мисс Тротвуд, что кто-то ждет от нас вестей,— сказала та.— Я хотела бы верить, что и наш старый друг, мистер Копперфилд, не откажется получить известие от той, которая знала его, когда близнецы еще не подозревали о своем существовании.

Я сказал, что был бы рад, если бы она мне написала при первой возможности.

— Слава богу, таких возможностей будет немало,— заметил мистер Микобер.— В это время года на океане полным-полно кораблей, и мы, несомненно, встретим их сколько угодно. Все пути скрещиваются,— тут мистер Микобер поиграл моноклем.— Расстояние — одно воображение.

Теперь мне кажется, что в этом был весь мистер Микобер: когда предстояло ему ехать из Лондона в Кентербери, он говорил о поездке так, словно отправлялся на край земли, а тут, перед его путешествием из Англии в Австралию, казалось, будто он собирается пересечь Ламанш.

— Во время путешествия,— продолжал мистер Микобер,— я постараюсь иногда рассказывать им разные истории, а собравшись у кухонного огонька, приятно будет послушать песенки моего старшего сына; если же миссис Микобер не будет тошнить,— покорнейше прошу простить такое выражение! — она угостит их «Крошкой Тэффлин» *. Конечно, прямо по носу мы увидим морских свиней и дельфинов, а по правому и левому борту массу всяких интересных вещей. Короче говоря,— заключил мистер Микобер, и вид у него был элегантный, как в былые времена,— под нами и над нами будет столь много любо-

пытного, что, когда вахтенный крикнет с грот-мачты: «Земля!» — мы будем весьма удивлены!

С этими словами он осушил до дна свою оловянную кружку, словно уже совершил путешествие и блестяще выдержал испытание перед лучшими знатоками морского дела.

— А я, мой дорогой Копперфилд,— сказала миссис Микобер,— очень надеюсь, что настанет день, когда отпрыски нашего семейства вернутся на родину. Не хмурьтесь, Микобер! Я говорю не о нашем семействе, а о детях наших детей. Черешок, конечно, пустит крепкие корни, но я не могу забыть дерева, с которого его срезали. А когда наш род станет славным и богатым, признаюсь вам, мне бы хотелось, чтобы эти богатства потекли в денежные сундуки Британии!

— Пусть Британия выкручивается, как знает, моя дорогая,— вставил мистер Микобер.— Должен сказать, что она ровно ничего для меня не сделала, и меня не очень беспокоит то, о чем вы говорите.

— Вы не правы, Микобер! — сказала миссис Микобер.— Вы уезжаете, Микобер, в эту далекую страну не для того, чтобы ослабить узы, связывающие вас с Альбионом, а для того, чтобы их укрепить!

— Повторяю, любовь моя,— отозвался мистер Микобер,— из-за этих самых уз я не обязан пренебрегать другими узами.

— А я снова говорю вам, Микобер: вы не правы. Вы не знаете сами, на что вы способны, Микобер. Именно ваши способности — порукою тому, что шаг, который вы ныне предпринимаете, укрепит узы, связывающие вас с Альбионом.

Мистер Микобер, нахмурившись, сидел в кресле; он не совсем был согласен со взглядами миссис Микобер, но весьма чувствительно отнесся к ее предвидению.

— Мой дорогой мистер Копперфилд, я хочу, чтобы мистер Микобер понял, каково его положение,— продолжала миссис Микобер.— Мне кажется крайне важным, чтобы мистер Микобер с момента своего отплытия понял, каково его положение. Вы давно знаете меня, дорогой мистер Копперфилд, и вам известно, что по натуре своей я не так склонна увлекаться, как мистер Микобер. Скорее я женщина практическая, если можно так выразиться.

Я знаю — это будет долгое путешествие. Я знаю — нам придется вынести много неудобств и лишений. Я не закрываю на это глаза. Но вместе с тем я знаю, каков мистер Микобер, знаю, на что́ он способен. И потому-то я считаю очень важным, чтобы мистер Микобер понял, каково его положение.

— Любовь моя, разрешите мне заметить, что мне решительно невозможно в данный момент понять, каково мое положение,— вставил мистер Микобер.

— Я не согласна с этим, Микобер,— сказала она.— Не совсем согласна. У мистера Микобера, дорогой мой мистер Копперфилд, положение не такое, как у всех. Мистер Микобер отправляется в далекую страну для того, чтобы его сразу там поняли и оценили. Я хочу, чтобы мистер Микобер занял бы свое место на носу корабля и твердо сказал: «Я еду покорить эту страну! У вас есть отличия? У вас есть богатства? У вас есть очень прибыльные должности? А ну давайте-ка их сюда! Все это — мое!»

Мистер Микобер обвел нас всех взглядом; казалось, он думал, что это вполне здравая идея.

— Скажу яснее: я хочу, чтобы мистер Микобер стал Цезарем своей фортуны! — убежденно сказала миссис Микобер.— Вот каким, на мой взгляд, должно быть его положение, дорогой мой мистер Копперфилд. Я хочу, чтобы мистер Микобер занял свое место на носу корабля и твердо сказал: «Довольно промедлений! Довольно разочарований! Довольно безденежья! Все это было на старой родине. Теперь у меня новая. Вы должны мне дать возмещение. А ну-ка давайте его!»

Мистер Микобер решительно скрестил на груди руки, словно уже стоял на голове фигуры, украшающей нос корабля.

— А если мистер Микобер сделает именно так, если он поймет, каково его положение, разве я не права, утверждая, что он укрепит, а не ослабит узы, связывающие его с Британией? Разве не достигнет родины влияние выдающегося человека, который возвысится в другом полушарии? Неужели я так слабодушна, что могу вообразить, будто мистер Микобер, проявив свои таланты и завоевав жезл власти в Австралии, будет ничто в Англии?

Да, я — женщина, но я буду недостойна себя и моего папы, если окажусь повинной в таком нелепом слабодушии.

Миссис Микобер столь была убеждена в неотразимости своих доводов, что тон ее стал превыспренним, чего раньше мне не приходилось замечать.

— Вот почему я хочу еще больше, чтобы в будущем мы снова могли вернуться на родину,— продолжала миссис Микобер.— Имя мистера Микобера может попасть на страницы Истории — должна сознаться, я считаю это очень возможным,— и вот тогда он должен будет вернуться в страну, которая дала ему возможность родиться, но не дала никакой работы!

— Дорогая моя, как меня трогает ваша любовь! — отозвался мистер Микобер.— Я всегда доверял вашему здравому смыслу. Будь что будет. Боже избави, чтобы я когда-нибудь лишил мою родину хотя бы частицы богатств, которые накопят наши потомки!

— Прекрасно! — сказала бабушка и кивнула головой в сторону мистера Пегготи.— Пью за всех вас. Да будут успешны все ваши дела!

Мистер Пегготи спустил на пол обоих детей, примостившихся у него на коленях, и вместе с мистером и миссис Микобер выпил за здоровье всех нас, а когда он сердечно пожал руки Микоберам и светлая улыбка озарила его загорелое лицо, я почувствовал, что он пойдет своей дорогой, завоюет себе доброе имя, и, где бы он ни оказался, его всюду будут любить.

Даже младшим детям было разрешено погрузить в кружку мистера Микобера свои деревянные ложки и выпить за наше здоровье. Вслед за этим бабушка вместе с Агнес встала, чтобы проститься с эмигрантами. Это было грустное прощанье. Все плакали, дети вцепились в платье Агнес и не хотели с ней расставаться, и мы оставили бедную миссис Микобер в отчаянии; она рыдала при свете тусклой свечи, благодаря которой комната могла казаться с реки каким-то жалким маяком.

Утром я пришел узнать, уехали ли они. Они уехали рано, в пять часов утра. И тут я понял, какая пустота возникает в душе после таких расставаний: только один раз, накануне вечером, я видел их всех в этой покосившейся гостинице и на этой деревянной лестнице, но после их

отъезда и дом и лестница показались мне мрачными и пустынными...

На следующий день после полудня моя старая няня вместе со мной отправилась в Грейвзенд. Корабль стоял на реке, вокруг него была масса лодок. Дул попутный ветер, на мачте развевался сигнал отплытия. Я сейчас же нанял лодку, и мы направились к судну; пробившись сквозь беспорядочное скопление лодок, в центре которого оно находилось, мы достигли его.

Мистер Пегготи ждал нас на палубе. Он сообщил, что мистера Микобера только что арестовали (теперь уже в последний раз!) по иску Хипа, но он, следуя моим распоряжениям, уплатил деньги, которые я тут же ему и возвратил. Потом он спустился с нами в межпалубное пространство, и здесь мои опасения, что до него дошли слухи о катастрофе, были рассеяны мистером Микобером. Появившись откуда-то из мрака, мистер Микобер дружески и покровительственно взял его под руку, а мне шепнул, что они не расставались ни на мгновение с позавчерашнего вечера.

Странное зрелище предстало передо мной — здесь было так тесно и темно, что сначала я ничего не мог разобрать; постепенно, когда глаза мои привыкли к мраку, мне показалось, будто я очутился в центре картины ван Остаде *. Я находился среди бимсов, рымболтов и корабельного груза, коек для эмигрантов, среди сундуков, узлов, бочек и куч разнообразного багажа; кое-где висели тусклые фонари, чуть подальше лучи дневного света, проникавшего сквозь виндзейль или люк, падали на сгрудившихся людей, а люди переходили с места на место, разговаривали, плакали, завязывали между собой дружбу, ели, пили. Одни уже расположились на крохотном пространстве, находившемся в их распоряжении, расположились со своим домашним скарбом и с детьми, сидевшими на стульях или в креслицах, а другие, отчаявшись найти свободный уголок, безнадежно бродили взад и вперед. Здесь были люди всех возрастов — от младенцев, появившихся на свет неделю назад, до скрюченных стариков и старух, которым оставалось жить не больше недели, от поселян, увозивших на своих башмаках частицы родной земли, до кузнецов, на коже которых были следы ее сажи и копоти.

Тесное межпалубное пространство, казалось, было битком набито людьми всех возрастов и всех профессий.

Когда я огляделся вокруг, мне показалось, что у открытого пушечного порта * сидит какая-то женщина, похожая на Эмили, а возле нее один из младших детей Микоберов; обратил я на нее внимание благодаря другой женщине, которая только что ее поцеловала и теперь пробиралась сквозь толпу. Она так походила на Агнес! Но я был столь ошеломлен всей этой толчеей, что потерял ее из виду. Я знал только, что уже дан сигнал провожающим приготовиться покинуть корабль, я видел только мою старую няню, плакавшую рядом со мной на груди у кого-то, да миссис Гаммидж, которая с помощью какой-то молодой женщины в черном деловито старалась разложить пожитки мистера Пегготи.

— Вы мне все сказали, мистер Дэви? Ничего не забыли, перед тем как нам проститься? — услышал я голос мистера Пегготи.

— Только одно! — сказал я.— Марта?!

Он коснулся руки молодой женщины в черном, та повернулась ко мне. Это была Марта.

— Какой вы добрый человек! — воскликнул я.— Вы берете ее с собой?

Она ответила за него, разразившись рыданиями. Говорить я не мог, я только схватил руку мистера Пегготи и сжал ее. Если когда-нибудь я любил и уважал какого-нибудь человека,— таким человеком был мистер Пегготи.

С корабля удаляли провожающих. Мне оставалось исполнить тяжелый мой долг. И я пересказал ему то, что человек большого сердца, ушедший навсегда, поручил мне передать в минуту расставанья.

Это потрясло его. Но еще больше, чем он, был потрясен я, когда в ответ он просил передать слова любви и сожаления тому, кто уже не мог их услышать.

И вот срок настал. Я обнял его, подхватил под руку мою старую рыдающую няню, и мы поспешили наверх. На палубе я простился с бедной миссис Микобер. Даже теперь она, как одержимая, поглощена была мыслями о своем семействе и, прощаясь со мной, снова сказала, что никогда не покинет мистера Микобера.

С корабля мы спустились в нашу лодку и, отойдя на

некоторое расстояние, остановились, чтобы взглянуть, как корабль снимется с якоря. Был час заката. Корабль находился между нами и заходящим солнцем, и на ослепительно багровом фоне можно было различить каждую стеньгу, каждую снасть. Никогда я не видел такого зрелища, прекрасного, печального, но и такого обнадеживающего, как этот застывший на воде корабль, с толпой людей на борту, вдруг замолкших и обнаживших головы.

Замолкших только на мгновение... Когда ветер надул паруса и корабль двинулся, со всех лодок раздалось троекратное «ура», подхваченное на борту и отдавшееся вдали. Сердце у меня затрепетало при этих звуках, когда я увидел, как взмыли вверх шляпы и носовые платки. И тут я увидел ее!

Да, я увидел ее — она стояла рядом с дядей, прильнула, дрожа, к его плечу. Он указал рукой на нас, она нас увидела и послала мне прощальный привет. О Эмили! Прекрасная и слабая Эмили! Приникни к нему и уповай на него всем твоим разбитым сердцем, ибо он приник к тебе со всей силой своей великой любви!

Высоко на палубе они стояли в розовых лучах заходящего солнца, поодаль от всех остальных, она прижималась к нему, а он поддерживал ее, и так они торжественно проплыли мимо меня и, наконец, исчезли вдали. Ночь спускалась на кентские холмы, когда мы добрались до берега, и эта ночь окутала меня.

ГЛАВА LVIII

Путешествие

Долгая, мрачная ночь окутала меня, и сколько призраков былых упований преследовали меня в этой ночи, сколько призраков дорогих мне воспоминаний, ошибок, горестей, бесполезных сожалений!

Я уехал из Англии, даже тогда еще не сознавая, какой удар обрушился на меня. Я покинул тех, кто был мне так дорог, я верил, что самое тяжелое уже позади. Как воин, смертельно раненный на поле боя, не знает о своей ране, так и я, оставшись один, наедине со своим

непокорным сердцем, не знал, какова та рана, с которой оно должно справиться.

Я это понял, но не сразу, а мало-помалу, капля за каплей. С часу на час углублялось отчаяние, с которым я уехал за границу. Поначалу это было чувство огромной потери, это была печаль, очертаний которой я еще не мог различить. Но постепенно и незаметно она превратилась в безнадежную скорбь, я понял, что утратил любовь, дружбу, интерес к жизни, понял, что рухнули и разбиты вдребезги моя вера в человека, моя первая привязанность, все мои воздушные замки, а передо мной голая пустыня, и нет ей конца и края.

Было ли мое горе проявлением эгоизма — в этом я не отдавал себе отчета. Я плакал о моей девочке-жене, отнятой у меня на заре ее юности. Я плакал о том, кто мог бы завоевать всеобщую любовь и восхищение, как давным-давно завоевал мою любовь и мое восхищение. Я плакал о разбитом сердце, обретшем покой в бушующем море, плакал о руинах скромного жилища, где я ребенком слушал, как воет ветер в ночи.

И не было у меня надежды на спасение от тоски. Я переезжал с места на место, но бремя мое было всегда со мной. Теперь я ощущал его тяжесть, я сгибался под ним и чувствовал в глубине души, что никогда оно не станет легче.

Когда отчаяние доходило до предела, я верил, что скоро умру. По временам мне казалось, что мне лучше умереть дома, и тогда я возвращался, чтобы быть к нему поближе. А бывало и так, что я уезжал как можно дальше, странствовал из города в город, чего-то искал, а чего — неизвестно, и что-то хотел оставить позади, но что̀ — я и сам не знал.

Не по силам мне рассказать подробно о тяжелых душевных муках, через которые я прошел. Многое было как во сне, а сновидение можно описать только очень несовершенно, и когда я стараюсь восстановить в памяти эту пору моей жизни, мне кажется, я вспоминаю о ней, как о каком-то сновидении. Вижу я себя в чужеземных городах, в неведомых мне раньше дворцах, соборах и церквах, вижу себя перед неизвестными мне картинами, замками, гробницами, вижу себя на каких-то фантастических

улицах — все это памятники Истории и Воображения, но возникают они передо мной словно в сновидении; с мучительной ношей я бреду мимо них, и едва ли сознаю, что́ передо мной, ибо все предметы расплываются. Горе, слепое и глухое ко всему на свете — такова была ночь, упавшая на мое не знающее покоя сердце. Но не будем в нее погружаться — так в конце концов сделал и я, благодарение небесам! — и от длительного, скорбного и горестного сновидения обратим свои взоры к утренней заре.

Много месяцев я путешествовал, а на душе была все та же черная туча. По каким-то не вполне понятным причинам я не возвращался домой и не прекращал своих странствий. Временами я неустанно, нигде не останавливаясь, кочевал, а иногда жил подолгу в одном месте. Не было у меня никакой цели, никакого желания, которое могло бы меня где-нибудь удержать.

Я очутился в Швейцарии. Приехал я туда из Италии через один из великих альпийских перевалов и скитался с гидом по горным дорогам и тропам. Быть может, безлюдье и пустынность этих мест были целительны для моего сердца, но я этого не сознавал. Чудесными и величественными казались мне эти страшные стремнины и горы непомерной высоты, бурлящие потоки, снежные и ледяные пустыни, но никаких других чувств они во мне не вызвали.

Как-то вечером, перед заходом солнца, я спускался в долину, где должен был провести ночь. Спускался я тропой, извивавшейся по склону горы, откуда я видел солнце высоко надо мною, и давно уже неведомое мне чувство красоты и покоя пробудилось в моей душе. Помнится, я остановился с какой-то грустью, но то была не грусть отчаяния и не тяжкое уныние. Помнится, это был проблеск надежды — надежды на то, что в моей душе еще произойдут целительные перемены.

Я спустился в долину, когда вечернее солнце позлащало отдаленные вершины, покрытые снегами, которые походили на вечные облака. В ущелье между горами маленькая деревушка утопала в зелени, а над этой яркой зеленью темнели хвойные леса — они вклинились в снега, преграждая путь снежным обвалам. А еще выше громоздились утесы, блестели ледяные поля, пятнами казались

горные пастбища, которые терялись в вечных снегах, венчавших макушки гор. По склонам были рассеяны точки — деревянные домики, такие крохотные в сравнении с вздымавшимися горами, что казались слишком маленькими даже для того, чтобы служить игрушкой детям. Такой же казалась и деревушка в долине с деревянным мостиком через грохочущий горный поток, свергавшийся с острых скал и пропадавший вдали, меж деревьев. В этот тихий вечер откуда-то доносилась негромкая песня — это пели пастухи. Но вдоль склона горы, приблизительно на середине ее, проплывало облако, окрашенное лучами заходящего солнца, и я почти готов был верить, что песня доносится оттуда и не на земле сложили ее. И вдруг, внезапно, в этот ясный, спокойный вечер воззвал ко мне голос Природы... Я упал наземь, склонил на траву усталую голову и зарыдал, как не рыдал еще ни разу со дня смерти Доры!

Меня ожидало письмо, полученное перед моим приходом: пока готовился ужин, я вышел из деревни, чтобы его прочесть. Предшествующие письма задержались, и я долго не имел из дому никаких вестей. А сам я сообщал только, что здоров, прибыл туда-то, и этим ограничивался — со времени отъезда у меня не было сил писать письма.

Письмо было у меня в руках. Я вскрыл его. Это писала Агнес.

По ее словам, она была счастлива, так как чувствовала, что приносит пользу. Это было все, что она писала о себе. Остальное относилось ко мне.

Советов она не давала, ни слова не говорила о моих обязанностях; со свойственной ей манерой — как всегда, горячо — она писала, что верит в меня, и только. Она знала,— писала она,— что такой человек, как я, извлечет для себя спасительный урок из тяжелого горя. Она знала, что испытания и скорбь только подкрепят этот урок. Она выражала уверенность, что после выпавшего мне на долю несчастья я буду неустанно стремиться в своей работе к высокой цели. Она гордилась моей известностью, она страстно желала ее упрочения и хорошо знала, что я буду продолжать свое дело. И она знала, что страдания не ослабили меня, но укрепили. И если благодаря испытаниям моего детства я стал таким, каков я

есть, то еще большие невзгоды повлияют на меня благотворно, и я стану еще лучше; тому же, чему я научился сам, я должен учить других людей. Она препоручала меня господу, который взял в свою обитель дорогое мне существо, повторяла, что сестрински любит меня и любовь эта вечно будет пребывать со мной, а она гордится тем, что я уже сделал, и еще больше гордится тем, что мне сделать суждено.

Я спрятал письмо на груди, у сердца, и подумал о том, кем я был еще час назад. И когда я услышал замирающие вдали голоса, увидел, как темнеет проплывавшее вечернее облако, тускнеют краски в долине и позлащенный снег на горных вершинах постепенно сливается с бледным ночным небом, я почувствовал, что в душе моей рассеивается ночная тьма, уходят из нее мрачные тени, а для любви моей к той, кто отныне стала мне еще дороже, нет имени.

Несколько раз я перечитал ее письмо. Прежде чем лечь спать, я ей написал. Сказал, что очень нуждался в ее помощи, что без нее я не был бы,— ни теперь, ни в прошлом,— таким, каким она меня считает, и что она внушила мне желание попытаться стать именно таким человеком. И я попытаюсь.

Я в самом деле попытался. Через три месяца должен был исполниться год со дня моей утраты. Я не хотел ничего предпринимать до истечения этих трех месяцев, но потом надо было на что-то решаться. Все это время я провел в той же долине или где-нибудь поблизости.

Три месяца прошли, и я решил пока не возвращаться домой, остаться на время в Швейцарии, которая стала мне дорога благодаря памятному вечеру. Решил снова взяться за перо, работать.

Я покорно последовал по пути, который указала мне Агнес: я обратился к Природе, а к ней никогда не обращаются напрасно. И снова я открыл свое сердце человеческим чувствам, которых недавно бежал. Вскорости я приобрел в долине не меньше друзей, чем в Ярмуте. А когда я покинул ее до наступления зимы, чтобы ехать в Женеву, а потом возвратился назад весной, эти люди приветствовали меня от всей души, и слова их звучали для меня так, будто я попал к себе домой, хотя то и был чужой язык.

Я работал с утра до вечера, работал упорно, без устали. Я написал повесть на тему, связанную с выпавшими мне на долю испытаниями, и послал Трэдлсу, который очень удачно ее издал; слухи о ее успехе доходили до меня через путешественников, с которыми я случайно встречался. Немного отдохнув и рассеявшись, я с прежним моим жаром принялся работать над новой темой, которая сильно меня захватила. По мере того как я писал, я увлекался все больше и больше и приложил все усилия, чтобы работа мне удалась. Это было мое третье беллетристическое произведение. Написав около половины, я стал подумывать, в дни отдыха, о возвращении домой.

Несмотря на упорный труд, я в течение долгого времени заставлял себя регулярно проделывать длительный моцион. Здоровье мое, сильно подорванное, когда я уехал из Англии, восстановилось. Я многое видел. Я побывал во многих странах и, хочу думать, многому научился.

Мне кажется, я рассказал все, что̀ считал необходимым рассказать о том периоде моей жизни, когда я был вдали от родины... Впрочем, с одной оговоркой. И это не потому, чтобы я хотел скрыть от читателя хотя бы одну свою мысль,— как я уже говорил, это повествование есть полная запись всех моих воспоминаний. Я только хотел поведать особо о самых сокровенных движениях моей души и приберечь рассказ о них к концу. К нему я и перехожу.

Мне самому недостаточно известны тайны моего собственного сердца, и не знаю, когда я стал думать, что с Агнес связаны все мои ранние и светлые надежды. Мне самому неведомо, на какой стадии горя, вызванного моей утратой, я связал эту мысль с думами о том, что, в своенравном своем мальчишестве, я отринул сокровище ее любви. Быть может, я услышал шепот давних размышлений об ужасной потере или тоски по тому, чему никогда не суждено сбыться, которые уже были знакомы мне прежде. Но эти размышления прозвучали в моей душе новым упреком и новым раскаянием как раз тогда, когда, оставшись один, я так страдал.

Если бы в это время я часто бывал в ее обществе, в минуты слабости и тоски я выдал бы себя. Именно этого я смутно опасался, когда впервые решил не возвращаться

в Англию. Я не мог поступиться хотя бы частицей ее сестринской привязанности, а если бы я себя выдал, между нами возникли бы принужденные отношения, которых до той поры не было.

Я не мог забыть, что сам решил, каково то чувство, которое она ко мне питает. Если когда-нибудь она любила меня иной любовью — а мне казалось, такое время было,— я пренебрег этой любовью. Когда мы оба были детьми, я привык смотреть на нее как на существо, на которое не простираются мои сумасбродные мечтания. Я отдал свою нежность и страсть другому существу. Я поступил не так, как мог бы поступить, и тем, чем она стала для меня, я обязан себе и ее чистому сердцу.

Когда перемена во мне, которая происходила постепенно, только еще началась и я пытался понять самого себя и исправиться, я возмечтал о том, что после искуса, быть может, наступит день, когда я смогу исправить ошибку прошлого и мне выпадет на долю великое счастье стать ее мужем. Но время шло, а с ним рассеялись и туманные надежды. Если она и любила меня когда-нибудь, она становилась благодаря этому еще более священной для меня. Я слишком хорошо помнил те признания, какие я ей делал, помнил, как открывалось перед ней мое мятущееся сердце, знал цену жертв, какие она принесла, чтобы стать моим другом и сестрой, и победы, которую она над собой одержала. Если же она никогда меня не любила, как могу я думать, что она полюбит меня теперь?

Я всегда сознавал, насколько я слаб рядом с ней, такой твердой и сильной. Теперь я чувствовал это еще глубже. Кем бы я стал для нее, а она для меня, если бы я оказался ее достойным? Какое это имеет значение, раз этого не случилось! Все отошло в прошлое. Виновник — я сам и, потеряв ее, наказан по заслугам.

Да, в этой борьбе я страдал жестоко и горько раскаивался; однако все время меня не покидало чувство, что по чести и справедливости я должен отбросить недостойную мысль вернуться к дорогой мне девушке, когда все мои надежды рассеялись как дым,— к девушке, от которой я легкомысленно отвернулся в пору их расцвета; чувство это неразрывно было связано со всеми моими размышлениями о ней. Я не мог скрывать от себя, что

люблю ее и готов посвятить ей всю мою жизнь, но я ехал домой убежденный, что теперь уже слишком поздно и в наших давних отношениях ничего не может измениться.

Часто и подолгу я думал о том, что̀ говорила моя Дора о судьбе нашего брака через несколько лет, если бы этому браку суждено было продлиться. И я понял, что несбывшееся нередко является для нас, по своим последствиям, такой же реальностью, как и то, что̀ свершилось. Теперь эти годы, о которых она говорила, минули — они были реальностью, ниспосланной мне в наказание, и не за горами мог быть предреченный ею день, если бы мы не расстались с ней навсегда, пока были еще совсем юными и безрассудными. Я попытался представить себе, как приучился бы я к самоограничению под влиянием Агнес, каким стал бы решительным, насколько лучше знал бы самого себя, свои недостатки и заблуждения. И, размышляя о том, что все это могло быть, я пришел к выводу, что это никогда не сбудется.

Вот каково было мое душевное состояние, подобно зыбучим пескам, переменчивое и неустойчивое, с момента отъезда до возвращения домой по истечении трех лет. Прошло три года со дня отплытия корабля с эмигрантами, и в том же самом месте и в тот же самый час заката я стоял на палубе пакетбота, доставившего меня домой — стоял и смотрел на розовеющую воду, в которой отражался корабль.

Три года. Как много времени, и вместе с тем как мало, когда они миновали! Мне была дорога родина и дорога Агнес... Но она не была моей. И никогда не будет. Когда-то она могла быть моей, но это было когда-то...

ГЛАВА LIX

Возвращение

Осенним холодным вечером я высадился в Англии. Было темно, шел дождь, и за минуту мне довелось увидеть больше тумана и грязи, чем за целый год. В поисках кареты я прошел от таможни до Монумента, и хотя дома,

обращенные фасадом к канавам, полным воды, казались мне старыми друзьями, я не мог не пожалеть, что эти друзья чересчур грязны.

Давно мне приходилось замечать — да, пожалуй, и каждому приходилось,— что, когда уезжаешь из знакомого места, этот отъезд является сигналом к всевозможным переменам. Из окна кареты я видел, что старинный дом на Фиш-стрит-Хилл, к которому целый век не прикасались маляры, плотники и каменщики, снесли в мое отсутствие; увидел, что находившийся в соседней улице другой дом, чья неприспособленность к жилью и неудобства были освящены временем, подвергся перестройке, и, право же, я почти ожидал, что собор св. Павла покажется мне более древним, чем раньше.

О переменах в судьбе моих друзей я был осведомлен. Бабушка уже давно вернулась назад в Дувр, а Трэдлс вскоре после моего отъезда начал помаленьку выступать в суде. Теперь он проживал в Грейс-Инне и в одном из своих последних писем сообщил мне, что лелеет надежду скоро сочетаться браком с самой замечательной девушкой на свете.

Они ждали меня домой к рождеству и не помышляли о том, что я приеду так скоро. Мне хотелось сделать им сюрприз, и потому я намеренно ввел их в заблуждение. Однако я был достаточно непоследователен и почувствовал себя несколько обескураженным, когда меня никто не встретил и мне пришлось ехать одному, в полном молчании, по улицам, утонувшим в тумане.

Впрочем, знакомые лавки с приветливо светившимися витринами подбодрили меня, и, когда я вышел из кареты у входа в кофейню в Грейс-Инне, я обрел хорошее расположение духа. В первый момент кофейня напомнила мне о тех временах, когда я проживал у Голдн-Кросс, и обо всем, что̀ с той поры произошло. Но это было вполне естественно.

— Не знаете ли вы, где живет в Инне мистер Трэдлс? — спросил я лакея, греясь у камина в зале кофейни.

— Холборн-Корт, сэр. Номер два.

— Скажите, приобретает ли мистер Трэдлс известность среди адвокатов? — осведомился я.

— Вполне возможно, сэр. Но об этом мне ничего не известно,— ответил лакей.

Лакей — он был средних лет и худощав — прибегнул к помощи другого слуги, занимавшего пост более высокий; это был человек тучный, с двойным подбородком, пожилой, внушительный на вид; на нем были черные штаны и чулки. Он вышел из-за загородки в конце зала, напоминавшей загородку, за которой находится скамья церковного старосты; там он восседал перед денежным ящиком, адресной книгой, списком адвокатов и другими книгами и бумагами.

— Справляются о мистере Трэдлсе, Холборн-Корт, второй номер,— сообщил ему худощавый лакей.

Внушительный на вид слуга знаком велел ему удалиться и медленно повернулся ко мне.

— Я спрашивал, приобретает ли мистер Трэдлс из номера второго на Холборн-Корт известность среди адвокатов? — снова спросил я.

— Никогда о нем не слышал,— густым басом ответил старший слуга.

Мне стало обидно за Трэдлса.

— Он человек молодой? Давно в Инне? — спросил величественный слуга, строго на меня глядя.

— Около трех лет..

Слуга, живший за своей загородкой церковного старосты, пожалуй, лет сорок, не удостоил вниманием столь незначительную особу. И спросил, что̀ мне желательно на обед.

Тут я почувствовал, что снова нахожусь в Англии, и был несказанно обижен за Трэдлса. По-видимому, ему не везет. Я смиренно заказал рыбу и бифштекс и, стоя перед камином, размышлял о неизвестности Трэдлса.

Старший слуга то появлялся, то исчезал, и, наблюдая за ним, я пришел к выводу, что почва в саду, где возрос этот цветок, весьма неблагодарная. Здесь все имело большую давность, все казалось издавна застывшим, торжественным, церемонным. Я окинул взглядом зал: пол посыпан был песком так же, как в те времена, когда старший слуга был ребенком, если он был им когда-нибудь, что крайне маловероятно; в отполированных столах старинного красного дерева я видел свое отражение; на

начищенных лампах не заметно было ни единого пятнышка; удобные зеленые портьеры на блестящих медных прутьях занавешивали вход в каждое из отделений общего зала; в обоих каминах весело пылал уголь; ряды внушительных графинов, выстроенных в образцовом порядке, свидетельствовали о том, что в погребе вы найдете бочки дорогого, старого портвейна. Англию, как и юриспруденцию, мелькнула у меня мысль, весьма трудно взять приступом... Я поднялся наверх в свой номер, чтобы переодеться, так как мое платье промокло. Внушительные размеры обшитой панелью комнаты (помнится, она находилась над аркой, ведущей в Инн), необъятная кровать под пологом, непоколебимо важный комод — все, казалось, восставало против успеха Трэдлса или другого, такого же юного смельчака. Снова я спустился вниз и уселся за обед. Сервировка стола и строгая тишина в зале — летние каникулы еще не кончились, и посетителей не было — красноречиво свидетельствовали о дерзости Трэдлса, предрекая ему, что на пристойное существование он может надеяться лет через двадцать, не раньше.

С той поры как я уехал, я не видел ничего подобного, и надежды на успех моего друга совершенно рассеялись. Старший слуга не обращал на меня внимания. Больше он ко мне не подходил. Он занялся пожилым джентльменом в длинных гетрах, перед которым красовался графин с пинтой замечательного портвейна, который появился, казалось, сам собой из погреба, так как никто его не заказывал.

Второй лакей шепотом сообщил мне, что этот пожилой джентльмен — ушедший от дел нотариус, очень богат, проживает на Грейс-Инн-сквере и, должно быть, оставит все свое состояние дочке своей прачки; ходят слухи, что у него в шкафу хранится серебряный столовый сервиз, весь потускневший от долгого неупотребления, хотя смертные видели у него в квартире только одну ложку и вилку. Тут я окончательно понял, что Трэдлс погиб и нет для него никакой надежды.

Однако мне хотелось как можно скорей увидеть милого, старого друга. Пообедав с такой быстротой, которая отнюдь не могла возвысить меня в глазах старшего слуги, я поспешил уйти черным ходом. Дом номер два на

Холборн-Корт я нашел скоро; доска с именами жильцов, висевшая на двери, извещала, что мистер Трэдлс занимает квартиру на верхнем этаже. Я поднялся наверх; древняя, шаткая лестница была тускло освещена — на площадках висели маленькие масляные лампы, и фитилек виднелся в шарообразной крошечной темнице зеленого стекла.

Поднимаясь по лестнице, я услышал смех — это отнюдь не был смех адвоката или поверенного, это не был смех адвокатского клерка или клерка поверенного — о нет! — это смеялись две или три девушки. Я остановился, чтобы прислушаться, и тут моя нога попала в выбоину, которую достопочтенное общество Грейс-Инн не удосужилось прикрыть доской. Падая, я произвел некоторый шум, а когда высвободил свою ногу, все стихло.

Теперь я подвигался уже более осмотрительно. Сердце мое усиленно билось, когда я остановился перед дверью с надписью: «Мистер Трэдлс». Я постучал. За дверью послышался шум, но и только. Я постучал снова.

Появился смышленый на вид подросток, не то клерк, не то мальчишка на побегушках. Он запыхался, но посмотрел на меня с вызовом, как будто требовал, чтобы я это доказал.

— У себя мистер Трэдлс? — спросил я.

— Да, сэр, но он занят.

— Мне нужно его видеть.

Подросток окинул меня взглядом и решил впустить. Распахнув дверь, он пропустил меня сначала в крошечную переднюю, а затем в маленькую гостиную. Тут я увидел старого моего друга — он тоже запыхался и, склонившись над бумагами, сидел за столом.

— Боже ты мой! — вскричал Трэдлс.— Да это Копперфилд!

И он бросился в мои объятия. Я крепко прижал его к своей груди.

— Ну, как дела, дорогой Трэдлс? Все в порядке?

— В порядке, дорогой, милый Копперфилд! У меня все хорошо!

И мы сба всплакнули от радости.

— Ох, старина! Дорогой Копперфилд! Как мы давно не виделись! И как я рад вас видеть! — Тут Трэдлс

взъерошил волосы, что было совсем излишне.— Как вы загорели! Как я рад! Честное слово, дорогой Копперфилд, я никогда так не радовался, никогда!

Мне тоже не хватало слов выразить мои чувства. Сначала я был не в состоянии выговорить ни звука.

— Каким вы стали известным, старина! — продолжал Трэдлс.— Мой знаменитый Копперфилд! Боже мой! Но откуда вы приехали? Когда вы приехали? Что вы все это время делали?

Не дожидаясь ответа на свои вопросы, Трэдлс втолкнул меня в кресло перед камином, одной рукой он яростно ворошил угли, а другой тянул меня за галстук, ибо совсем потерял голову и думал, что это пальто. Не выпуская кочерги из рук, он снова сжал меня в объятиях, а я тоже обнял его, и мы оба смеялись, и оба вытирали глаза, и затем оба уселись перед камином и пожали друг другу руки.

— Подумать только, старина, что вы должны были так скоро вернуться домой! И не попали на церемонию! — воскликнул Трэдлс.

— На какую церемонию, дорогой Трэдлс?

— Как?! — вскричал Трэдлс, широко раскрывая глаза, как в прежние времена.— Вы не получили моего последнего письма?

— Письма, в котором сообщалось бы о какой-то церемонии, я не получал.

— Да что вы, дорогой Копперфилд?! — Тут Трэдлс запустил пальцы в свою шевелюру, чтобы пригладить ее, а потом опустил руки на колени.— Я женился!

— Женился?! — радостно воскликнул я.

— Клянусь богом! Обвенчан его преподобием Хоресом... с Софи... из Девоншира. Да она вот тут, у окна, за гардиной! Посмотрите!

В этот самый момент, к моему изумлению, вышла из своего убежища, смеясь и краснея, самая чудесная девушка на свете. Мне кажется, никому еще не приходилось видеть такую веселую, обаятельную, милую и счастливую молодую жену, о чем я тут же, не сходя с места, и заявил. На правах старого знакомого я поцеловал ее и от всего сердца пожелал им счастья.

— О господи! Какой это замечательный брак! Как

вы страшно загорели, Копперфилд! Боже мой, как я счастлив! — воскликнул Трэдлс.

— И я тоже! — вставил я.

— И также я! — смеясь и краснея, сказала Софи.

— Мы все ужасно счастливы! — заключил Трэдлс.— Даже девушки и те счастливы. Боже мой, я и забыл про них!

— Забыл? — переспросил я.

— Ну, да! Забыл про них. Про сестер Софи. Они у нас живут. Приехали поглядеть Лондон. Дело в том... Это вы упали на лестнице, Копперфилд?

— Я! — признался я, смеясь.

— Так вот... Когда вы упали на лестнице, я дурачился с девушками... Мы играли в... прятки. Но это не полагается делать в Вестминстер-Холле *, надо соблюдать приличия перед клиентом, и они, знаете ли, поскорей убрались... Теперь они... я уверен, они нас подслушивают,— заключил Трэдлс, поглядывая на дверь в соседнюю комнату.

— Очень сожалею, что оказался виновником такого переполоха,— снова засмеялся я.

— Если бы вы видели, как они унеслись и как прибежали назад, чтобы собрать выпавшие из волос гребни, когда вы постучали, и как потом опять умчались галопом,— честное слово, вы бы этого не сказали! — заявил Трэдлс, и в тоне его было восхищение.— Любовь моя! Ты их позовешь?

Софи исчезла, и мы слышали, как в соседней комнате ее встретили взрывом хохота.

— Настоящая музыка, не правда ли, дорогой Копперфилд? — спросил Трэдлс.— Как приятно ее слушать! Очень, знаете ли, оживляет эти старинные комнаты. Для злополучного холостяка, который всю жизнь прожил один, это прямо наслаждение. Прямо наслаждение! Бедняжки! Они так много потеряли с уходом от них Софи — о, какое это бесценное существо! — что я вне себя от радости, когда вижу их в таком расположении духа. Общество молодых девушек, знаете ли, Копперфилд,— замечательная вещь. Оно не совсем согласуется с моей профессией, но все же это замечательная вещь.

На этих словах он слегка запнулся, и я понял, что он, по своей доброте, боится причинить мне боль; я поспешил

с ним согласиться, и моя искренность привела его в восхищение.

— Но, знаете ли, дорогой Копперфилд, если говорить правду, наше домашнее устройство отнюдь не соответствует моей профессии,— сказал Трэдлс.— Начать с того, что Софи проживает здесь. У нас нет другого жилья. Мы пустились в шлюпке в открытое море и готовы претерпеть любые лишения. Вы не можете себе представить, какая чудесная хозяйка Софи! Как она разместила всех девушек! Я даже сам не понимаю.

— А сколько их живет с вами? — спросил я.

— Старшая — та самая Красавица,— доверительно, шепотом сообщил Трэдлс.— Ее зовут Кэрелайн. А также Сара — вы помните, я вам как-то говорил, что у нее не совсем благополучно с позвоночником? Но теперь ей несравненно лучше. И две младших, которых Софи обучает. И еще Луиза.

— Да что вы! — воскликнул я.

— Да, да...— подтвердил Трэдлс.— У нас, знаете ли, квартира из трех комнат, но Софи так чудесно все устроила, что сестры спят со всеми удобствами. Трое в этой комнате. А двое — в той.

Я окинул глазами комнату, чтобы установить, где же помещаются миссис и мистер Трэдлс. Трэдлс меня понял.

— Я уже говорил, что мы готовы перенести любые лишения, и, знаете ли, всю эту неделю мы стелили постель вот здесь, на полу. Но на чердаке есть маленькая комнатка — ах, какая чудесная! Вот вы увидите! Софи сделала мне сюрприз и сама ее оклеила, и теперь это наша комната. Там прекрасно можно жить, правда немного на цыганский манер, но зато какой оттуда вид!

— Значит, вы в конце концов женились, милый Трэдлс,— сказал я.— Как я за вас рад!

— Благодарю, дорогой Копперфилд. От всей души! — Тут мы с Трэдлсом снова пожали друг другу руки.— Да, я так счастлив, как только возможно. Вот ваш старый знакомец,— Трэдлс с торжеством кивнул в сторону цветочного горшка, стоявшего на подставке.— А вот столик с мраморной доской. Остальная мебель у нас, как вы видите, простая и удобная. Что касается столового серебра, то пока у нас есть чайная ложечка.

— Ну, за этим дело не станет! — весело сказал я.

— Вот именно! — подтвердил Трэдлс.— За этим дело не станет. Разумеется, у нас есть чайные ложечки, потому что надо же чем-нибудь размешивать чай... Но они из британского металла.

— Серебро только ярче заблестит, когда оно появится,— сказал я.

— Мы то же самое говорим! — воскликнул Трэдлс.— Знаете ли, дорогой мой Копперфилд,— тут Трэдлс снова понизил голос,— когда я выступил по иску об изъятии собственности в деле Джайпс versus Вигзелла — а это выступление сослужило мне большую службу,— я отправился в Девоншир и имел серьезный разговор с его преподобием Хоресом. Я напирал на тот факт, что мы с Софи... ох! уверяю вас, Копперфилд, это самая чудесная девушка на свете...

— Нисколько не сомневаюсь! — подтвердил я.

— О да! — отозвался Трэдлс.— Но, мне кажется, я отвлекся в сторону... Я упомянул о его преподобии Хоресе?

— Вы сказали, что напирали на тот факт...

— Правильно! Напирал на тот факт, что мы с Софи помолвлены уже очень давно и что Софи, с разрешения родителей, готова выйти замуж...— тут открытое лицо Трэдлса озарилось знакомой чистосердечной улыбкой,— за меня, каков я есть... короче говоря... с ложечками из британского металла. Превосходно! Затем я попросил его преподобие Хореса,— какой это замечательный пастырь, дорогой Копперфилд, ему бы быть епископом или по крайней мере не жить в такой нужде! — попросил согласиться на наш брак, если я заработаю за год двести пятьдесят фунтов и смогу рассчитывать на такую же сумму в следующем году, а может быть, и на бо́льшую, а также если я смогу скромно обмеблировать квартирку вроде вот этой... Я взял на себя смелость сказать, что мы терпеливо ждали много лет и что такие любящие родители не должны препятствовать ей устроить свою жизнь только потому, что она крайне им нужна дома. Вы меня понимаете?

— Конечно, не должны! — сказал я.

— Очень рад, что вы так думаете, Копперфилд, потому что, мне кажется, в подобных случаях,— я не хочу

ни в чем порицать его преподобие Хореса! — родители, братья и прочие родственники бывают иногда слишком эгоистичны. Превосходно! Я сказал также, что от всей души хочу быть полезным его семейству и, если я пробью себе дорогу, а с ним что-нибудь случится... Я имею в виду его преподобие Хореса...

— Понимаю,— сказал я.

— ...или с миссис Крулер... то я с радостью заменю родителей его дочерям. Он отвечал в самых лестных для меня выражениях и обещал испросить согласие миссис Крулер. Но с ней им пришлось повозиться!.. Это перебросилось у нее с ног на грудь, а затем и на голову...

— А что перебросилось? — спросил я.

— Огорчение! — ответил с серьезным видом Трэдлс.— Вообще все чувства. Я уже как-то говорил, что она превосходнейшая женщина, но не может двигать ни руками, ни ногами. Любое волнение бросается ей на ноги. Но на этот раз оно бросилось и на грудь и на голову и, короче говоря, потрясло весь ее организм самым ужасным образом. Однако благодаря тщательному уходу они со всем этим справились, и вчера минуло полтора месяца, как мы поженились. Ох, Копперфилд! Вы не можете себе представить, каким я чувствовал себя чудовищем, когда все семейство рыдало и все падали в обморок! А миссис Крулер — та не могла даже видеть меня перед нашим отъездом... Не могла, знаете ли, мне простить, что я отнял у нее ее ребенка. Но она доброе существо и теперь уже может меня видеть. Сегодня утром, например, я получил от нее славное письмецо.

— Короче говоря, мой милый друг, вы счастливы, как этого заслуживаете,— вставил я.

— О! Вы ко мне пристрастны! — засмеялся Трэдлс.— Но, по правде говоря, мне можно позавидовать. Я работаю не покладая рук и без устали изучаю право. Встаю я каждый день в пять часов утра, но мне это нипочем. Днем я прячу девушек, а вечером мы веселимся. И, право же, меня огорчает, что во вторник накануне Михайлова дня они поедут домой. А вот и девушки! — Трэдлс заговорил громко.— Знакомьтесь: мистер Копперфилд, мисс Крулер... мисс Сара... мисс Луиза... Маргарет и Люси!

Это был настоящий розарий; все они были здоровые

и цветущие. И все они были хорошенькие, а мисс Кэрелайн — та была очень красива; но лицо у Софи было такое милое, доброе и заботливое, что, по моему мнению, мой друг сделал хороший выбор. Все мы уселись вокруг камина, а тем временем смышленый на вид подросток,— который, по-видимому, запыхался перед моим появлением оттого, что спешно доставал груду бумаг и устилал ими стол,— теперь убрал эти бумаги и поставил на стол чайную посуду. Потом он удалился, с шумом закрыв входную дверь. Миссис Трэдлс, спокойная и веселая, приготовила чай и, присев в уголке у камина, стала поджаривать на вилке гренки.

Занимаясь этим делом, она рассказала, что виделась с Агнес. Для свадебного путешествия «Том» выбрал Кент и повез ее туда, и там она увиделась также и с бабушкой; обе они — и бабушка и Агнес — были вполне здоровы и говорили только обо мне. А что касается до «Тома», то он — она в этом уверена — думал обо мне все время, пока меня не было. «Том» был для нее авторитетом решительно во всех вопросах. «Том» явно был ее кумиром, и никакая сила не могла сбросить его с пьедестала; она верила в него непоколебимо и всей душой, она перед ним благоговела.

Почтительность, с которой они относились к Красавице, мне очень понравилась. Не знаю, было ли это разумно, но, во всяком случае, это было очаровательно и соответствовало их натуре. Если Трэдлс и сожалел временами о том, что у них еще нет серебряных чайных ложек, то, несомненно, в те мгновения, когда он передавал Красавице чашку с чаем. Что же касается до его милой и скромной жены, если она чем-нибудь и гордилась, то только тем, что сестра у нее — красавица. А та была чуть-чуть капризна и избалована, но и Трэдлс и его жена бесспорно признавали эти качества неотъемлемым ее даром. Пожалуй, они были бы очень довольны, родись они трудовыми пчелами, а она — пчелиной маткой.

Эта самоотверженность восхитила меня. Ничто не могло вызвать большего уважения к ним, чем готовность исполнять любые прихоти этих девушек, которыми они явно гордились. Раз десять в течение вечера свояченицы обращались к Трэдлсу, называя его «любовь моя»; то он

должен был что-то принести, то что-то отнести, то что-то показать, то что-то найти... А без Софи они решительно ничего не могли делать. У одной растрепалась прическа, и только Софи могла привести ее в должный вид. Другая забыла какой-то мотив, и только Софи могла напеть его правильно. Третья пыталась вспомнить название какого-то местечка в Девоншире, и только Софи знала это название. Когда надо было писать письмо домой, это поручалось сделать Софи перед завтраком. Когда они вязали и у кого-то из них спустилась петля, только Софи могла исправить ошибку. Хозяйками квартиры были они, а Софи с Трэдлсом только и делали, что им угождали. Не знаю, много ли детей в свое время было на попечении Софи, но казалось, что нет на английском языке такой детской песенки, которую не знала бы Софи, и она пела их чистым, звонким голоском без конца, одну за другой (каждая сестра, не исключая и Красавицы, требовала пропеть свою любимую песенку), пела так, что совсем меня очаровала. А особенно приятно было видеть, с какой нежностью и уважением, невзирая на свою требовательность, относились все сестры к Софи и Трэдлсу. Когда настало время мне уходить и Трэдлс собрался проводить меня до кофейни, право же, я никогда не видел, что еще на какую-нибудь упрямую шевелюру — да и вообще на какую бы то ни было шевелюру — пролился бы такой ливень поцелуев.

Это была картина, о которой я вспоминал с удовольствием еще долго после того, как возвратился к себе, пожелав Трэдлсу спокойной ночи. Если бы в этой квартирке под самой крышей увядшего Грейс-Инна выросли тысячи роз, они не могли бы ее так украсить, как это семейство. Девушки из Девоншира, очутившиеся в гуще адвокатских контор и лавок с сухими юридическими книгами, чай с гренками и детские песенки и тут же это мрачное царство — пергаменты, красная тесьма, пыльные облатки для запечатывания писем, сандарак, бутылки чернил, судебные дела, векселя, сборники законов, прошения, заявления, счета; все это показалось мне почти таким же неправдоподобным, как если бы мне приснилось, что прославленное семейство султана попало в список адвокатов и появилось в Грейс-Инн-Холле вместе с гово-

рящей птицей, поющим деревом и золотой водой. И тем не менее, распростившись с Трэдлсом и вернувшись к себе в кофейню, я перестал бояться за его будущее. Все пойдет на лад, думал я, вопреки всем старшим слугам в гостиницах Англии.

Я уселся перед камином в общем зале кофейни, чтобы подумать о Трэдлсе, но мало-помалу перешел от размышлений о его счастье к созерцанию горящих углей и, следя за бесконечными их превращениями, стал думать о превратностях и утратах моей жизни. За эти три года, что̀ я не был в Англии, мне не приходилось видеть уголь в камине, но дров в камине я видел немало, и сколько раз седой пепел, в который они рассыпались, и неровные кучки золы напоминали мне о моих несбывшихся надеждах!

И теперь я думал о прошлом, думал с грустью, но без горечи. Не теряя бодрости, я мог теперь думать и о будущем. Домашнего очага у меня не было. Той, кто могла бы меня полюбить, я внушил, что она мне сестра. Когда-нибудь она выйдет замуж, и кто-то другой станет притязать на ее нежность, а она даже не узнает о том, что я люблю ее. За свое безрассудство я должен нести расплату, и это справедливо. Что̀ посеешь, то и пожнешь.

Я думал об этом, но думал и о том, смогу ли заставить свое сердце быть покорным, смогу ли вынести испытание и довольствоваться тем местом у ее домашнего очага, какое она занимала у моего... И вдруг передо мной возникло одно лицо, оно возникло, казалось, прямо из пламени и связано было с ранними моими воспоминаниями.

В противоположном углу зала сидел, погрузившись в чтение газеты, маленький доктор Чиллип, который оказал мне такую услугу в первой главе этого повествования. Теперь он был уже изрядно стар, но на этом робком, кротком, тихом человечке годы мало отразились, и я подумал, что точь-в-точь таким он мог казаться и тогда, когда сидел у нас в гостиной и ждал моего появления на свет.

Мистер Чиллип уехал из Бландерстона лет шесть-семь назад, и с той поры я его не видел. Склонив голову набок, он мирно читал газету, а рядом с ним стояла рюмка подогретого хереса с пряностями. Он держал себя так застенчиво, что, казалось, читая газету, просил ее простить ему эту дерзость.

Я подошел к нему и сказал:

— Как поживаете, мистер Чиллип?

Неожиданное обращение незнакомца крайне его смутило, и он ответил, как всегда, медленно:

— Благодарю вас, сэр. А вы как? Надеюсь, хорошо?

— Вы меня не узнаете? — спросил я.

— Не узнаю,— повторил мистер Чиллип с улыбкой, внимательно всматриваясь в меня.— Ваше лицо кажется мне знакомым, сэр, но я действительно не могу припомнить вашей фамилии.

— А ведь вы знали ее еще до той поры, как я сам ее узнал.

— Да что вы, сэр! Возможно, что я был при исполнении своих обязанностей, когда вы, сэр...

— Вот именно,— сказал я.

— Боже мой! — воскликнул мистер Чиллип.— Но, должно быть, вы очень с той поры изменились, сэр?

— Вполне возможно,— согласился я.

— Но тогда простите меня, если я возьму на себя смелость и попрошу вас назвать вашу фамилию.

Когда я назвал себя, он взволновался не на шутку. Он даже потряс мне руку, что являлось для него очень бурным проявлением чувств, так как обычно он подавал свою тепловатую руку лопаточкой, выдвигая на дюйм-два от бедра, и крайне смущался, если кто-нибудь ее сжимал. Даже теперь, высвободив руку, он мгновенно засунул ее в карман, словно у него на душе полегчало, когда она оказалась в полной безопасности.

— Боже ты мой! Так вы — мистер Копперфилд! — склонив голову набок и разглядывая меня, сказал мистер Чиллип.— Простите, сэр, но, мне кажется, я вас узна́ю, если осмелюсь рассмотреть вас внимательно. Вы очень похожи на вашего покойного отца, сэр.

— Я не имел счастья видеть своего отца,— сказал я.

— Совершенно верно, сэр,— мягко подтвердил мистер Чиллип.— Это большое горе. А мы, сэр, в нашем краю тоже прослышали о вашей славе,— тут мистер Чиллип снова покачал головой и, постучав себя пальцем по лбу, добавил: — Здесь у вас должно быть сильное возбуждение. Ваши занятия должны вас очень утомлять, сэр.

— А где вы сейчас живете? — спросил я, усаживаясь рядом с ним.

— Живу я, сэр, в нескольких милях от Бери-Сент-Эдмундс,— ответил мистер Чиллип.— Отец моей супруги оставил ей по завещанию в тех местах небольшую недвижимость, а я купил там практику. Смею надеяться, вам будет приятно узнать, что мои дела идут хорошо. Моя дочь, сэр, очень выросла,— мистер Чиллип снова слегка потряс головой.— Только на прошлой неделе, сэр, ее матушка выпустила на ее платьях две складки. Вот как идет время, сэр!

После такого заключения человечек поднес к своим устам рюмку, но она была пуста, и я предложил выпить еще по рюмке.

— Правду говоря, сэр,— медленно сказал мистер Чиллип,— обычно я выпиваю одну, но на этот раз не могу отказать себе в удовольствии побеседовать с вами. Кажется, будто только вчера я лечил вас, когда вы болели корью. Вы чудесно перенесли ее, сэр!

Я поблагодарил его за комплимент и заказал негуса *, который скоро подали.

— Какая невоздержность! — сказал мистер Чиллип, размешивая напиток.— Но ничего не поделаешь, такой непредвиденный случай. У вас есть дети, сэр?

Я покачал головой.

— Я слышал о вашей утрате, сэр. Узнал от сестры вашего отчима. Не правда ли, очень решительный у нее характер, сэр?

— Весьма решительный. Где вы ее встречали, мистер Чиллип?

— Вы разве не знаете, сэр, что ваш отчим снова проживает по соседству со мной? — кротко улыбаясь, спросил мистер Чиллип.

— Не знаю.

— Да, он проживает по соседству со мной. Женился на молодой леди из тех краев, у нее, бедняжки, там небольшая недвижимость... А как ваша голова, сэр? Вам не кажется, что вы ее утомили? — Тут мистер Чиллип поглядел на меня с большим любопытством.

Этот вопрос я оставил без ответа и вернулся к Мэрдстонам.

— Я знал, что он снова женился. Вы у них лечите? — спросил я.

— Не постоянно. Но иногда меня приглашают,— ответил он.— Шишка твердости, сэр, очень развита у мистера Мэрдстона и его сестры.

Я ответил таким выразительным взглядом, что этот взгляд, вкупе с рюмкой негуса, вселил в мистера Чиллипа смелость, и он потряс головой несколько раз подряд, а потом в раздумье воскликнул:

— Боже ты мой! Как далеки те времена, мистер Копперфилд!

— А брат с сестрой живут все так же? — спросил я.

— Врач, сэр, близко соприкасается с каждым семейством и должен слышать и видеть только то, что имеет отношение к его профессии. Скажу одно: они люди очень жесткие, сэр, и для этой жизни и для грядущей.

— В жизни грядущей все будет в порядке и без их содействия, а вот как они себя ведут в этой жизни? — сказал я.

Мистер Чиллип покачал головой, помешал негус и отхлебнул из рюмки.

— Это очень милая женщина, сэр,— сказал он, и в тоне его было сострадание.

— Теперешняя миссис Мэрдстон?

— Очень милая женщина, сэр, исключительно приятная. По мнению миссис Чиллип, характер у нее совсем изменился после ее замужества, и теперь меланхолия довела ее до помешательства. А ведь леди очень наблюдательны, сэр,— пугливо закончил мистер Чиллип.

— Должно быть, они хотели ее сломать и подогнать под свою гнусную мерку, помоги ей бог! — сказал я.— И так оно и случилось.

— Раньше были крупные ссоры, сэр, могу вас уверить,— сказал мистер Чиллип.— Но теперь она превратилась в тень. Осмелюсь сказать вам по секрету, сэр, что, когда ему на помощь пришла сестра, в их руках она стала почти слабоумной.

Я сказал, что вполне этому верю.

— Скажу без колебаний, но, конечно, между нами, сэр,— тут мистер Чиллип для смелости подкрепился глотком негуса,— что они уморили ее мать... а их тиранство,

мрачность и преследования привели к тому, что она сделалась почти слабоумной. До замужества, сэр, это была жизнерадостная девушка, но их мрачность и суровость ее погубили. Они обращаются с ней скорей как надсмотрщики, а не как муж и золовка. Это сказала мне на прошлой неделе миссис Чиллип. И могу вас уверить, сэр,— леди очень наблюдательны. А миссис Чиллип в особенности.

— И он все еще и все так же мрачно заявляет о своей... религиозности?.. Мне стыдно употреблять это слово в применении к нему...— сказал я.

— Вы точно подслушали, сэр, одно из самых удивительных замечаний миссис Чиллип! — сказал мистер Чиллип, у которого веки стали красными от добавочной порции горячительного напитка.— Миссис Чиллип,— продолжал он спокойно и медленно, как всегда,— поразила меня: она сказала, что мистер Мэрдстон превозносит себя и считает божеством. Когда миссис Чиллип об этом рассказала, уверяю вас, сэр, я еле удержался на ногах. О, леди очень наблюдательны, сэр!

— Интуиция,— заметил я к крайнему его восхищению.

— Как я рад, что вы разделяете мое мнение, сэр! — сказал он.— Уверяю вас, я не часто решаюсь выразить свое мнение по вопросам, которые не связаны с медициной. Мистер Мэрдстон иногда произносит речи публично, и говорят... словом, таково мнение миссис Чиллип... что чем больше он тиранит свою жену, тем более жесток в своих религиозных наставлениях.

— Мне кажется, миссис Чиллип совершенно права,— заметил я.

— Миссис Чиллип даже утверждает,— продолжал кротчайший человечек, ободренный моим замечанием,— что для подобных людей убеждения, которые они ложно именуют религиозными,— только повод для того, чтобы проявить свою угрюмость и высокомерие. И знаете, сэр, я должен сказать,— тут мистер Чиллип снова кротко склонил голову набок,— что в Новом завете я не нашел оправданий для мистера и мисс Мэрдстон.

— И я никогда не находил,— заметил я.

— Надо сказать,— продолжал мистер Чиллип,— что

их очень не любят. А так как они не стесняются предрекать всем, кто их не любит, вечную гибель, то в наших краях многие осуждены на гибель. Но, как говорит миссис Чиллип, наказание не миновало их самих, потому что их взгляд обращен внутрь и они питаются своими собственными сердцами, а их сердца — плохая пища. Однако разрешите, сэр, вернуться к вашему мозгу. Не слишком ли вы возбуждаете ваш мозг, сэр?

Мозг самого мистера Чиллипа был достаточно возбужден под влиянием негуса, и мне было нетрудно отвлечь его внимание от этой темы и направить на собственные его дела. В течение получаса он охотно говорил о них, сообщив, между прочим, как он попал в кофейню в Грейс-Инне: в качестве врача-эксперта ему предстояло дать показания комиссии, исследующей умственное состояние больного, который помешался вследствие злоупотребления спиртными напитками.

— Уверяю вас, сэр, я очень волнуюсь в таких случаях,— сказал он.— Я не могу выносить, сэр, когда на меня... как это говорится... наседают. Я тогда теряю мужество. Знаете ли, я не сразу пришел в себя после встречи с этой грозной леди в ту ночь, когда вы появились на свет, мистер Копперфилд!

Я сообщил ему, что завтра рано утром отправляюсь к бабушке — этому самому дракону той памятной ночи — и что она превосходнейшая женщина и сердце у нее добрейшее, в чем он мог бы легко убедиться, если бы знал ее лучше. Одна только возможность встретить ее снова привела его в ужас. С бледной улыбкой он сказал:

— Да что вы говорите, сэр! Правда?

И почти тотчас же потребовал свечу, чтобы идти спать, словно нигде не чувствовал себя в безопасности. Он не пошатывался, выпив свой негус, но все же, мне кажется, его пульс,— такой спокойный, бился на два-три удара в минуту быстрее, чем все эти годы после той ночи, когда бабушка в припадке разочарования хлопнула его по голове своей шляпкой.

Я очень устал и тоже пошел спать около полуночи. На следующий день я отправился в карете в Дувр и ворвался целым и невредимым в знакомую гостиную бабушки, где она сидела за чаем (теперь она носила очки). Со сле-

зами радости и с распростертыми объятиями встретили меня она, мистер Дик и милая старая Пегготи, занимавшая пост домоправительницы. Бабушка очень позабавилась, когда, успокоившись, я рассказал ей о своей встрече с мистером Чиллипом, который сохранил о ней такие ужасные воспоминания. И Пегготи и ей было что рассказать мне о втором муже моей бедной матери и об этой «женщине-убийце, которая приходится ему сестрой». Думаю, никакие пытки не могли бы заставить бабушку назвать мисс Мэрдстон по имени или по фамилии, да и вообще как-нибудь иначе.

ГЛАВА LX
Агнес

Мы остались с бабушкой вдвоем и проговорили до глубокой ночи. Я узнал о том, что эмигранты пишут домой бодрые, обнадеживающие письма, а мистер Микобер уже несколько раз присылал небольшие суммы денег в счет погашения тех «денежных обязательств», к которым он относился весьма по-деловому, «как подобает мужчинам»; о том, что Дженет, снова вернувшись к бабушке, когда та возвратилась в Дувр, окончательно отреклась от своей неприязни к мужскому полу и вышла замуж за преуспевающего хозяина таверны, да и сама бабушка окончательно отвергла свой замечательный принцип, приняв деятельное участие в свадебных хлопотах и увенчав церемонию бракосочетания своим присутствием. Таковы были некоторые темы нашей беседы — кое о чем я уже знал из ее писем. Разумеется, говорили и о мистере Дике. По словам бабушки, он неустанно переписывает все, что попадается ему под руку, причем, занимаясь этим делом, держит короля Карла Первого на почтительном расстоянии; видеть его счастливым и на свободе, а не влачащим жалкую жизнь под замком — великая для нее радость, говорила бабушка, добавляя (это заключение она преподносила как новинку), что только она знает настоящую цену этому человеку.

— А когда, Трот, ты отправляешься в Кентербери? — спросила бабушка, сидя, как обычно, перед камином и ласково поглаживая меня по руке.

— Если вы не поедете со мной, я возьму верховую лошадь и отправлюсь завтра утром,— ответил я.

— Не поеду,— отчеканила в своей излюбленной лаконичной форме бабушка.— Я останусь.

Тогда я сказал, что поеду один. Проезжая через Кентербери, я бы непременно там задержался, если бы мне предстояла встреча не с бабушкой, а с кем-нибудь другим.

Она была тронута, но ответила:

— Ну вот еще, Трот! Мои старые кости могли бы подождать до завтра.

И она нежно погладила мою руку, а я сидел у камина и в раздумье глядел на огонь.

В раздумье... Ибо как только я очутился близко от Агнес, в моей душе пробудились старые, знакомые сожаления. Сожаления, быть может смягченные, ибо они учили меня тому, чего я не постиг в пору моей юности, но все же сожаления. Казалось, я снова слышу слова бабушки: «О Трот! Слепец, слепец, слепец!» Теперь я понимал их лучше.

Некоторое время мы молчали. Подняв глаза, я увидел, что она пристально на меня глядит. Быть может, она угадала ход моих мыслей; теперь это было легче, чем в ту пору, когда я был так своеволен.

— Ее отец стал седым стариком, но он куда лучше, чем был раньше,— прямо заново родился,— сказала бабушка.— Теперь он не измеряет все людские горести и радости своей жалкой меркой. Поверь мне, дитя мое, надо сперва все очень приуменьшить, прежде чем измерять *такой* меркой.

— Это верно,— согласился я.

— А она все такая же, как была, добрая, милая, ласковая, все так же думает только о других,— продолжала бабушка.— Если бы я могла сказать о ней еще лучше, я сказала бы, Трот.

В ее устах это была высшая похвала. А для меня эти слова прозвучали как самый тяжелый укор. О, как я сбился когда-то с пути!

— Если она воспитает своих маленьких учениц так,

чтобы они стали похожи на нее, значит, благодарение богу, она недаром живет на свете,— сказала бабушка, и на глазах ее показались слезы.— Приносить пользу — это счастье. Так она сказала однажды. Как же ей не быть счастливой?

— Есть ли у Агнес...

Я скорее подумал вслух, чем вымолвил эти слова.

— Ну-ну! Что? — отрывисто спросила бабушка.

— Претендент на ее руку? — сказал я.

— Да их целый десяток! — с гордостью воскликнула бабушка.— Она могла бы двадцать раз выйти замуж, мой дорогой, с тех пор как ты уехал!

— В этом я не сомневался. Нисколько не сомневался. Но есть ли среди них тот, кто был бы достойным ее? Другого Агнес не смогла бы полюбить.

Подперев подбородок рукой, бабушка некоторое время о чем-то думала. Потом медленно подняла на меня глаза и сказала:

— Подозреваю, Трот, что она к кому-то неравнодушна.

— А ей отвечают взаимностью? — спросил я.

— Не могу сказать, Трот,— ответила бабушка, и вид у нее был серьезный.— Этого я не имею права тебе говорить. Она никогда мне не признавалась, но я подозреваю.

Она зорко взглянула на меня (мне показалось, она слегка вздрогнула), и я почувствовал еще яснее, чем раньше, что она угадала мои мысли. Я призвал всю свою решимость, пробудившуюся во мне в эти дни и ночи борьбы, происходившей в моем сердце.

— Если это так, а я надеюсь, что это так...

— Мне это неизвестно,— перебила меня бабушка.— На мои подозрения ты не полагайся. Ты должен держать их в тайне. Может быть, они неосновательны. Я не имею права говорить.

— Если это так,— повторил я.— Агнес скажет мне об этом в свое время. Сестра, которой я во многом признавался, бабушка, не откажется признаться и мне.

Бабушка отвела взгляд так же медленно, как раньше подняла на меня глаза; потом задумчиво заслонила глаза рукой и тихо положила руку мне на плечо. Так мы сидели, не говоря ни слова, оба ушедшие в прошлое, пока не настало время прощаться перед сном.

Рано утром я отправился верхом туда, где протекли мои школьные дни. Меня ждала встреча с Агнес, но все же не знаю, был ли я счастлив при мысли, что одержал над собой победу...

Быстро промелькнули передо мной знакомые места, и я въехал в город, где каждый камень на улицах я знал так же, как школьник знает свой букварь. У старого, милого дома я спешился, но от волнения не мог войти и повернул назад. Потом я возвратился и заглянул в низкое окно — в то самое окно башенки, у которого сидел в старые времена Урия Хип, а потом мистер Микобер; теперь эта комнатка превратилась из канцелярии в маленькую гостиную. Но в остальном старый дом ничуть не изменился, он оставался все таким же опрятным, как раньше, когда я увидел его впервые, и содержался в таком же образцовом порядке. Служанка была новая. Я поручил ей передать мисс Уикфилд, что ее ждет джентльмен, приехавший из-за границы от ее друга. По старой, такой знакомой лестнице (это меня-то служанка предупреждала, чтобы я шел осторожно!) я поднялся наверх в гостиную. Гостиная тоже ничуть не изменилась. На тех же самых полках лежали книги, которые мы читали вместе с Агнес; там же, где и раньше, неподалеку от стола, стояла моя конторка, за которой я готовил уроки. Комнату эту восстановили в том виде, в каком она была до пребывания в доме Хипов. Теперь она стала такой же, как и в старые, счастливые времена.

Я стоял у окна, смотрел на дома по другой стороне старой улицы и вспоминал о том, как глядел я на них в те дождливые дни, когда только что здесь поселился. Вспоминал о том, какие я строил догадки о жильцах, видневшихся за стеклами окон, и с каким любопытством следил за ними, когда они спускались и поднимались по лестницам, или за женщинами, которые стучали патенами по тротуару, а надоедливый дождь хлестал косыми струями и изливался из водосточных труб прямо на улицу. Вспомнилось мне, как любил я наблюдать за бродягами, которые входили, прихрамывая, в город в эти дождливые вечера, неся на плече палку, на которой болтался узелок; казалось мне, я чувствовал тогда запах сырой земли, мокрых листьев, терновника и ощущал ве-

тер, дувший мне в лицо во дни моего трудного странствия.

Вдруг открылась маленькая дверь в стене, обитой панелью. Я вздрогнул и обернулся.

Строгие, прекрасные глаза ее встретились с моими. Она приостановилась, схватилась рукой за сердце. Я обнял ее.

— Дорогая моя Агнес! Мне не следовало являться так неожиданно!

— О нет! Я так рада вас видеть, Тротвуд!

— Дорогая Агнес! Это я счастлив, что снова вижу вас!

Я прижал ее к своей груди, и с минуту мы молчали. Потом мы сели рядом, ее ласковое лицо обращено было ко мне, и эти глаза смотрели на меня с той нежностью, о которой я уже несколько лет мечтал днем и ночью.

Она была такая прямодушная, такая прекрасная, такая добрая, я так был обязан ей, и она мне так была дорога, что я не знал, как выразить свои чувства. Я пытался призывать на нее благословения, пытался благодарить ее, пытался ей рассказать (сколько раз я писал об этом в своих письмах!), какое влияние оказала она на меня, но все попытки мои были напрасны. Радость мою и любовь я не мог выразить словами.

Своим спокойствием она утишила мое волнение. Заговорила о тех днях, когда мы расстались, рассказала об Эмили, которую она тайком несколько раз посещала, трогательно напомнила мне о могиле Доры. Инстинктивно, повинуясь своему благородному сердцу, она с такой деликатностью коснулась струн моей памяти, что ни одна из них не отозвалась во мне резким звуком. Я мог слушать эту печальную музыку, доносившуюся откуда-то издалека, и не отшатываться от того, что она пробуждала. Могло ли быть иначе, если со всем этим была связана она, мой ангел-хранитель?

— Но расскажите о себе, Агнес,— воскликнул я наконец.— Вы еще ничего не рассказали о том, что делали все это время.

— А что мне рассказывать? — улыбаясь, спросила она.— Папа чувствует себя хорошо. Вы видите: мы здесь, в нашем доме, наши тревоги позади. Вы это знаете, дорогой Тротвуд, а значит, знаете все.

— Все, Агнес? — спросил я.

Она посмотрела на меня смущенно и с некоторым недоумением.

— А нет ли, сестра моя, еще чего-нибудь?

Она побледнела, покраснела и снова побледнела. Потом улыбнулась, печально улыбнулась, как мне показалось, и покачала головой.

Мне хотелось услышать от нее признание, на которое намекала бабушка. Как ни трудно мне было бы услышать это признание, я должен был скрепить свое сердце и исполнить свой долг перед нею. Но я видел, что ей не по себе, и не настаивал.

— Вы много заняты, дорогая Агнес?

— В моей школе? — спросила она так же спокойно, как и раньше.

— Да. Приходится много работать?

— Работа доставляет мне такое удовольствие, что, право же, я была бы неблагодарна, если бы называла так мои занятия,— сказала она.

— Делать доброе дело вы не считаете трудным,— заметил я.

Снова она покраснела и снова побледнела, а когда наклонила голову, я увидел на ее лице ту же печальную улыбку.

— Вы должны дождаться папу. Мы проведем вместе день, не правда ли? Может быть, вы переночуете в вашей комнате? Мы всегда зовем ее вашей.

Оставаться на ночь я не мог — я обещал бабушке приехать к вечеру, но с радостью согласился побыть с ними до вечера.

— Некоторое время я буду занята,— сказала Агнес,— но здесь старые книги, Тротвуд, и старые ноты.

— Даже старые цветы,— оглядывая комнату, вставил я.— Во всяком случае, такие же цветы, как и прежде.

— Когда вас не было, мне доставляло удовольствие сохранять все в том же виде, как во времена нашего детства. Мне кажется, мы были счастливы тогда.

— О да! Бог тому свидетель!

— И каждая вещь, которая мне напоминала о моем брате, была мне дорога,— продолжала Агнес, весело и ласково глядя на меня.— Даже вот эти ключи,— она по-

казала на корзиночку, полную ключей, висевшую у нее на поясе,— звенят так же, как в нашем детстве.

Она снова улыбнулась и вышла в ту же дверь, из которой появилась.

Такую сестринскую любовь я должен был с благоговением хранить. Это все, что я оставил для себя, но и это было бесценное сокровище. Если я когда-нибудь обману священное доверие, во имя которого мне была дарована эта любовь, я потеряю ее и никогда не обрету снова. В этом я твердо убедился. И чем больше я ее люблю, тем тверже мне надлежит об этом помнить.

Я вышел побродить по улицам, взглянуть на моего старого врага-мясника — теперь он был констебль, и его жезл висел в лавке — и на то место, где я его победил. На память мне пришли и мисс Шеперд, и старшая мисс Ларкинс, и все прежние мои увлечения, симпатии и антипатии. Но ничто не уцелело до этих дней, ничто, кроме моего чувства к Агнес. А она, как звезда надо мной, поднималась все выше и сияла все ярче.

Когда я возвратился, появился и мистер Уикфилд — он пришел из сада, находившегося милях в двух от города; почти ежедневно он теперь занимался этим садом. Я нашел его таким, как описывала бабушка. Вместе с нами обедали пять-шесть маленьких девочек; мистер Уикфилд казался лишь тенью портрета, который висел на стене.

Мир и покой, присущие с прежних времен этому тихому дому и такие мне памятные, я ощутил вновь и теперь. Когда кончился обед, мистер Уикфилд не прикоснулся к вину; мне тоже не хотелось пить, и мы поднялись наверх. Там маленькие ученицы Агнес пели, играли и занимались делом. После чая дети ушли, а мы втроем остались поговорить о прошлом.

— Вы хорошо знаете, Тротвуд,— сказал мистер Уикфилд,— что у меня есть много оснований сожалеть о прошлом... глубоко сожалеть и глубоко сокрушаться... Однако, если бы это и было в моей власти, я не хотел бы изгладить его из памяти...

Этому я мог поверить — рядом с ним стояла Агнес.

— Мне пришлось бы тогда, — продолжал он,— забыть о любви моей дочери, о преданности ее, о ее самопожер-

твовании... Но этого я забыть не могу — скорее я забуду самого себя!

— Понимаю вас, сэр,— мягко сказал я.— Перед этим я всегда преклонялся и преклоняюсь.

— Но никто не знает, даже вам неизвестно, что́ она для меня делала, что́ ей пришлось вынести и как тяжко она страдала! Родная моя Агнес!

Она прикоснулась к его руке, пытаясь остановить его. Она была очень, очень бледна.

— Не будем об этом говорить! — вздохнул он. Я понял, что он имел в виду испытания, через которые она прошла; быть может, они еще не кончились для нее (я вспомнил то, что говорила мне бабушка).— Так...— продолжал он.— Я никогда не говорил вам о ее матери? И никто о ней вам не рассказывал?

— Нет, сэр.

— В сущности, рассказывать много не о чем... Только о том, что она много страдала. За меня она вышла против воли своего отца, и он от нее отрекся. До рождения Агнес она молила его о прощении. Но он был человек жестокий, а мать ее давно умерла. И он оттолкнул ее. И разбил ей сердце.

Агнес прильнула к плечу отца и обвила рукой его шею.

— Сердце у нее было мягкое и любящее, и оно разбилось. Я хорошо знал ее нежную натуру. Да и кто лучше меня мог ее знать? Она горячо меня любила, но никогда не была счастлива. В глубине души она очень страдала; когда отец оттолкнул ее в последний раз, она была измучена, слаба... Потом стала хиреть и скончалась. А я остался с Агнес, которой было только две недели. Остался с Агнес и с поседевшей головой — вы ведь помните меня, когда впервые у нас появились...

Он поцеловал Агнес в щеку.

— Печальна была моя любовь к моему дорогому ребенку, но тогда душа у меня была больна. Об этом я больше не стану говорить. Я говорю ведь не о себе, Тротвуд, а об Агнес и ее матери. Я знаю, вам достаточно хоть что-нибудь узнать о том, каким я был и каким стал, и вы все поймете. А какова Агнес, мне нет нужды говорить. В ее натуре я ясно вижу черты ее матери. И го-

ворю вам это теперь, когда мы снова встретились после таких перемен. Больше мне нечего сказать.

Голова его поникла. В ее ангельских глазах, устремленных на него, светилась дочерняя преданность, которая казалась еще более трогательной после того, что он рассказал. Если бы мне был нужен какой-нибудь памятный знак, который отмечал бы вечер нашей встречи после долгой разлуки, таким знаком мог бы стать этот ее взгляд.

А затем Агнес отошла от отца, неслышно села за фортепьяно и сыграла несколько знакомых мелодий, которые так часто слышали мы в прежние времена.

— Вы снова собираетесь уехать? — спросила меня Агнес, когда я стоял возле нее.

— А что скажет по этому поводу моя сестра?

— Надеюсь, что нет.

— Значит, я не поеду, Агнес.

— Раз вы спросили меня, Тротвуд, мне кажется, вы не должны ехать,— мягко сказала она.— Допустим, я могла бы обойтись без моего брата, но уезжать вам несвоевременно. Ваш успех и известность, которые все растут, помогут вам приносить людям добро.

— Я таков, каким вы меня сделали, Агнес. И вы это должны знать.

— *Я* сделала вас, Тротвуд?

— Да! Да, дорогая моя Агнес! — сказал я, наклонившись к ней.— Когда мы сегодня встретились, я хотел сказать вам, о чем я думал после смерти Доры. Помните, Агнес, как вы вошли в нашу комнату и как вы указали рукой на небо?

— О Тротвуд! — сказала она, и слезы показались у нее на глазах.— Такая любящая, такая доверчивая и такая юная! Разве я могу забыть?

— Вы всегда были для меня тою же, сестра моя. Всегда указывали мне на небо, всегда вели меня к высоким целям!

Она только покачала головой; слезы еще не высохли на ее лице, печальная улыбка появилась на нем.

— За это я так благодарен вам, Агнес, что не знаю, как назвать мое чувство к вам. Не знаю, как это вам сказать, но хочу, чтобы вам было известно: всю мою даль-

нейшую жизнь я вверяю вам, руководите мной так же, как это было в мрачные для меня времена, которые отошли в прошлое. Что бы ни случилось, какие бы новые узы вы на себя ни наложили, какие бы перемены ни произошли у вас и у меня, помните одно: моя жизнь вверена вам, и я всегда буду вас любить, как любил до сих пор. Вы всегда будете, как были раньше, моей опорой и утешением. До самой своей смерти, сестра моя любимая, я всегда буду видеть перед собой вас — указывающую мне на небеса.

Она опустила свою руку на мою и сказала, что гордится мной и тем, что я сказал, хотя она и не заслужила моих похвал. Потом, не спуская с меня глаз, она снова начала играть.

— Знаете ли, Агнес,— продолжал я,— когда впервые я вас увидел и еще ребенком сидел рядом с вами, я странным образом чувствовал то, о чем сегодня услышал.

— Вы знали, что у меня нет матери и старались быть со мной поласковей,— улыбаясь, ответила она.

— Не совсем так, Агнес. Я словно знал всю эту историю — в той атмосфере, которая вас окружала, я чувствовал что-то трогательное, но не мог этого объяснить... Что-то печальное, но не в вас, а в ком-то другом. Теперь я знаю — так оно и было.

Она продолжала играть чуть слышно и не отрывала от меня глаз.

— Вам не смешны подобные фантазии, Агнес?

— Нет.

— А если я скажу: даже тогда я чувствовал, что вы можете любить, несмотря ни на какие разочарования, и что способны так любить до конца своей жизни. Вы не станете смеяться над подобной выдумкой?

— О нет! Нет!

На мгновение ее лицо стало страдальческим, но не успел я изумиться, как страдальческое выражение исчезло, и она продолжала играть, глядя на меня со спокойной улыбкой.

Я думал об этом, когда ехал верхом в Лондон, а ветер, как неумолимая память, подгонял меня. И я боялся, что она несчастлива. Я-то был несчастлив, но с прошлым я покончил, и когда видел ее перед собой с воздетой

вверх рукою, мне казалось, она указует на небо, где в таинственном грядущем мне еще суждено ее любить неведомой на земле любовью и рассказать о той борьбе, какую я вел с собой здесь, внизу.

ГЛАВА LXI

Мне показывают двух интересных раскаявшихся заключенных

Временно,— во всяком случае до той поры, пока я закончу книгу, что должно было занять несколько месяцев,— я поселился в Дувре у бабушки; там я и работал у того самого окна, откуда глядел на луну, вставшую над морем, в те дни, когда впервые появился под этим кровом, ища убежища.

Я не хочу отступать от своего решения касаться своих художественных произведений лишь постольку, поскольку они могут быть случайно связаны с ходом этого повествования, и потому не стану говорить на этих страницах о надеждах, радостях, трудностях и удачах моей писательской жизни. О том, что я целиком отдавался своей работе и вкладывал в нее всю мою душу, мне уже приходилось упоминать. Если мои книги чего-нибудь стоят, мне нечего к этому прибавить. А если им цена невелика, кому интересно все, что я могу о них сказать?

Изредка я приезжал в Лондон — окунуться в его кипучую жизнь или посоветоваться с Трэдлсом по какому-нибудь деловому вопросу. Во время моего отсутствия он очень умело вел мои дела, и они находились в прекрасном состоянии. Я приобрел известность, на мое имя приходило огромное количество писем от неведомых мне людей — большей частью это были письма бог весть о чем, на которые и отвечать-то было нечего,— и я не возражал против предложения Трэдлса повесить на двери его квартиры табличку с моим именем. Туда и доставлял надежный почтальон груды писем, и там, время от времени, я в них погружался, не щадя сил, как министр внутренних дел, но не получая за это никакого вознаграждения.

Среди них довольно часто попадались письма, в которых бесчисленные ходатаи по делам, шнырявшие вокруг Докторс-Коммонс, любезно предлагали выступать под моим именем (если я согласился бы купить себе звание проктора), уплачивая мне определенную часть своих доходов. Но все эти предложения я отклонял; мне было известно, что несть числа таким подпольным юристам, а Докторс-Коммонс и так достаточно плох, чтобы у меня возникло желание сделать его еще хуже.

Сестры Софи уехали еще до той поры, когда мое имя украсило дверь Трэдлса, и смышленый подросток делал вид, будто понятия не имеет о существовании Софи, которая заключена была в заднюю комнатку, откуда, отрываясь от работы, она могла увидеть уголок закопченного садика, где находился насос. Там я всегда и заставал ее, очаровательную хозяйку, и когда никто не подымался по лестнице, она услаждала наш слух пением девонширских баллад, умиротворяя мелодией смышленого подростка, сидевшего в конторе.

Сначала я не понимал, почему так часто застаю Софи за столом: она что-то писала в тетради, а при моем появлении быстро запирала ее в ящик. Но скоро тайна открылась.

В один прекрасный день Трэдлс, только что пришедший из суда, вынул из своего бюро лист бумаги и спросил, что я могу сказать об этом почерке.

— Ох, Том, не надо! — воскликнула Софи, которая нагревала у камина его туфли.

— Почему же не надо, моя дорогая? — спросил Том, и в тоне его было восхищение.— Ну, что вы думаете, Копперфилд, об этом почерке?

— Удивительно подходящий для деловых бумаг почерк,— сказал я.— Я никогда не видал такой твердой руки.

— Правда, это не женский почерк? — спросил Трэдлс.

— Женский почерк? — повторил я.— Да что вы! Этот почерк тверд как камень.

Трэдлс от восторга захохотал и сообщил, что это почерк Софи. Да, это писала Софи, она поклялась, что скоро ему не нужен будет переписчик, так как бумаги станет переписывать она, а этот почерк она приобрела,

копируя прописи, и теперь пишет... не помню сколько страниц в час. Софи очень сконфузилась при этих словах и сказала, что, когда Тома назначат судьей, он не станет так, как сейчас, кричать о ней на всех перекрестках. Том это отрицал. Он утверждал, что будет по-прежнему ею гордиться.

— Какая у вас добрая и очаровательная жена, дорогой Трэдлс! — сказал я, когда она, посмеиваясь, вышла из комнаты.

— О мой дорогой Копперфилд, это самая чудесная женщина! Как она всем здесь управляет! Как она аккуратна и бережлива, как она любит порядок и какая домовитая! А какая веселая, Копперфилд! — воскликнул Трэдлс.

— Она заслуживает этих похвал,— сказал я.— Вы счастливец, Трэдлс. Вы оба, мне кажется, самые счастливые люди на свете.

— Вот это верно — мы самые счастливые люди! — согласился Трэдлс.— Вы только подумайте. Она встает при свечах, когда еще темно, делает уборку, идет на рынок в любую погоду, когда клерки еще не появились в Инне, готовит из самых дешевых продуктов вкусный обед, печет пудинги и пироги, наводит повсюду порядок, заботится о своей внешности, сидит со мной по вечерам, как бы это ни было поздно, всегда бодрая, всегда в хорошем расположении духа. И все это ради меня. Честное слово, Копперфилд, иногда я не могу этому поверить!

Трэдлс был проникнут нежностью даже к туфлям, которые она ему согрела: он надел их и с наслаждением положил ноги на каминную решетку.

— Иногда я не могу этому поверить,— повторил он.— А наши развлечения! Нам они дорого не стоят, но как мы веселимся! Когда мы по вечерам дома и запираем входную дверь и опускаем эти шторы... это она их сшила... как у нас уютно! А если погода хорошая и мы вечером идем погулять, как мы развлекаемся на улицах! Мы останавливаемся у освещенных витрин ювелирных лавок. Я показываю Софи, какую змейку с бриллиантовыми глазками — она, знаете ли, лежит, свернувшись, на белом шелку — я подарил бы ей, если бы смог купить. А Софи показывает мне, какие золотые часы с крышкой, украшенной драгоценностями, она подарила бы мне, если

бы только могла... И тут мы выбираем себе ложки, вилки, лопатки для рыбы, десертные ножи, сахарные щипцы, которые мы непременно купили бы, если бы могли. А потом идем дальше очень довольные, словно в самом деле все это приобрели. Когда же мы попадаем на площади и на главные улицы и видим дома, которые сдаются внаем, мы их внимательно разглядываем и иногда спрашиваем себя: а подошел бы нам этот дом, если бы меня назначили судьей? Потом мы начинаем в нем устраиваться: эта комната — нам, та комната — сестрам и так далее. И решаем, подошел бы дом или нет. А иногда мы идем за полцены в театр *, в партер... На мой взгляд, не жалко заплатить деньги только за то, чтобы подышать его воздухом... И наслаждаемся пьесой как только возможно. Софи верит каждому слову на сцене, да и я тоже. По дороге домой мы покупаем в кухмистерской малую толику чего-нибудь или, скажем, омара у торговца рыбой, приносим сюда и устраиваем великолепный ужин. А за ужином вспоминаем все, что видели. Ну, скажите, Копперфилд, могли бы мы проводить время так хорошо, будь я лорд-канцлером?

«Кем бы вы ни были, дорогой Трэдлс, у вас все получалось бы мило и хорошо»,— подумал я и сказал:

— Кстати, теперь вы больше не рисуете скелеты?

Трэдлс захохотал и покраснел.

— Если говорить правду, Копперфилд, случается... Как-то мне пришлось сидеть в задних рядах в Суде Королевской Скамьи, в руках у меня было перо, и мне взбрело в голову попробовать, не разучился ли я этому делу. Ох, боюсь, на краю пюпитра красуется теперь скелет... в парике!

Мы оба захохотали. Трэдлс посмотрел, улыбаясь, на огонь в камине и сказал знакомым мне тоном, в котором слышалось всепрощение:

— Старина Крикл!

— Вот письмо от этого... негодяя,— отозвался я.

Меньше всего был я склонен простить Криклу его привычку колотить Трэдлса, видя, что сам Трэдлс готов ему это простить.

— От Крикла? От владельца школы? — вскричал Трэдлс.— Не может быть!

— И его так же, как и многих других, прельстили некоторая моя известность и заработок,— сказал я, поднимая глаза от вороха писем.— И он также обнаружил, что всегда любил меня. Теперь у него нет школы, Трэдлс. Он теперь мировой судья Мидлсекса *.

Я ждал, что Трэдлс удивится, но он нисколько не был удивлен.

— Как он мог стать судьей Мидлсекса? Что вы об этом думаете? — спросил я.

— О боже мой! — воскликнул Трэдлс.— На этот вопрос нелегко ответить. Может быть, он за кого-нибудь голосовал или кому-нибудь дал взаймы денег... А может быть, у кого-нибудь что-нибудь купил или кому-нибудь оказал услугу, а тот был знаком с кем-нибудь, и этот «кто-нибудь» попросил лорд-наместника графства назначить Крикла на эту должность.

— Во всяком случае, теперь он эту должность занимает,— сказал я.— И он мне пишет, что был бы рад показать мне единственно правильную систему, обеспечивающую поддержание дисциплины в тюрьмах — единственно непогрешимый способ достигнуть искреннего раскаяния заключенных... и этот способ, оказывается,— одиночное заключение. Что вы скажете?

— Об этой системе? — нахмурившись, спросил Трэдлс.

— Нет. Принимать мне это предложение? И пойдете ли вы со мной?

— Не возражаю,— сказал Трэдлс.

— Тогда я ему так и напишу. Вы помните, как этот Крикл — не буду говорить об обращении его с нами — выгнал из дому своего сына? И помните, какую жизнь он заставил вести свою жену и дочь?

— Прекрасно помню,— сказал Трэдлс.

— А если вы прочтете его письмо, вы обнаружите, что это самый мягкий человек, когда речь идет о преступниках, заключенных в тюрьму и виновных решительно во всех преступлениях. Но на других представителей рода человеческого его мягкость не простирается.

Трэдлс пожал плечами, он нисколько не был удивлен; впрочем, я не ждал, что он будет удивлен, да я и сам не удивился, ибо в противном случае следовало признать, что мои знания уродливых жизненных явлений крайне

недостаточны. Мы сговорились о дне нашего посещения, и в тот же вечер я написал мистеру Криклу.

В назначенный день — кажется, на следующий день, но это неважно,— мы с Трэдлсом отправились в тюрьму, где мистер Крикл был лицом всемогущим. Это было огромное, внушительное здание, стоившее весьма недешево. Когда я подходил к воротам, у меня мелькнула мысль: ну и шум бы поднялся, если бы какой-нибудь простак предложил истратить половину тех денег, которых стоило это здание, на постройку ремесленной школы для юношей или богадельни для достойных старцев.

В тюремной канцелярии, которая могла бы находиться в нижнем этаже Вавилонской башни,— столь солидна была вся постройка,— мы встретились с нашим старым школьным учителем. С ним было два-три деловых на вид чиновника и несколько посетителей, которых те привели с собой. Он принял меня как человек, воспитавший в былые времена мой ум и нежно меня любивший. Когда я представил ему Трэдлса, он тем же тоном, но менее восторженно заявил, что был руководителем, учителем и другом Трэдлса. Наш уважаемый наставник значительно постарел, но внешность его от этого не выиграла. Лицо по-прежнему было злое, глазки такие же маленькие и еще более заплывшие. Сальные, редкие, с проседью волосы,— такие для меня памятные! — почти совсем исчезли, а вздувшиеся вены не очень красили голый череп.

После недолгой беседы с этими джентльменами я мог предположить, что на свете нет ничего более важного, чем забота о комфорте арестантов, чего бы этот комфорт ни стоил, и что на всем земном шаре за стенами тюрьмы делать решительно нечего. Затем мы начали осмотр. Был обеденный час, и прежде всего мы направились в огромную кухню, где с точностью часового механизма приготовляли обед,— для каждого заключенного особо,— который затем относили в камеры. Я шепотом сказал Трэдлсу, что меня удивляет разительный контраст между этой обильной трапезой и обедом (о бедняках я уже не говорю) солдат, матросов, крестьян да и всего честного трудового люда: из пятисот человек ни один не имел обеда, хоть сколько-нибудь напоминавшего этот. Но я

узнал, что «система» требовала хорошей пищи, и,— короче говоря, чтобы раз навсегда покончить с этой системой,— я обнаружил, что в этом отношении, как и во всех прочих, она пресекала решительно все сомнения и не имела никаких недостатков. По-видимому, никому и в голову не приходило, что может быть другая система, кроме вышеупомянутой.

Пока мы шли великолепным коридором, я спросил у мистера Крикла и его друзей, в чем заключаются главные преимущества этой всемогущей и самой передовой системы. В ответ я услышал, что эти преимущества заключаются в строгой изоляции арестанта — ни один заключенный ничего не должен знать о других — и в оздоровлении его души, а следствием такого режима является сожаление о совершенном и раскаяние.

Но когда мы посетили заключенных в их камерах, проходя коридорами, с которыми эти камеры сообщаются, и узнали, каким путем они идут в тюремную церковь, я стал подозревать, что арестанты могут узнать решительно все друг о друге и легко между собой общаться. Теперь, когда я пишу, думается мне, это вполне доказано, но тогда — во время моего посещения — такое подозрение сочли бы глупым кощунством, оскорбляющим «систему», и я старательно пытался обнаружить в арестантах раскаяние.

Тут меня снова одолели сомнения. Я установил, что раскаяние рядилось в костюм одного и того же образца, подобно тому как по одному образцу были сшиты сюртуки и жилеты, выставленные в лавках готового платья за стенами тюрьмы. Я установил, что многочисленные излияния арестантов весьма мало различаются по своему характеру и даже форме (а это уже совсем подозрительно). Я нашел много лисиц, говоривших с пренебрежением о виноградниках, где на каждом кусте в изобилии висят спелые гроздья; но я не нашел ни одной лисицы, которую можно было бы подпустить хотя бы к одной виноградной кисти. А кроме того, я пришел к заключению, что наиболее сладкоречивые люди привлекали к себе наибольшее внимание, и сметливость этих людей, тщеславие, отсутствие развлечений, любовь ко лжи (у многих из них она безгранична, в чем можно убедиться, зная их прошлую

жизнь) — все это толкало их к упомянутым выше излияниям и приносило им немалую выгоду.

Но пока мы делали обход, мне так настойчиво говорили о Номере Двадцать Седьмом, который, несомненно, был фаворитом и, так сказать, образцовым заключенным, что я решил не выносить окончательного приговора до лицезрения этого Двадцать Седьмого Номера. Номер Двадцать Восьмой, как я узнал, тоже был блестящей звездой, но, на его беду, слава его несколько тускнела в ослепительных лучах Номера Двадцать Седьмого. О Номере Двадцать Седьмом мне столько наговорили — о его благочестивых наставлениях всем и каждому и о замечательных письмах, которые он постоянно пишет своей матери (по его мнению, она шла дурным путем), что мне не терпелось его повидать.

Свое нетерпение мне пришлось умерить, ибо Номер Двадцать Седьмой приберегали для заключительного эффекта. Но, наконец, мы подошли к двери его камеры, и мистер Крикл, заглянув в глазок, с восторгом сообщил, что Номер Двадцать Седьмой читает сборник гимнов.

К двери немедленно устремилось столько народу, чтобы увидеть Номер Двадцать Седьмой, погруженный в чтение гимнов, что голов шесть-семь заслонили от меня глазок. Дабы устранить это неудобство, дать нам возможность поговорить с Номером Двадцать Седьмым и убедиться в его непорочности, мистер Крикл приказал отомкнуть дверь камеры и вызвать Номер Двадцать Седьмой в коридор. Это было исполнено. И каково же было удивление мое и Трэдлса, когда перед нами предстал... Урия Хип!

Выйдя из камеры, он мгновенно нас узнал и сейчас же, извиваясь, как в прежние времена, проговорил:

— Как поживаете, мистер Копперфилд? Как поживаете, мистер Трэдлс?

Это знакомство изумило всю компанию. Каждый из присутствующих, думается мне, был восхищен тем, что он отнюдь не возгордился и нас узнал.

— Так-так, Номер Двадцать Седьмой...— произнес мистер Крикл; выражение лица у него было сентиментальное, он любовался Урией.— В каком вы состоянии сегодня?

— Я очень смиренен, сэр! — отвечал Урия Хип.

— Вы всегда смиренны, Номер Двадцать Седьмой! — заметил мистер Крикл.

Тут вмешался другой джентльмен; он спросил крайне озабоченно:

— А вы вполне довольны?

— Вполне. Благодарю вас, сэр,— взглянув на него, сказал Урия Хип.— Я никогда не был так доволен, как сейчас. Теперь я вижу, какой я был безрассудный. Вот почему я доволен.

На джентльменов эти слова произвели большое впечатление. Третий джентльмен, вытянув шею, с чувством спросил:

— А мясо вам нравится?

— Благодарю вас, сэр,— ответил Урия, переводя на него глаза.— Вчера оно было жестковато, но мой долг — не роптать. Я совершал безрассудства, джентльмены,— продолжал Урия с бледной улыбкой,— и должен безропотно нести все последствия.

Джентльмены зашептались между собой — они были восхищены тем, что дух Номера Двадцать Седьмого парит в небесах, а также возмущены поставщиком, давшим Урии основание для жалобы (мистер Крикл немедленно ее записал). А тем временем Номер Двадцать Седьмой стоял среди нас с таким видом, словно был самым ценным экспонатом в известнейшем музее. Но вот, чтобы сразу нас, неофитов, ослепить, был отдан приказ выпустить из камеры Номер Двадцать Восьмой.

Я так уже был изумлен, что почти не удивился, когда из камеры вышел мистер Литтимер, погруженный в чтение какой-то душеспасительной книги.

— Номер Двадцать Восьмой! — обратился к нему доселе молчавший джентльмен в очках.— На прошлой неделе, старина, вы жаловались на какао. А как обстоит дело теперь?

— Благодарю, сэр, теперь стало лучше,— сказал мистер Литтимер.— Прошу прощения за смелость, сэр, но все же я должен сказать, что молоко, на котором оно сварено, разбавлено. Впрочем, сэр, мне известно, что в Лондоне сильно разбавляют молоко и добыть цельное молоко затруднительно.

Джентльмен в очках, как мне показалось, ставил

ставку на свой Номер Двадцать Восьмой против Номера Двадцать Седьмого мистера Крикла: каждый из них выдвигал своего фаворита.

— В каком вы расположении духа, Номер Двадцать Восьмой? — спросил джентльмен в очках.

— Благодарю вас, сэр,— отозвался мистер Литтимер.— Теперь я вижу, какой я был безрассудный. Я очень огорчаюсь, когда думаю о прегрешениях моих прежних приятелей. Но, я надеюсь, они заслужат прощение.

— И теперь вы вполне счастливы? — спросил джентльмен в очках и кивнул головой, дабы приободрить мистера Литтимера.

— Премного обязан, сэр. Вполне! — откликнулся мистер Литтимер.

— Может быть, у вас есть что-нибудь на душе? Говорите, Номер Двадцать Восьмой! — продолжал джентльмен в очках.

— Сэр! — не поднимая головы, сказал мистер Литтимер.— Если мне глаза не изменяют, здесь находится джентльмен, который когда-то знал меня. Этому джентльмену полезно будет услышать, сэр, что своим прошлым безрассудством я целиком обязан моей легкомысленной жизни на службе у молодых людей. Я позволял им склонять меня к слабостям, с которыми не мог бороться. Надеюсь, что джентльмену пойдет на пользу это предупреждение, сэр, и он не будет на меня в обиде. Это я говорю для его блага. Я сознаю свои прошлые безрассудства. Надеюсь, он раскается в своих ошибках и прегрешениях.

Кое-кто из джентльменов прикрыл рукой глаза, словно только что перешагнул порог церкви.

— Это делает вам честь, Номер Двадцать Восьмой,— заметил джентльмен в очках.— Я ждал этого от вас. Не хотите ли вы еще что-нибудь сказать?

— Сэр! Есть одна молодая женщина, вступившая на дурной путь, которую я пытался спасти, сэр, но это мне не удалось,— продолжал мистер Литтимер, слегка приподнимая брови, но по-прежнему не поднимая глаз.— Я прошу джентльмена, если он может и будет столь любезен, передать этой молодой женщине, что я прощаю ей вину ее передо мной и призываю ее раскаяться...

— Не сомневаюсь, Номер Двадцать Восьмой, джентль-

мен, к которому вы взываете, глубоко чувствует то, что вам удалось так хорошо выразить, и все мы должны это почувствовать,— сказал в заключение джентльмен в очках.— Мы вас больше не задерживаем.

— Благодарю вас, сэр,— сказал мистер Литтимер.— Позвольте пожелать вам, джентльмены, доброго здравия. Надеюсь, вы вместе с вашими близкими узрите свои прегрешения и исправитесь!

С этими словами Номер Двадцать Восьмой удалился, обменявшись взглядом с Урией. Похоже было на то, что они нашли способ сообщаться между собой и знали друг друга. А когда за мистером Литтимером захлопнулась дверь камеры, вокруг меня зашептались о том, что это человек весьма респектабельный и этот случай заслуживает всяческого внимания.

— Ну, а вы, Номер Двадцать Седьмой, скажите, что мы для вас можем сделать? — заговорил мистер Крикл, выдвигая на опустевшую сцену своего фаворита.— Говорите!

— Смиренно прошу вас, сэр, разрешите мне еще написать матери,— сказал Урия, тряхнув гнусной головой.

— Это разрешение, конечно, будет дано,— вымолвил мистер Крикл.

— Как я вам благодарен, сэр! Я так беспокоюсь о моей матери. Боюсь, она не спасется.

Кто-то неосторожно спросил:

— От кого?

На него зашикали. Все были явно возмущены.

— За гробом, сэр,— извиваясь, ответил Урия.— Мне хотелось бы, чтобы у моей матери было такое же душевное состояние, как у меня. Если бы я сюда не попал, я не был бы в таком состоянии. Я хочу, чтобы сюда попала и моя мать. Какое счастье для каждого попасть сюда!

Это пожелание доставило джентльменам превеликое удовольствие — большее удовольствие, чем все, что здесь до сей поры происходило.

— Прежде чем я здесь очутился,— продолжал Урия, искоса бросая на нас взгляд, способный испепелить весь мир, в котором мы жили,— я вел себя как человек безрассудный. Но теперь я осознал свое безрассудство. В мире много греха. И моя мать тоже повинна в грехе. Всюду один только грех — всюду, но не здесь.

— Значит, вы совсем изменились? — осведомился мистер Крикл.

— О господи! Да, сэр! — воскликнул обращенный, подававший столь большие надежды.

— А если вы выйдете отсюда, вы снова не собьетесь с пути? — спросил кто-то.

— О го...споди! Нет, сэр!

— Это очень приятно слышать,— сказал мистер Крикл.— Вы поздоровались, Номер Двадцать Седьмой, с мистером Копперфилдом. Может быть, вы хотите ему что-нибудь сказать?

— Вы знали меня, мистер Копперфилд, задолго до того, как я сюда попал и здесь изменился,— обратился ко мне Урия и поглядел на меня так, что более мерзкого выражения лица мне не приходилось ни у кого видеть, даже у него.— Вы меня знали, когда, несмотря на свои безрассудства, я был смиренным с гордецами и кротким с людьми необузданными. Необузданны были вы, мистер Копперфилд. Помните, однажды вы дали мне пощечину?

Сострадание у всех на лицах. Кто-то бросает на меня негодующий взгляд.

— Но я прощаю вам, мистер Копперфилд,— продолжал Урия, кощунственно и чудовищно сравнивая себя, всепрощающего, с Тем, имя которого я не буду здесь называть *.— Я всем прощаю. Не к лицу мне быть злопамятным. Я прощаю вам и надеюсь, что в будущем вы обуздаете свои страсти. Надеюсь, что раскается и мистер У., и мисс У., и все остальные из этой греховной компании. Вас постигло несчастье, надеюсь, это пойдет вам на пользу. Но лучше, если вы попадете сюда. И для мистера У. и для мисс У. будет лучше, если они попадут сюда. Я от души желаю вам, мистер Копперфилд, и всем вам, джентльмены, очутиться здесь. Когда я думаю о своем прошлом безумии и о теперешнем своем состоянии, я уверен, это будет самое для вас лучшее. Как мне жаль всех, кто еще не попал сюда!

Под шум одобрительных возгласов он проскользнул в свою камеру, и мы с Трэдлсом почувствовали великое облегчение, когда за ним заперли дверь.

Это раскаяние было весьма примечательно, что и побудило меня спросить, за какие преступления осуждены

эти два человека. Но, несомненно, этот вопрос интересовал джентльменов меньше всего. Тогда я обратился к одному из двух сторожей; по их лицам я заключил, что они прекрасно понимают, чего стоит вся эта болтовня.

— Вам известно, какое преступление было последним «безрассудством» Номера Двадцать Седьмого? — спросил я сторожа, когда мы шли по коридору.

Он ответил, что какое-то преступление, связанное с банком.

— Мошенничество?

— Да, сэр. Мошенничество, подлог и участие в шайке. Он был не один. Это он подбил остальных. Злоумышление на большую сумму. Приговор — каторжные работы пожизненно. Номер Двадцать Седьмой — продувная бестия, он чуть-чуть было не выкрутился. А все-таки не вышло. Банку удалось схватить его за хвост... но это было нелегко.

— А вы что-нибудь знаете о преступлении Номера Двадцать Восьмого?

— Номер Двадцать Восьмой...— начал шепотом сторож, пока мы шли по коридору, и поглядел через плечо назад, боясь, не услышит ли Крикл и компания, как он непозволительно отзывается об этих непорочных созданиях.— Номер Двадцать Восьмой — он тоже приговорен к каторжным работам пожизненно — поступил на службу к молодому человеку и накануне отъезда за границу ограбил его на двести пятьдесят фунтов. Я хорошо помню это дело, потому что преступника задержала карлица.

— Кто?

— Крошечная женщина. Забыл ее фамилию.

— Не Моучер ли?

— Вот-вот! Он улизнул и собирался отправиться в Америку. Он был в белокуром парике и с баками, право же, вам никогда не приходилось видеть, чтобы кто-нибудь так менялся. Но в Саутгемптоне крошечная женщина встретила его на улице, сразу узнала, бросилась ему под ноги, он упал, а она вцепилась в него прямо как смерть!

— Какая прелесть эта мисс Моучер! — воскликнул я.

— Вы бы то же самое сказали, если бы увидели, как она стояла на стуле в ложе для свидетелей во время суда. Когда она его схватила, он исполосовал ей лицо и зверски

избил, но она его не отпускала, пока его не заперли на замок. Она так в него вцепилась, что полицейским пришлось забрать их вместе. Вы послушали бы, как она смело давала показания! Весь суд ее хвалил, а потом ее доставили прямо домой. На суде она заявила, что, будь он Самсон, а у нее только одна рука, все равно она задержала бы его — так много дурного она о нем знает. И я думаю, что это так.

Я был того же мнения и почувствовал к мисс Моучер большое уважение.

Итак, мы осмотрели все, что полагалось. Тщетно было бы убеждать достойного мистера Крикла, что Номера Двадцать Седьмой и Двадцать Восьмой нисколько не изменились, что они остались такими же, как раньше, и что именно здесь лицемерные мошенники и должны делать такого рода излияния; во всяком случае, не хуже, чем мы, они знают рыночную цену таких излияний и знают, какую службу они им сослужат за океаном. Короче говоря, все это вместе взятое было дутой, гадкой затеей, наводившей на прискорбные мысли. Мы покинули их с их «системой» и, ошеломленные, отправились домой.

— Быть может, не худо, Трэдлс,— сказал я,— что они помешались на этой дурацкой выдумке. Тем скорей с ней будет покончено.

— Надеюсь, что так,— отозвался Трэдлс.

ГЛАВА LXII

Свет озаряет мой путь

Приближалось рождество, прошло больше двух месяцев после моего возвращения домой. С Агнес я встречался часто. Как бы ни ободряло меня всеобщее признание и как бы ни вдохновляло на дальнейшую работу, но выше всего я ставил самую слабую ее похвалу.

По крайней мере раз в неделю, а то и чаще я ездил к ней и проводил там вечер. Обычно я возвращался от нее верхом ночью, ибо знакомые тяжелые мысли неуклонно овладевали мной теперь — еще более печальные, когда я ее покидал,— и я предпочитал быть ночью в дороге, но не

жить прошлым в мучительные часы бессонницы или горестных сновидений. В этих поездках я провел бóльшую часть многих длинных и грустных ночей, предаваясь тем же размышлениям, которые не покидали меня во время моих долгих странствий.

Пожалуй, будет более точно, если я скажу, что я скорее прислушивался к отзвукам этих размышлений. Они доносились ко мне издалека. Я отстранился от них и занял предназначенное мне место. Когда я читал Агнес написанное мной и видел, как внимательно она слушает, плачет и смеется, когда я слышал ее задушевные слова по поводу событий, происходивших в воображаемом мире, где я жил,— я мечтал о том, как могла бы сложиться моя жизнь... Но только мечтал, подобно тому, как, женившись на Доре, мечтал о том, какова должна быть моя жена.

На мне лежал долг по отношению к Агнес, любившей меня такой любовью, которая никогда бы не оправилась, если бы я смутил ее, оскорбив своим эгоизмом; зрело все обдумав, я понял, что в своей судьбе повинен я сам и что я добился того, чего когда-то так страстно жаждало мое сердце, а потому не могу роптать и должен нести свою ношу — бремя чувств, которые я испытываю, и знаний, которые приобрел. Но ведь я ее любил, и моим утешением были неясные мечты о том, что в отдаленном будущем наступит день, когда все будет позади и, не оскорбляя ее, я смогу сделать признание и сказать: «Агнес! Так было, когда я вернулся домой. Теперь я стар и с той поры никого не любил».

Ни разу она не дала мне повода заметить хоть малейшую перемену в себе; она была для меня тою же, что прежде; тою же, что всегда.

Со дня моего возвращения мы не то чтобы стеснялись говорить об этом с бабушкой; нельзя сказать также, что мы избегали этой темы, скорее каждый из нас сознавал, что оба мы думаем об этом и только не облекаем наши мысли в слова. Так случалось с нами частенько, когда, по старой привычке, мы сидели вечером у камина, и все было до того естественно и понятно, точно мы об этом говорили с полной откровенностью. Но мы не нарушали молчания. Я уверен, что она читала, хотя бы отчасти, мои мысли и прекрасно знала, почему я молчу.

Настало рождество; Агнес больше не сообщала о себе ничего нового, и меня начало мучить опасение, время от времени уже возникавшее, не догадывается ли она о моем душевном состоянии и не боится ли причинить мне боль. Если это было так, значит жертва моя была бесполезна, я не исполнил по отношению к ней своего долга и каждым своим поступком повинен в том, чего хотел избежать. И я решил выяснить, так ли это; если в самом деле между нами стена, надо было сразу и без колебаний ее сломать.

Был зимний, холодный, мрачный день. Как мне его не помнить! Несколько часов назад шел снег, и теперь, не тая, он покрывал землю пеленой, впрочем не очень толстой. На море — я видел в окно — дул сильный северный ветер. И я подумал о ветре, который мчится по снежным просторам швейцарских гор, недоступных в эту пору для человека, подумал о том, где более одиноко — в той снежной пустыне или здесь, на океанских просторах?

— Ты поедешь сегодня, Трот? — просунув голову в дверь, спросила бабушка.

— Да, я поеду сегодня в Кентербери. Прекрасная погода для поездки верхом,— ответил я.

— Надеюсь, твоя лошадь будет того же мнения, но сейчас она стоит перед дверью, понурив голову и свесив уши, и, кажется, предпочитает очутиться в конюшне,— заметила бабушка.

Бабушка, кстати говоря, разрешала моей лошади вторгаться в запретную зону, но по-прежнему была врагом ослов.

— Она скоро оживится,— сказал я.

— Во всяком случае, поездка пойдет на пользу ее хозяину,— сказала бабушка, поглядывая на бумаги, лежавшие на столе.— Ах, дитя мое, сегодня ты так долго работал! Какого труда стоит все это написать!

— Бывает, что большего труда стоит это прочитать,— заметил я.— Но работа писателя увлекательна, бабушка.

— Знаю, знаю!..— сказала бабушка.— Честолюбие, жажда славы, сочувствия и так далее... Не так ли? Ну что ж, в добрый путь!

— Скажите, вы что-нибудь еще знаете о привязанности Агнес? — спокойно спросил я, остановившись перед

ней, а она похлопала меня по плечу и опустилась в мое кресло.

Прежде чем ответить, она посмотрела на меня в упор.

— Мне кажется, знаю, Трот.

— Ваши прежние догадки подтверждаются? — спросил я.

— Кажется, да, Трот.

Она так зорко на меня смотрела, не то с жалостью, не то с сомнением и неуверенностью, что я постарался принять самый беззаботный вид.

— Больше того, Трот...

— Да?

— Кажется, Агнес собирается выйти замуж.

— Да благословит ее бог! — весело воскликнул я.

— Да благословит ее бог! — подтвердила за мной бабушка.— А также и ее мужа.

Я отозвался на это пожелание, простился с бабушкой, легко сбежал по лестнице, вскочил в седло и двинулся в путь. Теперь, еще больше чем раньше, у меня были основания поступить так, как я задумал.

Как мне запомнилась эта зимняя поездка! Льдинки, сбитые ветром с травы, впивались мне в лицо. Цокали конские копыта, отбивая какую-то мелодию. Почва затвердела на вспаханных полях. В меловых ямах ветер ворошил сугробы снега. Лошади, впряженные в возы с сеном, с трудом взбирались на пригорки, мелодично звеня бубенцами, останавливались, чтобы перевести дыхание, и от них шел пар. Побелевшие откосы холмов и долины у их подножий выступали на фоне темного неба, словно были нарисованы на гигантской грифельной доске.

Агнес была одна. Маленькие девочки уже разошлись по домам, и она, оставшись одна, читала у камина. Увидев меня, она отложила книгу, поздоровалась со мной, как обычно, взяла свою рабочую корзинку и села у одного из старинных окон.

Я сел на скамеечку в нише окна, и мы заговорили о моей работе, о том, когда она будет кончена и насколько она подвинулась после моего последнего посещения. Агнес была очень весела; смеясь, она предсказывала мне, что скоро я стану чересчур знаменитым и никто не решится говорить со мной на эти темы.

— Вот видите, я и стараюсь не терять времени и говорю об этом с вами, пока еще можно,— сказала она.

Я поглядел на ее прекрасное лицо, склоненное над рукоделием; она подняла добрые глаза и увидела, что я на нее смотрю.

— Вы чем-то озабочены, Тротвуд!..

— А можно мне сказать чем? Для этого я пришел.

Она отложила в сторону рукоделье, как обычно делала, когда мы начинали говорить о чем-нибудь серьезном, и вся обратилась в слух.

— Дорогая моя Агнес, вы сомневаетесь в моей искренности?

— Нисколько! — ответила она и удивленно на меня посмотрела.

— Вы сомневаетесь в том, что я отношусь и всегда буду относиться к вам так же, как относился до сих пор?

— Нисколько! — ответила она, как и раньше.

— Помните, после возвращения, я пытался сказать вам, сколь многим я вам обязан, дорогая Агнес, и как сильно и глубоко мое чувство к вам?

— Прекрасно помню,— мягко сказала она.

— У вас есть тайна,— сказал я.— Поделитесь ею со мной, Агнес.

Она вздрогнула и опустила глаза.

— Даже если бы я и не услышал из чужих уст,— не из ваших, как это ни странно! — что у вас есть кто-то, кому вы подарили свою любовь, едва ли я мог бы этого не узнать. Речь идет о вашем счастье, и вы не должны от меня ничего скрывать. Если вы мне доверяете — а вы мне это сказали, и я вам верю! — мне бы хотелось, чтобы вы видели во мне друга и брата, именно теперь, пожалуй, больше, чем всегда!

Она бросила на меня умоляющий взгляд,— в этом взгляде был почти упрек,— встала, рванулась куда-то, сама не зная куда, закрыла лицо руками и так разрыдалась, что я был потрясен.

Однако эти слезы вселили в мое сердце какие-то смутные упования. Я сам не знаю почему, но они вызвали в моей памяти ее спокойную, грустную улыбку, и скорее породили во мне надежду, чем страх или печаль.

— Агнес! Сестра моя! Любимая! Что я сделал?

— Позвольте мне уйти, Тротвуд. Мне нездоровится. Я сама не своя. Я скажу вам как-нибудь потом... в другой раз. Я вам напишу. Не говорите сейчас со мной. Не надо, не надо!

Я пытался вспомнить, что сказала она в день моего приезда о своей любви, не нуждавшейся во взаимности. Мне казалось, целый мир должен был открыться мне в одно мгновение.

— Агнес, я не могу вас видеть в таком состоянии и думать, что в этом виноват я! Никогда, никогда вы не были мне так дороги, как теперь! Если вы несчастны, позвольте же мне разделить с вами это несчастье. Если вам нужны совет или помощь, позвольте мне вам помочь. А если вам тяжело на сердце, дайте мне возможность облегчить эту тяжесть. Для кого же мне теперь жить, Агнес, если не для вас?

— Пощадите меня! Я сама не своя. В другой раз! — только это я и мог разобрать.

Что подталкивало меня? Эгоистическое заблуждение? Или передо мной мелькнул проблеск надежды и открывалось то, о чем я не смел и мечтать?

— Нет, я должен сказать! Я не могу вас отпустить. Ради бога, Агнес, после стольких лет, после того, что было, не станем обманывать друг друга! Я хочу говорить откровенно. Может быть, вы думаете, что я стану завидовать счастью, которое вы подарите другому? Или не соглашусь уступить вас вашему избраннику? Или не захочу смотреть из своего уединения на вашу радость? Отбросьте эти мысли, я этого не заслужил! Я страдал не напрасно. Ваши уроки не пропали даром. В моем чувстве к вам нет эгоизма.

Она уже совершенно успокоилась. Повернув ко мне бледное лицо, она сказала тихо и очень ясно, хотя по временам запинаясь:

— Во имя вашей дружбы ко мне, Тротвуд, в которой я никогда не сомневалась, я должна сказать, что вы ошибаетесь. Больше я ничего не могу ответить. Если в эти годы я нуждалась в помощи и совете, я получала их. Если иногда я чувствовала себя несчастной, это чувство проходило. Если мне бывало тяжело на сердце, я находила утешение. А если у меня есть тайна — она не новая... И это совсем

не то, что вы предполагаете. Открыть я ее не могу и не могу ни с кем разделить. Уже много лет она только моя, пусть моею и остается.

— Агнес! Подождите! Одну минуту!

Она собралась уйти, но я ее удержал. Я обвил рукой ее талию. «В эти годы»! «Она не новая»! Как вихрь пронеслась в моем сознании мысль... И все цвета моей жизни стали иными.

— Любимая моя Агнес! Я так почитаю вас, так вам предан и так люблю вас! Когда я явился сюда сегодня, я думал, что ничто не вырвет у меня это признание. Мне казалось, что до нашей старости я буду хранить его в своем сердце. Но если только что у меня мелькнула надежда, что когда-нибудь я назову вас... не сестрой, а как-нибудь иначе...

Она залилась слезами. Но это были не те прежние слезы — в этих слезах засияла для меня надежда.

— Агнес! Вы всегда были моим наставником и моей лучшей поддержкой. Если бы вы думали о себе больше, чем обо мне, когда мы вместе здесь росли, мои мечты были бы прикованы к вам. Но вы настолько были выше меня, вы настолько были мне необходимы во всех моих мальчишеских радостях и печалях, что я привык поверять вам все и во всем на вас полагаться... И эта привычка стала моей второй натурой, ради нее я изменил себе, а ведь и раньше я любил вас так же, как люблю теперь!

Она еще плакала, но не от боли... от радости! И упала в мои объятия, и я обнимал ее так, как никогда раньше не обнимал, как никогда раньше не мечтал обнять!..

— Когда я любил Дору... Вы знаете, Агнес, я глубоко любил...

— Знаю! — воскликнула она.— И я рада, что знаю это.

— Когда я любил ее... даже тогда моя любовь была бы неполной, если бы вы ей не сочувствовали. Но вы сочувствовали, и ни в чем другом я больше не нуждался. А когда я потерял Дору, что сталось бы со мной без вас, Агнес?

Мои объятия крепче, она здесь, у моего сердца, ее дрожащая рука у меня на плече, ее драгоценные глаза сверкают сквозь слезы и обращены ко мне!

— Когда я уехал, Агнес, я любил вас. Я был далеко и продолжал вас любить. Я вернулся домой и люблю вас.

И я стал говорить о борьбе с собой и о выводе, к которому пришел. Я открыл ей всю мою душу. Рассказал о том, как я бился, чтобы лучше понять и ее и себя, и как покорился тому, что, казалось мне, я установил. Рассказал, что, даже придя к ней сегодня, я в это верил. Если она меня так любит, говорил я, что согласна стать моей женой, то это не благодаря моим достоинствам, а только из-за моей к ней любви и тяжелых испытаний, в которых эта любовь созревала; вот потому-то я и признаюсь в своей любви. И в это самое мгновение, моя Агнес, я вижу, как из твоих невинных глаз глядит на меня душа моей девочки-жены, и я слышу ее слова одобрения, и это через тебя призывает она меня вспоминать с нежностью о Цветочке, который увял во всей своей красе!

— Я так счастлива, Тротвуд... сердце мое так полно... но я должна вам сказать о том...

— О чем, моя любимая?

Она положила руку мне на плечо и спокойно и пристально взглянула на меня.

— И вы не знаете о чем?

— Я не хотел бы гадать. Скажите, моя родная.

— Я любила вас всю мою жизнь.

О, как мы были счастливы, как счастливы! Мы плакали не о минувших испытаниях, через которые прошли (у нее они были тяжелее, чем у меня). Мы плакали от радости, от счастья, что теперь мы вместе и больше не расстанемся никогда.

В тот зимний вечер мы гуляли по полям; казалось, в вечернем морозном воздухе разлита была благословенная тишина, которая снизошла в наши души. На небе зажглись звезды, и, глядя на них, мы возблагодарили господа, который даровал нам этот покой.

А потом мы стояли у того же старинного окна; на небе сияла луна. Агнес подняла к ней глаза. Я проследил за ее взглядом. И в памяти моей возникла длинная-длинная дорога, и, всматриваясь вдаль, я увидел маленького, одинокого, брошенного на произвол судьбы оборвыша, которому суждено было назвать своим сердце, бившееся теперь у моей груди.

Был обеденный час, когда на следующий день мы появились у бабушки. Пегготи сказала нам, что бабушка находится у меня в кабинете — она почитала своим долгом следить за тем, чтобы у меня в комнате был образцовый порядок. Она сидела в очках у камина.

— Боже мой! Кого это ты привел ко мне? — спросила она, вглядываясь в сумерки.

— Агнес,— сказал я.

Мы с Агнес решили ничего поначалу не говорить, и бабушка была явно огорчена. Она бросила на меня полный надежды взгляд, когда я сказал: «Агнес», но, видя, что я так же спокоен, как всегда, в отчаянии сняла очки и почесала ими переносицу.

Однако она очень радушно поздоровалась с Агнес, и скоро мы очутились внизу за обеденным столом в гостиной, где уже зажгли свечи. Бабушка раза два-три вооружалась очками, чтобы поглядеть на меня, но скоро их снимала весьма разочарованная и почесывала ими нос. Мистер Дик очень огорчался — он знал, что это дурной знак.

— Да, кстати, бабушка,— обратился я к ней после обеда,— я сказал Агнес о том, что вы мне говорили.

— Ты поступил дурно, Трот, и нарушил свое обещание,— побагровев, сказала бабушка.

— Но вы не сердитесь, бабушка? Я уверен, что вы не будете сердиться, если узнаете, что Агнес отнюдь не несчастна в своей любви.

— Чепуха! — отрезала бабушка.

По всем признакам она была очень раздражена. Тут я решил, что этому раздражению надо положить конец. Стоя за спиной ее кресла, я обнял Агнес, и мы оба наклонились к ней. Бабушка бросила на нас только один взгляд сквозь очки, хлопнула в ладоши и мгновенно впала в истерику — в первый и последний раз с тех пор, как я ее знаю.

Истерика вызвала появление Пегготи. В один миг бабушка пришла в себя, бросилась к Пегготи, назвала ее глупой старухой и крепко обняла. Потом она обняла мистера Дика, который был крайне польщен, но и крайне удивлен, а затем объяснила им, в чем дело. Все мы были счастливы.

Так я и не выяснил, то ли бабушка в своем последнем разговоре со мной решилась на спасительный обман, то ли не понимала моего душевного состояния. По ее словам, она, мол, сказала, что Агнес собирается выйти замуж, а теперь мне известно лучше, чем кому бы то ни было, правда это или нет.

Мы поженились недели через две. На нашу скромную свадьбу мы пригласили только Трэдлса с Софи и доктора с миссис Стронг. Всей душой они радовались за нас, когда мы уезжали. Я держал в своих объятиях ту, что была источником всех моих благородных стремлений, целью и смыслом моей жизни... мою жену. Любовь к ней воздвигнута была на скале!

— Мой дорогой муж! — обратилась ко мне Агнес.— Теперь, когда я могу назвать тебя так, мне нужно тебе сказать одну вещь.

— Говори, любовь моя.

— Это было в тот вечер, когда умерла Дора. Она послала тебя за мной.

— Да.

— Она сказала, что оставляет мне что-то. Знаешь ли, о чем она говорила?

Думается мне, я знал. И крепче прижал к себе ту, которая так давно меня любила.

— Она сказала, что у нее есть последняя просьба ко мне и последнее поручение.

— И она просила...

— О том, чтобы я заняла место, которое опустеет.

Агнес положила голову мне на грудь и зарыдала. Плакал с ней и я, хотя мы были так счастливы...

ГЛАВА LXIII

Гость

Близится конец того, что я задумал написать, но в памяти моей сохранился один эпизод, на котором она с удовольствием задерживается, и без этого эпизода спустится одна из нитей сотканной мной паутины.

Я приобрел широкую известность, благополучие мое упрочилось, большего семейного счастья я не мог бы пожелать, и женат я был уже десять счастливых лет.

Как-то весенним вечером мы сидели с Агнес у камина в нашем лондонском доме и трое наших детей играли в той же комнате, когда мне доложили, что меня хочет видеть какой-то незнакомец.

На вопрос, есть ли у него ко мне дело, он ответил отрицательно; нет, он пришел ради того, чтобы меня повидать, а приехал он издалека. По словам слуги, он был человек старый и походил на фермера.

Это известие показалось детям весьма таинственным, тем более, что оно напоминало вступление к любимой сказке, которую Агнес частенько им рассказывала,— появление злой старой ведьмы, облаченной в плащ и ненавидевшей всех на свете. Поднялась паника. Один из наших мальчиков уткнулся головой в колени матери, подле которой он чувствовал себя в безопасности, а маленькая Агнес — наша старшая дочка — посадила вместо себя в кресло свою куклу, сама спряталась за оконными гардинами, высунула оттуда свои золотые кудри и стала наблюдать, что произойдет дальше.

— Пусть войдет сюда,— сказал я.

Скоро из темного коридора показалась фигура бодрого седого старика; на пороге он задержался. Маленькая Агнес, привлеченная его наружностью, бросилась к нему, чтобы ввести его, и не успел я разглядеть лицо старика, как моя жена встала и радостно, взволнованно воскликнула, что это мистер Пегготи.

Да, это был мистер Пегготи. Теперь это был уже старик, но загорелый, здоровый, крепкий. Когда волнение, вызванное встречей, улеглось и он уселся перед камином, усадив к себе на колени детей, а отблеск пламени упал на его лицо, мне показалось, что никогда я не видел такого сильного, крепкого и вместе с тем такого красивого старика.

— Мистер Дэви...— начал он. Какими родными прозвучали эти слова, произнесенные знакомым мне голосом! — Для меня это счастливый день, мистер Дэви, когда я вижу вас и вашу прекрасную супругу!

— Да, старый мой друг, это счастливый день! — воскликнул я.

— А эти чудные крошки! — продолжал мистер Пегготи.— Поглядеть только на эти цветочки! Да ведь вы, мистер Дэви, были не больше вот этого малыша, когда я в первый раз вас увидел! И Эмли тогда была не больше его, а наш бедняга был еще подростком!

— Время изменило меня больше, чем вас,— сказал я.— Но вот что: этим проказникам пора спать. А так как в Англии нет другого дома, кроме этого, где вы должны были бы остановиться, скажите, куда послать за багажом... Кстати, сохранился ли еще старый черный мешок, который столько путешествовал?.. А потом за бокалом ярмутского грога мы поговорим обо всем, что произошло за десять лет!

— Вы приехали один? — спросила Агнес.

— Да, сударыня, один,— ответил он, целуя ей руку.

Мы усадили его между нами и не знали, как и чем услужить ему. Я слушал знакомый голос, и мне казалось, что мистер Пегготи все еще не кончил своего длинного странствия в поисках любимой племянницы.

— Ох, как много пришлось плыть по воде, чтобы провести здесь несколько недель! — сказал он.— Но вода, особенно соленая, привычна мне, а друзья — это друзья, и вот здесь я! Вот тебе раз! Получилось, как в стихах, хоть я об этом и не думал...

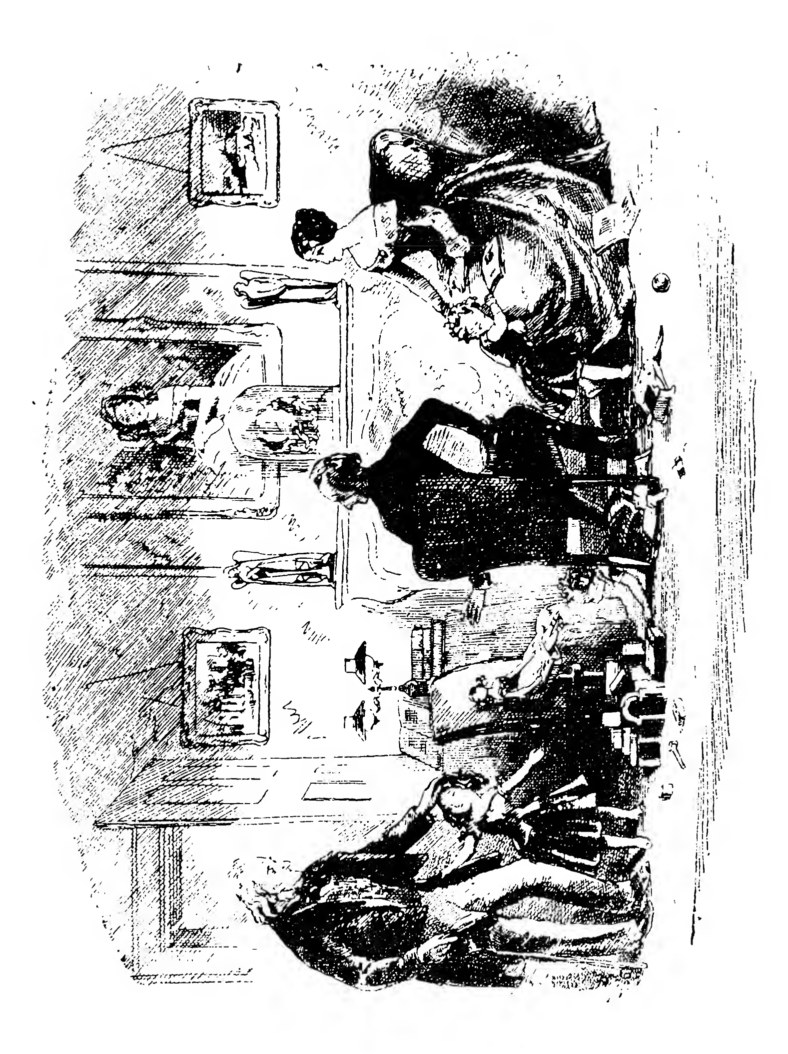
— И вы собираетесь так скоро ехать обратно за тысячи миль? — спросила Агнес.

— Да, сударыня,— ответил он.— Уезжая, я пообещал Эмли. Знаете ли, за эти годы я не очень-то помолодел, и, не пустись я сейчас в плаванье, похоже на то, что никогда не пришлось бы мне приехать. А мне ведь вспало на ум, что я *должен* повидать мистера Дэви и вас, поглядеть на ваш счастливый брак, прежде чем я одряхлею.

И он глядел на нас и никак не мог наглядеться. Агнес с улыбкой отстранила с его лба седую прядь волос, чтобы он лучше мог нас видеть.

— А теперь,— сказал я,— расскажите нам о ваших делах.

— Что ж тут долго рассказывать о наших делах, мистер Дэви,— отозвался он.— Разбогатеть мы не разбогатели, но концы с концами сводили. Всегда сводили... Работали, как полагается, жили поначалу, может быть,



и трудновато, но все-таки сводили концы с концами. Держали овец, держали рогатый скот, то да се, словом, все у нас шло как следует. Господь нам помогал — и теперь нам живется неплохо. Конечно, это сделалось не сразу. Вчера было плоховато, знаете ли, сегодня лучше, а завтра будет еще лучше.

— А как Эмили? — в один голос спросили мы с Агнес.

— После того как вы с ней простились, сударыня, и с тех пор как мы поселились в зарослях, Эмли всегда поминает вас в молитве перед сном — за своей холщовой занавеской. А когда в тот вечер мы расстались с вами, мистер Дэви, была она такая печальная, что, дойди до нее весть, которую утаил от нас по своей доброте и благоразумию мистер Дэви, право же, она зачахла бы и умерла. Но на борту было много бедняков, а среди них много хворых, и она стала за ними ухаживать. Были с нами и дети, так она и за ними ухаживала. И она была очень занята, делала доброе дело, и это ее спасло.

— А когда она узнала? — спросил я.

— После того как я это узнал,— сказал мистер Пегготи,— я скрывал от нее около года. Жили мы в пустынном месте, но вокруг нас были чудесные деревья, а розы росли почти до самой крыши. И вот однажды я работал в поле, а к нам пришел какой-то поселенец; не то приехал он из нашего Норфолка, не то из Суффолка, не помню. Мы накормили его от всего сердца, напоили, дали ему приют, как полагается в колониях,— словом, все для него сделали. У него была какая-то старая газета, и там напечатано было про бурю. Так она и узнала. Когда вечером я вернулся домой, она уже все знала.

При этих словах он понизил голос, и лицо его стало очень серьезным — как хорошо я помнил это выражение его лица!

— Она после этого очень изменилась? — спросили мы.

— Да, но не сразу, и только теперь, может быть, она уже не такая, как была раньше,— сказал он, покачивая головой.— Но жизнь в пустынном краю пошла ей на пользу. Работы у нее было много, вот ей и полегчало. Боюсь, мистер Дэви,— продолжал он задумчиво,— если бы вы теперь увидели Эмли, вы бы ее не узнали.

— С ней произошла такая сильная перемена? — спросил я.

— Не знаю. Я вижу ее ежедневно и не могу сказать. Но иногда мне так кажется,— сказал мистер Пегготи, смотря на огонь в камине.— Худенькая, словно измученная, ласковые, грустные глаза, хорошенькое личико, головка всегда понурена, говорит тихо, почти робко. Вот какая теперь Эмли.

Молча мы глядели на него, а он, не отрываясь, смотрел на огонь.

— Одни думают, что у нее была несчастная любовь,— продолжал он,— другие — что умер муж. Но никто ничего не знает. Сколько раз она могла бы выйти замуж! Но как-то она мне сказала: «Нет, дядя... с этим кончено навсегда». Со мной она постоянно весела, а с чужими очень скрытная... Любит ходить далеко, чтобы учить ребят или ухаживать за больными, или что-нибудь подарить девушке, которая замуж выходит. Она часто делает такие подарки, но на свадьбе никогда не бывает. Очень любит меня. Терпелива. А ее любит и стар и млад. Как кому плохо — все идут к ней. Вот какая теперь Эмли!

Он провел рукой по лицу, подавил вздох и отвел глаза от огня.

— А Марта все еще с вами? — спросил я.

— Марта на второй год вышла замуж, мистер Дэви,— ответил он.— Молодой батрак как-то ехал мимо нас с фермы на рынок с товарами своего хозяина — а это пятьсот миль в оба конца,— увидел ее и предложил ей выйти за него замуж. В наших краях, знаете ли, мало женщин... Предложил выйти за него замуж и поселиться вдвоем где-нибудь в зарослях. Она попросила меня, чтобы я рассказал ему всю ее историю. Так я и сделал. Они поженились и поселились за четыреста миль от людского жилья. Слышат только друг друга да пение птиц.

— А миссис Гаммидж? — задал я вопрос.

Стоило посмотреть в этот миг на мистера Пегготи — он вдруг расхохотался и начал похлопывать себя по ногам, как, бывало, в те дни, когда он веселился в старом баркасе.

— Можете ли вы поверить, нашелся человек, который предложил *ей* выйти за него замуж! — сказал он.— Пусть меня повесят, если корабельный кок не предложил

жениться на ней! Он сделался поселенцем. Ну, как вам это покажется?

Мне никогда не приходилось видеть, чтобы Агнес так смеялась. Неожиданный восторг мистера Пегготи так ее позабавил, что она никак не могла остановиться. А чем больше она смеялась, тем больше смеялся я, а мистер Пегготи все больше приходил в восторг и все похлопывал себя по ногам.

— А что ответила миссис Гаммидж? — спросил я, когда мне удалось собой овладеть.

— Да вы только послушайте! Вместо того чтобы ответить: «Благодарю вас за честь, но я в таком возрасте, что не хочу менять своего положения»,— вместо этих слов миссис Гаммидж взяла лохань с водой, которая возле нее стояла, и выплеснула ее на голову бедняги кока... Он завопил, призывая на помощь, а я был неподалеку и бросился его спасать!

Тут мистер Пегготи захохотал во весь голос, и к нему присоединились мы с Агнес.

— Должен сказать об этой доброй женщине,— продолжал мистер Пегготи, вытирая лицо, когда все мы выбились из сил от смеха,— что она сдержала свое обещание. Больше чем сдержала. Теперь, мистер Дэви, это самая обязательная, самая преданная, самая услужливая женщина на всем свете! Ни разу она не жаловалась, что она одинока и покинута, даже тогда, когда мы только-только высадились в колонии. А что до «старика», так, уверяю вас, она совсем о нем не думает после отъезда из Англии.

— Ну-с, теперь последний, но не самый худший — мистер Микобер,— сказал я.— Он заплатил все свои здешние долги, даже свой долг Трэдлсу, ты помнишь, дорогая Агнес? Отсюда мы можем заключить, что он преуспевает. Но какие последние новости о нем?

Мистер Пегготи, улыбаясь, засунул руку в нагрудный карман и вытащил пакетик, откуда бережно извлек какую-то старую газету.

— Надо вам сказать, мистер Дэви, что теперь мы уже не живем в зарослях, а поселились неподалеку от Порт-Мидлбей, который по-тамошнему называется городом.

— А мистер Микобер жил с вами в зарослях? — спросил я.

— Да. Он этого сам захотел,— сказал мистер Пегготи.— Лучшего джентльмена, право же, я не встречал. Его лысая голова так потела на солнце, что мне казалось, вот-вот она совсем растает. А теперь он мировой судья.

— Да ну? Мировой судья? — воскликнул я.

Мистер Пегготи указал на статью в газете. И вот что я прочел в «Порт-Мидлбей таймс»:

«Публичный обед в честь нашего достоуважаемого колониста и согражданина Уилкинса Микобера, эсквайра, окружного мирового судьи Порт-Мидлбей, дан был вчера в Отеле, зал которого был битком набит. Мы подсчитали за обеденным столом сорок семь персон, но к этому числу надо прибавить тех, кто стоял в коридоре и на лестнице. Чтобы воздать честь столь почтенной, одаренной такими талантами и столь популярной особе, собралось самое очаровательное, изысканное и выдающееся общество Порт-Мидлбей. Президентское место занимал доктор Мелл (грамматическая школа «Сэлем-Хаус», Порт-Мидлбей), по правую руку которого восседал почетный гость. После того как убрали со стола и пропели Non nobis * (в прекрасном исполнении которого следует выделить подобный колоколу голос небезызвестного одаренного любителя Уилкинса Микобера-младшего, эсквайра), по обычаю было провозглашено несколько патриотических тостов, встреченных восторженно. Свою прочувствованную речь доктор Мелл закончил тостом в честь «нашего выдающегося гостя, украшения нашего города» и выразил пожелание: «Да не покинет он нас никогда для того, чтобы еще больше возвеличиться, и да преуспевает он среди нас так, чтобы возвеличиться больше было уже невозможно!» Нельзя описать бурю рукоплесканий, которой встречен был этот тост. Она вздымалась снова и снова, как океанские волны. Когда, наконец, рукоплескания затихли, для ответного слова поднялся Уилкинс Микобер, эсквайр. Принимая во внимание сравнительно недостаточно высокий уровень наших колонистов, мы не пытаемся передать во всех подробностях блестящую и изысканную речь нашего выдающегося согражданина. Скажем только, что это был образец красноречия и что глаза всех присутствующих увлажнились слезами, когда наш выдающийся согражданин описывал все этапы своей столь успешной

карьеры и призывал молодых людей, присутствовавших в зале, никогда не брать на себя денежных обязательств, если они не могут их выполнить. Далее произнесли тосты: доктор Мелл, миссис Микобер (грациозным поклоном она выразила свою благодарность, появившись в открытой двери зала, через которую можно было видеть блестящее собрание красавиц, сидевших в креслах и наблюдавших трогательное зрелище, являясь вместе с тем прекрасным его украшением), миссис Риджер Бегс (бывшая мисс Микобер), миссис Мелл, Уилкинс Микобер-младший, эсквайр (присутствующие смеялись до слез, услышав его заявление, что он не в силах выразить свою благодарность в речи и просит разрешить ему что-нибудь спеть); семейство миссис Микобер (нет нужды говорить, весьма известное у себя на родине) и пр. и пр. В заключение, как по волшебству, были убраны столы, чтобы очистить место для танцев. Среди поклонников Терпсихоры, развлекавшихся до восхода солнца, напомнившего им, что пора расходиться, следует особенно отметить Уилкинса Микобера-младшего, эсквайра, и очаровательную мисс Элен, четвертую дочь доктора Мелла».

Я снова перечитал упоминание о докторе Мелле и был очень рад, узнав, что мистер Мелл, мой прежний учитель, бедный, полуголодный помощник теперешнего мидлсекского мирового судьи, добился завидного положения. Тут мистер Пегготи указал мне на другой столбец газеты; мой взгляд упал на мое имя, и я прочел следующее:

«ДЭВИДУ КОППЕРФИЛДУ,
эсквайру, знаменитому писателю.

Мой дорогой сэр,

Прошли годы с тех пор, как я имел возможность видеть воочию черты лица, знакомые ныне значительной части цивилизованного мира. Но лишенный, дорогой мой сэр, в силу сложившихся обстоятельств (над которыми я был невластен), общества друга и товарища моей юности, я не переставал следить за его парящим полетом. И никто не мог мне воспрепятствовать,

Хоть нас разделяли ревущие волны морей
(Бернс),

занимать свое место у пиршественного стола, к которому вы нас приглашаете.

Пользуясь отъездом отсюда человека, которого мы оба, дорогой сэр, уважаем и чтим, я не могу не выразить вам от своего имени, а также,— беру на себя смелость добавить — от имени всех жителей Порт-Мидлбей, благодарность за интеллектуальное наслаждение, священнослужителем коего вы являетесь.

Следуйте этой стезею и впредь, дорогой сэр! Здесь вас знают и ценят. Хотя мы «где-то далеко», но отнюдь не «лишены друзей», не «меланхолики» и (смею добавить) не «отсталые». Продолжайте, дорогой мой сэр, ваш орлиный полет! Жители Порт-Мидлбей мечтают по крайней мере следить за ним с восторгом, с восхищением и себе в назидание!

А среди глаз, устремленных на вас из этой части земного шара, вы всегда найдете,— пока он не утерял способности наслаждаться светом и жизнью,

глаз,

принадлежащий

Уилкинсу Микоберу,

мировому судье».

Взглянув на столбцы газеты, я установил, что мистер Микобер является деятельным и почтенным сотрудником этого печатного органа. В том же номере было и другое его письмо, посвященное какому-то мосту, а также объявление о выходе отдельным томом подобных его писем «со значительными дополнениями», и, если не ошибаюсь, передовая статья тоже принадлежала его перу.

До отъезда мистера Пегготи мы частенько говорили по вечерам о мистере Микобере. Мистер Пегготи жил у нас все время — кажется, около месяца,— а бабушка и его сестра приезжали в Лондон с ним повидаться. Когда он уезжал, мы с Агнес простились с ним на борту корабля. Больше нам не придется на этой земле с ним прощаться.

Но до своего отъезда он побывал со мной в Ярмуте, чтобы поглядеть на надгробную плиту, положенную мною на кладбище в память о Хэме. Когда, по просьбе мистера Пегготи, я записывал для него простые слова, высеченные

на плите, он наклонился и взял горсть земли и пучок травы.

— Для Эмли,— сказал он, пряча это у себя на груди.— Я ей обещал, мистер Дэви.

ГЛАВА LXIV

Последний взгляд в прошлое

Вот я и кончаю писать мою повесть. И еще раз — уже в последний,— прежде чем закончить эти страницы, я бросаю взгляд в прошлое.

Я вижу себя и рядом — Агнес, мы идем вместе по жизненному пути. Я вижу вокруг нас наших детей и друзей, и по дороге я слышу гул голосов; много этих голосов, и не безразличны они мне.

Какие лица особенно четко выделяются в толпе, плывущей мимо меня? Вот они! И все обращены ко мне, когда я задаю этот вопрос.

Вот бабушка, у нее другие, более сильные, очки, ей лет восемьдесят, а быть может, больше, но она все еще держится прямо и в холодную погоду может пройти без отдыха шесть миль.

А вот Пегготи, с ней неразлучная, добрая моя, старая няня; она тоже в очках и вечерами сидит со своим шитьем у самой лампы и всегда при ней огарок восковой свечи, сантиметр в футляре и рабочая шкатулка с изображением собора св. Павла на крышке.

Щеки и руки Пегготи, такие упругие и красные в пору моего детства, что я недоумевал, почему птицы не клюют их вместо яблок, сморщились теперь; все еще блестят ее глаза, и в их блеске черты лица кажутся затененными, хотя глаза все-таки потускнели. Но ее шершавый палец, похожий, как я как-то заметил, на терку для мускатных орехов, остался таким же, как раньше; и теперь, когда я вижу, как мой самый младший сынишка, ковыляющий от бабушки к ней, хватается за этот палец, я вспоминаю маленькую гостиную в нашем доме и то, как я некогда тоже учился ходить. С разочарованием бабушки, испы-

танным ею в далекие времена, теперь покончено: она крестная мать настоящей Бетси Тротвуд, а Дора (следующая за Бетси по порядку) утверждает, что бабушка слишком балует Бетси.

Карман Пегготи что-то очень оттопыривается. В нем лежит, ни больше ни меньше, как книга о крокодилах; теперь она в плачевном состоянии, но хотя много листов в ней разорвано и сшито нитками, Пегготи показывает ее детям как драгоценную реликвию. Странно видеть мне свое собственное детское лицо, глядящее со страниц этой книги о крокодилах, и странно вспоминать о своем старом знакомце — Бруксе из Шеффилда.

В этот летний день школьных каникул вижу я среди своих сыновей старика. Он мастерит гигантские бумажные змеи и, пока они парят в воздухе, взирает на них с неописуемым наслаждением. Приветствует он меня восторженно и, подмигивая, шепчет мне:

— Тротвуд! Вам приятно будет узнать: как только мне нечего будет делать, я закончу свой Мемориал, а ваша бабушка, сэр,— самая замечательная женщина на свете!

Что это за согбенная леди? Она опирается на палку, обращает ко мне лицо со следами былой гордости и красоты и делает слабые попытки победить помрачение рассудка, жалкого, бессильного и неспокойного. Она в саду, и рядом с ней стоит суровая, мрачная, изможденная женщина с белым шрамом на губе. Прислушаюсь к тому, что они говорят.

— Роза, я забыла, как зовут этого джентльмена.

Роза наклоняется к ней и шепчет:

— Мистер Копперфилд.

— Рада вас видеть, сэр. Меня огорчает, что вы в трауре. Надеюсь, со временем вам будет легче.

Нетерпеливая спутница бранит ее, говорит, что я не в трауре, просит снова взглянуть, пытается вернуть ее к действительности.

— Вы видели моего сына, сэр? — говорит старая леди.— Вы с ним помирились?

Пристально глядит она на меня, подносит руку ко лбу и что-то бормочет. Вдруг она кричит, и голос ее страшен:

— Роза, подойдите! Он умер!

Роза опускается перед ней на колени, то ласкает ее, то с ней пререкается, то с яростью говорит ей: «Я любила его так, как вы никогда не любили!» — то прижимает ее голову к своей груди и баюкает, как ребенка. В таком виде они остаются, когда я их покидаю. И такими я нахожу их снова. И так они влачат свое существование из года в год.

А что это за корабль идет домой из Индии, и кто эта английская леди, вышедшая замуж за старого шотландского креза, брюзгливого и лопоухого? Неужели это Джулия Миллс?

Ну, конечно, Джулия Миллс, раздражительная и разодетая, а вот ее темнолицый лакей, который приносит ей на золотом подносе карты и письма, а для того, чтобы сервировать ей в будуаре второй завтрак, есть у нее служанка с медно-красной кожей, вся в белом, с ярким платком, повязанным вокруг головы. Но теперь Джулия Миллс не ведет дневника, не поет «Панихиды по любви» и бесконечно ссорится со старым шотландским крезом, похожим на загорелого бурого медведя. Джулия — по уши в золоте и ни о чем не может говорить, ни о чем не может думать, кроме как о золоте. Мне она нравилась больше, когда пребывала в пустыне Сахаре.

Впрочем, быть может, это и есть пустыня Сахара? Правда, у Джулии есть великолепный дом, избранное общество, и ежедневно она дает роскошные обеды, но вокруг нее что-то я не видел зеленых побегов, не видел ничего, что могло бы расцвести и дать плоды. А что называет Джулия «обществом», я знаю. В него входит, например, мистер Джек Мелдон; с высоты своего поста он подсмеивается над рукой, заплатившей за этот пост, и говорит мне, что доктор — «такое очаровательное старье». Но если, о Джулия, общество есть собрание пустопорожних джентльменов и леди и если сущностью его является полное равнодушие ко всему, что помогает или мешает прогрессу человечества, то, значит, мы заблудились в пустыне Сахаре и нам нужно постараться из нее выбраться.

Теперь поглядите: вот и доктор, неизменный наш добрый друг, он трудится над своим словарем (кажется, над буквой Д) и счастлив у себя дома со своей женой. А вот

и Старый Вояка! Она очень притихла и отнюдь не имеет такого влияния, как в былое время!

А вот я вхожу в деловую контору в Тэмпле и вижу: погруженный в работу сидит за столом дорогой мой старина Трэдлс, и волосы его (там, где они еще остались) еще более непокорны, чем раньше, хотя их постоянно приминает адвокатский парик. Стол его завален бумагами. Оглядевшись вокруг, я говорю:

— Если бы теперь, Трэдлс, клерком у вас была Софи, ей было бы немало работы!

— Пожалуй, вы правы, дорогой Копперфилд! Но какое это было прекрасное время, там, в Холборн-Корт! Правда?

— Когда она вам говорила, что вы станете судьей? Но тогда об этом еще не говорили повсюду!

— Во всяком случае,— продолжает Трэдлс,— если я когда-нибудь им стану...

— Да ведь вы знаете, что это так.

— Так вот, дорогой Копперфилд, когда я им стану, я расскажу о предсказании Софи, как обещал ей...

Мы идем с ним, рука об руку. Я иду на семейный обед к Трэдлсу. Сегодня день рождения Софи. И по дороге Трэдлс говорит о своем счастье:

— Право, дорогой мой Копперфилд, я достиг того, чего так страстно желал. Его преподобие Хорес получил повышение и оклад четыреста пятьдесят фунтов в год. Оба наших сына учатся в прекрасной школе, они хорошие ребята и обратили на себя внимание успехами в науках. Три сестры Софи очень удачно вышли замуж. Еще три сестры живут с нами. А остальные три девушки после смерти миссис Крулер ведут хозяйство его преподобия Хореса. И все они счастливы.

— Исключая...— подсказал я.

— Исключая Красавицу,— продолжал Трэдлс.— Да. К несчастью, она вышла замуж за такого бездельника! Он ослепил ее своим блеском и пленил с первого взгляда. Но теперь, когда она с нами и мы от него отделались, я надеюсь, что все пойдет хорошо.

Дом Трэдлса — один из тех домов (во всяком случае, он мог им быть), в которых он и Софи мечтали поселиться, гуляя по вечерам в былые времена. Дом большой.

Но Трэдлс хранит свои бумаги в комнатке при спальне, а свои башмаки вместе с бумагами. И оба они — он и Софи — живут наверху, а лучшие комнаты уступили Красавице и другим сестрам. Ни одной свободной комнаты в доме нет, ибо бо̀льшая часть «девушек», по тому или иному поводу, проживает с ними, а эти поводы невозможно счесть. И теперь здесь целая ватага девушек, и когда мы входим, они так же бросаются к двери и душат Трэдлса в объятиях. Здесь и бедняжка Красавица, вдова с маленькой дочкой, которая переселилась сюда на постоянное жительство. Здесь, за обеденным столом в день рождения Софи, собираются три замужние сестры с мужьями, братья мужей, кузен одного мужа и сестра другого мужа, которая, кажется, помолвлена с упомянутым кузеном. И Трэдлс, как патриарх, восседает в одном конце стола,— и это все тот же милый добряк Трэдлс,— а Софи смотрит на него сияющими глазами с другого конца стола, который сверкает, но уже не британским металлом.

Я заканчиваю. С трудом преодолеваю я желание продолжать, и медленно исчезают из памяти все лица. Остается только одно лицо — подобно небесному свету, который позволяет мне видеть всё. Оно сияет над всеми, оно выше всех. И оно не исчезает.

Я повертываю голову и вижу его — строгое и прекрасное. Оно рядом со мной. Лампа моя тухнет — я работал до глубокой ночи. Но та, без которой я — ничто, не покидает меня.

О Агнес! Моя душа! О, если бы я мог видеть твое лицо рядом с собой и тогда, когда я приду к концу жизни! И в тот миг, когда предметы потускнеют передо мной, как тускнеют сейчас тени моих воспоминаний, о, если бы ты все еще была рядом со мною, к небесам воздев руку!

КОММЕНТАРИИ

Стр. 26. *«Так как вы сделали это...»* — цитата из евангелия от Матфея (XXV, 40).

Стр. 33. *...для ирландского великана...* — Имеется в виду Патрик О'Брайн, великан ростом свыше двух с половиной метров; его демонстрировали в Лондоне в 1804—1807 годах.

Стр. 50. *Выставка мисс Линвуд* — коллекция картин, вышитых цветными нитками.

...приносить присягу для получения лицензии на брак... — то есть присягнуть в том, что препятствий для брака нет, и получить разрешение на брак без предварительного оглашения в церкви. До ликвидации церковных судов в 1857 году такие разрешения выдавались за плату в помещении Докторс-Коммонс, в упоминаемой Диккенсом юридической части канцелярии епископа или генерального викария.

Стр. 85. *Старинные римские бани* — один из немногих уцелевших в Лондоне памятников римского владычества; римские бани находятся в центре Лондона.

Стр. 92. *...возбудить дело перед «Британским Джуди»...* — Джуди — героиня народного кукольного театра, партнерша Панча. Миссис Крапп путает ее с «джури» — судом присяжных.

Стр. 93. *Том Тидлер* — персонаж детской игры «Земля Тома Тидлера» (см. комментарии к 14-му тому наст. изд., стр. 531). Старинное название игры — «Земля Тома Айдлера», т. е. «Тома Бездельника».

Стр. 114. *«Я... беру тебя...»* — начальные слова фразы, произносимой невестой при совершении таинства брака по канонам англиканской церкви.

Стр. 116. *Судья Блекстон* — Уильям Блекстон (1723—1780), знаменитый английский юрист.

Стр. 117. *...видел себя восседающим на мешке с шерстью...* — то есть в звании лорд-канцлера, который является председателем палаты лордов, где он сидит в кресле на подушке, набитой шерстью.

Стр. 118. *«Долбит зеленый дятел»* — песенка М. Келли (1762—1826) на слова известного ирландского поэта Томаса Мура (1779—1852).

Стр. 131. *Энфилд* Уильям (1741—1797) — английский богослов. Составленный им сборник «Оратор, или Различные отрывки из произведений лучших английских писателей» вышел в 1775 году.

Стр. 141. *Уонтлейский дракон* — чудовище, о котором рассказывает одна из старинных баллад, обработанных и изданных Т. Перси (1729—1811).

Стр. 149. *«Вечерние колокола»* — вероятно, песня «Пойдем, пойдем, звонят колокола» композитора А. Ли (1802—1851).

Стр. 164. *Джек Кетч* — имя английского палача XVII века, ставшее нарицательным.

Стр. 165. *Бляха старшины* — значок, который получали лучшие ученики, помогавшие учителю в преподавании. Такая система организации начальных школ называлась «ланкастерской» — по имени одного из ее основателей, Джозефа Ланкастера (1778—1838),— и получила в Англии широкое распространение в первой половине прошлого века.

Стр. 225. *...останавливаюсь на втором суставе безымянного* — то есть Дэвид зарабатывает в год свыше трехсот пятидесяти фунтов.

Стр. 235. *...эта фамилия лишь в слабой степени отражала ее качества.*— Парагон (paragon) по-английски «образец совершенства».

Стр. 252. *Доктор Джонсон* — Сэмюел Джонсон, знаменитый лексикограф и критик XVIII века, автор первого толкового словаря английского языка.

Стр. 282. *...мешочек с огнивом и кремнем...*— Эта деталь помогает разобраться в хронологии событий «Дэвида Копперфилда»; описываемый Диккенсом эпизод происходил до 1834 года, когда в Англии появились спички.

Стр. 285. *Милбэнк* — тюрьма; упоминание об этой тюрьме еще более уточняет дату эпизода с Мартой; тюрьма Милбэнк выстроена была в 1832 году.

Стр. 286. *...во времена великой чумы...*— «Великая чума» 1665 года — самая сильная из чумных эпидемий в Лондоне, унесшая до ста тысяч жертв.

Стр. 298. *...он оказался сущим Виттингтоном...*— Диккенс не раз в своих произведениях упоминает о Ричарде Виттингтоне

(XIV век), ставшем героем народной легенды. В детстве, рассказывает легенда, Дик (Ричард) Виттингтон служил учеником у ремесленника и бежал от жестокого хозяина. Но в звоне колоколов церкви Сент-Мэри-ле-Боу он услышал слова: «Вернись, Виттингтон, трижды лорд-мэр Лондона». Дик вернулся к хозяину и разбогател, продав кота какому-то восточному царьку, в стране которого было много мышей; как именитый купец, он трижды был избираем лорд-мэром Лондона и прославился своей благотворительностью.

Стр. 299. *...взят и отведен на Боу-стрит...* — см. комментарии к 15-му тому наст. изд. (стр. 524).

Стр. 315. *...на радость и на гóре...* — слова, которые произносит совершающий таинство брака священник, обращаясь к невесте и жениху.

Стр. 323. *...пели «Остролист»...* — см. комментарии к 15-му тому наст. изд. (стр. 521).

...бессмертного акцизника, вскормленного на том берегу Твида. — Имеется в виду Роберт Бернс, национальный поэт Шотландии (1759—1796), родившийся в бедной крестьянской семье и служивший в 1789 году в акцизе. *Твид* — пограничная река между Англией и Шотландией.

Стр. 324. *«Каждый, навек затворяся...»* — цитата из известной элегии поэта Томаса Грея (1716—1771) «Сельское кладбище». Перевод В. Жуковского.

Стр. 356. *Черный принц* — прозвище принца Эдуарда Валлийского (1330—1376), старшего сына короля Эдуарда III.

Стр. 366. *...выразиться о себе словами Шекспира* — ср. «Гамлет», акт II, сц. 2-я (рассказ Полония о причине безумия принца).

Стр. 372. *...мое кентерберийское паломничество...* — ср. комментарии к 15-му тому наст. изд. (стр. 524).

...«ради Англии, домашнего очага и красоты» — слова из популярной английской песенки.

Стр. 374. *Гилдхолл* — здание лондонского муниципалитета.

Стр. 378. *...на ближайших ассизах...* — Ассизами называются выездные сессии высших судов первой инстанции, которые занимаются разбором дел, подлежащих ведению центральных судов, пересмотром уже решенных дел и т. д. На время таких сессий деятельность местных судов прекращается. В каждом из восьми округов, на которые разделена была Англия в эпоху Диккенса, ассизы бывали дважды в году.

Стр. 388. *...наша лодка у причала, скоро в море кораблю!* — цитата (не совсем точная) из стихотворения Байрона «Томасу Муру».

Стр. 403. *«И день настал, и час настал...»* — строфа из стихотворения Роберта Бернса «Призыв родины».

Стр. 423. *Гернсейская блуза* — толстая шерстяная фуфайка синего цвета.

Стр. 425. *«Не должно вниманье обращать на малые обиды»* — см. Шекспир, «Юлий Цезарь», акт IV, сц. 3-я.

Стр. 427. *«Крошка Тэффлин»* — см. комментарии к 15-му тому наст. изд. (стр. 524).

Стр. 431. *Ван Остаде* Адриан — известный художник голландской школы XVII века, мастер жанровых сцен из крестьянского быта.

Стр. 432. *Порт* — герметически закрывающийся вырез в борту судна.

Стр. 446. *...это не полагается делать в Вестминстер-Холле...* — то есть играть в прятки в здании Вестминстер-Холл; к этому старинному зданию примыкало с запада другое здание, в котором во времена Диккенса находились некоторые суды первой инстанции.

Стр. 454. *Негус* — крепкий напиток, названный в честь его изобретателя полковника Ф. Негуса (XVIII в.): подслащенный портвейн с лимонным соком, разбавленный горячей водой.

Стр. 471. *...идем за полцены в театр...* — то есть после начала вечернего представления, когда к 9 часам вечера не проданные ранее билеты продавались в театрах за полцены.

Стр. 472. *...мировой судья Мидлсекса.* — Мидлсекс — небольшое графство, в которое раньше территориально входил и Лондон, издавна выделенный в особую муниципально-административную единицу, а с 1888 года образовавший самостоятельное Лондонское графство. Мировые судьи графств во времена Диккенса имели широкие административные права.

Стр. 479. *...чудовищно сравнивая себя... с Тем, имя которого...* — то есть с Христом, учившим: «Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую» (евангелие от Матфея, V, 39).

Стр. 497. Non nobis — не нам (*лат.*) — начальные слова одного из благодарственных псалмов, часто поющегося во время богослужения.

ЕВГЕНИЙ ЛАНН

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС

Собр. соч., т. 16

Редактор С. Маркиш Художник Н. Семпер
Худож. редактор Л. Калитовская
Технич. редактор Г. Каунина Корректор В. Седова

Сдано в набор 24/VI 1959 г. Подписано к печати 26/VIII 1959 г.
Бумага 84 × 108[1]/32 — 16 печ. л. = 26,24 усл.-печ. л. 25,97 уч.-изд. л.
Тираж 500 000 (350 001 — 500 000) экз. Заказ № 1150. Цена 10 руб.

Гослитиздат. Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Типография «Красный пролетарий» Госполитиздата
Министерства культуры СССР. Москва, Краснопролетарская, 16.